



НЕВА

5
2016

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Александр КАРПЕНКО

Стихи • 3

Алексей ГРЕКОВ

Безлунье (Непрожитая жизнь Михаила Булгакова).

*Фарс-фантазмагория в четырех видениях
с прологом и эпилогом* • 6

Сергей НОСОВ

Стихи • 40

Алексей КОЗЫРЕВ

ДРУЖОК@RU. Киноповесть-пародия • 44

Арсен ТИТОВ

Про Митьку. Маленькая повесть • 82

Владимир ПШЕНИЧНИКОВ

Все отрезано. Рассказ • 95

Елена НОВИКОВА

Рассказы • 107

ПУБЛИЦИСТИКА

Карен СТЕПАНЯН

Фрагменты из дневника (2014–2015) • 115

Евгений БЕРКОВИЧ

Новелла Томаса Манна «Кровь Вельзунгов»
и проблемы литературного антисемитизма • 122

Константин ФРУМКИН

Постмодернистские игры вокруг нацизма
и коммунизма (Размышления над фантастиче-
скими романами 2013–2015 годов) • 146

КРУГЛЫЙ СТОЛ

К 125-летию со дня рождения М. А. Булгакова.

Один-единственный литературный волк. *Участ-
ники:* Сергей Арно, Ирина Белобровцева, Надеж-
да Дождикова, Владимир Елистратов, Владимир

Звенияцковский, Елена Крюкова, Александр Мелихов, Ольга Новикова, Сергей Носов, Валерий Попов, Вячеслав Рыбаков, Татьяна Рыжкова, Алексей Семкин, Роман Сенчин, Игорь Сухих, Евгений Яблоков. *Материалы Круглого стола подготовили И. Н. Сухих и А. М. Мелихов* • 158

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Эпоха и образы. *Лев Аннинский.* Эхо идеологии. **Территория памяти.** *Наталья Терехова.* Без Юлии словарь неполный! **Штрихи к портрету.** *Альберт Измайлов.* «Как иногда бывает хорошо и странно жить!» **Дом Зингера.** *Публикация Елены Зиновьевой* • 183

ПИЛИГРИМ

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)
Русская Палестина. Яффа: город св. апостола Петра и праведной Тавифы. *Часть 2* • 211

КИНОТЕКСТ

Евгений ЛУКИН
Долой КГБ, или Эффект очуждения • 247

Издание журнала осуществляется при финансовой поддержке Министерства культуры и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации.

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы» запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать на почтовый адрес журнала (191186, Санкт-Петербург, а/я 9). Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор
Наталья ГРАНЦЕВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Александр Мелихов (зам. главного редактора). **Игорь Сухих** (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышкина** (шеф-редактор молодежных проектов). **Елена Зиновьева** (редактор-библиограф). **Наталья Ламонт** (ответственный секретарь, коммерческий директор).

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Верстка **Д. Зенченко**

Александр КАРПЕНКО

* * *

Какая странная страна!
Приют ревущей в муках нови,
Где чья-то старая вина
Искала выход к морю крови...

Какая странная страна
На перекрестках мироздания,
Где начинается страда —
И не кончается страданье!

И в этой странной стороне,
Предвестник озарений ранних,
На красно-огненном коне
Появится творящий странник,

И тени страждущих веков
Свои мечи опустят мудро,
И стаи мирных облаков
На флейтах звезд сыграют утро.

ВЕТЕР

А
Н

Валерию Горбачеву

Ветер мало печется о ранах.
Лишь стаккато бутылки в стаканах
Да застенчивый чайник осипший —
Словно соло живых о погибших...

Захлебнутся рыбацкие лунки
Непрозрачною горечью рюмки.
Перекусит волна океанов
Всю перкуссию гулких стаканов!

Так неужто и вправду мы в силах
Вновь вернуть к нам товарищей милых —
И призвать, как волшебную строчку,
Тех, чьей жизнью живем мы в расрочку?

Тонкий мир между ними и нами
Станет тоньше, отпетый ветрами,
И взлетят голосащие очи
По наточенным лезвиям ночи,

И замрет, окликаясь на имя,
Эхо встречи меж нами и ними.

Александр Николаевич Карпенко родился в 1961 году в г. Черкассы — русский поэт, прозаик, композитор, ветеран-афганец. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор семи книг стихов. Член Союза писателей России, Южнорусского Союза писателей и Союза писателей XXI века. Участник литературного объединения ДООС. Кавалер ордена Красной Звезды. Живет в Москве.

КИТЕЖ

Когда на мель садится пароход
И метеор срывается с орбиты,
Седые церкви русской Атлантиды
Всплывают зряче на поверхность вод.

И потонувший колокол звучит.
И, водные равнины рассекая,
Врачует души речь его святая,
Литого звука медленный магнит.

И звук идет как будто из глубин,
Из залитого солнцем поднебесья.
Где раньше были города и веси,
В живых остался колокол один.

По ком звонит он в сизой тишине,
Надмирной клятвой облака смыкая?
И сила в нем заключена такая,
Что не заснуть и не сгореть в огне.

Остановить не в силах человек
Бездонную стремительность потока.
Так истина, сокрытая до срока,
В пещерах духа коротает век.

Так колокол, весом и нарочит,
Окрестность оглашает без помехи...
И, как орган, язык его звучит,
И дольше звука отвечает эхо.

СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Где в воздухе витает влажный пух,
Средь мрачных гор и млечного тумана,
Идет он — и захватывает дух
От поступи могучей великана.

И дольше жизни протекает путь;
Над головой — теперь иные звезды,
И нету времени передохнуть,
Остановиться, не боясь замерзнуть...

И человек идет. И он устал.
Уже вокруг не камни — обелиски:
Средь бороздящих небо белых скал
Развеян прах его друзей и близких.

И осознать не в силах человек,
Что мир на павших и живых расколот.
Дымится под ногами белый снег.
Но человек не ощущает холод.

ТЕАТР НАОБОРОТ

В. И. Гафту

Лампадка тихо догорает —
А там, за росчерком пера,
Лишь редкий смертный понимает:
Вся наша жизнь — увы, игра...

И правдолюбца, и позера —
Всех созывает жизни пир...
И только имя Режиссера
Забыл оставить нам Шекспир.

И все мы — павшие, живые,
Жизнь отыграв как вещей сон,
Залижем раны ножевые —
И гордо выйдем на поклон.

И зрячи будем мы, и зорки,
Бессмертным гениям под стать,

И стаи ангелов с галерки,
Встав, станут нам рукоплескать...

И мысль придет — как неотложка,
Как неопознанный секрет —
Что мы сгорали... понарошку,
А смерти — и в помине нет!

И мы постигнем смысл дороги,
Познаем подлинность, и боль,
И счастье, что дана нам Богом
Своя, а не чужая роль.

...Лампадка плоти догорает,
И душу ждет небесный плот,
И лишь Всевышний твердо знает,
Что жизнь — Театр Наоборот.

СОЛНЦЕ В ОСКОЛКАХ

Ты откуда пришла, синева?
Распростерла горячие крылья,
И в щемящем до боли усилье
Закружилась моя голова...

Ты поведай мне боль, синева!
Ты — как будто усопшая память,
Что от века кружится над нами —
И не может облечься в слова...

Ты — как будто уставшая грусть,
Что покой расплескала в лазури,
Бушевавшие выстрадав бури,
Пересилив их горестный груз...

Ты лети поскорей, синева,
От поющих просторов на Волге —
В край, где видел я солнце в осколках,
Где зеленая жухнет трава.

Ты неси свой лучистый фиал
В край далекий, где годы я не был,
Чтобы высилось чистое небо
Над горами, где я погибал,

Где не сыщешь братишек останки...
И тогда я уйду — спозаранку —
И восстану над красной травой
Уплывающей вдаль синевою...

Алексей ГРЕКОВ

БЕЗЛУНЬЕ
(НЕПРОЖИТАЯ ЖИЗНЬ
МИХАИЛА БУЛГАКОВА)
Фарс-фантазмагория в четырех видениях
с прологом и эпилогом

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Михаил Афанасьевич Булгаков.
Елена Сергеевна Булгакова, она же Черный Монах.
Виктор Викторович, он же Пургон, Мольер, Король-Солнце,
Солист, Кушкин.
Эразм Эдуардович, он же Савва Лукич, Доктор Кубик.
Николай, он же Композитор, Николаша.
Разносчица, она же Уборщица, Управляющий, Сиделка.
Лейтенант, он же Мстислав Лаврович, Секретарь.
Официант, он же Рабочий сцены, Референт.
Проводник, он же Главреж, Инспектор.

ПРОЛОГ

Затмение. Звучит увертюра из «Фауста» Гуно. Вспыхивает свет. Купе международного (спального) вагона-люкс: два диванчика, стенной шкаф, столик. Поезд Москва—Тбилиси. Знойный августовский день 1939 года. В купе — женщина в длинном, открытом сверху черном платье («с красивым вырезом на груди», по словам Булгакова), Елена Сергеевна. Сумки и чемоданы еще не распакованы. На столике лежит увядший букетик луговых цветов. В руках у Елены Сергеевны стакан с водой, время от времени она окунает в него кончики пальцев и шевелит ими над полом: таким способом она пытается хоть немного прибить клубящуюся в воздухе пыль. Музыка в репродукторе смолкает. Сразу становится слышен мягкий перестук колес.

Репродуктор (*мужской голос*). Дорогие радиослушатели! Вот уже две недели на бывшей окраине Москвы открыта Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. За это время ее успело посетить более миллиона советских тружеников. Слушайте радиоочерк «Песнь торжествующего труда». (*Нижеследующее — подлинный*

Алексей Анатольевич Греков родился в 1961 году. Окончил Киевский политехнический институт по специальности «физика металлов». Совместно с женой создал экспериментальную частную школу «Афины». Написал и поставил 30 пьес для детей и подростков. Живет в Киеве.

образчик публицистики 1939 года. Пауза. Взволнованный женский голос.) Издали, еще прежде чем белая стрела на асфальте укажет поворот в сторону Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, мы замечаем возвышающуюся высоко над кронами деревьев скульптуру. Тракторист и колхозница, шагая в дружном шаге, несут в поднятых руках сноп колосьев. Это как бы эмблема выставки, символ труда и зажиточности. По широким аллеям проходим мы к главному павильону, где заботливо и любовно собрано все, что отражает расцвет культуры колхозного крестьянства. Вот на стенах картины великих русских реалистов девятнадцатого века. На них — покосившиеся избы, забытые мужики, наглые кулаки, оборванные дети. А рядом — красочные, точно залитые солнцем, полотна художника-орденоносца Каляева, рисующие здоровых и жизнерадостных людей, свободных женщин. Вычислено, что картины, панно и произведения графики, украшающие выставку, занимают восемь тысяч квадратных метров. Здесь представлено свыше тысячи барельефов, четыреста скульптур, двести восемьдесят диорам, тысяча восемьсот макетов, сделано сорок восемь тысяч фотонегативов.

Входит Булгаков. Он переоделся в легкий летний костюм из белой парусины, снятый черный — у него в руках. Этот костюм он вешает в стенной шкаф. Елена Сергеевна ставит стакан на столик и опускает в него букет.

С начала августа на территории выставки проводится Всесоюзный смотр лучших самодеятельных коллективов всех одиннадцати союзных республик. Народные сказания и песни славят радостную жизнь, величие побед социалистической родины, ее замечательных людей, ее лучшего человека — Сталина. Уродливый капиталистический уклад жизни жестоко душил и калечил народное искусство...

Елена Сергеевна. Ужасная пыль.

Булгаков (*демонстрируя костюм*). Ну и как я тебе?

Елена Сергеевна. Очень хорош! Вылитый ответственный работник.

Булгаков. Что ты говоришь такое? Перекрестись. Они все плохо кончают.

Елена Сергеевна. Назвался бригадиром — полезай в кузов.

Булгаков. От бригадирши слышу.

Елена Сергеевна. Который час?

Булгаков. Полвторого. Скоро Серпухов.

Елена Сергеевна (*доставая свертки*). Пора обедать. Где остальные?

Булгаков. Витенька с Эразмом опять схватились, на этот раз из-за покойного К. С... Это еще что такое?

Елена Сергеевна. Где? Это? Пирожки, ты же любишь...

Булгаков. Пирожки я люблю, а вот это? (*Указывает на газету*.)

Елена Сергеевна (*сокрушенно*). Протекли...

Булгаков. Ведь это безобразие, Куквик.

Елена Сергеевна. Но, Миша, я Настю просила помочь...

Булгаков (*берет газету*). Черт знает что такое! Официальный снимок — а все правительство заплыло жиром! Меня посадят, Кукочка.

Елена Сергеевна. Миша!

Булгаков (*не отрываясь от газеты*). Что, Ключник?

Елена Сергеевна (*грозно*). Миша!

Булгаков. Да что с тобой?

Елена Сергеевна. Как ты меня обещал называть?

Булгаков. Когда?

Елена Сергеевна. При посторонних.

Булгаков. Как же, как же: очаровательная и прекрасная Елена.

Елена Сергеевна. А еще?

Булгаков. Бель Люси. Невозможно читать — вся в пятнах.

Елена Сергеевна. Не забудешь?

Булгаков. Никогда, Дундик.

Елена Сергеевна. Миша!

Булгаков. Каляев умер.

Елена Сергеевна. Какой Каляев?

Булгаков. Позор. (*Читает.*) «Вряд ли можно назвать среди советских художников другое имя, которое пользовалось такой исключительной всенародной известностью». Ну?

Елена Сергеевна. В первый раз слышу.

Булгаков (*читает*). «В то время, когда в Академии художеств и за ее стенами все шире и шире разливалась бушующая стихия всякого рода декадентских течений...»

Елена Сергеевна. Каких течений?

Булгаков. Всякого рода декадентских... «Каляев проявил стойкость и приверженность к установкам реализма... Октябрьская революция...» так... «Каляев взялся за большие историко-революционные темы и за портреты вождей пролетариата». А ты не знала. «Исполненные им картины „Беседа товарища Сталина и товарища Микояна“, „Товарищ Берия на чайных плантациях Грузии“, „Товарищ Хрущев на свекловичных полях Украины“ были размножены в массовых тиражах. Они были высоки по своим художественным качествам, понятны и рабочим, и колхозникам, объединяя их чувства, волю и мысль... Заслуженный деятель искусств... орден Ленина... В его лице советское искусство потеряло выдающегося мастера, страстного и последовательного борца за социалистический реализм». Ну?

Елена Сергеевна. Приступ некрофилии и вообще пессимизм.

Булгаков. Вовсе нет. Я оптимист. После таких некрологов неделю не хочется думать о смерти.

Елена Сергеевна. И не надо. Совсем.

Стук в дверь.

Булгаков. Если свои — входите.

Стук повторяется. Булгаков открывает. На пороге Разносчица.

Разносчица. Готовые обеды. Холодные закуски. Горячие блюда. Напитки. Десерты.

Елена Сергеевна. Очень вовремя. Что вы можете нам предложить? У вас есть меню?

Разносчица. Прейскурант. (*Протягивает.*)

Елена Сергеевна (*берет*). Чудесно. Что бы вы нам посоветовали?

Разносчица (*подмигнув*). Интимный обед на двоих?

Елена Сергеевна (*изучая список блюд*). На пятерых.

Булгаков (*снова берясь за газету*). Нас тут целая бригада.

Разносчица. В поезде имеется вагон-ресторан.

Елена Сергеевна. К сожалению, наш бригадир не совсем здоров. Мы будем обедать в купе. Хорошо. Пожалуйста, икры зернистой. Лососину. Грибы в сметане.

Разносчица (*записывая*). Вы в Тбилиси едете?

Булгаков. В Батуми.

Разносчица. Всей бригадой?
Елена Сергеевна. Кролик в белом соусе.
Разносчица (*записывая*). Отдыхать?
Булгаков. Работать.
Разносчица. Сезонные, стало быть.
Елена Сергеевна. Ананас в коньяке.
Разносчица. Свои достижения показывали? Или на чужие смотрели?
Булгаков. Достижения?..
Разносчица. Вы что, не были на выставке?
Елена Сергеевна. Барышня, вы отвлекаетесь. Мы были на выставке. Бутылку шампанского полусладкого.
Виктор (*входя*). Шампанского не надо. Вот вам шампанское. Здрасьте, гражданочка. Настоящее «Абрау».
Елена Сергеевна. Виктор, вы меня напугали.
Виктор. Это невозможно. Вы самая бесстрашная из всех известных мне женщин, а их, поверьте мне... Жарко, граждане.
Разносчица. И вы тоже колхозник?
Эразм (*входя*). Совершенно верно. Колхозник он, самый отъявленный. Общий привет. Вы только взгляните на его не тронутое культурой лицо...
Виктор (*декламирует*). Неча, неча... Ленину тоже говорили: сперва, мол, сделаем наш народ культурным, а потом уж будем строить социализм! Порочно ты мыслишь, Эразм!
Николай (*входя, декламирует*). Да, Эразм Эдуардович! Мы должны добиться, чтобы кусок хлеба насущного перестал быть проблемой! Чтобы изобилие стало фактором постоянным, непреложным! А для этого нам надо, чтобы все колхозы единым строем, планомерно шли к совершенству. Чтобы все они, все до единого стали бы лабораторией величайших научных опытов, всего, что изобрел народный гений, гений и опыт ученого. И мы этого добьемся, мы к этому идем! (*Из пьесы Н. Вирты.*)
Эразм. Ура, товарищи! А выпить нечего.
Елена Сергеевна. Барышня, вы приняли заказ? Добавьте еще пять бутылок боржома и графинчик водки.
Виктор. Водку по жару? Фу-у!
Елена Сергеевна. Тогда коньяку.
Разносчица. Сию минуту.

Выходит. Все рассаживаются. Виктор устраивается в непосредственной близости от пирожков и начинает их исподтишка поедать.

Елена Сергеевна. Послушайте, что это за чепуха?
Виктор. Где чепуха?
Елена Сергеевна. Ну вот эта... про колхозы...
Эразм. Любезная Елена Сергеевна, что значит отрываться от Театра! Это не чепуха, это наш текущий репертуар.
Елена Сергеевна. Ужасно.
Виктор. Кто его знает. Темы есть, драматургов нет. Такого масштаба, как Миша.
Булгаков. Грубо, Витечка, грубо лъстишь. Я не драматург, я — либреттист.
Эразм. Либретто балета «Одетта раздета».
Булгаков. И что значит — масштаб? Кого измерять? В каких единицах? В пьесах? В спектаклях? В гонорарах? В Мольере полтора Гоголя. В Лавровиче пять Булгаковых. Благодарю покорно.

Николай. Лаврович — хороший драматург.

Булгаков. Именно — хороший. Золотые ваши слова. В СССР много хороших драматургов. Только надо еще быть хорошим политиком, а вот в этом я слаб.

Николай. Но никто от вас и не требует политических пьес.

Булгаков. Я не об этом. Конечно, не требует. Писать политическую пьесу, не имея возможности носа высунуть из страны? Это чепуха, уверяю вас.

Эразм. Можно и здесь кой-какой материал подобрать. Возьмите любую газету...

Булгаков. Газету? Возьму. С удовольствием. Буду переделывать некрологи в диалоги.

Эразм. Какие некрологи?..

Виктор. Все пустое. Довести бы «Батум» до премьеры, а там, глядишь, Театр и преподнесет вам маленький презент вроде двух заграничных паспортов.

Пауза.

Елена Сергеевна. Не искушайте нас без нужды.

Булгаков. Люся, тебе изменяет чувство юмора. Похвали Витечку, он изрядно сострил.

Виктор. Если Театр очень сильно попросит, ему не откажут.

Булгаков. Театру, может, и не откажут, а нам — как раз.

Эразм. А что вы так все рветесь за границу? Что вы там ожидаете найти? Грязные тесные городишки. Один Берлин чего стоит... Все это не для русского человека. Я часто ездил сперва; без особого желания, но ездил. А потом и вообще перестал. Верите ли, надоело. Одно и то же, одно и то же.

Булгаков. Как я вас понимаю! Мне тоже, верите ли, надоело: который год мне обещают одно и то же, одно и то же, а как приходит срок...

Виктор. Миша, осталось четыре месяца. Если мы уложится к юбилею товарища Сталина...

Булгаков. Не уложитесь. Это даже смешно. Может, еще к семидесятилетию...

Эразм. Все равно, рано еще об этом говорить. Пока пьеса не вернулась из секретариата... *(Указывает вверх.)*

Виктор. Но вернется же она когда-нибудь!

Булгаков. Я хочу услышать: имею я право увидеть другие страны или нет?

Эразм. Имеете. Только это право надо еще заслужить.

Булгаков. А я, выходит, не заслужил?

Эразм. Но... поскольку пьеса пока не вернулась...

Булгаков. Она вернется через шесть дней.

Пауза.

Эразм. Однако... Подождем.

Булгаков. А как же мой масштаб и прочие комплименты?

Эразм. Я не ожидал, что они так вскружат вам голову. Мне казалось, вам чуждо тщеславие.

Булгаков. Одно время мне тоже казалось, но потом, верите ли, надоело. Мне идет сорок девятый год. Мой отец умер в сорок восемь. У меня за плечами пять лет врачебной практики и двадцать лет литературной работы. Пятнадцать лет я каторжник Театра, я написал четырнадцать пьес. Все они мертвы, за исключением одной, и за ту я должен благодарить отнюдь не Театр.

Эразм. Вам бы бухгалтером быть.

Булгаков (*по-волчьи оскалившись*). Бухгалтером? Как же, как же, сочтемся, будьте покойны. «Если Театр очень сильно попросит, ему не откажут». Золотые слова. Их надо высечь на фасаде. Именно — высечь. И от меня добавить мелкими буквами: здесь похоронены «Бег» и «Мольер». Мир их праху. Я сыт обещаниями, можно даже сказать — перекормлен ими. Сейчас вы нуждаетесь во мне, да, да — в пьесе к юбилею, а потом, когда стихнут аплодисменты, одни будут вертеть дырочки в пиджаках, нет, нет — не из суетного тщеславия, а с сознанием исполненного долга, а я опять стану искать свою фамилию в разделе «и другие». Из тщеславия, разумеется.

Открывается дверь. На пороге — Лейтенант и Разносчица.

Лейтенант. Всем оставаться на своих местах. Предъявить документы.

Пауза.

Виктор. Это невозможно: оставаться на местах и предъявить документы. Наши места в соседнем купе.

Лейтенант. Не двигаться.

Виктор. Я за документами!

Лейтенант. Не рассуждать.

Разносчица (*указывая на Булгакова*). Пусть этот предъявит.

Лейтенант. Гражданин, ваши документы.

Булгаков достает из кармана книжечку и подает Лейтенанту.

(*Читает.*) «План работы бригады по пьесе „Батум“».

Булгаков. Это не то... Вот паспорт. Верните... Это записная книжка.

Лейтенант. Не двигаться! Разберемся (*Читает.*) Булгаков Михаил Афанасьевич.

Разносчица. Он у них бригадир.

Лейтенант. Разберемся, какой он бригадир.

Разносчица. Они, говорят, сезонные.

Лейтенант. Разберемся, какие сезонные. Записная книжка, а все страницы чистые.

Разносчица. Может, бесцветными чернилами?

Лейтенант. Что значит — пьеса «Батум»? Отвечать, когда спрашивают.

Виктор (*объясняя жестами, как глухонемому*). Пьеса, понимаете? В театре... актеры... понимаете?

Лейтенант. Не двигаться!

Пауза. Сидящие переглядываются.

Булгаков (*задушевно*). Молодой человек, послушайте...

Лейтенант. Я не молодой человек.

Булгаков. Почтеннейший, выслушайте меня.

Лейтенант. Я не почтеннейший.

Булгаков. Конечно, конечно — профессия... (*Разводит руками.*)

Лейтенант (*в ярости*). Называть: товарищ лейтенант!

Пауза.

Николай. Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?

Лейтенант. Обращайтесь.

Николай. В девятьсот втором году в Батуме под руководством товарища Сталина проходила рабочая демонстрация.

Лейтенант. Вы меня не агитируйте.

Николай. Что вы, что вы! Разве вам это неизвестно?

Лейтенант. Нам все известно.

Николай. Ну вот — об этом и пьеса.

Лейтенант. О чем?

Николай. Но... о юности товарища Сталина.

Лейтенант. Ясно. Антисоветская агитация, статья пятьдесят восьмая. С какой целью едете в Тифлис?

Булгаков. Боже мой! Люся, где письмо?

Лейтенант. Ясно. С какой целью выдаете себя за сельхозбригаду?

Елена Сергеевна. Как?! Сельхоз? (*Хохочет.*) Это ошибка! Прочтите вот это!

Лейтенант. Отставить смех! (*Читает.*) «Направить в Тифлис и Батум бригаду для сбора и изучения материала...» Ага! Для сбора материала! «...Директор Театра...» Театра? «Барон...» Ага! Нет... «Баран...»

Николай. Баринов.

Лейтенант. Не расс... Допустим. С какой целью... С какой целью...

Эразм. Вот что, товарищ лейтенант, я, видимо, должен сказать вам пару слов. Только не здесь, а в коридоре. Прошу вас... на минутку...

Лейтенант (*отдавая Разносчице письмо*). Никого не выпускать.

Эразм и Лейтенант выходят. Пауза.

Виктор. Никто не работает. Все ловят шпионов.

Разносчица. Не рассуждать!

Возвращаются Эразм и Лейтенант, последний в крайнем раздражении.

(*Возвращая лейтенанту письмо.*) Подпись неразборчивая...

Пауза.

Лейтенант. Неразборчивая, говоришь? Разбираться надо!

Разносчица. Да я что...

Лейтенант. Бригада товарищей артистов выполняет задание государственной важности. Что не ясно? Что не ясно, я спрашиваю?

Елена Сергеевна. Потрудитесь вернуть документы.

Лейтенант (*возвращая*). Виноват. Рад был с вами познакомиться. Приятного путешествия. (*Разносчице.*) А с тобой мы еще разберемся.

Выходит.

Разносчица. Да я что...

Елена Сергеевна. Барышня, где наш заказ?

Разносчица. Сию минуту.

Исчезает. Пауза. Все подавленно молчат.

Виктор. Жарко.

Эразм. Прошибло потом?

Виктор. И до чего вредная баба. Сейчас она вернется, я ей вправлю мозги.

Эразм. Ей и без тебя вправят.

Николай (*Эразму*). А что вы ему сказали?

Эразм. Елена Сергеевна, отодвиньте от Витеньки пирожки. Он уже пятый берет.

Виктор (*возмущен*). Ну, Эразм! Тебя учили в детстве: не донеси на ближнего твоего?

Эразм. Чревоугодие — тоже грех. Пользуешься, что другие лучше воспитаны...

Елена Сергеевна. Берите все, пробуйте! Конечно, проголодались...

Виктор. «Чревоугодие! Пятый!» Тебе бы бухгалтером быть.

Тянется за пирожком.

Елена Сергеевна (*отодвигая*). А вам хватит.

Виктор. Почему это?

Елена Сергеевна. Мои пирожки надо есть наслаждаясь, маленькими кусочками, а не глотать целиком. Зачем я старалась?

Виктор. Я наслаждаюсь!

Елена Сергеевна. Ах, так? Признавайтесь, что за начинка?

Николай. Попался.

Виктор. Сразу не скажешь, но на вкус восхитительно.

Эразм. Это капуста, Витенька.

Виктор. Да что вы говорите! Леночка, вы кудесница.

Елена Сергеевна. На колени.

Виктор (*сползая с дивана*). Милосерднейшая!

Эразм (*вскрикивает*). На ногу!

Виктор. Пощади, о вернейшая из женщин!

Елена Сергеевна. Нет.

Виктор. Мудрейшая из жен.

Елена Сергеевна. Нет.

Виктор. Милейшая из ведьм!

Елена Сергеевна. Вот! Встань, презренный. Жалую тебя пирожком.

Эразм. Это как человек пресмыкается! И из-за чего! Из-за какого-то пирожка!

Виктор. Неважно из-за чего, Эразм. Важно — перед кем.

Стук в дверь.

Виктор. Она! Миша, пожертвуй наволочку.

Елена Сергеевна. Виктор! Не смейте!

Виктор. Ни с места! Я наполовину горец. (*С акцентом.*) Кровная месть — мой священный долг. (*Становится у двери.*) Входите! Смерть шпионам!

Надевает наволочку на голову вошедшему Официанту.

Эразм. Витенька, а ведь это не она.

Виктор. Сам вижу. Извините. Мы люди дикие, сельхозбригада, понимаете...

Официант. Ваш заказ.

Николай. У-у, сколько всего!

Елена Сергеевна. Вы уж простите его. Ребячество...

Официант. Что вы, что вы! Это я должен извиниться. Лососина закончилась, мы заменили балыком. Грибы закончились, мы заменили шницелем. Кролик закончился, мы заменили петухом.

Виктор (*берет бутылку*). Э, позвольте, а это как?

Официант. Коньяк в ассортименте.

Николай. Скажите, а почему — петухом, а не курицей? Как вы их различаете?

Эразм. Коля, не морочь человеку голову.

Николай. Нет, я серьезно, по гребешку, что ли?

Виктор. По предсмертному крику, зануда. Ты когда-нибудь резал петуха?

Николай (*ошеломлен*). Нет, не приходилось.

Виктор (*подавая ему тарелку*). На, попробуй. (*Официанту.*) Вы эту тележку здесь оставьте. Мы поедем — вернем с приветом. А нет — так приходите через час.

Официант выходит.

Елена Сергеевна. Виктор, вы ужасны.

Виктор. Спасибо на добром слове. А сейчас будем пить. Миша, ты врач: у меня явно нарушен водный баланс.

Эразм. Сказывается на умственных способностях.

Булгаков. Полагаю, сто капель коньякус арменикус поставят тебя на ноги.

Виктор. Благодетель! (*Эразму.*) Дай сюда! Ты без рецепта.

Эразм. Протестую! Это знахарство!

Виктор. Я должен встать на ноги.

Эразм (*вскрикивает*). На ногу! Медведь! От такой дозы ты протянешь ноги, а не встанешь...

Виктор. Тебе в другом месте нальют, за пару слов.

Пауза.

Эразм. Что за намеки?

Николай. У меня тост!

Виктор. Сиди! У меня тост.

Эразм. Очень странно...

Николай. Нет, позвольте мне сказать! Михаил Афанасьевич! Уважаемый... Михаил Афанасьевич! Вы человек удачливый...

Виктор. Только не все это знают.

Николай (*Булгакову*). Главное, чтобы вы сами в это верили. Я хочу выпить за ваш успех, за счастливое сочетание звезд (*показывает вверх*) там, где сейчас читают вашу пьесу. За удачу!

Общее замешательство.

Виктор (*мрачно*). Нельзя пить. Плохой тост.

Николай. Почему?

Виктор. Дурная примета. Тем более в присутствии столь очаровательной дамы... Первый тост — ее. Предлагаю выпить за здоровье и красоту нашей несравненной бригадирши! Мужчинам — стоя.

Эразм. Пощади мою ногу.

Виктор. Ты можешь сидеть.

Встают. Пьют. Перестук колес стихает. Садятся.

Николай. Серпухов.

Елена Сергеевна. Лучше бы выпили за Мишино здоровье.

Виктор (*закусывая*). Всеу свой черед. (*Николаю*.) Ну что ты ерзаешь?.. Ладно, иди перекури, пока стоим.

Николай открывает двери, и сразу становится слышен приближающийся крик Проводника: «Телеграмма! Булгахтеру! Булгахтеру телеграмма!»

Булгаков. Это не булгахтеру, а Булгакову...

Пауза.

Николай (*в коридор*). Сюда, сюда телеграмма!

Проводник (*в дверях, Николаю*). Вы, гражданин, булгахтер?

Николай. Булгаков.

Проводник (*сверяется*). Точно. Получите. И распишитесь. Вот здесь.

Виктор (*Николаю*). Дай сюда!

Отбирает телеграмму и передает Елене Сергеевне. Она молча читает.

Лена, что?

Елена Сергеевна. «Надобность поездке отпала возвращайтесь Москву Баринов».

Пауза.

Николай. Что значит — отпала?

Эразм. Отпала — и отпала. Сколько стоим?

Проводник (*принимая от Николая чаевые*). Десять минут.

Выходит.

Эразм. Немедленно собираем вещи и выходим.

Выходит.

Виктор. М-да... Если б не этот... можно сказать было б — не получали... (*Выпивает рюмку*.) Придется возвращаться.

Выходит.

Николай. Вам помочь?

Елена Сергеевна. Спасибо, мы сами. Идите.

Николай выходит.

Булгаков. Люся. Это судьба. Но почему — бухгалтер?

Елена Сергеевна. Что с тобой, Мишенька?

Булгаков. Неприятный свет. Почему — Баринов?

Елена Сергеевна. Я задерну штору. Так лучше?

Булгаков. Спасибо, Люся. Понимаешь? Еще шесть дней. Отдерни штору, темно.

Елена Сергеевна. Да что ты, Миша: вздорная женщина наплела бог знает что...

Эразм (*появляясь в дверях, с чемоданом*). Почему вы не собираетесь? Что с Мишей?

Елена Сергеевна. Мы едем дальше.

Эразм. Но телеграмма...

Елена Сергеевна. Мы едем просто отдыхать.

Эразм. Ну... вы частное лицо... конечно, как хотите... а мы ведь в командировке... так что... нам пора.

Исчезает. В дверях показывается Виктор, также переодевшийся и с чемоданом в руках.

Виктор. Вы остаетесь? Правильно. Эх, не доели, не допили, все бросили, побежали... Береги Мишу, а мы уж разберемся, что к чему — на месте, — и вам дадим знать сразу. Привет!

Исчезает. На пороге — Николай.

Елена Сергеевна. Мы остаемся. До свидания. Бегите, поезд трогается.

Николай. До свидания, Елена Сергеевна. До свидания, Михаил Афанасьевич.

Исчезает. Учащающийся стук колес.

Елена Сергеевна. Вот и все.

Булгаков. Некролог — это был знак.

Елена Сергеевна. Да что с тобой?

Булгаков. Задерни штору. Глаза режет. Одно хорошо — обо мне не напишут теперь: награжден за портреты вождей. В некрологе.

Елена Сергеевна задергивает штору, и сразу становится темно, только слабый свет падает на фигуры лежащего на диванчике Булгакова и сидящей в изголовье Елены Сергеевны. Тут заканчивается пролог, и начинается

ВИДЕНИЕ ПЕРВОЕ

Купе теряет свои очертания. Стук колес становится звонче и начинает походить на тиканье часов. Затем часы коротко бьют, и все смолкает. В сгустившейся тьме возникает странная фигура, похожая на зловещую птицу: это доктор Пургон. Он одет в широкую черную мантию с длинными рукавами и черный колпак, на лице у него маска с чудовищно длинным носом и огромными, как блюда, очками. В руках большая резиновая клизма.

Пургон (*принюхиваясь*). Покойником пахнет. (*Булгакову*.) Сударь, кто здесь недавно умер?

Принюхивается.

(*Булгакову*.) Э-э, да вы невежа, сударь. Мои пациенты, достойнейшие люди, царство им небесное, считали за честь отвечать на вопросы, кои задавал я (*повышая*

голос), величайший из врачей (*кричит*), доктор Пургон!! (*После паузы, тихо.*) Э-э, да вы не только невежа, вы еще и невежда.

Пауза. Осторожно подходит к Булгакову. Принюхивается. Берет его за руку.

(*Важно.*) Пульс редкий, сухой, нездоровый. Сударь, я должен открыть вам печальную истину: вы больны, сударь! Вам повезло. Ибо здесь я, величайший из врачей, доктор Пургон! Вы должны питать ко мне полное доверие и радоваться, ибо только я могу верно распознать вашу болезнь, назначить лечение и довести его до желанного конца. Для начала я должен исследовать вашу мочу.

Берет со столика бутылку с коньяком и смотрит на свет.

Э-э! Гипостаз нехорош. Да, вы больны. (*Отпивает.*) И сублимия нехороша. Да, вы больны.

Берет со стола кусочек балыка и смотрит сквозь него на свет.

Э-э, да вы ели соленое?! (*Жует.*) Боже вас сохрани. Это вам не полезно. (*Смотрит на стол.*) Как, и жирное?! (*Берет кусочек, жует.*) Избави бог! Вам необходим щадящий режим.

Набирает в клизму минеральной воды и пускает струю себе в рот. Сидит, обдувает себя из клизмы.

Жарко, однако. Сударь, я должен открыть вам печальную истину: у вас удар. — Вы чувствуете слабость в ногах? — Удар. — Легкое головокружение? — Удар. — Приступ меланхолии? — Удар. — Вам повезло. Вы смертельно больны. Я лечу лишь смертельно больных. Простые случаи мне не интересны. Ну что ж, для начала сделаем вам легонький клистирчик, чтобы очистить желудок от тяжелой и вредной пищи, после клистирчика — небольшое кровопускание, чтобы вызвать отток лишней крови, после кровопускание — полоскание...

Бул г а к о в . Довольно.

Пур г о н . Нет, не довольно! Невежа. Но самое главное — вам нужна перемена воздуха. Поезжайте на воды. Экс-ле-Бен, Баден-Баден, Карлсбад...

Бул г а к о в . Ваша шутка слегка затянулась. Вы здесь не за этим.

Пур г о н . Но позвольте! С болезнью не шутят. Вы смертельно больны. Это так же верно, как то, что я — величайший...

Бул г а к о в . Шарлатан.

Пур г о н . Прав, прав Гиппократ: Noli mittere margaritas... перед свиньями.

Бул г а к о в . Оставим медицину в покое.

Пур г о н . Невежда.

Снимает с себя маску, колпак и мантию и остается в напудренном парике, расши- том камзоле, панталонах, чулках и башмаках с большими пряжками: это Мо л ь е р . Одежду врача он сбрасывает на столик и затем отталкивает его в темноту.

(*Другим голосом.*) Неужели я так безобразно играл? Вот что значит — два с половиной столетия без ангажемента. Полная потеря квалификации. Волнение, волнение. Перегорел. Но как ты узнал меня? Впрочем — ведь мы же актеры, а значит — провидцы. Писатели — значит, пророки. Не правда ли, мон ами?

Булгаков. Я не пророк.

Мольер. Это очень разумно. Время пророков прошло. Нынче они исчезают быстро и незаметно, без суда, без процессий, без своих земных и небесных дел. Нет, мы не годимся в святые. Путь писателя — путь унижений. Распахни перед публикой душу — и станешь ей интересен; покажись ей корыстным, завистливым, грубым — и она тебя отличит; но не дай тебе бог снять маску шута: засмеют. Блаженны писатели, нищие духом, ибо их гонорары известны.

Булгаков. Я не писатель. И не блаженный. И не считаю нужным зависеть ни от публики, ни от ... *(Указывает вверх.)*

Мольер. Напрасно. Мы нуждается в Боге не меньше, чем он нуждается в нас.

Булгаков. Нет, я имею в виду не Бога!

Мольер. Я тоже. Я знал Людовика. Я не был самым изысканным попугаем Версаля, но я был говорящим попугаем. Божественный Людовик снисходил до беседы со мной. Что может сказать попугай? То, чему его научат. Людовик знал, чему нас учить. Он учил нас вере. Вера рождает богов, не так ли? Он нас кормил. Он был залогом нашей жизни. Нашего бессмертия! Славнейший из всех земных королей, зависеть от него — разве это не было счастьем? Несчастьем становилась именно независимость. Свободный безбожник свободно подышал в безвестности. Мон ами, не зависимость от монарха угнетает нас, а лишь отсутствие внимания с его стороны.

Булгаков. Ну... и как же завоевать это внимание?

Мольер. Ждать.

Булгаков. Долго?

Мольер. Пока не установится благоприятное сочетание звезд. Видишь: Юпитер в одной фигуре с Сатурном, что означает болезнь и разлитие черной желчи. Планета актеров, Луна, спустилась верхними воротами в дом смерти. В зените кровавый Марс, покровитель воинов и палачей. Но лишь только взойдет переменчивый Меркурий, вот тогда...

Булгаков. Довольно. Оставим в покое пророчества. Что с моей пьесой?

Мольер поднимается со стула и словно становится выше ростом. его расшитый камзол начинает сверкать золотом и драгоценными камнями. На голове у него оказывается широкополая шляпа с плюмажем, в руках — шпага в золоченых ножнах, на которую он опирается, как на трость. Лицо вытягивается, нижняя губа капризно оттопыривается: это молодой Король - Солнце.

Король - Солнце. Вы сумели понравиться. Вам будут оказаны знаки внимания. За исключением нескольких слов, которые вы удалите, в целом пьеса произвела самое благоприятное впечатление.

Булгаков. Какие же слова я должен удалить?

Король - Солнце. Совершенно лишние слова: «демон проклятый», «черт» и «черный дракон». Согласитесь, без них пьеса будет гораздо приятней и, так сказать, цельнее.

Булгаков. И все-таки я предпочел бы оставить их.

Король - Солнце. Не сомневаюсь. Вы, Булгаков, напрасно пытались подражать господину Мольеру. Безусловно, он человек высокоталантливый и мастерски пользовался лестью, скрывая в ней жало иронии. Но против кого обращал он эти отравленные стрелы? Против своего господина и покровителя. Конечно, я не требовал от него слов признательности — что возьмешь с шута. Славнейший из всех земных королей умел прощать своим подданным их пороки и слабости. Величие снисходительно к низменному — оно находит в унижении запретный для себя плод.

Пауза.

Булгаков. Хорошо. Я вычеркну указанные вами слова.

Король - Солнце (*пристально посмотрев на него, после паузы*). Вы совершенно правы. Это ничего не изменит. И потому пьеса к представлению допущена быть не может. Но вы у нас не просто драматург, вы либреттист. Вы превратите пьесу «Батум» в оперу. «Жизнь за вождя» — надеюсь, не слишком вызывающе? Я охотно сыграю в ней главную роль. Люблю трагифарсы, особенно те, где есть хор и балет. Найдите в ней роль и для себя. Сыграйте. И постарайтесь выиграть.

Часы бьют. Их бой незаметно переходит в звон колоколов и рев симфонического оркестра, играющего вариации на тему «Славься» Глинки. Сцена гаснет, и на этом видение первое заканчивается, и начинается

ВИДЕНИЕ ВТОРОЕ

Пространство сжалось до размеров гримерной в недрах Большого театра. Гримировальный столик, вертящийся стул, через спинку переброшен синий рабочий халат. Кушетка, шкаф и т. п. В углу ведро с водой и швабра с тряпкой. На стене — репродуктор, и именно оттуда доносятся звуки музыки: сегодня, в день юбилея Генерального секретаря, впервые идет опера по мотивам пьесы «Батум». Сам автор либретто сидит за столиком и от нечего делать примеряет к себе различные детали грима. Спектакль подходит к концу. Слышны заключительные фразы:

Бас (*с грузинским акцентом*). Нет, ни за что! Не отойду я от огня! Пусть тысяча жандармов придет — не встану... Я посижу...

Тенор. Что нам с ним делать?

Сопрано. Оставь! Оставь его! Пусть спит.

Тенор. Отец пришел.

Баритон. О, что я вижу? Не может быть! Сосо вернулся?! Живой?

Сопрано. Живой!

Тенор. Бежал он из Сибири.

Вместе. И с ним заря свободы к нам пришла!

Бурный финал, тонуший в овации. Крики «браво!» и «бис!» сливаются в сплошной рев. Сквозь шум пробиваются команды Режиссера.

Голос Режиссера. Солисты — на сцену! Свет в ложу правительства! Больше света! Выруби боковой, идиот! Не слепи глаза. Занавес! Солисты — еще раз! Приготовиться хору. Всех из буфета назад! Нашли время, кретины. Занавес! Хор — на сцену! Приготовиться мимансу. Солисты, не расходитесь, сейчас опять пойдете. Занавес! Солисты — на сцену. А где либреттист? Где Булгаков? Эй, кто там свободен, разыщите Булгакова.

При этих словах Булгаков начинает метаться в поисках укрытия и обнаруживает ведро и швабру. Возвращается к столу, накидывает на плечи халат, надевает парик, повязывает голову платком и становится чрезвычайно похож на старушку уборщицу. В последний момент догадывается подкатить штанины.

А, черт! Занавес! Оркестр поднимите. Что, композитор остался? Кланяется? Крестин... Гримеры и костюмеры — на сцену! Приготовиться суфлерам и бутафорам.

Солисты, не расходитесь, сейчас опять пойдете. Нашли Булгакова, я вас спрашиваю? Занавес! Суфлеры и бутафоры — на сцену! Да втащите сюда этого идиота! Он все кланяется? Приготовиться солистам...

Насвистывая, входит Мстислав Лаврович, молодой человек во френче военного образца, в сапогах, но без фуражки. Булгаков начинает заниматься «уборкой» (и будет заниматься ею еще долго: перетирать по пять раз одно и то же зеркало, переворачивать стулья, мыть пол, елозя шваброй по чужим ботинкам, и вообще хулиганить).

Занавес! Солисты — на сцену! Приготовиться машинистам и осветителям...

Входит Рабочий сцены с цветами — корзины, букеты, вазоны и т. п.

Рабочий. Помогите-ка... Еле доволок, и на сцене еще столько осталось, а они все несут и несут. И это в декабре! Откуда в декабре столько цветов?

Голос Режиссера. Занавес! Машинисты и осветители — на сцену! Приготовиться рабочим сцены.

Рабочий. Вот и моя очередь подошла. (Булгакову.) Не зевайте: после нас уборщицы пойдут.

Уходит.

Голос Режиссера. Занавес! Все на сцену! Приготовиться всем, кто еще не выходил!

Хрипит и замолкает.

Мстислав (рассматривает и читает надписи на лентах). «Талантам от поклонников». (Записка в букете.) «Петенька! Ты душка. Целую. Угадай кто». (Булгакову.) Бабка, не пыли так!.. «ГАБТу от ОГПУ». Гм... «Отъ московскихъ мѣщанъ... Императорскому Большому тѣатру... 1839 годъ».

Входят критик Савва Лукич и молодой Композитор с букетом цветов в руках и обалдением на лице.

Савва Лукич. Неслыханный успех! Народ и правительство устроили настоящую овацию товарищу Сталину. Коленька, ты гений. Попомнишь мои слова: ты затмишь Моцарта и Чайковского. За неполных два месяца сочинить, разучить и сыграть! И какую оперу! Да он просто стахановец от рояля; здравствуй, Мстислаша. Николай, познакомься: Мстислав Лаврович, наш выдающийся романист и драматург.

Композитор. Очень приятно. Коля.

Савва Лукич. Какой Коля? Николай Фиолетов, наш выдающийся композитор. Неслыханный успех!

Мстислав. Поздравляю от всей души. Не каждый день приходится пожимать руку гению.

Композитор. Да нет, что вы! Я уже рассказывал: ко мне пришли и сказали: нужна опера к шестидесятилетию товарища Сталина. Я говорю, да что вы, товарищи, говорю, не губите, я не умею! Я песенник, говорю, я самоучка. Они говорят: приказ. Личная просьба... сам понимаешь кого.

Савва Лукич. Вот! Я всегда говорил: только гениям свойственна такая зоркость, такое чутье на народные таланты!

Композитор. Это вы о ком?

Савва Лукич. Сам понимай о ком. Послушай, Мстислаша, а ты что здесь делаешь?

Мстислав (*отводя его в сторону*). Ну... я ведь роман написал.

Савва Лукич. Да?! Новый?

Мстислав. Ну... я один роман написал.

Савва Лукич. Значит, старый.

Мстислав. Виноват. Я акценты сместил и усилил руководящую роль.

Савва Лукич. Значит, новый.

Мстислав. Ну и... вот. Задумался.

Савва Лукич. Что если оперу по нему сделать?

Мстислав. Так точно.

Савва Лукич. Ясно. Коленька, дружок, тут к тебе автор.

Композитор. Очень приятно. Всегда готов... Чем могу...

Савва Лукич. Не спеши, родной, не спеши. Тут еще подумать надо. Авторков много, спрос на оперы большой, а гениальных композиторов — только ты да Шостакович, да и тот в последнее время не поднимается... не парит... Да, Мстислаша, тебе же еще либреттиста найти себе надо?

Мстислав. Зачем? Я и сам...

Савва Лукич. Так уж и сам. Милый мой, ты не знаешь, что такое — писать либретто. Труд каторжный, стоит дешево, и на афише фамилия — внизу мелким шрифтом. И ведь слух еще нужен.

Мстислав. Ну, слухи — это по вашей части.

Савва Лукич. Музыкальный, Мстислаша, музыкальный. Пригласи Булгакова — он уже работал с Коленькой, и видишь, какой результат!

Мстислав. Не согласится.

Савва Лукич. Согласится. Хотя, конечно, от кого уж я не ожидал, так это от него. Не ожидал! Я помню время, когда он даже не в попутчиках — в буржуйских подголосках ходил, а тут и на тебе — такой успех!

Мстислав. Подсуетился.

Савва Лукич. Не скажи. Булгаков — большой талант. Попомнишь мои слова: он еще затмит Чехова и Островского.

Мстислав. И меня, Савва Лукич?

Савва Лукич. И тебя, Мстислаша, и тебя.

Появляется Рабочий с цветами.

Рабочий. Не гримерная, а оранжерея какая-то. И на сцене еще столько осталось! Это уму непостижимо!

Уходит.

Композитор. А где Михаил Афанасьевич? Вы не видели Булгакова?

Мстислав. Я слышал. На поклонь его вызывали.

Савва Лукич. Да, я видел: выходил, кланялся.

Композитор. Я не видел.

Савва Лукич. Вот так руку к груди прикладывал и вот так, вот так (*кланяется*). Гордый очень.

Мстислав. Конечно, будешь тут гордым. Говорят, ему пьесу правил лично... сами знаете кто!

Савва Лукич. Чушь. Это Булгаков правил, а писал — лично...

Мстислав. Не может быть!

Савва Лукич. Раз я говорю — значит, может.

Мстислав. Да как же он осмелился — править... ведь лично... неслыханно!

Савва Лукич. А что поделывать? Приказ.

Мстислав. Приказ... ну, тогда конечно... тогда верно: затмит он и Чехова, и меня, и Островского. В репертуар войдет. За границу поедет.

Савва Лукич. Ничего не поедет. Ты смекай: отчего это бывшему буржуйскому подголоску такая честь?

Мстислав. Ну... Не знаю.

Савва Лукич. А ты поставь себя на место... лично... *(Поднимает палец вверх.)*

Мстислав *(багровея)*. Да вы что! Вы думаете, что говорите? Меня — на место... *(Поднимает палец вверх.)* Это вас нужно на место поставить! Я давно уже замечал — провокатор! Меня — на место... Это... антисоветская агитация, статья пятьдесят восьмая!

Савва Лукич. Дурак ты, братец! Первой статьи дурак, хоть и романист.

Мстислав. Савва Лукич, Савва Лукич! Пойдите!.. А может быть... того... Булгакова перековывают?

Савва Лукич. Вот. То-то и оно. Я всегда говорил: только гениям свойственна такая вера в массы. А теперь все зависит от этого: либо он оправдает доверие, перестанет вредить и станет честным советским драматургом, либо... сам понимаешь что.

В гримерную входит... Сталин.

Сталин *(с акцентом)*. Что такое? Где творец этой замечательной оперы? Почему от меня скрылся?

Мстислав. Здравия желаю, Иосиф Виссарионович!

Савва Лукич. Здра-ва-ва-ва...

Сталин. Я-то здоров, а что с моим композитором?

Мстислав. Не извольте беспокоиться, Иосиф Виссарионович, он здесь!

Композитор. Това-ва-ва-ва...

Сталин. Так я и думал... заболел! *(Вдруг меняя голос, без акцента.)* Сволочь ты, а не композитор. Я же говорил, что на слове «прокламация» петуха пушу! А ты мне: верхнее «фа», верхнее «фа»...

Отклеивает усы, садится к столику и начинает разгримировываться, постепенно превращаясь в Солиста.

Композитор. Ва-ва-ва...

Солист. Воды ему, живо!

Булгаков-уборщица окатывает композитора из ведра.

Это ж премьера все-таки. Я волнуюсь, а когда я волнуюсь, верхнее «ми» — мой верхний предел.

Савва Лукич. Уф... Петруша... родной... ты ж меня чуть в могилу не свел.

Солист. Туда вам и дорога.

Савва Лукич. Что ж ты сделал-то с нами?..

Солист. А не шляйтесь по чужим гримерным. (*Бросает Композитору полотенце.*) На, утрись, пока не простудился.

Савва Лукич. Что значит — шляйтесь? У меня задание редакции. Буду писать рецензию на спектакль.

Солист. Валяйте, пишите. Бурная оvação. Море цветов. Двадцать три раза занавес давали. Да не забудьте отметить, что я петуха пустил из-за этого подлеца.

Савва Лукич. Петруша, господь с тобой, какой петух?!

Солист. А вот такой (*поет*): «Проклама-ация». Слыхали?

Савва Лукич. Слыхал. Прекрасное «фа».

Солист. Не «фа», а петух на «ми». Э, да что с вами толковать. Рецензия-то небось заготовлена?

Савва Лукич. Заготовлена, Петруша, да еще к тому же в двух экземплярах: одна положительная, а другая — отрицательная...

Солист. Ну, так выберите одну и несите в редакцию.

Савва Лукич. А ежели я отрицательную выберу?

Солист. Сделайте одолжение! Одним паразитом меньше станет.

Савва Лукич. Это каким же паразитом?

Солист. А рецензентом Саввой Лукичом.

Савва Лукич. Ты сегодня что-то не в духе, Петруша. Премьера, трудный день. Я, пожалуй, пойду. Мне в редакцию надо еще забежать. Коленька, до завтра. Счастливого, Мстислаша. Запомни: в либреттисты — только Булгакова. Общий оревуар.

Уходит. Пауза.

Мстислав (*Солисту*). Позвольте выразить вам свое восхищение. Не каждый день приходится слышать гениальное исполнение.

Солист. Так уж и гениальное. А верхнее «фа»?

Мстислав. Никак нет. «Фа» было на высоте. Плюньте вы на него. Композитор халтурит, а певец — расхлебывай? Попомните мои слова: вы еще затмите... этого...

Солист. Шалапина.

Мстислав. Никак нет... Как можно! (*Шепотом.*) Он же ренегат, и вообще...

Солист. Ну так кого же? Лаблаша? Галли? Пинца?

Мстислав. Так точно, всех затмите!

Входит Рабочий — на этот раз без цветов.

Рабочий. Таскал сюда, а теперь говорят — назад тащи. Ну-ка подсобите. Горшки — в фойе. Корзину в Музей театра: исторический экспонат, говорят. (*Композитору.*) А этот букет верните. Это не ваш, это меццо-сопранин...

Композитор. Не отдам!

Мстислав. Отдайте. Зачем он вам?

Композитор. Женщине подарю.

Солист. Жене?

Композитор (*краснея*). Нет. Я холостой.

Мстислав. Невесте?

Композитор. Ах, боже мой, какая разница? Просто женщине. Любой. Хочу дарить женщинам цветы!

Мстислав. Вот и подарите их меццо-сопране.

Композитор. Ей не хочу. Она стерва. Она, когда поет, икает.

Мстислав. Как икает?

Композитор. Вот так: «И-если он взглянет — и-сердце забьется...» Меня молокососом обозвала. Чем ей, так лучше уборщице подарю. Женщина, возьмите цветы.

Булгаков. Нет, нет...

Композитор. Но почему? У меня сегодня праздник... Я композитор...

Солист. Ну, чего к бабке пристал?

Булгаков (*берет букет*). Спасибо, касатик. Прямо не знаю, что и сказать-то тебе... Это так необычно для меня. Ведь ты, касатик, первый мужчина, который мне цветы-то подарил...

Солист. Коленка, смотри, как бы она в тебя не втюрилась! Тогда ты, как честный человек...

Композитор в ужасе пьитися к двери и наталкивается на входящую Уборщицу. Она одета в точности так же, как и Булгаков, в руках у нее ведро, швабра и цветы. Немая сцена.

Солист. Что за черт! То ни одной не дозовешься, то целой бригадой являются, и выпроводить их невозможно!

Уборщица (*глядит вокруг*). Чистая работа!

Появляется Елена Сергеевна, проходит через толпу и на глазах у изумленной публики обнимает и целует Булгакова. Рабочий роняет цветы.

(*Ошеломленно.*) А это еще почище будет!

Елена Сергеевна. Худрука с главрежем вызвали в правительственную ложу. Леонтий мне обещал: он поговорит... понимаешь? И даст знать, если что (*снимая с Булгакова косынку и парик*). Господи, ну на кого ты похож!

Булгаков. На уборщицу, нет?

Елена Сергеевна. Нет. На Степку-растрепку. Сними этот жуткий халат. Тебя ни на минуту нельзя оставить одного.

Булгаков. Твоя минутка прекрасно растянулась до получаса.

Елена Сергеевна. Пустяки. Маленькие женские хитрости. Чем больше мы растягиваем минутки, тем дольше длится наша молодость. Я права, Коленка?

Композитор. Вы всегда правы, Елена Сергеевна, и всегда очаровательны. Только я чего-то не понимаю... Михаил Афанасьевич, здравствуйте!

Булгаков. Здравствуйтесь. Только мы сегодня уже виделись.

Композитор. А почему вы... в этом?

Булгаков. Не знаю. Как-то невольно получилось.

Композитор. Вы простите, что я так глупо... с цветами... Я же искренне...

Булгаков. Да, да — я верю. Простите и вы меня. Сознаю, это ребячество...

Солист. Бросьте, Михаил Афанасьевич. Правильно сделали. Пусть думают, что говорят за глаза. Здесь Театр! Игорный дом! Вам бы к вашему артистическому таланту да еще голос... этаким шалыпинский бас...

Мстислав. Тс-с... Как можно! Он же ренегат... И вообще...

Булгаков. Басом Бог обделил, но баритон кое-какой имеется. И уж верхнее «фа» я, по крайней мере, возьму. Будьте благонадежны.

Солист. Да ну?

Булгаков. Что — ну? Хотите пари?

Солист. Ставлю мою карьеру против вашего гонорара — не возьмете.

Булгаков. Идет. Сделайте одолжение, расступитесь. (*Откашливается.*) «Прокламация»... (*Голос срывается.*)

Солист. Ага! Чистое «ми»! Я же говорил — это «фа» здесь сам ангел госпо-
день не вытянет.

Булгаков. «Прокламация» виновата. Эта «прокламация» даже в разговоре с тру-
дом произносится, а петь ее — просто насилие над голосом и слухом.

Солист. Одобряю самокритику. Вы автор либретто, все претензии к самому се-
бе. Гоните гонорар.

Булгаков. Ну зачем «прокламация»? (Поет.) «Сатана там прав...» Вот! «Сата-
на там пра...» Вот! Съели! «Сатана там пра!..» «Сатана там прав!..»

Елена Сергеевна. Тише, Миша, Миша, тише!

Рабочий, снова взвалив на себя ворох цветов, устремляется к двери и налета-
ет на входящего Главрежа. Цветы вновь падают на пол.

Главреж. Приятно видеть вас, Михаил Афанасьевич, в таком отличном распо-
ложении духа.

Елена Сергеевна. Леонтий Петрович, дорогой, ну, рассказывайте скорее,
что там?

Главреж. Там? (Садится.) Там все прекрасно. Все очень довольны. Спектаклем.
Много приятных слов. Очень хвалили музыкальное решение. Слышите, Николай? Го-
ворили, в музыке есть размах. И ширь. Ширь... и размах. Вот. Сценография понравил-
лась. Особенно второй акт и финал. Говорили, сила есть. И стремительность действия.
Да, стремительность... и сила. Солисты тоже выше всяких похвал. Петю отметили. Го-
ворили, незабываемый образ. Масштабный образ. Загнивание самодержавия отмети-
ли. Очень содержательная беседа была. Я до сих пор под глубочайшим впечатлением.

Елена Сергеевна. Ну, а про Мишу, про Мишу что говорили?

Главреж. Да что говорили... Ну да. Стремительность действия похвалили. Заслу-
га Михаила Афанасьевича. Прекрасное либретто.

Елена Сергеевна. И все?

Главреж. Ну почему. Пожелали всем творческих успехов.

Елена Сергеевна. И все?

Главреж. И ушли.

Елена Сергеевна. Леонтий Петрович, вы же обещали!

Пауза.

Вы же обещали рассказать товарищу Сталину о Мишином бедственном положении.

Главреж. Помилуйте, Елена Сергеевна! Какое же бедственное положение?
Жильем обеспечен, работает в государственном учреждении, а завистников и бездар-
ностей везде хватает, тут ему товарищ Сталин не поможет. А что касается загра-
ницы и прочего... рано еще о чем-то говорить. Антр ну суа ди, Михаил Афанась-
евич сделал пока только первый шаг к творческому постижению нашей революци-
онной действительности. Ему еще нужно доказать, что шаг этот сделан не случайно,
а обдуманно и целеустремленно. Сделайте второй шаг, Михаил Афанасьевич, под-
твердите ваши добрые намерения новым, современным, социалистическим либрет-
то — и я непременно исполню свое обещание. А пока... увы... прошу меня простить.
Меня ждут. Боже, как я устал.

Идет к дверям. Останавливается. Оборачивается к Булгакову.

Почему вы не вышли на поклонь?

Пауза. Выходит.

Мстислав. Михаил Афанасьевич, позвольте вам напомнить... Мстислав Лаврович. (*Протягивает руку.*)

Булгаков (*не подавая руки*). Я вас очень хорошо помню.

Елена Сергеевна. Миша, держи себя в руках...

Мстислав. Ведь вы же все слышали... не каждый день приходится общаться с гениальным либреттистом...

Булгаков. Короче. Вы хотите предложить мне писать либретто по вашему роману?

Мстислав. Так точно. Ведь вы же все слышали.

Булгаков. Нет.

Мстислав. Не все?

Булгаков. Не буду.

Мстислав. Почему? Вам не понравился мой роман?

Булгаков. Не читал.

Мстислав. Так прочтите.

Булгаков. Не хочу.

Мстислав. Но подумайте — ведь это могло бы стать вторым вашим шагом.

Булгаков. Шагом — куда?

Мстислав. Вперед.

Булгаков. Шагом марш. Это я вам, вам говорю: шагом марш! Вон отсюда, если вам так понятнее...

Елена Сергеевна. Миша!..

Мстислав. Виноват...

Булгаков. Нет, ну так я сам уйду.

Быстро идет к двери.

Елена Сергеевна. Миша, стой!..

Устремляется вслед за ним. В дверях они сталкиваются с неудачливым Рабочим, который снова роняет свои цветы и застывает в отчаянии, глядя вслед ушедшим. Пауза.

Уборщица (*укоризненно*). Нельзя, товарищи, так бросаться кадрами. Вы подумайте, какая из него могла бы выйти уборщица!

Затмение. Видение второе закончилось; но тут же вспыхивает прожектор, и начинается

ВИДЕНИЕ ТРЕТЬЕ

В луче света появляется Секретарь.

Секретарь (*читает*). «Уважаемые товарищи! Мы считаем своим долгом ходатайствовать перед вами об оказании неотложной помощи драматургу Булгакову Михаилу Афанасьевичу, автору известной пьесы „Дни Турбиных“.

Несмотря на честную и плодотворную работу т. Булгакова в ряде ведущих академических театров страны, его творчество в течение долгого времени подвергалось

в печати несправедливой и злобной критике со стороны лиц, впоследствии разоблаченных как идеологические диверсанты и враги своего народа.

Просим вас проявить участие в судьбе т. Булгакова и разрешить ему выехать за границу сроком на полгода». Подписано... всего двадцать три подписи.

Луч света перебегает на Управляющего. Это бесполое существо в мужском, широком, мешковато сидящем костюме, с бесстрастным лицом и бесцветным голосом.

Управляющий. Я что-то не совсем понял: зачем ему ехать за границу? Он опасается врагов? Но мы сумеем его здесь защитить. К тому же полгода — слишком большой срок. Я думаю, мы должны ходатайство отклонить. Как вы считаете, товарищ референт?

Луч прожектора высвечивает Референта.

Референт. Меня тоже удивляет необоснованность просьбы. Товарищ секретарь, там нигде нет приписки?

Луч возвращается к Секретарю — и так далее.

Секретарь (*вертит письмо*). Нет. Впрочем, я счел необходимым опустить не относящиеся к делу фрагменты.

Управляющий. Так не годится. Надо больше доверять людям. Надо стремиться учесть все их пожелания. Читайте.

Секретарь. Здесь немного. «К сожалению, все это не могло не отразиться на его здоровье. Развилась нейростения, ухудшилась работоспособность, появились признаки прогрессирующего склероза почек». И еще. «По мнению квалифицированного специалиста профессора Стравинского, если в течение ближайших двух месяцев не будет проведено специальное клиническое лечение с применением отсутствующей пока в советских клиниках аппаратуры, то изменения в организме больного окажутся необратимыми, и это неминуемо приведет к летальному исходу».

Управляющий. Это очень, очень печально. Но что значит — аппаратура, отсутствующая ПОКА в советских клиниках? Это упрек или пожелание? Как вы думаете, товарищ референт?

Референт. Я думаю, это заявление клеветническое и порочащее советскую медицину. Однако оно может быть рассмотрено и под совершенно иным углом зрения, если вопрос поставить так: а нужна ли советским клиникам такая аппаратура? И может ли зарубежная аппаратура помочь советскому больному? Неужели они там лучше знают, как нужно лечить *наших* больных? И почему, собственно, они считают, что у нас должны быть больные? Лично я здоров. Товарищ управляющий также вне подозрений. Товарищ секретарь, как вы себя чувствуете?

Секретарь. Великолепно.

Референт. Вот видите! Пульс?

Секретарь. Без перебоев.

Референт. Внутренние органы?

Секретарь. В норме.

Референт. Головокружение не беспокоит?.. От успехов?

Секретарь. Прошло.

Референт. А от неудач?

Секретарь. Пройдет.

Референт. Хорошо. Будьте бдительны.

Управляющий. Больной — находка для врага.

Референт. Больной подрывает обороноспособность страны.

Управляющий. Больной ослабляет систему здравоохранения.

Референт. Больной дискредитирует усилия партии, направленные на создание гармонически развитой личности.

Управляющий. Больной саботирует меры правительства по оздоровлению общества.

Референт. Ведь кое у кого даже может возникнуть мысль: а так ли хорош тот строй, при котором люди болеют, а тем более — умирают?

Секретарь. Так что же делать: сажать за болезнь, как за антисоветскую агитацию, статья пятьдесят восьмая?

Управляющий. Нет, на это мы пойти не можем. Мы должны дать возможность каждому больному осознать свой долг перед партией и народом и честно решить, с кем он: с живыми или с мертвыми. К этому мы идем, к этому мы стремимся. Поэтому я считаю, мы должны ходатайство... поддержать. Ваше мнение, товарищ референт?

Референт. Я полагаю, нам не следует торопиться. Ведь, в сущности, что мы знаем об этом Булгакове? Что его ругали. Но нет дыма без огня. Если ругали, значит, было за что, а раз было — он уже не безвинно пострадавший, а понесший заслуженное наказание. Что еще? Он болен. У него ухудшилась работоспособность. Но кто может поручиться, что после лечения его работоспособность восстановится?.. Государство, конечно, у нас богатое, но зачем поощрять иждивенческие настроения? Это обидно трудящимся. Кто не работает — пусть не ест. Так что нужно еще побеседовать с ним лично, а уж потом решать, поддержать нам ходатайство или отклонить.

Управляющий. А где Булгаков?

Секретарь. Он здесь, ожидает вызова.

Управляющий. Пусть войдет.

Входит Елена Сергеевна. Луч света замирает на ней. Остальные оказываются скрытыми во тьме.

Булгаков Михаил Афанасьевич?

Елена Сергеевна. Я его жена.

Управляющий. Мы вызывали жену?

Секретарь. Нет.

Управляющий. Пусть жена выйдет и подождет за дверью. Пригласите Булгакова Михаила Афанасьевича.

Елена Сергеевна. Михаил Афанасьевич болен. Он прикован к постели. Он не может прийти. Я его жена.

Управляющий. Ну что ж, ничего не поделаешь, придется отложить вопрос до его выздоровления.

Елена Сергеевна. Если вы отложите вопрос, он никогда не выздоровеет. Он умрет!

Управляющий. Это очень, очень печально. Но установленный порядок есть установленный порядок. А порядок установлен не нами. Как вы считаете, товарищ референт?

Референт. Я полагаю, жена не только может, но и обязана отвечать за своего мужа. Пусть отвечает.

Управляющий. Хорошо. Товарищ секретарь, какие у вас вопросы к гражданину Булгакову?

Секретарь. Булгаков Михаил Афанасьевич, где и когда вы родились?

Елена Сергеевна. В Киеве, в 1891 году.

Секретарь. Происхождение?

Елена Сергеевна (после паузы). Семья профессора...

Секретарь. Профессора Духовной академии, не так ли? Основной род занятий до Октябрьской революции?

Елена Сергеевна. Студент. Служил врачом в земстве.

Секретарь. В советское время?

Елена Сергеевна. Литературная работа. Работал режиссером во МХАТе, либреттистом в Большом...

Секретарь. Достаточно. А во время Гражданской войны?

Елена Сергеевна. Врачебная практика в Киеве...

Секретарь. И служба в Добровольческой армии?

Пауза.

Елена Сергеевна. Если б эта служба была добровольной! Отступая, они попросту мобилизовали всех врачей...

Секретарь. Достаточно, у меня все.

Управляющий. Товарищ референт, какие у вас будут вопросы к гражданину Булгакову?

Референт. Вы, гражданин Булгаков, говорите, что прикованы к постели. Вы даже не смогли явиться на наше совещание. Как же вы собираетесь ехать — один, в иной мир, где у вас нет, надеюсь, ни знакомых, ни друзей?

Елена Сергеевна. Его буду сопровождать я.

Управляющий. Я что-то потерял нить разговора. Кто кого будет сопровождать?

Елена Сергеевна. Я, Елена Сергеевна Булгакова, буду сопровождать моего мужа, Михаила Афанасьевича.

Референт. Но позвольте, об этом в письме ни слова!

Елена Сергеевна. Без меня он никуда не поедет. Без меня он даже не выходит на улицу. Он боится.

Управляющий. В нашей стране ему нечего бояться.

Елена Сергеевна. Это какой-то иррациональный страх.

Управляющий. В нашей стране не может быть ничего иррационального.

Елена Сергеевна. Он никуда меня не отпускает от себя.

Референт. А как же он отпустил вас на наше совещание?

Елена Сергеевна. Он говорит, у меня счастливая рука. Отказ его убьет.

Управляющий. Это очень, очень печально.

Елена Сергеевна. Я обращаюсь к вашей гуманности.

Управляющий. Это излишне. Как вы находите, товарищ референт?

Референт. Я полагаю, наше решение должно быть обдуманым и справедливым.

Управляющий. Еще более обдуманым и более справедливым?

Референт. Нет, этого достаточно.

Управляющий. Хорошо. Считаю обсуждение закрытым. Нельзя разбазаривать кадры. Постановляю: ходатайство группы товарищей... поддержать и выезд за рубеж Булгакова Михаила Афанасьевича в сопровождении жены с целью прохождения им курса лечения разрешить. Подпись. Число. 1940 год.

Затемнение. Перестук колес. Конец видения третьего и маленький антракт.

ВИДЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Палата в частной клинике. Застеленная кровать, столик, шкаф. Из репродуктора на стене звучит музыка — «Тангейзер» Вагнера, затем смолкает, и диктор начинает что-то быстро говорить по-немецки. Входит Сиделка. Проходит по комнате, наводя порядок, потом выключает радио и подходит к столику. Быстро просматривает какие-то тетради, перетряхивает книги. Подходит к кровати, ощупывает одеяло, поднимает подушку, проводит рукой под матрацем. В этот момент входят Булгаков в светлой больничной пижаме и доктор Кубик. Сиделка поправляет одеяло и отходит к двери.

Доктор Кубик (*продолжая разговор*). Доктор Новакова сама мне сказала это.

Булгаков. Доктор Новакова милая женщина, но вы забываете, что я тоже медик. Мне стало хуже, гораздо хуже.

Доктор Кубик. Из этого только следует, что медик вы никудышный. Все анализы однозначно показывают улучшение, а вы говорите — хуже. Это внушение, отрицательное внушение. Вы сами внушаете себе плохое самочувствие. И я, психиатр с мировым именем, не могу с вами справиться! Вы хотите, чтобы меня лишили места? Вы же не желаете лечиться. Вы желаете оставаться больным. А кому сейчас нужны безработные психиатры, хотя бы и с мировым именем? Весь мир сошел с ума, и никто не желает лечиться! Я пойду с протянутой рукой — в хироманты. Каждый сумасшедший, дорвавшийся до власти, первым делом уничтожает всех психиатров! (*Замечает Сиделку.*) Na co česáte, pani ošetřovatelko?

Сиделка. Proboha promiňte, pane doktore. Г-сподин Б-лгаков, к вам двое г-спод русских. Они просят о разговоре.

Булгаков (*побледнев*). Нет!

Сиделка. То иные г-спода.

Доктор Кубик. Pan Bulgakov potřebuje odpočinek. Necht' počkají.

Сиделка. Polouchám, pane doktore.

Выходит.

Доктор Кубик (*как бы не замечая испуга Булгакова*). Русских здесь много. По вечерам собираются в двух-трех кафе — в «Сан-Суси» и в «Оттаве» — и спорят до изнеможения. Новых идей нет, зато есть старые идейные разногласия. Одни за Россию без большевиков, другие кричат, что большевиков в России уже не осталось, зато остался НКВД, и это еще хуже. Эти двое внизу, господа русские, тоже небось уже таскают друг друга за лацканы. Характерно, что немцы пока их не трогают. Большая политика! Как вы находите? (*Пауза.*) Наших-то болтунов они поприжали. Закрыли две газеты: крайне левую и крайне правую. Взяли нескольких демагогов и дали им возможность поработать не только языком и на благо не только отечества. Посмотрите, что из этого вышло: вместо инфляции и разрухи у нас теперь твердый порядок и твердые цены. Все довольны, а более всех господа русские. Я говорю, почему бы им не вернуться в Россию? Пусть докажут свою любовь к твердому порядку. Не хотят. Я так думаю: кто привык работать языком, работать руками уже не станет. (*Пауза.*) Да, я все забываю вас спросить: что вы ответили жене? То есть я разумею, что вы написали в ответ на ее последнее письмо? (*Пауза.*) Ведь вы получили письмо, не так ли? (*Пауза.*) Припомните, позавчера вы получили письмо. Как вам известно, мы ведем учет корреспонденции, поступающей нашим клиентам. Я хочу ознакомиться с текстом письма. (*Пауза.*) Надеюсь, вы не забыли наш уговор? Я должен знать о вас все. (*Пауза.*) Если вам неприятно, перескажите

содержание письма своими словами. (Пауза.) Мне очень не хочется делать вам замечания, но как медик вы должны пойти навстречу своему коллеге, который честно пытается выполнить свой профессиональный долг. (Пауза.) Вы не могли бы сказать мне, где находится сейчас письмо вашей жены? (Пауза.) Н-да, и психолог вы тоже неважный. Оно находится в кармане моего халата. Вот оно. С радостью возвращаю его вам. Конечно же, это копия. Никаких чудес. Прошу вас только, если вы по рассеянности бросите в камин и ее, не отчаивайтесь: вторая копия уже подшита к истории вашей болезни. Итак, поговорим о вас и вашей жене. (Пауза.) Прошу простить мне мою назойливость, но если мы не вскроем в вашем подсознании этот психический гнойник, о коренном улучшении вашего состояния не может быть и речи. Вы уже говорили мне, что обстоятельства отъезда вашей жены были вам подозрительны, телеграмму вы назвали фальшивкой, сообщение о болезни ее сына — неуклюжей выдумкой, одним словом, вы настаиваете, что ее попросту заманили в Советский Союз и сделали заложницей вашего возвращения. Я ничего не путаю? (Пауза.) Хорошо. В своем последнем письме ваша жена пишет, что операция, сделанная сыну, прошла успешно и он поправляется. Что вы скажете на это? (Пауза.) Ведь вы верите вашей жене? (Пауза.) Она сообщает, что подала заявление, ее обнадежили, обещали помочь, и если не к концу этого месяца, то к началу следующего паспорт будет у нее на руках. (Пауза.) Н-да... вы тонкий человек. Ее подвел почерк. В предыдущих письмах он был почти каллиграфический. Напрасно вы сожгли письмо. В молодости я увлекался графологией. Вы правильно рассудили, что формально, с точки зрения соответствующей организации, ей незачем ехать к вам. Отвезти сюда она вас отвезла — и вернулась, неважно, желая того или нет. Ее миссия окончена. Вы остались здесь, под нашим неусыпным контролем, ваши дела идут на поправку, и когда вы выпишетесь отсюда, вам уже не понадобятся провожатые, чтобы добраться домой. В крайнем случае к вам можно будет приставить одного-двух агентов, просто так, чтобы вы не шалили в дороге. Вы же писатель, кто его знает, что вам придет в голову? Сбежите и отправитесь колесить по Европе, где вас тогда искать? Нет, вам нужно домой. Там вас ждут жена, друзья, театры, рукописи, успех. Но вот вопрос: а хотите ли вы вернуться? (Пауза.) На этот вопрос я вынужден ответить... положительно. Вы хотите вернуться. (Пауза.) Какой у вас злой огонек в глазах. Думаете, я ошибаюсь? Но простите, что вам здесь делать, в нашей старой скучной Европе? Вы, советский писатель, возмужавший при Советской власти благодаря всем ее порокам и перегибам, вы не сможете здесь полноценно развиваться. Сатира под пером эмигранта превращается в пасквиль, лирика — в нытье, драма — в шарж. Для эмигранта вы слишком честны, чтобы быть писателем, и слишком интеллигентны, чтобы быть торгашом. Отчего вы решили, что погибнете в России? Все-таки многие писатели очень неплохо живут и там. Вы тоже, не слишком кривя душой, сможете протянуть не один десяток лет. Вы ведь молоды, вам еще нет и пятидесяти. Отчего же такое нежелание возвращаться? (Пауза.) Вас что, очень притесняли? Вам не давали работать? (Пауза.) Но ведь и здесь вы живете за оградой клиники, выполняете наш распорядок и, между нами, ничего не пишете. Я принес вам ручку, чернила, тетради — все, что вы просили. Вы не прикоснулись ни к чему. Отчего? Ваш мозг работает вхолостую. То есть он, конечно, производит всякие страхи, фантазии, вроде этого Черного Монаха, но эта работа разрушает вас, уничтожает вас как личность. Что за Черный Монах, отчего Черный Монах? Почему не, скажем, отец Николай из церкви Петра и Павла? По крайней мере, это живой и достойный человек и на хорошем счету у новой власти. Я уважаю право на исповедь, но исповедоваться галлюцинации?.. Избыток веры столь же губителен, как и ее недостаток. Исповедуйтесь лучше мне, я не духовное лицо, но также обязан хранить

тайну и по долгу службы должен знать о вас все. Мне интересно знать все о вас. У вас богатое подсознание. Я давно не встречал таких дремучих рефлексов. Даже вашему страху две тысячи лет. В этом вы типичный русский. Ведь вы готовы к смерти? Каждый русский готов к смерти — с самого рождения. В этом проявляется ваш национальный дух. (Пауза.) Вам придется умереть. Вы тонкий человек, вы понимаете, ничего другого вам не остается. Желю обязаны пустить к умирающему. И ее пустят. (Пауза.) Рано или... поздно. Согласитесь, это даже гуманно: избавить ее от необходимости облегчать ваши страдания, и, кроме того, ведь всегда остается надежда, что вы как-нибудь выкарабкаетесь? (Пауза.) Но допустим, она успела: вы еще живы, хотя и находитесь при смерти. Она рыдает, она снова с вами, жизнь снова прекрасна, и если бы не тягостная обязанность умереть... Не так ли? Но вы русский, и к тому же писатель, и потому видите в смерти нечто возвышенное, а не то, чем она есть на самом деле — всемирной заготовкой навоза. (Постепенно вдохновляясь.) И вот пока вы одухотворенно превращаетесь в навоз, а ваша жена продолжает рыдать, прихожу я и говорю такие слова: господин Булгаков, отчего вы были так слепы? У вас был друг, но вы его отвергли. Он протянул вам руку помощи, но вы ее оттолкнули. Отчего вы не сказали: «Доктор Кубик, я хочу умереть для всех, но воскреснуть для одной. Соедините наши жизни, помогите нашей любви, укажите нам выход!» И поскольку я в молодости увлекался поэзией, я ответил бы так: господин Булгаков, сказал бы я, вы покончите с собой. Вы выброситесь из окна. Вас собьет машина. Неважно — вы превратитесь в кровавое месиво. И тогда во всем мире будут только два человека, кто сможет опознать в этом месиве господина Булгакова, а не, скажем, переодетого староместского нищего. Но вы тонкий человек, вы понимаете, что месивом этим будет именно нищий. А вы? Под чужим именем, но со своей женой вы пойдете по миру. Путешествовать, я имею в виду. И я, доктор Кубик, готов вам в этом помочь. Каждый русский писатель выбирает между живым трупом и мертвыми душами. Делайте выбор, господин Булгаков, делайте ваш выбор.

Пауза. Входит Сиделка.

Сиделка. Dostavil se pan inspektor z lékařskej kontroli.

Доктор Кубик. Черт! Okamžite. Прошу меня простить. Nikoho sem ne pouštet. А вы крепкий орешек!

Выходит. Сиделка остается, наблюдает за действиями Булгакова. Тот разворачивает копию письма, перечитывает еще раз, аккуратно складывает и затем разрывает на мелкие кусочки. Роняет их на пол. Сиделка подходит и поднимает. В дверях позавывается голова Кушкина. Сиделка бросается наперерез.

Сиделка. Kam? Odcházte pryč! Tu lékařska kontrola.

Кушкин (назад). Николаша, он один, заходи, не стесняйся.

Входит Николаша.

Сиделка. Marš odsud!

Кушкин. Не ори, дура! Больному нужен покой!

Сиделка. Kvůli vam budou mít nepříjemnost.

Кушкин. Все равно не понимаю, что ты там лопочешь.

Сиделка. Пошел вон!

Кушкин. Так я и думал. Только после вас, мадам.

Подталкивает ее к двери.

Сиделка. Pan Bulgakov potrebuje odpočinek!

Кушкин. Очень хорошо. Отпочинек так отпочинек. Трое русских всегда отпочнут лучше, чем один.

Сиделка. Pan doktor rozkazal...

Кушкин (*вкладывая ей в руку кутюру*). Всего хорошего, пани...

Выставляет Сиделку за дверь. Поворачивается к Булгакову.

Дорогой Михаил Афанасьевич, здравствуйте! Вы нас не узнаете? Не отчаивайтесь! Зато мы о вас очень, очень слышаны. Позвольте представиться — ваши друзья.

Николаша. Ваши поклонники.

Кланяются.

Кушкин. Мы давно собирались зайти к вам, да вот как-то не приходилось.

Николаша. Не пускали нас.

Кушкин. Это неважно. Поговорим лучше о вас. Как ваше драгоценное здоровье? Поверьте, нам далеко не безразлична судьба российской словесности.

Булгаков (*мрачно*). Спасибо. Мне лучше.

Николаша. Это ужасно! Как же тогда вам было раньше!

Кушкин. Николаша, не мучь человека. Больному нужен покой.

Николаша немедленно достает бутылку.

Спрячь, болван. Я сказал — покой, а не отпочинек. (*После паузы.*) Нам далеко не безразлична судьба российской словесности.

Николаша. Александр Сергеевич, вы это уже говорили.

Кушкин. Разве? Не помню. Когда?

Булгаков. Но зато вы забыли представиться.

Кушкин. Разве? Николаша, мы что, не представились?

Николаша. Не помню, Александр Сергеевич. Когда?

Кушкин. Когда мы вошли, болван. Простите нас великодушно. (*Указывая на Николашу.*) Николай Моголь.

Николаша (*указывая на Кушкина*). Александр Кушкин.

Кланяются.

Кушкин. Как ваше драгоценное здоровье?

Николаша. Ему лучше, Александр Сергеевич.

Кушкин. Ну, тогда поговорим о литературе. Вы уже наладили контакты со здешними литераторами?

Булгаков. Не наладил и налаживать не собираюсь.

Кушкин. Как же это? Здесь много русских литераторов. Конечно, не Париж, но шуму не меньше.

Булгаков. Я устал от шума.

Николаша (*кивая*). Больному нужен покой.

Кушкин. Да, вы правы. Мы умеем производить шум. Иногда кажется, это все, что мы умеем производить.

Булгаков. Скажу больше: вы первые и, надеюсь, последние русские, с которыми я здесь общаюсь.

Кушкин. Это очень лестно для нас. Вы что же, собираетесь скоро вернуться в Россию?

Булгаков. Мне трудно об этом судить. С доктором Кубиком побеседуйте.

Николаша. Простите — чем побеседовать?!

Кушкин. Кубиком. Фамилия, болван. А беседовать будешь языком.

Николаша (*обиженно*). Не знаю я их языка.

Булгаков. Доктор Кубик блестяще владеет русским. Он учился в России.

Кушкин. Очень интересно. Обязательно побеседуем. Так, значит, и в издательства вы не обращались, и журналам ничего не предлагали?.. Прямо не верится.

Булгаков. Отчего же не верится? Я, видите ли, сижу в четырех стенах, под тщательным наблюдением медиков, даром что в Европе. Мне эта Европа даже в окно не видна — только деревья и забор, можете поглядеть. Газет мне не носят никаких, чтобы не волновать. Никого не пускают, по той же причине. Так что будьте покойны: мне отсюда некуда деться.

Кушкин. Спасибо. Вы нас очень утешили. Вы тоже будьте поспокойнее. Что вы так дергаетесь? Ведь, кажется, вам созданы все условия для отдыха?

Николаша. Доставать, Александр Сергеевич?

Кушкин. Погоди. Но, наверное, вы не об этом мечтали, когда ехали сюда? Дума-ли небось: Европа, Рим, Париж? Только с этим сложно сейчас: война, ничего не поде-лаешь. Вот когда немцы аннексируют Францию, вот тогда, Михаил Александрович...

Николаша. Афанасьевич.

Кушкин. Ах, да, простите, конечно — Афанасьевич. Это я — Александр. Александр Сергеевич Кушкин. (*Кланяется.*) Впрочем, мы уже знакомы.

Пауза.

Вот что, Михаил Афанасьевич, мы постараемся вам помочь. Вы передадите нам свою рукопись, а мы уж найдем способ ее опубликовать.

Булгаков (*побледнев*). Какую рукопись?..

Кушкин. Разумеется — вашего нового романа.

Булгаков. У меня нет никакой рукописи.

Кушкин. Это неправда, Михаил Афанасьевич, зачем вы лжете? У писателей всегда есть рукописи. У поэтов — поэмы, у драматургов — пьесы, у прозаиков — романы.

Булгаков. Я драматург.

Кушкин. Мы теряем время. Вы прозаик. Не отпирайтесь. У вас должен быть роман.

Булгаков. С кем?..

Кушкин. С вами. Здесь. Я оценил ваш каламбур.

Булгаков. Предположим на минуту, что вы правы...

Николаша. Он прав, он прав.

Булгаков. Безусловно, у меня есть рукописи. Что скрывать! Даже слишком мно-го рукописей. Я бы предпочел, чтоб они превратились в спектакли и книги. Но увы! Все они остались дома, в России. Мне незачем было везти их через границу. Во-пер-вых, это тяжело и опасно, а во-вторых, у меня есть все возможности... то есть это мое самое большое желание — увидеть их опубликованными в СССР.

Кушкин. И снова вы лжете. Писатели никогда не расстаются со своими рукописями.

Булгаков. Это чепуха, уверяю вас. Мне ли не знать!

Кушкин. И все-таки — рукопись романа...

Булгаков. Я не знаю, откуда вам это стало известно... но если вы имеете в виду тот набросок...

Николаша. Роман.

Булгаков. Набросок романа, который я читал двум-трем друзьям... я его уничтожил. Перед отъездом.

Кушкин. Слышишь, Николаша?

Николаша. Вы гений, Александр Сергееч!

Кушкин. Я — гений Александр Сергееч... Вот как бывает, Николаша: пишешь-пишешь, вынашиваешь, понимаете ли, замыслы, читаешь двум-трем друзьям, и вдруг — трах! — разонравилось, — бах! — уничтожил.

Николаша (*траурным голосом*). Российская словесность понесла еще одну тяжелую...

Кушкин. И как же вы его уничтожили?

Николаша. Жене на бигуди.

Булгаков. Я его сжег!!

Кушкин. Тише, тише! Какой вы нервный. Лечиться вам надо, вот что.

Николаша. Так он же в клинике, Александр Сергееч.

Кушкин. Сам знаю, болван. Я сказал — лечиться, а не от скуки с ума сходить. Доставай.

Николаша достает бутылку. Кушкин откупоривает.

Сжег! Прямо Гоголь и «Мертвые души». Пошлый жест, вы не находите?

Николаша. Это чепуха, уверяю вас.

Сиделка (*вбегая*). Hned odchazte! Jdou sem! Odchazte, prosim...

Кушкин (*не двигаясь*). Сядь, Николаша. Второй раз нас сюда не пустят.

Сиделка. Господа русские!.. Tak jste nerozumite! Vyházi mě!..

Николаша. Жалко паню.

Сиделка. Ach, je pozde, pozde... Alespon jste schovajte!..

Николаша. Прячьтесь, говорит.

Прячется. Кушкин, прихватив бутылку, лезет под кровать.

Кушкин. Какая нервная. Им тут всем лечиться надо.

Сиделка замирает у двери. Входят Инспектор и доктор Кубик.

Пауза.

Инспектор. Welche Diagnose hat er? (Какой диагноз?)

Доктор Кубик. Er hat die Nierensklerose und die Angsthysterie, Herr Doktor. (Склероз почек, истерия страха.)

Инспектор. Wer ist das? (Кто он?)

Доктор Кубик. Er ist ein russischen Schriftsteller, Herr Doktor. (Русский писатель.)

Инспектор (*улыбаясь*). Warum sind alle russischen Schriftsteller wahnsinnig? (Почему все русские писатели — сумасшедшие?)

Доктор Кубик. Nur der Wahnsinnige möchte Schriftsteller in Rußland werden, Herr Doktor. (Только сумасшедший может захотеть быть писателем в России.)

Смеются.

Инспектор (*подходит к кровати Булгакова*). Wie heißt du?

Доктор Кубик (*Булгакову*). Господин инспектор спрашивает, как тебя зовут? (*Пауза. Инспектору.*) Sein Name ist Bulgakov, Herr Doktor.

Инспектор. Wo und wann bist du geboren?

Доктор Кубик (*Булгакову*). Господин инспектор спрашивает, где и когда ты родился?

Булгаков (*кричит*). Laß mich in Ruhe! (Оставьте меня в покое!) (*Отворачивается.*)

Инспектор (*отходя*). Ausgezeichnetes Exemplar des Nervenkranken! (Прекрасный экземпляр неврастеника!)

Инспектор и доктор Кубик выходят. Сиделка, переведя дух, опрометью бросается вслед за ними. Николаша и Кушкин выбирают из своих укрытий, причём у последнего в руках бутылка и найденный им под кроватью чемоданчик. Его Кушкин кладет на стол и сверху на крышку ставит бутылку. Николаша достает стопочки. Булгаков, отвернувшись, неподвижно лежит на кровати.

Кушкин. Клистирная душонка! Вы слышали, что он сказал? Только сумасшедший может захотеть быть писателем в России! Ошибается, ошибается ваш доктор Кубик. Российские писатели — не сумасшедшие, а — кто, Николаша?

Николаша. Юродивые.

Кушкин (*разливая по стопочкам водку*). Правильно. Юродивые. Помните, у классика (*поет*): «Борис, а Борис... Мальчишки отняли копеечку... Вели зарезать их, как ты зарезал царевича...» Кто это сказал? Кто посмел обвинить своего государя? Гёте? Шекспир? Мольер? Нет — наш брат, юродивый! Взял и резанул правду-матку — в глаза. Но вы-то, вы-то, Михаил Афанасьевич, не юродивый и не сумасшедший? Вы не откажетесь выпить с нами?

Булгаков (*поворачиваясь*). Кто вы?

Николаша. Агенты НКВД.

Пауза. Булгаков поднимается и начинает застегивать пижаму.

Кушкин. Болван! Думай, с кем шутишь! (*С тревогой.*) Михаил Афанасьевич!

Николаша. Выпейте и забудьте. Хотите брудершафт?

Булгаков. Не хочу. Я ждал вас.

Кушкин. Сядьте! Вы ждали не нас. Но лучше мы, чем те, кого вы ждали. Когда я сидел под кроватью, я там обнаружил эту забавную вещицу. Этот чемоданчик. Николаша, тебе знаком такой чемоданчик?

Николаша. Нет, Александр Сергеевич.

Кушкин. Плохой ты писатель, Николаша. А хорошие писатели хранят в них свои рукописи. Поэты хранят в них поэмы, драматурги — пьесы, а прозаики — что?

Николаша. Наброски романов.

Булгаков. Там ничего нет.

Кушкин. Однако — тяжелый.

Булгаков. Там мои вещи.

Кушкин. А давайте откроем.

Булгаков. С какой стати?

Кушкин. Просто — проверим.

Булгаков. Сейчас закричу.

Кушкин. Караул, грабят? Не стоит. Вы же не любите шума. К тому же могут прибежать не те, кого вы захотите видеть. Открывайте.

Булгаков. Зачем вам роман?

Кушкин. Профессия, понимаете... Ведь я — литературный критик.

Николаша. Александру Сергеичу далеко не безразлична судьба российской словесности.

Кушкин. На вас можно делать большие деньги. Писатель — еще одна жертва кровавого режима.

Булгаков. Я не жертва кровавого режима...

Кушкин. Понадобится жертва — будете жертвой.

Николаша. От сумы да от тюрьмы...

Кушкин. Открывайте!

Булгаков. Там ничего нет!

Кушкин. Экий вы упорный. Николаша, дружок, поделись с Михаилом Афанасьевичем своими наблюдениями.

Николаша. И о серых рассказать?

Кушкин. Именно о серых и расскажи.

Николаша. Ну, что. Приходили двое. Серые, в плащах и шляпах. Сюда, вниз, в клинику. Очень они вами интересовались, Михаил Афанасьевич. Ну, прямо всем интересовались: как спите, как едите, как чувствуете, с кем видите. Кому пишите. Что пишете. Ну, словом, всем. А я рядом стоял, тоже как бы справки наводил. Не о вас, конечно. Потом они ушли. Это вчера было, в шестом часу.

Кушкин. Николаша, ты не сказал, может, это и не русские были вовсе?

Николаша. Как же не русские? Они по-немецки говорили, но иногда такое по-русски вставляли, что я прямо краснел. Мысленно, конечно, в целях конспирации.

Кушкин. Вот. Помните, Михаил Афанасьевич, как у Гоголя? Пришли две серые крысы, понюхали и ушли. Очень нехороший знак. А тут еще мы к вам влезли, что будет, если они узнают? Прощай, Европа, прощай, воздух свободы, и, может быть, прощай, жизнь. Что вы нам тут говорили, кто знает? Передавали нам рукопись или нет? Не проверить. А ну как появится в одной из здешних газеток статья за вашей подписью? Николаша, продажная душа, уж приложит весь свой крохотный талант и напишет этакое хлесткое, булгаковское — о Стране Советов или, наоборот — панегирик Западу. Да, я думаю, они и не станут анализировать особенности стиля? Одной фамилии хватит.

Булгаков. Глупый, бездарный шантаж. Нет у меня ничего. А если б и было — все равно бы не дал. Как вы могли рассчитывать, что я доверю свой роман, свою судьбу, судьбу моих близких — незнакомым мне людям?..

Кушкин. Ну почему незнакомым. Николаша, мы что, не представились?

Николаша. Два раза, Александр Сергеевич.

Кушкин. Мы можем расписку написать.

Николаша. Залог оставить. Вот часы, серебряные, царские, швейцарские.

Кушкин. Может, он нас просто унижает?

Николаша. Пить с нами отказался.

Кушкин. Может, он и не Булгаков вовсе?

Николаша. Однофамилец.

Кушкин. И не писатель?

Николаша. Шпик!

Кушкин. И не русский?

Николаша. Убью гада!!

Бросается на Булгакова и хватает его в охапку. Кушкин открывает чемоданчик и роется в нем.

Кушкин. Пикнешь — придушим: время сейчас тревожное, военное, одним сумасшедшим больше, одним меньше...

Николаша. Он, кажется, копыта откинул.

Кушкин. Нет здесь ничего. Вот сволочь.

Николаша. Может, и правда нет?

Кушкин. Может, и правда.

Николаша. Еще поищем?

Кушкин. Хватит. Это уже не наша забота. Прикрой его. Посуду забери.

Николаша. Может, стукнуть разок?

Кушкин. Пошли, болван. Им другие займутся.

Николаша. А попрощаться?

Кушкин. Китайские церемонии. Прощайте, Михаил Афанасьевич. Эти минуты общения с вами навсегда запечатлятся в нашей памяти.

Николаша. Вечная память.

Исчезают. Постепенно Булгаков приходит в себя. С трудом поднимается с кровати, подбирается к чемодану и... достает оттуда тетради романа. Перелистывает. Позади него от стены отделяется Черный Монах. Он приближается в приливах и отливах света. Спohватившись, Булгаков захлопывает тетрадь и оборачивается, закрывая собой стол. Пауза.

Булгаков. Тебя ли я вижу, любезный синьор Кихано? Или это снова все тот же сон? Если ты наяву, ты принес мне одну вещичку: мы о ней говорили.

Черный Монах протягивает ему пистолет.

Спасибо.

Кладет его на подушку.

Тогда у меня к тебе просьба. Исполни, прошу тебя. Возьми эти тетради и спрячь. Сохрани их. Скоро сюда приедет моя жена. Передашь их ей. Она знает, как поступить. Ну, а если не приедет... если не приедет — все сожги. Так я хочу. А теперь — оставь меня одного. Уходи. И не забудь...

Ложится. Черный Монах не уходит. Пауза.

Я все думал. Доктор Кубик прав — это судьба. Я должен выйти из игры. Нынче пошла другая игра, не человечья, и как я ни поступи — все равно проиграл. Убить себя — грех и дорога в ад, но и жить в земном аду — грех. Изнемог я, Господи. Ужас не в том, что мы САМИ должны выбирать: умереть — или жить, примирившись с насильем и злом. Умереть или жить — выбрать смерть души или тела — выбрать любое из самоубийств — разве это не дьявольская издевка? Эта власть не от Бога. Она беспощадна ко всем, даже к слугам своим, и никто не свободен от выбора. Подай мне черную тетрадь. Я прочту тебе несколько строк.

Черный Монах подает ему тетрадь и садится в изголовье.

(Читает.) «„Ах, подлец, что вытворяет“, — вздрагивал Коротков, глядя, как на желтом песке арены человек-змея закидывает ногу за голову. Но это было только начало. Продолжение изумило и потрясло зрителей. Двое служителей вынесли на

арену пустой стеклянный ящик кубической формы, маленький, не более фута в высоту, и поставили на возвышение. Мелким горохом посыпал из-под купола барабан. Человека-змею, сложенного в три погибели, подняли, понесли и затолкали в стеклянный куб. Звякнула крышка. „Ап!“ — страшным голосом прокричал шпрыхстальмейстер, так что сердце Короткова ерзнуло куда-то вбок. Он ясно увидел напряженное, приплюснутое к стеклу лицо, с пяткой вместо уха, неестественно вывернутую руку, дважды переломленный хребет, и в это мгновение ему наяву приснился кошмарный и призрачный сон.

Опускает тетрадь. В дверях незаметно появляется доктор Кубик.

Ему снилась широкая площадь, вся вымощенная стеклянными кубиками, в каждом из которых был заключен человек. С четырех сторон возвышалась стеклянная стена, и оттуда смотрели налитыми кровью глазами люди-кубики. Коротков поднял голову вверх, и увидел квадратное хрустальное небо и в нем огромного скорченного божищу, и закричал...»

Доктор Кубик. Bravo, господин Булгаков! Решили осчастливить нас новым творением? В добрый час. Жаль только, что мне уже не придется с ним ознакомиться. Вынужден вас огорчить. Вы произвели крайне неблагоприятное впечатление на господина инспектора. Он сказал: «Пусть Россия сама лечит своих сумасшедших».

Сиделка (*появляясь в дверях*). Господин Булгаков, к вам двое господ русских вояков... военных. Им потребно видеть вас.

Затмение. Перестук колес. Конец видениям.

ЭПИЛОГ

Купе. Вечер. Дверь в коридор приоткрыта. Сидящий Черный Монах превратился в Елену Сергеевну. Булгаков лежит в той же позе, что и в конце пролога.

Елена Сергеевна. Ты спал?

Булгаков. Не знаю. Я что-нибудь говорил во сне?

Елена Сергеевна. Нет. Ничего.

Булгаков. Сегодня многим приснятся странные сны.

Разносчица (*из коридора*). Готовые ужины, чай, какао, кондитерские изделия. (*Появляясь в дверях*.) Не угодно ли... (*Узнает*.) Сию минуту...

Елена Сергеевна. Как твои глаза?

Булгаков. Лучше.

Перестук колес замедляется.

Елена Сергеевна (*глядя в окно*). Какая-то станция.

Проводник (*проходя мимо дверей*). Тула, граждане, стоянка десять минут, Тула, граждане...

Удаляется.

Булгаков. Люся. Мы должны возвращаться. В Москву. Ты не обижаешься?

Елена Сергеевна. Ну что ты! Конечно, нет. Возвращаться так возвращаться.

Быстро собираются и выходят. Закрывают за собой двери. Некоторое время тишина, затем — нарастающий стук колес.

АЛЬБОМ ИСТОРИИ

Элегантные стальные рыцари
щеголевато поблескивающие на вечернем солнце
мрачные монахи
отгесняемые пестрой толпой придворных к миру теней
и король
шелковый размягченный величием
восседающий на дорогостоящем троне
вокруг которого мельчат в движениях и мыслях
упоительные вельможи
суетливо меняющиеся местами
хотя
требуется застыть для художественного снимка
обмакнуть палец в слюну
и нехотя открыть следующую страницу Истории
исписанную нервным почерком Нового Времени
с бунтарским порывом на полях
оторвавшим несколько последних строк
чтобы подарить их голосистому будущему
где уже расположились для начала любовной игры
энергичные кариатиды кубизма
и свисают из-за цветастого занавеса Революции
увесистые футуристские кулаки.

ЭПИЗОД

Николаю Исаеву

Жадно кинулся в дверь
но не смог
растерялся
шумела зеленая штора за ним
как осиновый плач бездорожья
и тщетно тянулся
как жалобный писк
одиноким звоном

Сергей Николаевич Носов родился в Ленинграде в 1956 году. Историк, филолог, эссеист, литературный критик и поэт. Доктор филологических наук и кандидат исторических наук. Автор большого числа работ по истории русской мысли и литературы. Публиковал произведения разных жанров в журналах «Звезда», «Новый мир», «Нева», «Север», «Новый журнал», в литературном приложении к парижской газете «Русская мысль» и др. изданиях. Стихи впервые опубликовал в ленинградском самиздатском журнале «Часы» в 1980-е годы. В официальную печать попал как поэт в годы горбачевской «перестройки». Входил со своими стихами в «Антологию русского верлибра» и «Антологию русского лиризма», публиковал стихи в альманахах «Истоки», «Петрополь», в «Новом журнале» и ряде др. изданий. Живет в Санкт-Петербурге.

из придавленной кнопки
в квартирную мякоть
а после
вышло злое лицо на помятых ногах
застеснялось при свете игривых улыбок
и тихо
волоча подбородок по полу
сбежало
как сбегает у старенькой бабушки все молоко
у скупого хозяина — тощая злая собака.

ПОЭЗИЯ ЛЕТА

В желтой обложке полдня
возгласами разбросана поэзия лета
мелодия знойного солнца
покой тропинки вдоль побережья
и ровное дыхание волн
теплых и усталых
раскидывающих седые волосы пены
по песку
истоптанному босыми ногами.

В красной обложке заката
завернут слабеющий крик уходящего дня
как гудок теплохода
который так медленно тает
за дамбой
уже миновал и маяк
одиноко мерцающий в сонном молчанье.

В черной обложке ночи
рассыпаны бисером мелким огни
проводившие в темень шоссе
одиноко горящие в окнах
и создавшие чудом
безумную россыпь созвездий
на обнаженном безоблачном небе.

* * *

Пыль стареет
слипаясь в темных углах
в серую массу
ноги стирают паркет до шершавости
а стекла окон кажутся разбитыми жадными взглядами
за окнами видна только вода
темная глиняная вода реки
с тяжелыми берегами из камня
и открытыми ртами мостов
которые скоро спрячет во тьму

ватное одеяло ночи
засыпанное порошком огней
тихо безлюдно
при выходе
тяжелая дверь шепчет что-то невнятное
ветер хватается за шапку
и холодная рука уходящего солнца
машинально устанавливает за спиной тень.

* * *

Мы были рады
это странно
небо
затянутым казалось сетью звезд
которые усердно разгорались
по мере сил
несчастные огни
сопротивлялись продвижению ночи
по улицам
и было так легко
так славно окунаться в неподвижность
вошедшую когда пробило час
час ночи
несущественная сырость
небрежность силуэтов
и дома
давно запечатлевшие покорность
всем обликом
скамья фонарь
цветы
в полузаросшей клумбе безымянны
и сладостно коснуться тишины.

* * *

О. М.

Осень приходит
как светлое чувство
прохладой
скользящей как призрак
в тени пожелтевшей аллеи
пустынного парка
где нет никого
кроме сгорбленной памяти
утром сменившей
портрет постаревшей мечты
с голубыми глазами
и фигурку Амура
на розовой тумбе
с тяжелой и острой стрелой.

* * *

Телесная мякоть и бант желторотого счастья
и жизнь соразмерная хрупким желаньям
из хрусталя и фарфора
подобны
игровому моменту
в истории гномов надежды
завязавших шнурки на тяжелых ботинках эпохи
прошагавшей по всем пустырям до музея
где за толстым стеклом башмаки и сегодня стоят
в жирном мареве масляных взглядов
мутнея.

* * *

Хлопнули дверью мечты
и ушли
а надежды закрыли глаза
и заснули
и судьба наклонилась
до самой земли
словно ветка
которую ветры согнули
но я был и останусь
таким же простым
пусть уходят насмешки
как лишние люди
и пусть день остается
таким же пустым
я ведь знаю
что что-то хорошее будет.

* * *

Огарок солнца
не заменит свечи
которых здесь
поставлено так мало
в плену у забвения
остался вечер
на мятой простыни
под старым одеялом
и все ушли
оставив только тени
молчание
застыло в коридоре
и жизнь безмолвно
встала на колени
перед иконой
постарев от горя.

Алексей КОЗЫРЕВ

ДРУЖОК@RU

Киноповесть-пародия

— Неужели закончилась моя собачья жизнь?! Похоже на то! Повезло мне! Спасибо бабушке-потаскухе, царство ей небесное! Тут явно без спаниеля не обошлось. Зато вот прописался в квартирке этой. Хорошая такая квартирка. Дом кирпичный. Не какой-то там блочный. Спутниковая тарелка на сто с лишним каналов. Качество HD. С кабельным не сравнить. И район престижный. Центр, Эрмитаж в шаговой доступности. А главное, конечно, хозяин! Сидит вот рядом в кресле. Блаженствует. Кофе свое потягивает. Он без кофе вообще жить не может. Никак только не пойму, чего он в нем нашел? То ли дело, скажем, овсянка или, что еще круче, остатки борща, коими меня охранники на автостоянке кормили. Но никак не кофе! Так, чего-то он сказать мне хочет. Нет, это он просто поет: «Помнишь ли ты?» Он всегда эту муть поет.

- «Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье...»
- Слышите? Голос вроде приятный, с хрипотцой такой, а вот что касается мотива, откровенно фальшивит. Слуха ноль!
- Ну-с, Дружочек мой?
- Вот это уже ко мне.
- Как чувствует себя ваше драгоценное собачье сердце? Соболаговолите-ка лапку.
- У-у-у, сейчас пульс мерить будет. Впрочем, пусть мерит. Это все-таки не клизма.
- Раз, два, три, четыре... прекрасный пульс. Что же, к сердцу вашему претензий нет! Молодец! Хороший пес!
- Похвалил, профессор, значит. А я ему в ответ поскулю «у-у-у» и хвостом повиляю. Вроде как спасибо! Вот так! Но, если честно, на сердце вы особо-то и не жаловались. Собачье сердце, оно крепкое! А вот голова, особенно после сна, дурная. И давит как-то.
- Голова, наверное, побаливает? — голос хозяина профессионально заботлив. — Но что же вы хотите, милейший? Всего две недели после операции. Придется потерпеть. Моя, кстати, тоже раскалывается. Но тут я сам виноват. Знал же, что русская лучше, так нет, изволил вчера финской принять... этак грамм шестьсот, не меньше.
- У-у-у-у, как не болеть?
- Хватит скулить. «Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье...» А ты мне, Дружище, таким больше нравишься. Честное слово, больше «остались лишь воспомина- нья, все прошло, и нет любви».
- У-у-у, каким это таким? О чем он?
- Наверное, и не помнишь ничего. А, бедолага?

Алексей Сергеевич Козырев родился в 1944 году в Ленинграде, писатель, драматург, сценарист и общественный деятель, председатель Комиссии по вопросам помилования на территории Санкт-Петербурга. Член Союза российских писателей.

— У-у-у, намеки какие-то! Плюс башка вся исполосованная. Зачем, спрашивается? Да ладно, это до свадьбы заживет. А вот чего было, недурно и вспомнить.

— Вспоминай, Дружок, вспоминай. Закрывай глаза и вспоминай. Напряги свои собачачьи мозги. Если еще остались! «Помнишь ли ты?»

В отдалении глухо пробили часы. Вроде бы девять раз. Громко зажужжала муха. На секунду завывание ветра и шум метели. Затем снова муха.

— У-у-у, звуки знакомые, но нет, не вспомнить! Впрочем, глаза можно и закрыть. Не жалко. Ну и что в результате? Темнота! И опять звуки всякие: «Помнишь ли ты...», завывание ветра, шум метели, пьяные голоса: «Отдай стакан! Я тебе покажу, гнида...», обрывки телерекламы, музыка — вперемешку «Собачий вальс», Гарик Сукачев: «Трубку курит бабушка моя...» и снова «Собачий вальс». У-у-у-у. Вот что-то и из темноты появляться начало. Наплывать как-то. Мрачная подворотня, грязный бак, доверху наполненный мусором. Знакомый до боли пейзаж. Сквозь подворотню видна столь же мрачная улица со снующими по ней автомобилями. Иногда прорывается через пелену снега большой телеэкран с рекламой Газпрома. У-у-у-у-у! Как холодно! Пропал я, пропал! Никогда себе не прощу, что за этой драной кошкой погнался. Неделию потом автостоянку свою искал, но все бесполезно. Заблудился! Район незнакомый. Табличек на домах нет. Снег не убирают, а тут еще мороз под тридцать! У-у! Холод просто собачий! Помру я здесь, прямо у помойки. И всё! Но! Но! Но ведь не помер! Жив! Что-то, знать, случилось. А что? Ага! Вот началось и нечто конкретное вырисовываться. Какая-то крутая иномарка к моей подворотне подъехала. Скрип тормозов, стук открываемой двери. Из иномарки вышел мужчина в шубе и, посмотрев по сторонам, двинулся напрямик ко мне! У-у-у-у-у! Чел такой интеллигентный! В очках! Не то что эти охранники, днями и ночами лакающие паленую водку. Под телевизор! А закусывали чем? Даже до поганого «Вискаса» доходило. Вонючка потом от них! А от этого чем-то вкусным тащит и давно забытым. Что же это такое?! «Пе-ди-гри!» «Лучший корм для ваших любимых питомцев». Точно, чую, в левом кармане у него пакетик с «Педигри». Отдайте его мне! А? Зачем вам эти подушечки из сушеной свинины с соевыми добавками и жирами животного происхождения. Для чего вам эта гадость? Все равно жрать не будете!

— Хорошо скулить. На, ешь!

— На!!! Ешь!!! Эти слова моего будущего хозяина я запомнил на всю жизнь. Целую ваши угги! Еще! Очень надо еще!

— Разрешите вас пощупать?

— У-у-у! Чего это он меня за живот трогает. Извращенец, может быть? Что он такое говорит? Ага! Говорит, что я мальчик. Это и без него известно, что мальчик. Не сука ведь, не приведи господь! Говорит, что я голодный, значит, ничей. А ему, мол, как раз мальчика, да еще ничейного, и надо. У-у-у! Подобных мужиков, не в ту сторону озабоченных, нынче хватает. Даже парады проводят. Но чтобы с собаками... ну, да ладно! Главное, чтобы в тепле и при харчах.

— Ступай за мной, — сказал да еще пальцами пощелкал и присвистнул.

— У-у-у! Да хоть на край света. И делайте там со мной, что хотите, хоть за самые интимные места трогайте!

— Пошли, Дружок!

— У-у-у! Я не ослышался? Он сказал: Дружок? Какой я к чертям собачим Дружок?! Дружок — это что-то домашнее, может, даже в наморднике ходит... с другой стороны, собака — дружок человека! Так вроде бы? Впрочем, разрешите лизнуть брючину?

— Пошли!

— Дальше вроде помню хорошо: шум заводимого мотора и голос Митяева из радиоприемника: «А с небес три дня порошит снежок. Как там без меня ты живешь

дружок?» Это он обо мне! Минут через десять, не больше, снова визг тормозов, хлопанье двери, шарканье шагов. Надо бы дорогу запомнить. Мало ли. Вот и парадное с лифтом, обитая серой тисненой кожей дверь в квартиру. Табличка «Профессор Симбирцев С. С.».

— Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье... в тихом сумраке ночей...

— У-у-у, как фальшивит, А может, и не извращенец он вовсе? Профессор, как-никак! Может, я ему просто по-человечески приглянулся... в тихом сумраке ночей. Все же есть что-то от спаниеля в моих генах. Спасибо бабушке моей потаскухе, царство ей небесное. Наверное, я еще и красивый! Точно, красивый! Вот и еще одно хлопанье дверей, яркая фотовспышка и женский голос: «Где же вы такого уroda нашли, Семен Семенович?» У-у-у! Как обидно! Кто же это? Что за женщина? Вспомнил: это Арина Родионовна Бюргерталь — ассистент моего нового хозяина. Я ей покажу — урод! Затем вроде был щелчок моих же челюстей и крик Бюргерталь: «А-а! Паршивец!»

* * *

Убранство кабинета профессора Симбирцева отличали благородство смешения стилей, изысканная рациональность и легкий беспорядок. Старинное массивное профессорское кресло ненавязчиво подчеркивало изящную современность письменного стола с компьютерной стойкой, между двух окон разместились типично больничные стеклянные шкафы-стеллажи, напротив двери от пола до самого потолка возвышалось мутное зеркало, в углу пара стульев, пластиковая белая ширма и умывальник. На стене два портрета в бронзовых рамках. На одном изображен президент Путин, на другом — хозяин кабинета профессор Симбирцев, в кресле с чашечкой кофе. А вот и сам Семен Семенович. В том же кресле и с той же чашечкой кофе в руке. На стуле около белой ширмы что-то набирает на ноутбуке доктор Арина Родионовна Бюргерталь. Бросается в глаза ее перебинтованная правая нога. На бинтах следы зеленки и засохшей крови. В мути старинного зеркала отражается ножка профессорского кресла и лежащий рядом с ней тощий, со скомканными кудряшками рыжей шерсти, короткими лапами и куцым, вертикально торчащим хвостом беспородный пес. Нелепый, добрый и стеснительный.

— Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье... — слышится рассеянный и фальшивый голос Семена Семеновича, — Ты зачем, друг милейший, нашей Арине Родионовне ногу изувечил? А? Зачем монитор разбил?

Из-за кресла доносится жалобное «У-у-у».

— Что тебе плохого монитор сделал? Объясни, дурья башка!

— Еще какая дурья! — Арина Родионовна чуть приподнимает перебинтованную ногу. — Вот чего натворил! Как это вы еще справились с ним, Семен Семенович?

— Пряником, Арина Родионовна, только пряником. Никаких кнутов! Неважно, о ком мы говорим — о дворняге или человеке. Я категорически против всяких там ОМОНов с их «Масками-шоу», наручников, укладывания физиономией в асфальт, затаскивания в автобусы. Я купил этому прохвосту пакетики «Педигри» за сто семьдесят рублей двадцать копеек, и пес, уважаемая Арина Родионовна, мой. Весь, без остатка!

— Сто семьдесят рублей! — в голосе Бюргерталь звучит смесь обиды и удивления. — Да за такие деньги полкило «Останкинской» можно купить. Сами бы и съели. Неплохая закуска, кстати.

— Нельзя тащить в рот всякую гадость, Арина Родионовна. Тем более «Останкинскую» колбасу! И другую тоже... всех, кто скажет, что другая здесь равняется

с тобой... Сами подумайте по названию: из чего «Останкинскую делают». А? Подумали? То-то же!

Раздается звонок в дверь.

— Да-с, — Семен Семенович посмотрел на часы, — пора начинать прием. Арина Родионовна, дорогая, пригласите, это, наверное, сам Валентин Юрьевич.

Бюргерталь выходит из кабинета и вскоре возвращается со странным пациентом неопределенного, но явно не юного возраста. Вид уверенный, представительный. На мужчине серый костюм, голубая рубашка и синий галстук в крупный белый горошек. Все абсолютно то же, что и на улыбающемся из бронзовой рамы президенте Путине. Мужчина практически лыс, щеки и лоб в глубоких морщинах, но цвет лица неожиданно розовый, как у младенца.

Семен Семенович встречает странного пациента, усевшись за письменным столом и сразу сделавшись очень важным и внушительным. Из-за кресла слышен то ли испуганный, то ли удивленный визг разбуженного пса.

— Молчать! — следует строгий оклик профессора. — Простите, это я не вам, Валентин Юрьевич, это я моему псу! — голос уже мягкий, заботливый. — Прекрасно выглядим, голубчик! Честное слово, встретил бы на улице, не узнал! Впрочем, где уж вас, да на улице...

— Спасибо, — бормочет пациент, — вашими молитвами!

— Снимайте штаны, голубчик. Как наши успехи?

— Хе-хе! — конфузливо покашливает странный пациент. Взгляд его недвусмысленно направлен на Бюргерталь.

Профессор мгновенно улавливает намек.

— Арина Родионовна, я Валентином Юрьевичем один займусь, а вы пока, если вас, конечно, не затруднит, обзвоните все клиники и морги. Пора искать донора! Поговорите с патологоанатомами. Скажите, что от меня.

— Хорошо, Семен Семенович, — Арина Родионовна обиженно пожимает плечиками и не спеша покидает кабинет.

— Мы одни, профессор? — пациент начинает расстегивать змейку на брюках. — Это несказанно. С девяносто третьего года ничего подобного! Верите ли, профессор, каждый день с утра массажный салон «Дюймовочка» с голыми барышнями. Каждый день! Я восхищен. Вы волшебник.

Профессор внимательно всматривается в лицо гостя.

— Хм. Салон, говорите? Каждый день?

Пациент, совладав наконец со змейкой, снимает брюки. Под ними появляется теплое нижнее белье голубого цвета, расписанное узорами из синих кошек.

Незамедлительно из-за кресла раздается гавканье Дружка.

— Ай! — пугается пациент и роняет из кармана брюк несколько пакетиков с презервативами.

— Я тебя выпорю! — профессор грозит пальцем в сторону пса. — Вы уж, Валентин Юрьевич, его простите, кошек он не терпит.

Пациент, неловко подбирая с пола презервативы и густо краснея:

— Да, надо было со слониками одеть... или с рыбками.

— Вы, однако, смотрите, слоники... рыбки... Дюймовочки те же... не увлекайтесь!

Еще гуще краснея, пациент продолжает раздеваться.

— Я не увлек... я, дорогой профессор, только в виде эксперимента.

— Ну и что же? Каковы результаты эксперимента?

— Это потрясающе, профессор. Последний раз такое было на экономическом форуме в девяносто третьем. — Пациент собрал наконец все презервативы и начал стаскивать с себя кальсоны.

— Погодите, голубчик, — останавливает его профессор, — не будем нервировать пса. Чувствуете, какая у него реакция на кошек, а тут может случиться еще одно потрясение. Видели ногу Арины Родионовны?

— Не дай бог! Откусит еще к чертям собачьим, — восклицает пациент, прикрывая от испуга пах обеими руками.

— Вот и я говорю. Вся работа насмарку. Пройдемте, голубчик, за ширму. Кстати, а почему вы Бюргерталь так испугались? Она прекрасный специалист.

— Я не испугался, — вновь конфузится пациент, — но все-таки, профессор, лишние глаза, уши, тем более дамские... вы же знаете, профессор, какую должность я занимаю!

— Да уж знаю! Пост, прямо скажу, серьезный! Пойдемте.

Оба скрываются за ширмой. Вскоре на ней повисают снятые с пациента голубые кальсоны. С кошечками. Вновь слышится рычание пса.

— Ну что ж, мой дорогой Валентин Юрьевич, — доносится из-за ширмы голос профессора, — ствольные клетки семени козла прижились прекрасно. Все в полном порядке. Состояние, скажу вам, очень даже боевое. Воинствующее даже! Честно, я и сам не ожидал такого дивного результата. Пусть это был только сон... Одевайтесь, голубчик!

— Но какой дивный сон! — дребезжащим голосом подпекает пациент, появившись из-за ширмы. Вскоре, надев штаны, он вручает Семену Семеновичу пухлый конверт и благодарно жмет ему руку.

— Итак, Валентин Юрьевич, посмотримся еще разик, где-нибудь в понедельник или вторник, а потом пару месяцев можете не показываться. Но все-таки, мой дорогой, прошу вас, будьте осторожны.

— Не волнуйтесь! Вы волшебник, Семен Семенович! Если какие проблемы, номер телефона секретаря у вас есть. Звоните. Сами знаете, я решаю. Не последний человек в городе!

— Спасибо. Учту! — кивает головой профессор.

— Семен Семенович, вы правда волшебник! Заскочу на работу, а потом опять в салон... к моим девушкам! — последние слова пациента доносятся откуда-то со стороны коридора. Хлопает входная дверь.

— Вот уж точно — пусти козла в огород! — профессор вскрывает конверт и пересчитывает купюры. — Как улыбалось нам счастье... — берет со стола чашечку с кофе, в задумчивости отпивает пару глотков.

Появляется Бюргерталь.

— Ну что, Арина Родионовна, есть результаты?

— Пока нет, но будут. Предупредила все больницы и морги. Обещали помочь.

— Ничего, подождем. Да и песик наш перед операцией немного жирку поднаберет. — Профессор Симбирцев проводит холеной ручкой вдоль спины пса, от шеи до самого хвоста. — А то одни кости. Что там у нас с приемом на сегодня? Есть еще кто?

— Еще одна дама, Семен Семенович. На телевидении работает. Вот история. Но с возрастом тут она явно лукавит. Думаю, что где-то пятьдесят-пятьдесят пять.

— Зовите даму, док, разберемся.

Появляется явно взволнованная молодящаяся дама неопределенного возраста. Богато, но откровенно безвкусно одета. Лицо обильно покрыто макияжем.

Профессор встречает пациентку, прихлебывая кофе и очень строго переводя взгляд то на бумагу, то на даму. — Сударыня! Вы какого года выпуска?

— Я, профессор... Клянусь, если бы вы знали... это ужасно! Вы о каком выпуске? — Дама не ожидала такого хода событий и явно ступевалась.

— Лет вам сколько?

- Я, профессор, даже не знаю, что вам и сказать.
- Правду, сударыня, говорите! Ничего, кроме правды!
- Лицо дамы покрылось маленькими бисерками пота.
- Ну, скажем, сорок два.
- Дамочка! — взвизгивает Симбирцев. — Никаких — скажем, не скажем. Мы с вами договорились: правду, и только правду! Как на вашем телевидении.
- Грудь дамы вздыбилась, испуганно забегали глазки.
- Я вам одному, как корифею науки, как лучшему по профессии... Господи, что я говорю?
- Сколько вам лет?!
- Пятьдесят один! — корчась от ужаса, изрекает дама.
- Раздевайтесь до пояса, сударыня, — облегченно молвит Семен Семенович.
- Дама начинает стягивать с себя пестрый свитер.
- Дама, до пояса, но снизу. Опять же, как у вас на телевидении!
- Вы думаете, что именно, как на телевидении, профессор?
- Снимайте штаны, сударыня.
- Клянусь, профессор, — дрожащими пальцами расстегивая пояс, — я вам одному признаюсь, когда думаю о нем, просто потею...
- Профессор отходит к умывальнику, намыливает руки.
- Помнишь ли ты... Пройдемте-ка лучше за ширму.
- Богом клянусь! Профессор, но этот студент не может пропустить ни одной сокурсницы. Представляете, ни одной. Вообще.
- Студент? — искренне удивляется профессор, вытирая руки о бумажное полотенце.
- В том-то все и дело. Ведь он так патологически молод! — продолжая расстегивать какие-то пуговицы и крюпочки, дама скрывается за ширмой.
- Нацепив белые резиновые перчатки, за этой же ширмой пропадает и профессор.
- Я же сказал, снимайте штаны, — вновь раздается из-за ширмы команда профессора.
- Может, вы первый, профессор! Господи, что я говорю.
- Сударыня, чтобы этого я больше не слышал. Полностью снимайте. До конца.
- Как же тогда до конца, профессор? Господи, что я...
- Не задавайте лишних вопросов...
- Вскоре вся ширма увешивается многочисленными, порою малопонятными атрибутами дамского туалета. Через несколько минут оба выходят из-за ширмы. Дама полуодета. Прижимая ворох белья к груди, она с надеждой глядит на Семена Семеновича. Тот важно хмурится и садится за стол.
- Пожалуй, я вам, сударыня, имплантирую стволовые клетки из яичников молодой свиньи.
- Ах, профессор, неужели свиньи? — обреченно молвит дама. — Может, лучше, скажем, львицы... или тигрицы?
- Я специализируюсь на козлах и свиньях. В будущем еще на собаках. Так что никаких львиц, тигриц, кенгуру и прочего, — тон профессора непреклонен. — Вам подойдет, уж извините, только свинья!
- Хорошо, профессор, — бледнея, шепчет дама. — Свинья так свинья! Когда же операция?
- Помнишь ли ты... в понедельник. На какое время вы бы хотели?
- Спасибо, профессор. Вы душка! Когда вы меня осматриваете, я прямо вся потею! Господи, что я говорю!
- На какое время вас записать, сударыня?
- Профессор, если можно, когда меньше посетителей. Я лицо медийное. Да и мой студент не должен ничего знать!

— Ах да, студент! — вспоминает Семен Семенович. — Тогда понедельник, в три часа.

— Отлично, профессор! Спасибо вам! Вы вернули мне смысл половой... в смысле, смысл... не только половой... просто жизни... вернули... господи, что я говорю!

Запутавшись окончательно, дама покидает кабинет, не забыв кинуть томный взгляд на профессора.

Еще не стихли шаги дамы, как в кабинет вошла маленького роста голубая потертая дубленка. Из нее торчало кислое, лимонного оттенка лицо.

— Я к вам, профессор, по нижеследующему вопросу...

— Вы напрасно по нижеследующему вопросу ходите ко мне без сменной обуви, — перебил профессор. — Во-первых, у вас будут потеть ноги, а во-вторых, это просто антисанитария какая-то. Я ведь здесь больных принимаю.

Дубленка в изумлении уставилась на Семена Семеновича. Молчание длилось несколько секунд.

— И потом, — нарушил затянувшуюся паузу Симбирцев, — вы, извините, мужчина или женщина?

— Я не вижу разницы, профессор, — гордо ответила дубленка.

— Вот и я не вижу, — согласился профессор, — а хотелось бы.

— Я мужчина, профессор, и я пришел к вам...

— Хорошо, допустим, вы мужчина! Но кто вы и зачем пожаловали? Хотя бы представьтесь для начала.

— Я Шпindelь, я возглавляю ТСЖ этого дома. И вот я...

— ТСЖ — это что, новый телеканал такой? — вновь перебил Шпинделя Семен Семенович.

— Это товарищество собственников жилья.

— Не телевидение, значит, — облегченно вздохнул Семен Семенович, — и то хорошо! Итак, по какому делу вы ко мне пришли? Говорите быстро, я сейчас буду обедать.

— Я пришел к вам, профессор, после общего собрания жильцов дома, на котором был вынесен вопрос о проблемах эксплуатации...

— Что-то я не очень вас понимаю. В дальнейшем потрудитесь излагать ваши мысли яснее.

— Вы насмешничаете, профессор? — обиделся Шпindelь.

— Чтобы насмешничать, как вы изволили выразиться, надо хотя бы для этого время иметь. — Профессор демонстративно взглянул на часы. — А у меня его нет. Так кто же кого соблаговолил вынести и куда?

Шпindelь на минуту онемел, затем продолжил:

— Собрание соблаговолило вынести, тьфу, на собрании был вынесен вопрос об эксплуатации лифтового хозяйства нашего дома. Вы, профессор, проживая в доме, не платите за лифт.

— Помилуйте! — откровенно возмутился профессор, — За что же я должен платить? В доме десять этажей. Моя квартира на втором, где лифт вообще не останавливается. Вам известно, что там и дверей даже нет.

— Известно, профессор, но собрание собственников жилья пришло к заключению, что на самом деле вы проживаете в самой большой квартире в доме. Это во-первых...

— Не только проживаю, но и работаю, — лицо профессора нежно побагровело. — И что же, интересно знать, будет во-вторых?

— Во-вторых, как раз, профессор, о той самой работе. У ТСЖ есть мнение, что ваши многочисленные пациенты спокойно могут подняться на лифте на третий этаж, а потом пешком спуститься на второй. Согласитесь. Ведь могут, профессор?

Багровое лицо профессора начало интенсивно сереть.

— Кто-то может пешком подняться и на десятый, потом на лифте спуститься на шестой, а далее уже опять пешком двигать на второй. Но у меня не психиатрическая больница, у меня несколько иная специализация. Вам известна разница?

Шпиндель уверенно кивнул головой, давая понять, что разница ему известна.

— Скажите, профессор, а вы перевели квартиру в нежилой фонд?

— И не собираюсь, — молвил Семен Семенович каким-то грустным голосом. — Я ведь пока еще живу! Вот когда «нежилой» буду, тогда и переведу. Могу я идти обедать?

— Э-хе-хе, однако не слабо, профессор! Тем не менее собрание собственников жилья нашего дома просит вас незамедлительно погасить имеющуюся задолженность за пользование лифтом. Кстати, даже губернатор нашего города, как и вы, живет на втором этаже, но за лифт регулярно платит. На самом деле.

— Очень может быть, господин... как там вас... Шпиндель, если не ошибаюсь, что губернатор нашего города платит за лифт, на котором не ездит. Может быть... Но я не губернатор! Я категорически не буду платить за пользование тем, чем никогда не пользовался и пользоваться не собираюсь. Категорически! И передайте это вашему общему собранию! Всё! На самом деле!

— Тогда, профессор, к великому сожалению, ТСЖ будет вынуждено отключить вашу квартиру от электроэнергии.

— Отключить электричество? — профессор даже привстал в кресле от неожиданности.

— Что поделать, профессор. Вот протокол, — развил успех Шпиндель и вытащил из кармана какую-то бумагу.

— Ага, — голос профессора неожиданно зазвучал вежливо и даже учтиво, — одну минуточку.

Семен Семенович достал из кармана навороченный мобильный телефон. Запищали кнопки набираемого номера.

— Барышня, — уверенно начал профессор, — Валентина Юрьевича попросите, пожалуйста. Профессор Симбирцев. Считайте, что по личному. Валентин Юрьевич? Очень рад, что вы уже приехали. Валентин Юрьевич, ваш следующий осмотр у меня, увы, отменяется. Что? Да, и все остальные тоже. Не успели вы уйти, как ко мне пришел некий неустановленного пола паршивец в голубой дубленке и терроризировал меня в квартире с целью отключить ее от электричества...

— Позвольте, профессор... — Шпиндель явно не ожидал подобного подвоха от профессора.

— Извините, — совершенно не обращая на гостя внимания, продолжил профессор, — у меня нет возможности повторить все, что он говорил. Достаточно сказать, что он предложил мне ездить на лифте с пересадкой на третьем этаже и лечить пациентов при свете айфона. В таких условиях я не имею права работать. Поэтому я прекращаю деятельность в Питере и уезжаю в Москву. К Собянину. А вас пусть Шпиндель долечивает.

— Простите, профессор, но вы что-то не то говорите... — несмело молвил Шпиндель.

— Мне самому страшно неприятно, Валентин Юрьевич! Хорошо! Пусть это будет устное указание, важно, чтобы после него Шпиндель за километр обходил мою квартиру. Да, да. Пожалуйста. Ах, сами переговорите... Ну, это другое дело! Ага. Хорошо. Сейчас передаю трубку. Будьте любезны, — Семен Семенович змеиным голоском обратился к Шпинделю, — сейчас с вами немного поговорят.

— Прошу прощения, профессор, — совсем уж кисло прошептал Шпиндель, — но вы извратили все, что я вам сказал.

— Попрошу вас впредь воздерживаться от таких формулировок. Возьмите телефон.

Шпиндель растерянно берет мобильник из рук профессора.

— Я слушаю. Да... Председатель ТСЖ Шпиндель... Мы же действовали по закону... да, есть решение общего собрания жильцов дома. Но лифт сохраняет здоровье, берегите его... хорошо. То есть не хорошо! Понял, что плохо! Понял, что идиот. Понял, что диагноз. Понял, что Достоевский ни при чем. Нет, я не попугай. До свидания, Федор Михайлович. В смысле, Валентин Юрьевич...

Совершенно озадаченный Шпиндель возвращает телефон профессору.

— Не слабо, однако!

— Виноват, — неожиданно любезно говорит Симбирцев, — но теперь я могу обедать? Кстати, выход слева! На самом деле!

Шпиндель молча вышел из кабинета, бурча себе под нос: «Не слабо! Не слабо!»

Вскоре со стороны коридора послышался стук закрываемой за ним двери.

* * *

Столовая профессора Симбирцева большая и светлая. Посредине стеклянный с хромированными ножками обеденный стол, несколько обтянутых вишневой кожей стульев. У окна огромная плазменная панель. Напротив панели большой угловой диван, рядом элегантная барная стойка, заполненная десятками самых разнообразных бутылок и графинчиков. На столе два прибора, тарелки, рюмки, бутылки. Закуска не слишком разнообразная, но однозначно изысканная. Икра красная в стеклянной баночке, ломтики осетрины, соленые огурчики и блюдо с маленькими пирожками, таралетками и канапе. В кресле неподалеку от стола смотрит телевизор доктор Бюргерталь. Вошел раздосадованный профессор.

— Арина Родионовна, нижайшая к вам просьба, постарайтесь, чтобы господин Шпинделя больше в моей квартире не было.

— Хорошо, если он еще сюда явится, я спущу его с лестницы!

— А справитесь, Арина Родионовна?

— Не с такими справлялась! — уверенно ответила Бюргерталь.

— Тогда это будет лучший вариант! — отозвался профессор. — И скажите ему, что со мной согласовано. А теперь я предлагаю сделать телевизор тише и скромно отметить начало нашего эксперимента. Тем более что мне еще надо заглушить радость общения с этим прохвостом Шпинделем. Выпьем с горя, где же кружка, дорогая Арина Родионовна.

Бюргерталь подошла к телевизору, увлеченно демонстрирующему очередную рекламу, и уменьшила звук.

— Ну не такая уж я и старушка, профессор!

— Вы самая молодая и самая обольстительная, милая Арина Родионовна! Вам вина или водки?

— Разве что финскую попробую, — ответила Арина Родионовна.

— Арина Родионовна, дорогая моя, выпейте не скверной финской, а нашей, русской водки. Прислушайтесь к мнению профессионала.

— Но, Семен Семенович, все утверждают, что финская из «Дутика» очень даже приличная. Пьется легко, как сок, и запах черной смородины.

— А водка должна питься как водка, а не как сок, — глаза профессора Симбирцева загорелись, — и запах должен быть водочным, а не каким-то там смородиновым или лимонным. Тем более что, скажу вам, плодово-ягодным запахом Шпинделя не заглушить. И главное, Арина Родионовна, бог их знает, из чего наши добрые северные соседи там ее гонят? Для нас, кстати.

— Для нас? Из чего угодно, — уверенно молвила доктор Бюргерталь, наливая себе стакан пепси.

— И я того же мнения, — добавил профессор и, подойдя к барной стойке, извлек из нее пузатую бутылку.

— Вот «Путинка» чем не хороша? В сто раз лучше, чем от фиников! Я уж не говорю про «Зюгановку» или тем паче «Жириновку».

Семен Семенович разлил водку, крикнул и опрокинул залпом содержимое рюмки себе в горло. Бюргерталь, морщась, последовала его примеру, от чего закашлялась, затем быстро ухватила стакан пепси-колы.

— Арина Родионовна, умоляю вас: никакого пепси! Мгновенно вот эту тарталеточку с луком, перцем и собачьим сердцем...

— С чем-чем? — поперхнулась Арина Родионовна.

— Шучу! С луком, яйцом и анчоусом! И если вы скажете, что это плохо, можете больше со мной не разговаривать. «Нет, это был только сон, мне дорог он...»

Оба сосредоточенно закусывают.

— Ну и что, разве это плохо уважаемая, Арина Родионовна?

— Это несравненно, — искренне ответила Бюргерталь.

— Еще бы, — жуя, продолжил поучение Симбирцев. — Заметьте, Арина Родионовна: запивать водку пепси или чем-то там еще — удел мужиков, да еще и совсем уж среднего класса. Мало-мальски уважающая себя дама балует себя изысканными закусками. Не говоря уже о такой красавице, как вы!

— Вы уж скажете, — кокетливо повела плечиками Арина Родионовна.

— Друзжок, где ты там? — Семен Семенович взял с блюда одну тарталетку и сунул ее под стол. — Наголодался, бедняга! На, паршивец, оцени!

— У-у-у — благодарно отозвался пес.

— Есть, Арина Родионовна, и пить нужно уметь! — вновь веселый огонек загорелся в глазах профессора. — И можете мне поверить, российский народ этому абсолютно не обучен. Запихают на ночь водку в морозильник и пьют потом, густую, как гель для бритья. Ни вкуса не ощутить, ни запаха. Сверху еще селедкой промерзлой забрасывают, это у них для «согрева» называется. И сидят, ждут, когда там кайф придет. А он и не придет вовсе. Дурь придет, а кайф никогда!

— Вместе с дурью еще атрофический гастрит и язва двенадцатиперстной, — строго добавила Арина Родионовна.

— Это вы зря, док! — не поддержал коллегу профессор. — Никогда не говорите за обедом о медицине, если вы, конечно, заботитесь о своем пищеварении. А вам как женщине надо заботиться, ведь оно в первую очередь влияет на цвет лица. Никакие там кремы, лосьоны, маски и прочее. Поверьте мне! Только пищеварение! И, боже вас сохрани, не читайте до обеда независимой прессы.

— Да ведь независимой у нас и нет? — удивилась Бюргерталь.

— Вот никакой и не читайте, — подытожил разговор профессор, затем, резко развернувшись вместе с креслом в сторону телевизора, прислушался. — Господи, что это?

— Поют, похоже? — отозвалась Бюргерталь.

— Совсем даже не похоже, — снова не согласился с Бюргерталь профессор, — что это такое означает?

— Опять конкурс какой-то, Семен Семенович. Типа «Минуты славы» или как там его... «Битвы хоров».

— Опять! — искренне расстроился Семен Семенович. — Ну, теперь, стало быть, народ наш не остановишь. Вместо того чтобы работать, колоннами в конкурсы пойдет. Опять безработица, падение производства, инфляция...

— Может, вы излишне драматизируете ситуацию, Семен Семенович?

— Излишне?! — горестно воскликнул профессор. — Вспомните, до распада Союза были всякие там «Минуты славы», «Стань миллионером», «Танцы со звездами»? Не бы-ло! И все работали. А на честно заработанные деньги покупали еду и тащили ее домой, в семью, детям. А не как сейчас — Якубовичу на «Поле чудес». А какая еда была, Арина Родионовна. Какая закуска! Крабами я кота Барсика кормил. Черную икру столовыми ложками вместо каши ел. И никаких падений рубля, роста цен на бензин, сокращений, как там его... — Семен Семенович искал взглядом портрет Путина и, не найдя, продолжил: — ВВП. А посмотрите, Арина Родионовна, что с ЖКХ делается. Квитанции на ночь читать нельзя, хуже книги ужасов. Фу, зря о коммуналке заговорил. Сразу Шпиндель этот с лифтом вспомнился. Почему же все так плохо?! А? Доктор!

— Кризис, Семен Семенович. Мировой экономический кризис! Ну, и санкции, конечно. Нефть, вот ещё.

— «Мировая экономика», дорогая Арина Родионовна, — уверенно возразил Симбирцев, — и даже эти чертовы санкции с нефтью здесь совершенно ни при чем! Просто если я вместо того, чтобы оперировать, каждый вечер начну бегать на конкурсы и петь там хором, у меня наступит кризис. Если вместо государственных дел наши руководители в Кремле снова начнут считать промили и менять часовые пояса, в стране начнется кризис. Следовательно, кризис вовсе не в мировой экономике, а в головах. Справиться же с ним можно только одним способом: немедленно погнать с телеэкранов этих певцов! И вот когда эти скрипучие баритоны и визгливые альты прекратят свои кастинги да конкурсы, а наши высокие патроны свои эксперименты и все они начнут мести улицы, строить дома, печь хлеб, управлять экономикой, то есть займутся прямыми своими делами, кризис исчезнет сам собой.

Завершив речь, Семен Семенович налил очередную рюмку, даже забыв предложить даме, осушил ее до дна, затем поспешно посмотрел на часы.

— О, уже восьмой час. Ради бога, Арина Родионовна, — профессор указал пальцем на телевизор, — выключите эту дрянь и быстро вспомните, что у нас с вами сегодня? «Помнишь ли ты...»

— «Собака на сене»?!

— Не, на этот раз не собака. Сегодня в оперетте дают «Сильву». — Профессор даже причмокнул от предвкушения. — А я давно не слышал. Люблю... Помнишь ли ты та... та...та...та... Одевайтесь, Арина Родионовна. В темпе, в темпе!

— Одну минуту, Семен Семенович, корм только Дружку положу, — засуетилась Бюргерталь.

— На охоту ехать — собак кормить! Опаздываем же, Арина Родионовна. Хотя покормить, конечно же, надо! Пусть этот неунывающий дистрофик перед операцией жирок поднаберет...

* * *

Вернулся из театра Семен Семенович около полуночи в приподнятом настроении и со следами помады на левой щеке. Любимые мелодии Кальмана, близость локотка Арины Родионовны и триста пятьдесят «Камю» в антракте сделали свое дело. С еще большим, чем обычно, энтузиазмом напевая: «Помнишь ли ты...», он довольно долго елозил ладонью по стене, пока не нащупал выключатель. Вспыхнул свет, пение мгновенно прекратилось. На полу посреди кабинета валялся

разбитый вдребезги недавно купленный новый монитор. Рядом с ним из разломанной бронзовой рамы на профессора смотрели обиженные глаза президента России.

— Господи, что это? — Профессор сокрушенно покачал головой и подошел к торчащему из-за кресла купеческому хвосту. — Зачем же ты, свинтус, опять монитор расколотил? Он тебе что, мешал? Зачем ВВП угробил? Он же народом избран! Почти единогласно!

— У-у! — робко вильнул куцый рыжий хвост.

— При чем здесь «У-у»? По-моему, так у тебя просто с совестью проблемы. Вот утром подъедет Арина Родионовна, она и всыпает тебе по первое число, чтобы знал, как вещи порти... — Семен Семенович неожиданно замолк на полуслове, прислушавшись к скрипу входной двери, — ага, легка на помине!

Входит Бюргерталь с хромированным чемоданчиком в руке и, не раздеваясь, устремляется с ним к Семену Семеновичу.

— Что, неужели донор?! — оставив в покое трясущийся хвост, ожил профессор.

— Да, Семен Семенович, представляете, только от театра отъехала, позвонили. Свеженький! Два часа как умер.

— Скорей, скорей! Арина Родионовна, умоляю вас, скорей, скорей!

Будто подчеркивая важность момента, где-то в коридоре пробили часы. Ровно двенадцать раз. Как никогда, громко зажужжала муха и, смутившись собственно-го шума, затихла. Профессор и Бюргерталь быстро переодеваются в халаты. Арина Родионовна скрывается за дверью и вскоре вкатывает в кабинет узкий операционный стол. Семен Семенович вскрывает пакетик с влажной салфеткой, наспех обтирает руки. Второй такой же пакетик передает Бюргерталь.

— Скорее, Арина Родионовна. С вас наркоз, и побольше.

Протерев руки, Бюргерталь достает из недр стеклянного шкафа огромный шприц, вливает в него какую-то жидкость и ныряет с ним за кресло. Возня, вскрики, рычание пса, тяжелое дыхание и... тишина.

— Тащим его на стол, Арина Родионовна. И быстрее!

Профессор вместе с Бюргерталь выволакивают из-за кресла раскинувшего ноги пса и укладывают его на стол под яркий свет софита. Бюргерталь, тяжело дыша, машинкой стрижет ему голову. Тем временем Семен Семенович внимательно изучает содержимое хромированного чемоданчика.

— Итак, Арина Родионовна, на все про все у нас считанные минуты. Поэтомудействуем синхронно и строго по плану. Я надрежаю мошонку, вы мгновенно подаете вытяжку из придатков яичек донора. Затем вместе имплантируем ее в собачьи семенники. Второй этап — идем к гипофизу. Я аккуратно вскрываю собачий. У вас уже наготове донорская вытяжка. Затем имплантируем ее нашему Дружку. Не перепутайте. Где зеленая крышка, это вытяжка из ствольных клеток придатков яичек. Под красной крышкой вытяжка гипофиза. Подробности по ходу. В общем, как-то так! Главное, все делать мгновенно! Иначе эксперимент провалим и пса потеряем. Ну, как он там, спит?

— Крепко спит.

— Тогда, Арина Родионовна, еще по сто граммов за удачу и вперед на мины!

Не слишком твердой походкой Семен Семенович подходит к шкафу, извлекает из него бутылку и пару конфеток, разливает коньяк.

— За успех нашего эксперимента, Арина Родионовна!

— За вас, Семен Семенович! И чтобы не ниже Нобелевской! У нас тут непорядок маленький... — Бюргерталь кончиком салфетки превращает очертания губ на щеке шефа в бесформенное красное пятно.

Выпивают, закусывают конфетой. Семен Семенович смотрит на часы, затем поднимает вверх сжатую в кулак руку:

— Вперед! Арина Родионовна! С богом. Скальпель.

Профессор, взмахнув скальпелем, приступает к делу. Мельтешат инструменты, слышатся команды, светятся мониторы медицинских приборов. Бюргерталь открывает сверкающий хромом чемоданчик, наклоняется над ним и вскоре передает профессору покрытый инеем шприц. Еще пару минут мельканий ловких рук, и профессор Симбирцев, распрямившись над столом, рукавом халата обтирает капельки пота со лба:

— Готово! Стволовые клетки в семенниках. Можете зашивать! Что со временем?

— Двенадцать минут делали, — смотрит на часы Бюргерталь.

— Долго, док, очень долго! Ладно, поехали к гипофизу.

Бюргерталь выкатывает из-за шкафа нечто похожее на старенький сверлильный станок, выуживает из его чрева вибрирующий гибкий шланг и подает профессору. Раздаются визг и скрежет.

— Пульс резко падает. Мы его теряем, профессор!

— Адреналин в сердце.

Бюргерталь ломает ампулу с прозрачной жидкостью, втягивает ее в шприц и с размаху всаживает иглу в пса.

— Есть адреналин!

— Помнишь ли ты... Жаль пса, помрет ведь! Так, вот и гипофиз! Давайте, Арина Родионовна, вытяжку.

Бюргерталь вновь открывает хромированный чемоданчик, извлекает из него еще один дымящийся инеем шприц и подает его профессору. Семен Семенович бережно берет шприц в руку, задумчиво рассматривает его на свет.

— Хороший такой материалец! Свежий! Вот мы его сюда и присобачим. Именно присобачим! Ну что, пожалуй, и все! Как, док, оцените.

Бюргерталь внимательно изучает содеянное профессором, затем неожиданно озорно подмигивает ему и выразительно щелкает себе по щеке.

— Пожалуй, добавить бы надо, а, Семен Семенович!

— Ах, вы какая, Арина Родионовна! Не ожидал! В тихом омуте... ну что же можно и добавить. Дайте-ка контейнер, сам заберу, сколько надо.

И снова Бюргерталь наклоняется над сверкающим хромом чемоданчиком и подает профессору дымящийся контейнер. Семен Семенович деревянным шпателем извлекает из этого контейнера бесформенные кусочки какого-то студнеобразного вещества и аккуратно укладывает их в разрез черепа пса.

— Еще чуть-чуть. Вот и все! Зашивайте! Ну, как он там, док?

— Живой пока, Семен Семенович.

— Так, а что у нас приборы говорят? — взгляд профессора сосредоточен на показаниях светящегося кардиографа. — Давление упало. Трепетание пульса. Пожалуй, Арина Родионовна, включим дефибрилляцию. Не помешает. Хотя и вряд ли спасет.

Бюргерталь неуверенно, почти наугад нажимает на какую-то кнопку. Судя по всему, безрезультатно.

— Не включили, док! — высказывает сдержанное недовольство профессор. — Зеленая кнопка, зеленая, Арина Родионовна, драгоценная, что вы все на красную жмете. Вы что, дальтоник?

— Есть немного, — смущается Бюргерталь, — гаишники проклятые на мне озолотились! И когда только Путин за них возьмется?!

Невесело вздохнув, Бюргерталь продолжает манипулировать окровавленной иглой с ниткой над головой пса. Продолжая следить за показаниями приборов, Семен

Семенович машинально берет в руки крышку от контейнера, вздрагивает и принимается с удивлением рассматривать ее на свет. Крышка откровенно зеленого цвета.

— Это у нас какого цвета крышечка, Арина Родионовна? — ехидным голоском осведомляется профессор.

— Это у нас предположительно красненькая, Семен Семенович, — не ощущая подвоха, откликается Бюргерталь.

— Отличненько, Арина Родионовна! Красненькая крышечка, значит! Предположительно?! — криво улыбается профессор Симбирцев. — А вот где теперь какие придатки, предположить уже вряд ли кому удастся. Скорее всего, вытяжка из придатка мозга гипофиза попала в собачьи семенники, а вытяжка из придатков яичек, то есть эпидидимис, теперь как раз в мозгах нашего с вами Дружка. Отлично сработали, — Семен Семенович, хотя и старается не подавать вида, явно раздосадован.

— И что теперь будет? — робко шепчет Бюргерталь.

— А вот это, боюсь, мы с вами, Арина Родионовна, вряд ли узнаем, — устало хрипит Симбирцев. — Похоже, Дружок наш не жилец, с придатками, там, или без таковых! Сердечко собачье не ахти оказалось. Ладно, с кем не бывает! Тем не менее, Арина Родионовна, наблюдайте, наблюдайте и еще раз наблюдайте! Мало ли чего.

Бюргерталь берет со стола фотоаппарат. Вспышка освещает бездыханное тело пса на узкой металлической каталке. На мгновение в тусклых закатившихся глазах пса мелькает что-то крайне мутное и блеклое, прорезаемое яркими белыми вспышками. Как в ускоренном фильме, пролетают кадры из жизни Дружка: убегающая кошка, подворотня, надпись «Газпром», ноги в уггах, «Помнишь ли ты...», Путин...

* * *

Ноутбук доктора Арины Родионовны Бюргерталь.

Рабочий стол. Папка — «Профессор+». Файл — «Дружок.doc».

Заглавие — «Отчет к материалам на присвоение Нобелевской премии по науке за 2016 год».

Первые записи аккуратно набраны шрифтом Times New Roman (полужирный, размер 14), страницы пронумерованы слева вверху. При включении режима «проверка орфографии» ошибок практически нет.

В последних же записях царит полный хаос, путаница, смешение шрифтов, стилей и форматов. Экран пестрит красными волнистыми линиями, сигнализирующими об огромном количестве орфографических ошибок. Обращает на себя внимание неимоверное число восклицательных и вопросительных знаков огромных размеров. Запись заканчивается словами: «Этого не может быть! Полная чушь! Я в шоке! А-а-а! Кажется, мне плохо...»

Вот некоторые выдержки из файла «Дружок.doc»:

...впервые в мире произведена имплантация стволовых клеток мужских половых органов в гипофиз собаки. Одновременно в семенники той же собаки имплантированы человеческие стволовые клетки гипофиза мозга...

Вся проводимая работа — мирового значения эксперимент, потрясающий своей нестандартностью! Операцию осуществил профессор С. С. Симбирцев, ассистировала доктор А. Р. Бюргерталь.

Объект эксперимента — собака. Род мужской (кобель). Возраст около трех лет. Порода — дворняга. Цвет рыжий с черными подпалинами. Рост от холки 44 см, вес 23 кг, внутренние органы без патологий...

Донор материалов — скончавшийся за 2 часа 12 минут до операции Кочерыжкин Павел Иванович. 29 лет. Депутат муниципального образования №... Причина смерти — падение из окна девятого этажа в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Показание к операции: подготовка к использованию ревитилизированных стволовых клеток собаки в целях последующего регулирования сексуальных расстройств человека.

12 часов после операции.

Ожидание смертельного исхода. Состояние тяжелой комы. Остановка сердца. Электростимуляция. Адреналин, ламизил, сиалекс, биологические добавки — всё по Симбирцеву!

24 часа после операции.

Состояние комы. Угроза жизни крайне велика. Вновь падение пульса, мерцательная аритмия, остановка дыхания. Давление 60 на 40. Температура 42°. Непрямой массаж сердца, дефибриллятор, адреналин, терафлю, мезим, клизмы... всё по Симбирцеву.

36 часов после операции.

Состояние крайней тяжести. Вновь остановка сердца и дыхания. Дефибриллятор, искусственное дыхание «рот в пасть». Клизмы из отвара борщевика, спирт внутривенно, аликапс... всё по Симбирцеву.

48 часов после операции.

Состояние средней тяжести. Угроза жизни миновала. Пациент пропотел, зрачки реагируют. Наблюдалось действие желудка. Стул жидкий, обильный. Давление 220 на 127 (как у трансформатора). Пульс учащенный синусоидальный. Температура 37,7. Дыхание сиплое. Аспирин, ламизил форте, раствор карболена, три клизмы. Всё по Симбирцеву.

Третьи сутки после операции.

Состояние удовлетворительное. Пульс и давление в норме. Операционные раны в стадии заживления. Потребовал пищу. Компот из сухофруктов, бульон, овсяная каша, растворимая без остатка. Appetit хороший. Два раза стул. Сиалекс, массаж, клизма. Всё по Симбирцеву.

Четвертые сутки после операции.

Состояние удовлетворительное. Большой аппетит. Температура 36,6, пульс и дыхание в норме. При перевязке головы на бинтах обнаружено большое количество налипшей собачьей шерсти. Кроме лба, замечено интенсивное выпадение шерсти с боков, нижней части задних лап, верхней поверхности живота. Требуется консультация со специалистом кафедры кожных болезней.

Пятые сутки после операции.

Состояние хорошее. Начал приподниматься на кровати. Выпадение шерсти продолжается. Заметно увеличение черепа и удлинение нижних конечностей. В процессе постановки клизмы начал лаять. Правда, лай больше похож на какой-то стон. Вместо «гав, гав» звук «м-о», который вскоре превратился в отчетливое «М-о-ррр-п» и далее «Морп-заг», что, по мнению подошедшего профессора Симбирцева, означает «Газпром», если читать наоборот! Но! Но ведь этого не может быть! Полная чушь! Я в шоке! А-а-а! Кажется, мне плохо...

На этом запись в файле «Дружок.doc» обрывается.

* * *

Громадный профессиональный опыт Семена Семеновича, дополненный уникальными познаниями в области современной медицины, сделал свое дело. Не успел он помахать над головой Бюргерталь подвернувшимся под руки ковриком для мышки и пяти минут, как Арина Родионовна, пусть бледная и испуганная, но главное, что однозначно живая, уже достаточно уверенно сидела на полу, прислонившись к массивной ножке профессорского стола.

— Что со мной было, Семен Семенович? — голос слабый, почти шепот.

— У вас был глубокий обморок, — продолжая размахивать компьютерным аксессуаром, успокоил коллегу Симбирцев.

— С чего бы это? — испуганно поинтересовалась Бюргерталь.

— «Морпзаг», дорогая Арина Родионовна. Полагаю, что все дело в «Морпзаге»!

— Ах да... — от страха заморгала левым глазом Бюргерталь, — «Газпром», если читать наоборот?! Но этого же не может быть! Семен Семенович! Он же пес?

Судя по тени на белом полотне ширме, реакция пса на эти обидные для него слова доктора последовала незамедлительно. Пес приподнялся и уверенно сел на каталке. Над ширмой появилась его облезшая, с ключьями скатавшейся шерсти и дрябловатой кожей голова. Внимательно оглядевшись по сторонам, голова как бы улыбнулась, издевательски подмигнула Бюргерталь, затем отчетливо произнесла: «Морп-заг твою мать» — и, громко икнув, скрылась.

— Что-то чудовищ... — грустно произнес профессор Симбирцев и, тихо осев, без чувств упал рядом с вновь обмякшей Бюргерталь. На пол лицом вверх. В его руках все так же дымилась чашечка кофе...

* * *

Громкие шумы эфира, переключение каналов, фрагменты музыки, реклама, голоса дикторов, обрывки фраз: «... сенсация, сенсация... реанимационная бригада неотложной помощи была вызвана к профессору Симбирцеву... как нам рассказала ассистент профессора доктор Арина Бюргерталь, в настоящее время профессор все еще чувствует себя плохо... но угрозы жизни уже нет. Она связывает болезнь с необъяснимыми логопедическими изменениями некоей подопытной собаки. Однако это не более чем слухи, так как та же Бюргерталь, ссылаясь на собственное плохое самочувствие, не пропустила корреспондента местного телеканала к месту события для проведения прямого репортажа. В связи с фактом нарушения закона о свободе средств массовой информации руководство канала подает на доктора Бюргерталь иск в суд. Не переключайтесь — реклама пройдет быстро!»

* * *

Завершение постельного режима для профессора Симбирцева прошло скромно и по-деловому. Как заметил сам Семен Семенович — без цветов, оркестра и пения районного хора ветеранов труда. Но не отметить данное доброе событие профессор и доктор Бюргерталь, естественно, не могли. В подтверждение чего на столе профессорского кабинета обильно потела почти допоятая до дна большая бутылка водки. Рядом в крышке от стерилизатора о чем-то своем грустили надкушенный соленый огурец и горбушка хлеба.

— Да, в постели хорошо, а за столом лучше, — заплетающимся языком изобразил из себя непьющего человека Симбирцев. Нетвердая рука профессора в очередной раз потянулась к потной бутылке. — Как вы смотрите еще по соточке, Ариночка Родионовна?

— А, семь бед — один ответ, наливайте, — недолго сопротивлялась Бюргерталь.

Налив больше на стол, чем в рюмки, профессор несколько огорчился результатом.

— Вот ведь какая, — обругал он пузатую, — мимо льет и льет. Пьяная, что ли?

— Может, Семен Семенович, хватит, — не очень уверенно изрекла Арина Родионовна. — Вон сколько хлебнули! А вы ведь только после болезни. Вам бы еще полежать в постельке неделю-другую. Отдохнуть. Набраться сил.

— В любое другое время с удовольствием бы полежал, — гордо провозгласил профессор, — но, любезная Арина Родионовна, мы на пороге величайшего открытия. И я должен, нет, я просто обязан работать!

— Семен Семенович, — растрогалась Бюргерталь, — надо срочно на Нобелевскую подавать!

Подойдя к профессору, она громко чмокнула его в лысину.

— Не ради премий работаем, Арина Родионовна, не ради премий, — потупив очи, скромно вздохнул Симбирцев, — хотя документы срочно начинайте готовить. Важно другое, док, теперь мы стопроцентно можем утверждать, что то ли имплантация стволовых клеток гипофиза человека в семенники собаки, то ли пересадка стволовых клеток придатков яичка в гипофиз, то ли чего-то там куда-то там еще... дает, как бы сказать точнее, дает очеловечение организма. Вот!

— Правильно, Семен Семенович, — подхватила Бюргерталь, — раскрыта одна из тайн происхождения человеческого вида. Отныне мы твердо знаем, что это связано с действием на мозговой придаток — гипофиз стволовых клеток придатков яичек... или, наоборот, действием стволовых клеток гипофиза на придатки яичек. Или еще с чем-то! Запуталась, извините, — Бюргерталь раскраснелась и резко помолдела, — профессор Симбирцев, вы — гений! Давайте выпьем за вас!

— Спасибо вам, Арина Родионовна. Смею заверить, что без вашей, так сказать, помощи кхе, кхе, никакого открытия бы не случилось! Тем не менее я вас уважаю, Бюргерталь! И немного, так сказать, по-стариковски люблю.

— Какой же вы старик, милый мой Семен Семенович, — Бюргерталь снова чмокнула его в лысину, — вы парень хоть куда! Настоящий профессор! И я вас уважаю! Давай выпьем!

— И я себя уважаю, — заморгал нежданно повлажневшими глазами Симбирцев, — и тебя тоже! Давай выпьем на бюргершафт... на брудершафт!

Скрестив руки, с удовольствием выпили, три раза нежно поцеловались. Из-за ширмы послышалось недовольное ворчание, затем отчетливая фраза: «Прекратить, ламизил твою мать».

— Черт знает что такое, — искренне возмутился профессор, на всякий случай отодвинувшись от Бюргерталь... расслабиться не дадут... дайте-ка я его осмотрю.

С трудом встав из-за стола, Семен Семенович, отчетливо покачиваясь, направился к ширме и за ней пропал.

— Пишите, доктор, — вскоре раздался не слишком трезвый профессорский голос. — Так-с! Лыс, кожа на морде квелая. Череп сильно увеличен, лоб маленький и низкий. Шерсть сохранилась только на голове, груди и, сейчас посмотрим, в области половых органов, то есть в паху. И что еще у нас в паху делается? А в паху у нас — зреющий мужик. Все на местах и в приличном состоянии.

— Лучший подарок детям! Народное достояние! — согласился с профессором хриплый собачий голос.

— Дружок умница! Хорошая собака! Разговорчивая! На тебе огурчик.

Из-за ширмы раздалось довольное повизгивание и хруст огурца. Бешено закрутился хвост и, набрав приличную скорость, оторвался, чуть не угодив в голову Бюргерталь.

— Профессор, — заревела Бюргерталь, — у него отлетел хвост! Я в шоке!

— Туда его мать! — голос Дружка хрипл, но дикция разборчива.

Тень на ширме начала активно ворочаться, затем уверенно села, попыталась встать...

— Ей-богу, я с ума сойду, — запричитала Бюргерталь.

— Давайте-ка, Арина Родионовна, усадим его, что ли, в коляску. А то он в конце концов грохнется на пол.

Бюргерталь выкатила из коридора инвалидную коляску и вместе с ней пропала за ширмой.

— Каскадер не нужен. Поведу сам! — раздался уверенный голос пса.

Вскоре коляска с Дружком выехала из-за ширмы. Вид пса одновременно смешон и страшен. Он производит впечатление мелкого и отвратительно сложенного мужчины. На голове скрученная в колтун шерсть, напоминающая давно невытые волосы, короткие кривые ноги, серая дряблая кожа на животе и груди, покрытые клочьями пуха плечи. С интересом оглядевшись, пес неприятно улыбнулся, почесал затылок и отчетливо произнес: «Олигархи, блин». В его лапах или теперь, скорее, руках блестела стеклянная полупустая клизма.

— Какие же мы олигархи, голубчик? — неожиданно угодливо улыбнулся профессор, — мы с Ариной Родионовной, как бы это правильнее сформулировать, трудовая интеллигенция.

— «Мест нету», «Грибок стопы», «Терафлю», — подмигнув, профессору, изрек пес.

— Помолчал бы, а! — покрутила указательным пальцем у виска Бюргерталь.

— Сиалекс, мачо, не иначе. Я тебе покажу что, где, когда, твою мать... — озлился на нее Дружок.

— В моем присутствии попросил бы впредь не выражаться! — не выдержали нервы у Симбирцева.

Пес не спеша подрулил коляску к профессорским ногам и, высоко задрав морду, произнес:

— Не булькай, гнида! Помнишь ли ты...

Как и в прошлый раз, профессор очень тихо упал без чувств на пол, лицом вверх. В его руках все так же дымилась чашечка кофе.

— «Вечерние новости». «Задачи импортозамещения». «Экономический спад в Европе», — вошел во вкус Дружок.

— Заткнись ты со своей Европой! — нервно прокричала Бюргерталь, склоняясь над утихнувшим профессором.

Задумчиво уставившись на наконечник клизмы, пес привстал с коляски и, вытянув вперед правую лапу, с пафосом продекламировал:

Кризис охватил Европу,
Сея катаклизму!
Подставляй-ка, доктор, жопу,
Будем ставить клизму.

Так же тихо, как и профессор, доктор Арина Родионовна Бюргерталь сползла на пол и уже без сознания улеглась рядом со своим кумиром, положив голову на его живот.

* * *

В кабинете профессора Симбирцева происходит нечто подобное медицинскому консилиуму. Участвуют двое — сам Семен Семенович и доктор Бюргерталь. Оба, наклонившись над столом, сосредоточены на записи, звучащей из диктофона. Слышится сначала обычное собачье рычание и лаяние, далее звуки, близкие к человеческим стонам, потом первые слоги, слова, предложения. От «Морпзаг» или «Терафлю, твою мать» до «Подставляй-ка, доктор, жопу, будем ставить клизму». Вся записанная речь постоянно прерывается писком «ту-ту-ту», скрывающим отборный и крайне разнообразный мат. Одновременно на экране монитора мелькают фотокадры, снятые Бюргерталь и запечатлевшие все произошедшие с Дружком этапы его эволюции. От голодной продрогшей собаки до странного человекоподобного существа со скошенным узким лбом, пучками шерсти на вялой коже и идиотской улыбкой. Отдельно сняты: отвалившийся хвост, формирующиеся мужские гениталии в трех проекциях, стадии удлинения задней половины костей стопы, вытягивание передних конечностей, ковырянье кривым безымянным пальцем в волосатом носу. Завершается сеанс кадрами обучения визита в уборную.

— Будьте добры, Арина Родионовна, прокрутите на пару кадров назад, — прерывает демонстрацию фотографий Симбирцев.

— Там, где голова? — спрашивает Бюргерталь.

— Скорее, наоборот. Мне, Арина Родионовна, уж простите, но нужен кадр с гениталиями прохвоста.

— Чему ж тут извиняться? Дело житейское, — включает нужный кадр Бюргерталь.

— Да, картина маслом! — уставившись очками в монитор, поражается Симбирцев. — Скажите, коллега, может такое быть у собаки?

— Я в этом, скажу честно, не великая специалистка, но думаю, что нет, — слегка смущается Бюргерталь.

— Вот именно, Арина Родионовна! Нет, нет и еще раз нет! Псы просто такого не достойны! Так что налицо, и, как изволите видеть, не только на лицо, процесс очеловечивания организма! Куда ни глянь, результат один!

— И какой результат, Семен Семенович! — восхищается доктор Бюргерталь. — Благодаря вашему смелому эксперименту на земле появилась новая человеческая единица.

— Спасибо, конечно! — неожиданно грустно соглашается профессор. — Но как это объяснить... подскажите, Арина Родионовна, что со всем этим мы будем делать? И с этой человеческой единицей, в частности? А? Вы знаете? Я, например, не знаю! Боюсь, что «терафлю» получается! Да... «в вихре браво и оваций, в пестром смене декораций» сплошное «терафлю», дорогая Арина Родионовна...

— Вы просто устали, Семен Семенович. Такое напряжение. Отдохните, и все уладится.

— Может быть, док, может быть, — тяжело вздыхает Симбирцев, — а пока не уладилось, если вас не затруднит, подберите в секунд-хенде этому субъекту джинсы, пиджак и ботинки. Вот вам кредитка. Тысячи на три. Большого, однако, он не стоит! И вот еще что. По дороге зайдите в зоомагазин, купите недорогую клетку.

— Вы думаете, его удастся загнать в клетку, Семен Семенович, — недоумевает Бюргерталь, — я что-то в этом не уверена.

— Что вы, Арина Родионовна. Нет, конечно. Просто я у ветеринаров попугая заказал. Очень, должен отметить, перспективный материал для ревитилизации. Обещали сегодня-завтра подвезти.

* * *

В профессорской столовой на экране большой плазменной панели новостной телерепортаж. Свет софитов, безвкусная компьютерная заставка, расставленные на столе микрофоны. В кадре двое: покрытая толстыми слоями пудры и грима известная нам молодящаяся теледама Вера Леонидовна и дергающийся от волнения председатель ТСЖ Шпиндель. Дежурно улыбнувшись, дама начинает интервью.

— К нам в студию поступают сотни звонков. И все задают один и тот же вопрос: действительно ли в городе появилась некая говорящая свинья... господа, что я говорю, ну, конечно же, собака? Вам тот же вопрос, господин Штрюдель.

— Шпиндель! Моя фамилия — Шпин-дель! — обильно покрывается потом мужчина. — На самом деле я как председатель ТСЖ владею вопросом говорящей собаки. И, владея им, этим вопросом, готов поделиться этим вопросом с телезрителями. И я должен не только поделиться этим вопросом, но и навеять, в смысле, развеять все глупые слухи. Извините, я волнуюсь. Все эти Симбирцевы со своими сожительницами Бюргерталями просто-напросто дурят народ! Полное безобразие!

— Так, все-таки есть говорящая сви... извините, собака? Что я все путаю? Или ее нет? — очередная профессиональная улыбка обращена в камеру.

— На самом деле нет никакой говорящей собаки, — немного приходит в себя Шпиндель. — Чушь всё это! Вместо того чтобы регулярно платить за лифт, они просто мучают несчастных свиней, козлов и собак. Сейчас, говорят, и до попугаев добрались. Куда смотрит общество защиты животных? А самое страшное, что эту вредную деятельность еще прикрывают высокие чиновники исполнительной власти города. Что же получается — у нас опять в силе телефонное право, которого в странах с развитой демократией давно...

Щелчок. Телевизор выключается. Пропадают голоса Шпинделя и теледамы. Семен Семенович, раздосадованный, отходит от телевизора, садится в кресло напротив доктора Бюргерталя.

— Я этого Шпинделя, честное слово, удавил бы своими руками, — возмущается Симбирцев. — И пусть меня судят по всей строгости наших российских законов. Редкая, уж извините меня ради бога, скотина!

— Насчет сожительницы, Семен Семенович, будем считать, я ничего не слышала.

— Спасибо, Арина Родионовна! И извините!

— Не обращайтесь внимания на идиота, берегите нервы. Прошу вас! — тщетно пытаются успокоить профессора Бюргерталя.

— Нет, точно, удавил бы! И черт с ней, с клятвой Гиппократата, — Симбирцев стучит кулаком по столу, после чего немного унимается, — ладно, как там с гардеробом нашего Дружка? А то, честно говоря, смотреть на этот бурно формирующийся срам уже охоты нет. Представляю, вам какво?

— Ничего, всякого повидала, — деланно ухмыляется Бюргерталя. — А насчет гардероба, то он за две бутылки пива разрешил надеть на себя только рубаху и один носок. От всего остального отказался наотрез. Кричал: «Мест больше нету, с... дети!» Пел еще какую-то идиотскую песню, про бабушку. Вот послушайте. Долго жить будет... к несчастью.

Прислушиваются. Из-за стенки раздается: «У нее в кошельке три рубля. Моя бабушка курит трубку. Трубку курит бабушка моя...» — голос Дружка неприятен, хрипл, но не фальшив.

— Давайте-ка, док, этого певца в одном носке ко мне, — не дослушав куплет до конца, обращается к Бюргерталя Симбирцев. — Будем прохвоста со штанами объединять.

Бюргерталь выходит из кабинета и вскоре возвращается с Дружком. Пес уверенно держится на задних лапах. Одет в длинную до колен ночную рубаху, на левой ноге носок. Посмотрев на телевизор, оглушительно смеется.

— Что бы ему посулить такого вместо пива? — шепчет в ухо Бюргерталь Симбирцев. — Может, «Педигри»?

— Он теперь, Семен Семенович, увлеченно жрет скумбрию, — тихо отвечает Бюргерталь. — Аппетит, надо заметить, гигантский!

Симбирцев вплотную подходит к псу и, грозно насупив брови, спрашивает:

— Почему в центре культурной столицы и без штанов?

— Я тебе покажу... «Ваниш», — неуверенно отвечает тот.

— «Ваниш», это вы, голубчик, потом кому-нибудь другому покажете, — голос Симбирцева становится мягче. — А вот что вы скажете сейчас относительно кусочка скумбрии?

— Терафлю на самом деле, — оживляется Дружок.

— Про терафлю это мы уже тоже слышали, — вновь демонстративно строг профессор Симбирцев. — А вот скумбрию в цивилизованном обществе, доложу вам, едят непременно в штанах. Это вам не осетрина. Уважаемая Арина Родионовна, дайте Дружку трусы, штаны и что там еще ему причитается.

Бюргерталь выходит из кабинета, затем возвращается с ворохом одежды в руках.

— Все китайское, Семен Семенович, но вполне приличного качества, сама бы носила, честное слово! Ровно на три тысячи. Как договаривались. Ну и клетка еще семьсот рублей. Попугаю вроде бы понравилась. Вот кредитка.

— В стол положите, — командует Симбирцев. — И давайте одеваться. Китайское так китайское. Не так уж и плохо. Сегодня главное, чтобы не турецкое.

Довольно длительный и временами забавный процесс одевания пса, неожиданно для всех его участников завершается полным успехом: Дружок в трусах, рубашке, джинсах и пиджаке. Потрогав брюки Семена Семеновича, широко улыбается и заявляет:

— Я китаец, ты еврей, у меня штаны модней.

Исполнив еще пару не слишком приличных куплетов, Дружок с гордым видом удаляется из кабинета. Буквально через мгновение за дверью что-то загремело и завизжало. Слышится громогласный вой Дружка, оглушительное шипение и крик «Пиастры!». Сломя голову профессор бросается к двери.

— Господи! Что там еще?!

— Похоже, до клетки с попугаем добрался! — летит туда же Бюргерталь.

— Он его прикончит! Делайте же хоть что-то.

— Шкафом, наверное, придавило, — безуспешно пытается открыть дверь Арина Родионовна, — не открывается, окаянная!

За стеной раздается грохот падающей мебели, звон разбитых стекол и шум бьющей под давлением воды.

— Они же всё там разнесут, — стучит кулаками в дверь Симбирцев. — А что это еще за шум?

— Похоже, кран в туалете сорвал, — приложив ухо к двери, резюмирует Бюргерталь.

— Ну всё, теперь весь дом затопит, — стонет Симбирцев, — а я сегодня как раз прием объявил. Арина Родионовна, сколько записано пациентов?

— Какой там прием?! — всем телом навалившись на дверь, вопит Бюргерталь. — Давите на ручку, Семен Семенович, а я попробую с разбега.

Профессор изо всех сил жмет на массивную бронзовую ручку, а Бюргерталь, разбежавшись от стола, обрушивается на дверь. Не выдержав напора, дверь падает.

В ее проем влетают профессор вместе с Бюргерталь. Еще громче слышны рычание и рев Дружка, исступленные вопли очумевшего попугая, крик Бюргерталь: «Воды-то сколько!» — и рассудительный возглас профессора: «Похоже, что сегодня принимать не буду».

* * *

Та же обитая серой тисненой кожей дверь в квартиру с табличкой «Профессор С. С. Симбирцев». Около двери нетерпеливо переминаются с ноги на ногу уже знакомые нам профессорские пациенты: Валентин Юрьевич, странного вида большой начальник с розовым лицом, и Вера Леонидовна, экзальтированная дама из сферы телевидения очень неопределенного возраста.

— Не знаю даже, что и делать, — озабоченно молвит дама, в очередной раз давя на кнопку звонка. — Звоню, звоню, никто не открывает?!

Мужчина прикладывает ухо к скважине замка.

— Шум какой-то? Как на правительстве! Может, есть смысл в иной день зайти?

— Но Семен Семенович сам мне на сегодня операцию назначил, — недовольно делает губки бантиком Вера Леонидовна. — На три часа.

— Что, важная операция? — проявляет активный интерес мужчина. — По жизненным показаниям? Какая вы, однако!

— Еще по каким жизненным, молодой человек! — с охотой продолжает разговор дама. — И очень даже важная! По пересадке стволовых клеток яичников свиньи... господи, что я говорю, в смысле, чего-то там от львицы.

— Зачем вам чего-то там от львицы? — притворно изумляется мужчина. — Очаровашка!

— Ну... чтобы... быть чуточку посмелее, симпатяга.

— Вам ничего и ни от кого не надо пересаживать. — Мужчина обводит взглядом пышные контуры дамы. — У вас всё на месте и в достаточных количествах. Вы просто восхитительны! Я на вас смотрю и просто умираю. Смотрю и умираю. От чувств. Красотулька!

— Вы мне льстите, угодник! — кокетливо заводит глаза к потолку Вера Леонидовна. — Или, может быть, хотите воспользоваться моей неопытностью?!

— Попользуюсь с большим удовольствием, — охотно соглашается мужчина. — Я положительно очарован. Шалунья!

— Ах, проказник! Да как вы можете? Кстати, могу предложить воспользоваться еще и моей невинностью!

— Непременно надо воспользоваться! — крепко ухватывает даму за локоть Валентин Юрьевич. — Бэ-э-э! Только ради опыта... и не только! Пойдемте в салон... в смысле — в ресторан! Совратительница!

— Поехали, шалунишка! — носик дамы начинает морщиться, как будто она собирается чихнуть. — Хрю-хрю! У вас восхитительный цвет лица. Натуральный?

— Еще какой натуральный, — по-козлиному затряс подбородком мужчина. — У меня всё натуральное. Всё, всё! Как это там? Остались лишь воспоминания, все прошло... нет, это я не о том! Идемте! Обольстительница!

Нежно взявшись за ручки и жадно поедая друг друга влажными глазками, Валентин Юрьевич и Вера Леонидовна покидают знакомый нам подъезд. Звук их торопливых шагов, подобно перестуку копыт, еще долгое время эхом перекатывался по всем десяти этажам профессорского дома.

* * *

За окном кабинета профессора Симбирцева ранний темный вечер. Завывает промозглый январский ветер, валит густой нескончаемый снег. В кабинете же тепло, светло и как-то особенно уютно. Профессор читает толстый научный журнал, иногда делая массивным золотым «Паркером» пометки на полях. Бюргерталь за столом что-то набирает на компьютере. За стеной слышится пение пса: «У нее в кошельке три рубля. Моя бабушка курит трубку. Трубку курит бабушка моя...»

Семен Семенович прислушивается и, как обычно, фальшиво подхватывает:

— «Моя бабушка курит трубку, трубку курит бабушка моя...» Тьфу, прицепилась, вот окаянная мелодия! А где, кстати, он с утра был?

— Я не знаю, — отрывает глаза от монитора Бюргерталь, — последнее время он что-то в ТСЖ зачастил.

— Ладно, Арина Родионовна, будьте добры, позовите его сюда.

Входит пес. Пиджак порван, на коленке джинсов немалая дыра. На шее повязан розовый галстук с зелеными цветочками. В ухе огромная серьга.

— Откуда взялась эта мерзость? — отложил в сторону толстый журнал профессор. — Я говорю о серьге.

— Вовсе и не мерзость, роскошная вещь, — Дружок любовно потрогал сережку в ухе, — мне ее сам Шпиндель подарил.

— Естественно, Шпиндель, — вступает в разговор Бюргерталь, — а кто же еще такую пакость мог подарить!

— Вовсе и не пакость! Сейчас все такие носят, — насупился Дружок.

— Убрать эту пакость из уха, — взрывается Симбирцев. — Цирк какой-то. И прекратить плевать на пол и материться, в сотый раз прошу! С унитазом обращаться аккуратно. Освежителем воздуха пользоваться. А то, уж простите меня ради бога, в туалет не зайти без противогоза. Понятно?

Увлеченно поковыряв кривым указательным пальцем в волосатом носу, Дружок молча уставился глазами в потолок.

— Понятно ли, я вас спрашиваю? — окончательно выходит из себя профессор.

Дружок корчит обиженную гримасу и плаксивым тоном заявляет:

— Что-то вы меня, отец, совсем замордовали.

— Кто это тут вам отец?! — ревет Симбирцев, — что за фамильярности?! Чтобы я больше этого не слышал. Какой я вам отец? Называть меня по имени и отчеству!

— Да что же это такое?! — продолжая вертеть пальцем в носу, хнычет Дружок. — Туда не ходить. Сюда не плевать. Там не вонять. Хуже чем в метрополитене! Что ж это на самом деле вы мне собачью жизнь организовали?! Теперь уже и отцом называть нельзя. А кто вы? Мать Тереза? Вы отец и есть! Ухватили песика, ножичком голову покромсали, а теперь брезгают. У вас, кстати, есть нотариальное согласие на операцию? Я могу и в суд на вас подать! В арбитражный!

— Вы подадите на меня в суд за то, что я превратил вас из паршивого кобеля в человека? — чуть не теряет дар речи Симбирцев. — Невероятно, однако!

— Да что вы опять — кобель да кобель? Паршивый еще, — обижается Дружок. — А если бы я загнул у вас на столе? Что тогда, папуля?

— Называйте меня Семен Семенович! — Щеки Симбирцева покрываются пунцовыми пятнами. — Я вам не папуля! Это ужасно!

— Уж конечно, куда мне? «С... сын», и все! — Дружок наконец извлекает палец из носа, внимательно его рассматривает и направляет в рот.

— Прекратите есть козявки! — орет Симбирцев. — Стыдитесь! А еще в арбитражный суд собрались! Надо же додуматься!

- Это вовсе и не я один додумался. И ТСЖ то же самое говорит.
- Отлично-с, — чуть успокаивается Семен Семенович, — итак, что говорит этот ваш драгоценный ТСЖ?
- То и говорит, чтобы я иск в суд подавал. И зря вы его драгоценным обзываете. Он мои права, кстати, защищает.
- Чьи права, разрешите справиться?
- Чьи? Права человека! — удивляется профессорской неосведомленности Дружок. — Чьи ж еще?!
- То есть выходит, что вы уже человек, полноценный субъект общества? — подает голос Арина Родионовна.
- За оскорбление субъектом можно и на вас иск подать, — заявляет в ответ Дружок.
- Вы уже второй иск намерены подавать, — грозно сверкает глазами Симбирцев, — а сами козявки едите! Да у вас даже паспорта нет. А без паспорта иск не примут. Вот так!
- Это вы плохо обо мне думаете. Как нет? — Дружок достает из кармана документ. — Вот паспорт. Российская Федерация. Не какой-то там американский!
- Что за бред? — возмущается профессор. — Ну-ка дайте посмотреть!
- Дружок, гордо поправив галстук, передает Семену Семеновичу документ.
- Прошу. Читайте, завидуйте...
- Дружков, — изумленно читает Симбирцев, — Андрей Малахович, что за идиотизм?
- Теперь еще и идиотом обзываетесь, — вновь обижается Дружок. — Опять неуважение к правам человека. Лучше бы за лифт вовремя платили!
- Ну, предположим, вы Малах Андреевич или, как там вас, Андрей Малахович. — Семен Семенович утирает пот со лба, — Но позвольте узнать, где же вы эту липу раздобыли?
- Обижаете, это вовсе и не липа. Все настоящее, даже подписи и печати. В солидной фирме купил. По объявлению.
- По объявлению?! — еще больше изумляется Симбирцев.
- Это, Семен Семенович, дело плевое, — Дружок достает из кармана толстую газету. — Вот пожалуйста: дипломы любого вуза, права автомобильные, санитарные книжки, удостоверения лауреата Нобелевской премии (подлинные), а вот и паспорта — гражданство любое. Российские самые дешевые, двадцать пять тысяч всего. С доставкой на дом. Ветеранам труда скидки.
- Двадцать пять тысяч?! — хватается за голову Бюргерталь. — Где же вы такие деньги раздобыли?
- Скажите, я похож на полного идиота, чтобы деньги платить?
- А как же тогда? — недоумевает Симбирцев.
- За деньги, папуля, — запанибратски похлопывает Симбирцева по плечу Дружок, — любой баран купит, а я совершенно бесплатно несколько цифр набрал, и все.
- Каких цифр? — хватается за сердце Симбирцев.
- Дружок берет со стола и гордо демонстрирует профессорскую кредитную карточку:
- Всего одно касание, и подгузники ваши!
- Паспорт падает из рук Семена Семеновича на пол, а у доктора Бюргерталь зависает компьютер.
- Цифирки набирать вам тоже этот паршивец Шпиндель посоветовал? — еще находит в себе силы съязвить Симбирцев.
- Шпиндель совершенно не паршивец, — встает на защиту своего товарища Дружок. — Он даже книжки читает.

— Ах, он еще и книжки читает! — не выдерживают нервы у Симбирцева. — А ну марш за этим Шпинделем. Сейчас я его убивать буду.

— Шпиндель очень даже хороший... — испуганно лепечет Дружок.

— Марш! Немедленно! — орет Симбирцев. — Одна лапа тут, другая там!

Перепуганный Дружков покидает кабинет. Профессор Симбирцев протирает платком запотевшие очки. Доктор Бюргерталь пытается реанимировать зависший компьютер. Вскоре открывается дверь, и в кабинете появляется председатель ТСЖ Шпиндель. Дружков предусмотрительно прячется за его спиной.

— Я, Семен Семенович, помню, обещала вам спустить с лестницы этого молодого человека, — грозно встречает Шпинделя Бюргерталь. — Указание остается в силе?

— В дальнейшем всегда именно так и поступайте, Арина Родионовна, только на сегодня исключение, — остужает порыв Бюргерталь профессор.

— Довольно странно, профессор, — обиженно бубнит Шпиндель, — я, как-никак, представитель домового власти, ответственное лицо. А вы с лестницы...

— Именно с лестницы, — грозно заявляет Симбирцев. — А пока вы еще тут, мне интересно выслушать объяснения вашего мерзкого поступка. Очередного, кстати.

— Извините, профессор, — переходит в атаку Шпиндель, — не надо с больной головы на мою, вполне здоровую. Это не у меня, а у вас в квартире проживал бездокументный жилец! Что запрещено законом.

— И поэтому с моей кредитки надо было снять двадцать пять тысяч?

— Я всего лишь предложил, профессор, — отзывается Шпиндель, — а претензии, пожалуйста, к сыночку. На кнопочки он нажимал!

— Какой к чертям «сыночек»? — взрывается Симбирцев. — В гробу я видел такого сыночка.

— Простите, профессор, но ведь это вы Дружкова собственноручно сделали в вашей квартире. Значит, сынок. И генетической экспертизы не надо.

— Черт, — искренне огорчается Симбирцев, — глупее ничего себе и представить нельзя. Как это я его сделал в квартире... да еще и собственноручно?

— Профессор! — продолжает наступление Шпиндель. — Чем вы там его делали, это мне без разницы. Со свечой не стоял. Но на самом деле ведь вы провели операцию и создали гражданина Дружкова. А о документе не позаботились. К великому сожалению!

— Зачем ему документ?

— Документ — самая важная вещь на свете. Тем более паспорт. Кстати, профессор, — озаряется лицо Шпинделя, — без паспорта Дружкову и на выборы не сходить, и в армию его не призвать. Как же он тогда будет исполнять свой почетный долг: Родину защищать!

— Не буду я ее защищать! Не хочу! — недовольно хмурит лоб Дружков. — Мне вообще белый билет полагается. Вон всю башку искромсали. И между ног тоже ковырялись. Садисты! С ними жить вообще стало невозможно. На пол не плевать, козявки не есть, в туалете не вонять... в Эрмитаж даже не отпускают. И постоянно — то дурак, то идиот. А сами хулиганят! Недавно чуть весь дом не затопили на самом деле. Олигархи хреновы.

— Знаете, Дружков, — не выдерживает Бюргерталь, — я за всю жизнь не видела более наглого прохвоста, чем вы.

— Дружков, — вопрошает Симбирцев, — скажите мне, пожалуйста, может, это мы с Ариной Родионовной, задрав хвосты, гонялись по всей квартире за попугаем, пока его дверью не пришибло? Наверное, это мы кран в туалете оторвали и всю квартиру затопили? Не стыдно?! Дикарь!

— Вот видите, то дурак, то дикарь всегда только я получаюсь, — обиженно бубнит Дружок, — хотя попугая того вы сами дверью придавили! Не я вовсе. Попугай, правда, тоже хорош был: кобелем меня обзывал, на галстук еще нагадил. В общем, попугая этого тоже терпеть в квартире было невозможно.

— Под «тоже» это вы нас с профессором подразумеваете? — высказывает догадку Бюргерталь.

— Это черт знает что такое! — не в силах более сдерживать гнев, кричит профессор. — Нет, если уж я его породил, то я его тогда и убью! Притом прямо сейчас!

— Правильно! Собаке собачья смерть, — соглашается с Симбирцевым Бюргерталь.

— Простите, граждане, — менторским тоном заявляет Шпиндель, — но это уже прямая угроза. Статья сто вторая, часть вторая. Еще раз подобное услышу и буду реагировать. К величайшему сожалению. Прощайте, профессор!

И с видом победителя Шпиндель покидает кабинет.

* * *

Разбуженные хлопком закрывшейся за председателем ТСЖ Шпинделем двери бьют пять раз часы. Все трое обитателей профессорской квартиры, молча и не глядя друг на друга, переходят из кабинета в столовую, садятся за обеденный стол.

— Appetit только испортил, подлец, — сокрушается Симбирцев. — Ладно, давайте отобедаем!

Бюргерталь и профессор берут в руки столовые приборы. Дружков, не успев сесть, хватает руками со стола кусок ветчины.

— Вы опять перед тем, как сесть за стол, руки не помыли, — останавливает Дружкова Бюргерталь.

— Сколько можно мыть, — глотая обильную слюну, скулит Дружков, — не в бане.

— Спасибо, док, — кивает головой Симбирцев, — а то я уже устал делать ему замечания.

— Я утром мыл, — продолжает скулить Дружков, успевая засунуть в рот ветчину.

— Все равно не разрешу есть, пока не помоете, — твердо стоит на своем Бюргерталь. — Сейчас отберу рюмку, и все.

— Вот еще, — оглушительно возмущается Дружков. — Как это отберете? Ладно, пес с вами, помою.

Окинув презрительным взглядом сотрапезников, Дружков нехотя уходит мыть руки. Из ванной слышатся его ворчанье и звук плещущейся из крана воды.

— Еще раз услышу «пес с вами» — выдеру ремнем, понятно? — громко негодует Симбирцев.

— Так тут он прав, Семен Семенович, — вполголоса изрекает Бюргерталь. — Пес с нами и есть!

Тем временем возвращается из ванной Дружков и, продемонстрировав ладони, вновь садится за стол. Незамедлительно лезет пальцами в тарелку.

— И вилкой, пожалуйста, — требует Бюргерталь.

— Ладно, могу и вилкой, но тогда я еще водочки выпью.

— Торги здесь неуместны, — философски изрекает профессор, — чай, не в Думе.

— Чаю мне не надо, — пугается Дружок, — я уж лучше водочки.

— А не хватит? Вы последнее время излишне начали водкой увлекаться, — замечает Бюргерталь.

— Родному, можно сказать, человеку водки вашей поганой жалко, да? — хнычет Дружок.

— Родственничек нашелся... — про себя ворчит Симбирцев.

— Вы, Дружков, чепуху несете, — возмущается Бюргерталь. — Во-первых, водка далеко не поганая и, во-вторых, не моя, а Семена Семеновича! А мне вообще чужого никогда не жалко! Просто пить много вредно. Особенно вам. Вы ведь и трезвый ведете себя как кобель.

Дружков тем временем, злобно покосившись на Бюргерталь, налил себе рюмочку до краев и мгновенно выпил.

— Сначала надо другим предложить, а уж затем себе наливать, — делает очередное замечание Бюргерталь.

— Вот тут я вполне с вами солидарен, — разливая водку по рюмкам, неожиданно соглашается Дружков. — Тут у нас с вами консенсус получается. Водочка льется, человек смеется! Ну, желаю, чтобы всё...

— И вам не хворать... — поднимает рюмку Бюргерталь.

Дружков вновь профессионально выплескивает водку в глотку, морщится, нюхает лацкан пиджака, а уж затем громко проглатывает.

— Опыт! — внимательно наблюдая за поведением Дружкова, заключает профессор.

— Не поняла... Семен Семенович, — удивляется Бюргерталь.

— Опыт, Арина Родионовна, — качает головой Симбирцев, — тут уж ничего не поделаешь. Паша Кочерыжкин, депутат наш!

— Вы так считаете, Семен Семенович? — широко открывает глаза Бюргерталь.

— Уверен! Заметили, как он лацканом занюхал? Там, где депутатский значок! А про консенсус! Паша, кто ж еще!

— Неужели...

Тем временем Дружков, тяжело вздохнув, быстро наливает себе еще полную рюмку водки.

— Все! Хватит! Убираем водку, — командует Симбирцев.

Бюргерталь забирает со стола водку и относит ее в шкафчик барной стойки.

— Ну вот, только во вкус вошел! — расстраивается Дружков.

— Ничего, как вошли, так и выйдете, — сверкает очками профессор.

— Чего ж тогда делать? — задумывается Дружков.

— Больше, как водку пить, делать нечего? — с сарказмом спрашивает профессор.

— Почитали бы чего-нибудь, — со своей стороны предлагает Бюргерталь.

— Да уж и так читаю, — устало заявляет Дружков.

— Кого же вы читаете? — удивляется Симбирцев.

— Этого, как его, гада, — Дружков хлопает рукой по лбу, — Зигмунда Фрейда. «Три очерка по теории сексуальности». Вот!

Доктор Бюргерталь, немного не успев донести до рта кусок мяса, роняет его на скатерть, а Семен Семенович, подавившись куском колбасы, закашливается. Воспользовавшись неожиданно предоставленной паузой, Дружков быстро проглатывает водку.

— Позвольте поинтересоваться о ваших впечатлениях по поводу прочитанного, — охрипшим голосом спрашивает профессор.

— Не знаю, мне нравится, — пожимает плечами Дружков.

— И что же вам там понравилось? — недоумевает Бюргерталь. — Хотя нет, лучше уж не надо.

— Доступным языком написана, — делится впечатлениями Дружков, — и картинки хорошие. Жизненные.

— Может, вам лучше было бы с «Каштанки» начать... — никак не может откашляться Симбирцев.

— Лучше бы сразу с «Му-му», — зло добавляет Бюргерталь.

— «Му-му», «Каштанки» всякие — это все классика, — понесло Дружкова, — скучно, длинно и без картинок! Взять хотя бы «Войну и мир» Лермонтова. И что?

Ее за год не прочтешь. А во все школьные программы пихают и пихают. Я бы классику оттуда вообще удалил. Шекспировых разных, Мусоргских, Донцовых...

— Класс! — восторгается профессор.

— А вот основы сексуального воспитания детей я бы в программы добавил, — благодарно кивая Симбирцеву, продолжает Дружков. — Того же Фрейда, к примеру. Надо про эту идею Владимиру Владимировичу написать.

— По-моему, Дружков, на вас эта теория не совсем хорошо действует, — профессионально замечает Бюргерталь.

— Действует как на любого нормального мужчину! — не соглашается с доктором Дружков.

— Очень даже плохо действует! — взрывается профессор. — Разве нормальный мужчина, если он только, конечно, не начитался Фрейда, будет прыгать по всей квартире за несчастным попугаем, ломая двери и срывая краны?

— И еще, Дружков, вы вчера укусили даму на лестнице, — рада добавить Бюргерталь.

— Так она мне сама по морде заехала. Ей, что, можно, а мне вообще ничего нельзя? — ноет Дружков.

— Потому что вы ее за... за... за заднее место ущипнули, — негодует Бюргерталь.

— Точно! Влияние «Теории сексуальности». Тем паче усиленное нашей рокировкой придатков, — подводит итог спора профессор. — Все, книгу выкидываем, немедленно! И еще, милая Арина Родионовна, во избежание новых инцидентов с дамами ему надо бы запретить пользоваться парадной лестницей. Да и сами, Арина Родионовна, поаккуратнее с этим кобелем. У него же в собачьем мозгу семенная жидкость депутата! Да еще и алкоголика. Представляете, как такая смесь разыграть может. Кошмар! В общем, умоляю вас, не расслабляйтесь! А для вас, Дружков, с этого дня только черный ход. Уж простите, ради бога. Понятно?

— Вот еще чего выдумали! — жалостно хнычет Дружков. — Зачем мне черная лестница? Опять ущемление в правах — чем я хуже других?

— Хуже, Дружков, намного хуже! — чеканит слова Бюргерталь.

— Вы, Дружков, задержались на низшей стадии человеческого развития, — стучит кулаком по столу Симбирцев. — Ниже некуда! Вы глупы, необразованны, невоспитанны, все ваши поступки чисто животные. Кобелиные, я бы уточнил! И вместе с тем у вас хватает наглости в присутствии двух людей с университетскими дипломами рассуждать о проблемах вселенского масштаба. Одновременно продолжая мочиться мимо унитаза!

— Устала подтирать, — вновь рада прибавить Бюргерталь.

— Короче, — резюмирует профессор, — чтобы больше этого Фрейда я здесь не видел. Ни живого, ни мертвого! С вашими некоторыми физиологическими особенностями он вообще непонятно, на какой придаток и как действует. Короче, Фрейд вам вреден! президенту он, видите ли, напишет! В гробу президент видел вас с вашей идеей. В гробу и белых тапочках!

— Это вы зря так о президенте! — строго изрекает Дружков.

— Кстати, не сомневаюсь, что именно Шпindelь вас обеспечил этой литературой, — вновь вскипает Симбирцев. — Я его все-таки убью.

— Всех не поубиваете! — героически нахмутив брови, заявляет Дружков.

— Поубиваю, поубиваю! — твердо стоит на своем Симбирцев.

— Все у вас прохвосты, идиоты, дураки, болваны, — неожиданно взвизгивает Дружков. — Думают, они одни с университетскими дипломами ходят. Сами купили небось на том же сайте и воображают. Кстати, дешевле водительских прав стоят. На самом деле.

— Пошли вон! На самом деле! — устало шепчет профессор Симбирцев.

Бюргерталь вытаскивает за шиворот из профессорского кабинета упирающегося Дружкова, а Семен Семенович, нервно напевая «Помнишь ли ты...», достает из верхнего ящика стола рентгеновский снимок с изображением странного вытянутого черепа и, нахмурившись, рассматривает его на свет.

— Боюсь, что иного выхода нет! — очень тихо, почти про себя рассуждает профессор Семен Семенович Симбирцев.

* * *

За окнами поздний промозглый вечер. Валит февральский снег, снуют редкие тени дрожащих на морозе пешеходов, мельтешат припозднившиеся машины, отбрасывая свет фар на стены профессорской столовой, в которой уже не один час подводят финансовые итоги прошедшего трудового дня Симбирцев и Бюргерталь. Судя по довольному выражению лиц и плотным колонкам трехзначных цифр на экране ноутбука, кошельки их многочисленных клиентов сегодня основательно похудели. Правда, благостное настроение пары длится недолго. Открывается дверь. С идиотской улыбкой на лице в столовую вваливается вдребезги пьяный Дружков. Он еле держится на ногах и, постоянно икая, напевает: «Моя бабушка курит трубку...»

— Здравствуйте. И с какой бабушкой вы так насобачились? — изумляется Бюргерталь.

— Почему так сразу и с бабушкой? — заплетающимся языком негодует Дружков. — Может, я с приличной дамой в ресторане был!

— На какие, интересно знать, деньги вы приличных дам по ресторанам изволите водить? — буравит взглядом пьяного Дружка профессор.

— Что мне, пару тысяч деревянных на даму жалко? — неуверенно отвечает Дружков.

— Конечно, чего их жалеть? Каких-то пару тысяч, которые у меня вчера вечером из верхнего ящика стола пропали, — заводится Симбирцев.

— Мне ваших денег даром не надо. И слышать это обидно на самом деле! Категорически! И почему как что, так сразу Дружков. Между прочим, я не один в квартире.

— Ага! — легко подхватывает намек профессор. — Быть может, это Арина Родионовна стибрила? На нее так похоже!

— А почему бы и нет? — не улавливает подвоха Дружков. — Бюргерталь, ты не брала денег?

— Кто?! Я?! — перед тем как онеметь, резко меняется в лице Бюргерталь.

Воспользовавшись нависшей тяжелой паузой, Дружков быстро подсакивает к буфету, наливает до краев стакан водки и мгновенно выпивает.

— Нет уж, — выходит из оцепенения Бюргерталь, — вы меня по имени-отчеству, пожалуйста, называйте: Арина Родионовна. И на «вы»!

— Ах, Арина Родионовна! — пьяно склбится Дружков, — тогда давай выпьем! — наливает полный стакан водки, несет его к Бюргерталь. — Выпьем, добрая старушка бедной юности моей... не хочешь? Ну, тогда и ты меня называй по имени и отчеству и по должности! Вот визитка. Извольте, — подает золоченую визитку Бюргерталь.

— Дружков Андрей Малахович, — вслух читает Бюргерталь. — Председатель комитета по уничтожению котов. Сокращенно ПУК. Электронная почта: Дружков собака ру.

— Вот так и обращайтесь! Председатель ПУК, — надменно поднимает палец вверх Дружков.

— Нет, — срывается на крик профессор, — не допущу никаких ПУКов в моей квартире. Так же как не позволю обижать Арину Родионовну!

Дружков тем временем пытается налить себе еще водки.

— Хватит! Алкаш! — успевает выхватить из его рук бутылку Бюргерталь. — Шел бы ты к своей приличной даме ночевать! Утром придешь, тогда поговорим.

— Вот еще! Никуда я не пойду. На самом деле.

— Как это не пойду? — возмущается профессор. — Это моя квартира, и я решаю, кому быть здесь, а кому нет.

— Фига вам! — Дружков вытаскивает из кармана бумагу с печатью. — Я тут прописан! Вот! Форма номер девять. Зачитываю: «Гражданин Дружков А. М. зарегистрирован в квартире номер пять на площади в пятнадцать квадратных метров. Примечание: с отдельным входом с лестницы со двора». Вот печать и подпись.

— Дайте-ка взглянуть, чья там подпись? — тянет руку Симбирцев. — Естественно! Чья же еще подпись? Нет, этого Шпинделя я точно застрелю.

— Семен Семенович, — пытается успокоить Симбирцева Бюргерталь.

Но профессор не желает успокаиваться:

— Прописан! Туалет вами прописан, это точно! Хорошо-с... гражданин Дружков А. М., пусть будет так. Но тогда уж извольте с этих пятнадцати метров носа своего собачьего не высовывать! Понятно?! Осмелюсь предположить, что в этой гениальной форме под номером «девять» не написано, что вам можно мочиться мимо унитаза в моем туалете, что я обязан вас кормить, одевать, что я вообще обязан вас видеть, слышать, извините ради бога, нюхать...

— А как же я без туалета? — пугается Дружков.

— Вот тогда и ведите себя достойно, — отзывается Бюргерталь.

— Достойно, недостойно... ты меня уважаешь, док?

Судя по всему, Дружкова окончательно развезло. Он пытается приобнять Арину Родионовну, но промахивается и, упав на пол, начинает беспрерывно икать, затем бледнеет и громко, на всю квартиру отрыгивает.

— Плохо ему! — хватается за сердце профессор. — Тазик ему надо принести. Да и мне чего-нибудь от сердца. Плохо и мне!

— Без тазика обойдется, — грозно закатывает рукава Бюргерталь, — скотина. Обниматься еще лезет! Кончено. Есть здесь у нас чего-нибудь тяжелое? Сейчас я его грохну!

— Не надо, Арина Родионовна! — пытается остудить пыл коллеги профессор.

— Надо, Сеня, надо! Не допущу, чтобы ко мне какой-то пьяный кобель приставал. Да и ваше здоровье страдать не должно!

Доктор Бюргерталь правой рукой берет Дружкова за шиворот, а левой отвешивает ему смачную пощечину.

— Вы не имеете права бить меня по морде лица! — мгновенно трезвея, мотает головой Дружков. — На самом деле. Я на вас жалобу в ТСЖ напишу. В трех экземплярах.

— Я вам покажу, милейший, в трех экземплярах! — Симбирцев крепко хватается Дружкова за шиворот и волочит его к дивану. — Протрезвейте только «в вихре браво декораций». Сразу писать разучитесь! Вам понятно, кобель! Уж извините меня ради бога!

Вместо ответа Дружков предпринимает попытку лягнуть левым ботинком Семена Семеновича в пах, но не попадает. Вскоре с дивана слышится оглушительный храп, прерываемый отборным матом, икотой и криком: «Дави котов!»

* * *

На экране телевизионной панели знакомая нам молодящаяся дама зачитывает последние вечерние новости.

Дама: ...Вот такие обнадеживающие вести с очередного заседания Государственной Думы... Еще одно громкое дело о махинациях с недвижимостью. На этот раз Следственный комитет неопровержимо доказал факт продажи по заниженной цене здания Большого театра в Москве. Подробности в ночном выпуске... Новое назначение в городской администрации. Председателем Комитета по уничтожению котлов, сокращенно ПУК... господа, что я говорю?.. хотя нет, именно ПУК, назначен гражданин Дружков... мы записали первое интервью с новым руководителем комитета: «Уважаемый Дмитрий Нагиевич... господа, опять не туда, уважаемый Андрей Малахович, что вы считаете самым главным в своей новой должности?»

Дружков: Самое главное — это очистить улицы нашего прекрасного города от котлов. Наш профессиональный лозунг: «В культурной столице ни одного живого кота!» И это непоколебимо!

Дама: Да, понятно, «непоколебимо», господа, что я говорю? Может быть, «непоколебимо»?

Дружков: Это на самом деле без разницы. Главное, что мы с честью выполняем возложенную на нас ответственную задачу: вчера котлов душили, душили...

Гаснет в профессорской квартире экран плазменной панели, затихают голоса из телестудии, уступая место солирующему с дивана пьяному храпу Дружкова. Семен Семенович Симбирцев с серебристым пультом в руке отходит от телевизора:

— Я больше не могу на это смотреть! Кто его в этот ПУК устроил?

— Догадитесь с трех раз, Семен Семенович! — невесело вздыхает Бюргерталь.

— Да, вы правы, док! Кроме Шпинделя, больше некому! — Профессор устало направляется к дивану, внимательно всматривается в спящего Дружкова:

— «Помнишь ли ты...» Черт меня возьми! Собственными руками превратить симпатичную дворнягу в такую мерзость! В жизни себе не прощу!

— Но ведь это величайшее открытие, — нерешительно возражает Бюргерталь, — на Нобелевскую тянет!

— Нобелевскую, Арина Родионовна, этот прохвост раньше нас поймет. А насчет открытия, то вполне допускаю, что теоретически это интересно. Ну, а практически?! Кто теперь перед нами?

Профессор указывает пальцем в сторону оглушительно храпящего Дружкова.

— Пьяная морда! — резонно заключает Бюргерталь.

— Правильно! — немедленно соглашается с коллегой Симбирцев. — Но кто он?! Кто?! А он Кочерыжкин Павел. Двадцать девять лет. Алкаш. Депутат. «Консенсус». «Путину напишу». «Дави котлов» и пропавшие две тысячи. Всѐ!

— Господа, Семен Семенович, теперь я начинаю догадываться, что может выйти из этого Дружкова! — хватается за голову Бюргерталь.

— Уже вышло, дорогая Арина Родионовна! Вышло! Да ничего другого и не могло получиться из субъекта, у которого сперма в мозгах, а интеллект в паху! Вашими, надо сказать, молитвами! И что там от человека, а что от пса осталось, тоже хрен разберешь!

— Человек с собачьим сердцем, — ужасается Бюргерталь.

— Самое страшное, милая моя Арина Родионовна, что сердце Дружкова само по себе здесь и ни при чем. Неважно, собачье там оно или человеческое. Страшен сформировавшийся индивидуум в целом! Вот этот! Скверный и гадкий! И тут уже современная медицина бессильна. Вот такая печальная картина складывается!

Ладно, — Симбирцев берет под локоток Бюргерталь, — пойдемте в кабинет. А то я просто не могу больше слушать этот храп. Ужас какой-то!

Доктор Арина Бюргерталь заметно бледнеет.

— Так что же нам делать? — испуганно спрашивает она Симбирцева, послушно следуя за ним в кабинет. — Я, конечно, не смею вам советовать, но, Семен Семенович, как я понимаю, у нас есть всего один выход. — Бюргерталь проводит указательным пальцем вокруг шеи.

— Совершенно недопустимо! — не слишком уверенно возражает Симбирцев. — Мы с вами давали клятву Гиппократу. И она непоколебима!.. тьфу ты... в смысле непоколебима!

— А я уверена, что другого выхода нет, — чуть ли не впервые не соглашается со своим кумиром доктор Арина Родионовна Бюргерталь, — все равно черного кобеля не отмоешь добела!

Как-то по-особому тревожно часы в профессорском кабинете бьют девять раз, и одновременно нетерпеливый звонок в дверь прерывает затянувшийся профессиональный спор двух медиков. Доктор Бюргерталь выходит из кабинета и вскоре возвращается с известной нам телевизионной дамой сложного возраста.

— Здравствуйте, профессор, — от души радуется встрече дама.

— Здравствуйте-то, здравствуйте, — недовольно смотрит на часы Симбирцев, — но простите, голубушка, уже десятый вечера, а мы работаем до шести.

— Так я днем в понедельник приходила, как договаривались, — лепечет дама, — никто не открыл...

— И что, сударыня? — рассеянно удивляется Симбирцев.

— Вот я и пришла узнать — как?

— Что как? — продолжает недоумевать профессор.

— Я о стволовых клетках яичников.

— О каких еще яичниках?

— Львицы, ах, что я говорю... свиньи... если уж других никак нельзя... — путается дама.

— Вера Леонидовна, — на помощь оцепеневшему профессору приходит Бюргерталь, — извините нас. Столько всего навалилось... как только клетки завезут, мы с профессором вас незамедлительно известим.

— Хотелось бы быстрее! — томно вздыхает дама.

— Конечно, конечно, — выходит из прострации Симбирцев, — а пока я могу дать вам пилюли из экстракта матки молодой свиньи. Арина Родионовна, будьте добры. В шкафу на седьмой полке.

Бюргерталь открывает стеклянную дверцу, отсчитывает нужную полку:

— ...Шестая, ага, вот и седьмая! Не вижу чего-то. Как они выглядят?

— Пилюли как пилюли, — руководит из-за стола Симбирцев, — в баночке из-под чая. На ней еще «Кофе» написано. Левее бутылки с «Яичным ликером».

— Есть, — извлекает из шкафа нужную баночку Бюргерталь, — нашла. Только вот яичного ликера, Семен Семенович, уже дней пять как нет. Его Друзжок Шпинделю на день работника ЖКХ подарил. Я возражала, но сами знаете...

— Неплохой такой Шпинделю подарочек, — злорадно ухмыляется Симбирцев. — Отчасти яичный, но уж никак не ликер! В бутылке, дорогая Арина Родионовна, я хранил концентрированный раствор спермы нашего попугая. Царство ему небесное. Так-то вот! Ладно, ну что же вы застыли? Пилюли-то отдайте Вере Леонидовне.

Бюргерталь вручает сияющей хоть что-то осмыслить даме пакетик с пилюлями:

— Полагаю, ваш студент будет доволен.

— Какой студент? — удивляется совсем обалдевшая дама. — Ах да, но я с ним уже рассталась. Он украл у меня айпед и снял все деньги с кредитки. А потом сбежал. Такая сволочь. Пришлось его бросить. Теперь у меня очень ответственный человек. Герой! Участвовал в миротворческой миссии в Абхазии. Там ранен в голову. И тоже патологически молод. Кстати, живет в вашем доме. Лестница со двора.

— Со двора, говорите? — еще не смекает Симбирцев. — И кто же этот счастливчик?

— У него очень красивое медийное имя... — с дрожью в голосе произносит дама, — его зовут Андрей Малахович! Он обещал на мне жениться.

Чашечка с кофе выскальзывает из рук профессора. Ударившись о ножку стола, она разлетается на мелкие кусочки. Бюргерталь громко и густо закашливается и долго не может прийти в себя. Счастливая дама, бросив игривый взгляд на ошалевшего Семена Семеновича, удаляется.

* * *

— Вот уж точно, — убедившись, что за дамой хлопнула входная дверь, — невесело изрекает Симбирцев, — свинья грязи всегда найдет!

— Семен Семенович, а если у них будет ребенок? — ужасается Бюргерталь.

— С этими пилюлями оценится обязательно. Боюсь, и не одним! Не будем забывать, Арина Родионовна, что семейство псовых довольно плодovито. А тут еще и свиноматка, простите меня ради бога, будьте нате! Так что начнут интенсивно размножаться, ассимилировать, мигрировать...

— Это ужасно! Представляю, кругом всякие там Дружковы, Тузиковы, Жучковы, — подхватывает Бюргерталь.

— Да, и что особенно страшно, — тяжело вздыхает Симбирцев, — они легко прорвутся во власть! Потому что тоже наглые, лживые и беспринципные. И будут, как они сами изволят выражаться, пилить бюджеты. А еще брать взятки, мочиться мимо унитазов и петь песни. Вот такая перспективка, моя дорогая Арина Родионовна.

— Неужели так будет? Это ужасно!

— Скажите, драгоценная Ариночка Родионовна, — Симбирцев на мгновение задумывается, — вас не смущает, как называется наш главный почтовый адрес страны?

— Не совсем вас понимаю, — смущается Бюргерталь.

— Президент собака ру. Вот так, милая Арина Родионовна. Вот так!

— Выходит, я права, — вновь проводит указательным пальцем себе по шее Бюргерталь, — другого выхода нет!

— Теперь даже и не знаю! Но нет, только не то, что вы предлагаете.

Профессор Симбирцев достает из ящика стола рентгеновский снимок, задумывается:

— Возможен, Арина Родионовна, иной вариант. Судя по всему, док, необратимой диффузии пока не произошло, и еще можно провести восстанавливающую операцию. Но все равно не знаю, уважаемая Арина Родионовна! Не знаю!

Старинные часы профессорского кабинета тревожным боем отсчитывают до десяти. Вновь раздается звонок в дверь. На этот раз Бюргерталь возвращается в кабинет со знакомым нам пациентом с розовым лицом.

— Неужели что-то не в порядке, Валентин Юрьевич? — заботливо встречает важного пациента профессор. — Все же было отлично! Давайте за ширму, снимайте штаны, голубчик, посмотрим!

— Не надо штаны... — мнется пациент, — там, профессор, все в полном порядке. Я вам очень благодарен! Хочу вам по секрету сказать.

Пациент кивает в сторону Бюргерталь. Арина Родионовна, поняв намек, выходит из кабинета.

— Вчера в «Дюймовочке», вы не представляете три, нет, четыре... хотя, если честно, — спохватывается высокопоставленный пациент, — то я по другому вопросу. Семен Семенович... тут вот какое весьма щекотливое дельце...

— Вы о чем, Валентин Юрьевич?

Пациент молча достает из кармана пиджака бумагу и отдает ее Симбирцеву:

— Хорошо, что мне непосредственно попала... читайте.

Семен Семенович, нацепив очки, принимается читать:

— ... Так... ага... произносят экстремистские лозунги, угрожая убить меня и председателя ТСЖ Шпинделя, и даже неуважительно говорили о В. В. Путине, употребив выражение «в гробу в белых тапках». Прошу принять срочные меры! Председатель ПУК А. М. Дружков.

— Валентин Юрьевич, — снимает с носа очки профессор, — я могу оставить эту гадость у себя? Или, виноват, может быть, вы должны приобщить ее к делу?

— Семен Семенович, — обижается пациент, — вы уж совсем плохо обо мне думаете.

— Ну, извините, мой дорогой. Просто он меня уже, как бы точнее выразиться, достал...

— Но какой все-таки паразит! — возмущается пациент. — Кстати, можно на него взглянуть? Как Кутузов говорил — хоть бы одним глазом. А то по всем телеканалам разное говорят.

— Нечего там смотреть, — останавливает гостя профессор. — Да и зачем вам психологическая травма, Валентин Юрьевич, — многозначительно кивает в сторону паха пациента, — это и на объекте нашей терапии может сказаться.

— Не дай бог! — пугается пациент, — в общем, Семен Семенович, будьте бдительны. Сегодня эта бумага мне в руки попала. А завтра? Замучают потом всякие проверки да комиссии. Сами знаете, где живем...

— Спасибо, Валентин Юрьевич, — жмет руку пациенту профессор, — теперь я ваш должник.

— Теперь мы квиты. Вы кудесник, профессор! Вчера, вы не поверите... четыре раза... нет, пять... я уже даже не считаю, — сладостно причитает пациент, — прощайте, профессор. И будьте осторожны.

Закрыв за неунывающим высоким гостем дверь, Бюргерталь возвращается в профессорский кабинет, тревожно вглядывается в осунувшиеся глаза Симбирцева:

— Чую, Семен Семенович, не лучшие вести вам принесли?

— Арина Родионовна, — вместо ответа просит Симбирцев, — если вас не затруднит, разбудите, пожалуйста, Дружкова.

Бюргерталь выходит из кабинета. Через пару минут из столовой слышится ее озобоченный голос:

— Трясу его, трясу, никак не просыпается. Котами от него несет! Фу!

— Нашатыря ему на морду налейте, — появляется в спальне с рентгеновским снимком в руках профессор, — Вон баночка, рядом с хлороформом.

— Мне кажется, что хлороформ нам бы тоже не помешал! — Бюргерталь продолжает трясти за плечи Дружкова.

— Давайте-ка помогу, — профессор берет в руки полотенце и изо всех сил хлещет им Дружкова по лицу.

Совместные реанимационные усилия двух опытных медиков вскоре приносят положительный эффект: Дружков пробуждается и ословело смотрит то на Симбирцева, то на Бюргерталь.

— Быстро лапы в руки и с вещами на выход! — не давая опомниться руководителю ПУКа командует Симбирцев.

— Не понял! — мычит с дивана Дружков.

— Немедленно вон из квартиры!

— Как это так?

— Вон!

— Да что такое, в самом деле? — начинает приходить в себя Дружков. — Я здесь прописан, живу и буду жить.

— Убирайтесь из квартиры, — не сдает позиций профессор.

— Да кто ты такой?! — вставая с дивана, неожиданно взрывается Дружков. — Ты понимаешь вообще, с кем разговариваешь? А?! Я — руководитель ПУКа, а ты кто? Профессоришка вшивый! Да я тебе сейчас морду набью, и мне ничегошеньки не будет. Ничегошеньки! У меня везде все схвачено! Понятно?

Дружков левой рукой хватается за Семена Семеновича за горло, а правой замахивается для удара. Но ударить не успевает. В эту секунду доктор Арина Родионовна Бюргерталь с баночкой в руках бросается от шкафа к дивану и наваливается на Дружкова всем телом. С другой стороны дивана на Дружкова насадет профессор Симбирцев. В его руках белеет кусок ваты, смоченный хлороформом. Дружков затихает.

Через несколько минут Арина Родионовна и профессор Симбирцев уже в халатах. В руках Семена Семеновича держит знакомый нам рентгеновский снимок. Часы в профессорском кабинете бьют одиннадцать раз.

* * *

В кабинете профессора Симбирцева висит тревожная тишина. В углу с ноутбуком в руках делает вид, что занята каким-то важным делом Арина Родионовна Бюргерталь. На ней вместо привычного медицинского халата элегантно светлое платье молодежного фасона, с большим декольте и смело обнаженной спиной. Золотистые густые волосы волнистыми струями распущены по плечам. Взгляд уверенный и дерзкий. У окна, крепко обхватив спинку стула кривыми пальцами с длинными острыми ноготками, нетерпеливо постукивает ножкой о паркет председатель ТСЖ Шпиндель. На нем ярко-красный пиджак с огромными зелеными пуговицами, широкий желтый галстук, синие, в полоску брюки. Неподдалеку мнет руками пухлый портфель знакомый нам пациент с розовым лицом. Одет в серый, грубой шерсти костюм. На ногах черные, на толстой подошве ботинки. Жидкие пряди седых волос, обычно тщетно пытающиеся скрыть сияющую лысину, на этот раз, как два козлиных рога, торчат дыбом. Распахивается дверь, и в кабинете появляется облаченный в бархатный костюм благородно-стального цвета Семен Семенович Симбирцев. Отдохнувший, помолодевший, как прежде, властный и энергичный.

— Мне очень неприятно, профе-э-э-э-ссор, — первым нарушает молчание высокопоставленный пациент, — но у меня поручение от самого... — его указательный палец устремляется вверх, — я должен разобраться и в зависимости от результатов принять в отношении вас решение.

— Меня в чем-то подозревают, Валентин Юрьевич? — с удивленной улыбкой пожимает плечами профессор.

— Даже не знаю, что вам и сказать, — пациент вытягивает из портфеля и передает Шпинделю бумагу. — Я бе-бе-бе-бе-з очков. Зачитайте, сделайте одолжение.

Торжественно взяв в обе руки бумагу, Шпиндель не менее торжественно раскрывает рот, но издать звука не успевает. Доносится звонок с лестницы черного хода.

— Одну минуточку! — обращается к стоящему с открытым ртом Шпинделю профессор, затем переводит взгляд на Бюргерталь. — Арина Родионовна, откройте, если не затруднит. Сто лет никто с черного хода не звонил.

Доктор Бюргерталь откладывает в сторону ноутбук и покидает кабинет. Вскоре возвращается со знакомой нам телевизионной дамой. На даме розовое широкое пальто, розовая же вязаная шапочка с меховыми ушами. Маленькие пороссячьи глазки обильно подкрашены. Увидев профессора и пациента, лицо дамы выражает крайнее изумление:

— Вы тоже здесь?

— А где же мне, любезная Вера Леонидовна, прикажете еще быть? — притворно изумляется Симбирцев.

— А я думала, что здесь живет Андрюня.

— Какой такой Андрюня? — вновь наигранно недоумевает профессор.

— В смысле, Андрей Малахович, — уточняет дама, — он украл у меня кошачью шубу и задушил любимого песца. Господи, что я говорю? Ну, конечно же, наоборот! В общем, сплошное свинство! Хрю-хрю.

— Вот-вот, — замахав, как крыльями, руками, мгновенно оживляется Шпиндель, — вот-вот-вот! Еще одна улика! Улика, улика! Все против вас, профессор, все против вас!

— Против меня, говорите? — ухмыляется профессор. — Интересно! Тогда уж поясните, в чем все-таки меня обвиняют? А то кофе совсем остыло.

Пациент с розовым лицом, как копытцем стукнув ножкой о паркет, кивает Шпинделю. Тот вновь торжественно берет в обе руки бумагу и столь же торжественно читает:

— «...Подозреваются Симбирцев С. С. и Бюргерталь А. Р. в убийстве руководителя комитета ПУК Дружкова А. М.».

— Ничего не понимаю, — вновь изумляется Симбирцев, — какого такого Дружкова? Ах, простите, наверное, вы имеете в виду моего пса, Дружка, которому мы с Бюргерталь делали операцию?

— Какого пса? — испуганно лепечет дама. — Хрю.

— Извините, профессор, — негодует Шпиндель, — но пес не может разговаривать. Значит, речь идет именно о человеке. А это, простите, две большие разницы, профессор! Большие такие разницы, разницы такие большие. На самом деле. Пиастры! На самом, самом, самом деле.

— Ну, разговаривать еще не значит быть человеком, — парирует профессор. — Попугаи тоже разговаривают!

— Попрошу без намеков, — подпрыгивает на одной ножке Шпиндель, — как бы попрошу. Попрошу! Попрошу к нашему шалашу.

— К шалашу как-нибудь в другой раз, — улыбается Симбирцев, — а сейчас важно иное: Дружок жив, здоров, и никто его не убивал.

— Профессор, — холодно изрекает важный пациент, — вы уж простите, но тогда его придется нам показать. Десятый день как человека не-е-е-т, а слухи, вы уж меня простите, очень даже паршивые.

— И пусть шубу вернет, — пищит дама, — песец, который... господи, что я говорю... хрю.

— Арина Родионовна, — обращается к коллеге профессор, — вас не затруднит позвать Дружка.

Доктор Бюргерталь ухмыльнулась и посвистела. Из двери на задних лапах выскочил странного вида пес с багровым шрамом на лбу. Его наполовину лысое тело покрывали куски отрастающей шерсти. Опустившись на четвереньки, пес задумчиво уставился на окружающих, затем вновь поднялся на задние лапы, улыбнулся и, похотливо подмигнув даме, уселся в кресло.

— Андрюня?! — визжит дама. — Хрю-хрю! Господи... — и тихо падает на пол.

— Ничего не понимаю, — зеленеет розовое лицо важного пациента, — как же он бе-е-е, бе-е-е, бе-без штанов руководил ПУК-пук-ом?

— Я, слава богу, ни к каким ПУКАм отношения не имею, — отрешивается Симбирцев. — Насколько мне известно, его господин Шпиндель туда рекомендовал.

— Скажите, это он? — растерянно спрашивает у Шпинделя важный пациент.

— С одной стороны, как бы он, — машет руками Шпиндель, — с другой стороны, как бы и не он. Он и не он. Не он и он. Здравствуйте!

— Но он же говорил! — вновь стучит ножкой по паркету важный пациент.

— Говорил, — соглашается Симбирцев, — и сейчас еще говорит, но только все меньше и меньше. Скоро совсем замолкнет.

— Почему замолкнет? Не понимаю!

— Наука, Валентин Юрьевич, еще не знает способа делать из зверей людей, — пожимает плечами Симбирцев, — потому что это противостоит природе. Любая наука, а в первую очередь медицина, должна идти крайне осторожно и воедино с природой. А когда она нарушает этот закон и форсирует процесс, получаются вот такие Дружковы.

— А ему еще можно задать вопрос? Или он уже совсем ни бэ-э-э, ни мэ-э-э!

— Попробуйте, — разрешает профессор, — но надо спешить.

Важный пациент, громко цокая ботинками по паркету, подходит к псу:

— Простите... вы Дружков или, как бэ-э-э бэ-э-э, как бы э-э-то точнее сказать... Дружок?

— Дружок... собака... ру, — радостно информирует пациента пес, — козел старый!

— Не обращайтесь внимания, Валентин Юрьевич, — успокаивает резко обмякшего пациента Симбирцев, — просто он снова превращается в обычную уличную дворняжку. Тут уж ничего не поделаешь. Атавизм!

— Непристойные выражения при даме попросил бы в дальнейшем не употреблять, — строго заявляет пес. — Спасибо! Пожалуйста!

Вежливо раскланявшись, Дружок слезает с кресла, опускается на четвереньки и направляется в сторону лежащей без чувств дамы, мурлыча себе под нос: «Моя бабушка курит трубку...»

Важный пациент ускоренно бледнеет и, уронив на пол портфель, падает на левый бок рядышком с распростертой дамой.

— Копыта отбросили, отбросили копыта, копыта, — встав на одну ножку, машет руками довольный Шпиндель.

— Арина Родионовна, — командует профессор, — валокордина. На двоих. Это обморок.

— На троих, на троих, — кричит Шпиндель. — Попке тоже надо! Попка хороший. Попка очень хороший! На самом деле.

— А этого попку Шпинделя, — грозно засучивает рукава Бюргерталь, — я собственноручно скину с лестницы. Притом прямо сейчас и без всякого валокордина!

— Об этом мы поговорим на общем собрании ТСЖ, — крутя в разные стороны головой, орет Шпиндель, — на ТСЖ. Поговорим, поговорим! Попка дурак!

Помахав напоследок руками, Шпиндель падает вверх лапками на пол и затихает. Его всклокоченная голова с открытым, как клюв, ртом мирно покоится на пухлом животике важного пациента с бледно-розовым лицом.

* * *

— «Помнишь ли ты, как улыбалось нам...»

В мути старинного зеркала отражается блаженно развалившийся в кресле с чашечкой дымящегося кофе в руке профессор Семен Семенович Симбирцев. Рядом

в его ногах дремлет упитанный, с кудряшками рыжей шерсти и черными подпалинами, беспородный пес. Нелепый, добрый и стеснительный. Сытая зеленая муха, решив передохнуть после затяжных почетных кругов вдоль профессорского кабинета, совершает мягкую посадку на самый кончик влажного собачьего носа. Пес морщится, громко чихает и просыпается.

— «Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье...» — коверкает мотив Симбирцев, — ну что, с добрым утром, бедолага. Крепко же ты придавил. Никак не добудиться было. Тявкал во сне, скулил, брыкался. Даже, извини, воздух подпортил. Что-то, знать, снилось интересное да по-собачьи важное! Жаль, уже не расскажешь! Ладно, как там у нас пульс после сна. Соболаговолите-ка лапку.

Пес протягивает лапу, профессор цепко хватает ее двумя пальцами.

— Раз, два, три, четыре... прекрасный пульс. Что же, к вашему собачьему сердцу претензий нет! Молодец! Хороший пес! «Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье...» Честное слово, Дружок, ты мне таким больше нравишься. Честное слово, больше. «Помнишь ли ты...»

— И правда, сон какой-то странный снился, — морщит мохнатый лоб пес, — неправдоподобный! Полная чушь! А с другой стороны, отчего тогда башка вся исполосована и болит, как будто давит что-то изнутри? И что это за намеки: «уже не расскажешь», «таким больше нравишься», «помнишь ли ты»? Странно! Впрочем, странно, да и ладно! Главное, условия хорошие! Квартирка очень даже приличная. Район престижный. Тот же Эрмитаж неподалеку. Есть спутниковая тарелка на сто каналов. Качество HD. Ну и к чему тогда прошлое ворошить? Повезло мне, и весь разговор! Да, похоже, что в моей родословной без спаниеля не обошлось. Все-таки потаскуха была моя бабушка, царство ей небесное.

Радостно повилывает хвост. Растягиваются в ленивой зевоте все четыре лапы. Слышно протяжное собачье дыхание и довольное повизгивание, чем-то напоминающее «Трубку курит бабушка моя...».

В отдалении глухо пробили часы. Громко зажужжала муха. «Помнишь ли ты...» — тихий голос. Затем снова муха.

Арсен ТИТОВ

ПРО МИТЬКУ

Маленькая повесть

1

Костя Боборыкин в хороший майский день к вечеру был на именинах в хорошей семье, где его любили, и там хорошо выпил.

Он выпил там так хорошо, что не был пьян и уехал из хорошей семьи только по заботе о старшем внуке Ване, который у него оставался дома, приезжая к нему обычно на выходные дни, и, конечно, теперь, вечером хорошего дня, надо было его отправлять к родителям, то есть к дочке Кости, красивой молодой женщине, внешне в целом ничего общего с Костей не имеющей, кроме разве некоторых на первый взгляд не существенных совпадений непонятно даже в чем — в стати ли, в глазах ли, в облике ли вообще, но одинаковой с Костей характером, оттого Косте было с ней легко.

Семья именинника, друга Кости, была хорошей, дружной, любящей друг друга и любящей всяких животных и птичек — свинок, кошек, канареек, попугаев — и любящей всякие растения. Не считая уже обычных для наших квартир лимонных, манговых и финиковых деревьев, они выращивали в небольшой кадучке какое-то сапотиловое дерево, о котором при всей своей грамотности Костя до того никогда не слышал, и именинник, друг Кости, сказал, что еще они всей семьей мечтают вырастить сейшельскую пальму. Об этом уникальном дереве Костя уже имел представление в том плане, что их на Земле всего ничего и растут они столь медленно, что им требуется целая тысяча лет. Эти животные и птички и эти растения в семье друга Кости хорошо приживались, и Костя верил, что они и эту самую сейшельскую пальму тоже вырастят. Кроме того, что все в этой семье хорошо приживалось, оно еще придавало их обычной трехкомнатной квартире, уютной и прибранной, еще и приятный экзотический оттенок. Девятиклассница дочь их была влюблена в Костю с самого детства, и это тоже придавало их семье немного экзотики и немного того, что можно назвать небольшой чарующей необычностью.

Косте хотелось остаться в семье еще, посидеть, поговорить, похохотать, вспоминая что-нибудь забавное из общего прошлого. Но у него дома был его внук, девятилетний молодой человек Ваня, и его надо было отправить к родителям на другой конец города. Дочка именинника собрала для внука Кости гостинцы и, чрезвычайно стесняясь, не взглядывая на Костю, подала. Год назад отцу на именины она приготовила пирог и была очень опечалена, замкнулась у себя в комнате с кошкой,

Арсен Борисович Титов родился в 1948 году, окончил исторический факультет Уральского государственного университета, автор нескольких книг прозы и многих публикаций в литературных журналах России и зарубежья, сопредседатель Союза российских писателей, председатель правления Екатеринбургского отделения СРП, лауреат Международной премии «Ясная Поляна» и Международного кинофестиваля «Золотой витязь».

свинкой и попугаем, узнав, что Костя быть на именинах не может. Для всех враз ее чувство, о котором думали, что детское, вот так открылось. Ее чувство и на самом деле было детским, но все равно всех удивила его длительность или, как еще сказать, его глубина, что ли. И нынче она вышла встречать Костю, смело посмотрела ему в глаза, а он только воскликнул, сколько она выросла, сколько она стала схожей с матерью.

— Да ведь вас не различить, где ты, а где твоя мама, так вы обе хороши! — сказал Костя.

Потом, пока шло застолье, она опять была у себя в комнате, вышла только Костю проводить и собрать внуку Кости гостинцы.

И Косте было хорошо ехать домой, к внуку, вспоминать, что было за столом, вспоминать много хорошего из общего их с другом прошлого.

Отправив внука к родителям, Костя вдруг как-то вот так почувствовал, что он один. Одинок он жил давно, и это было привычно, а прямо сказать, так это было большим преимуществом, потому что он без малого всю жизнь прожил один — и при жене, и без нее — так отнимала его служба. Когда он был выброшен в запас по оргштатным мероприятиям, каковыми именуется мероприятия по увольнению со службы без причин и каковыми сильно отличались незабвенные девятые годы, дочка пришла жить к нему и жила, пока училась в академии, а потом вышла замуж и стала жить отдельно. Он снова остался один. И все ему было хорошо. А вдруг в вечер этого хорошего майского дня после именин друга и отправки внука к родителям он как-то странно почувствовал себя одиноким, не в том плане, что брошенным, забытым, обреченным, никому не нужным, всеми оставленным и так далее — нет, совсем нет, совсем не в том плане, но все-таки одиноким.

Район, где проживал Костя, был спальный, построенный комсомольцами восьмидесятых, то есть район был просторный, размашистый, со множеством зеленых насаждений, которые еще не распустились. Майский свет, еще не успокоенный зеленью, еще волнистый, голубовато-рыжеватый и даже будто наспех кем-то лепленный и недолепленным оставленный в одиночестве, оставленный ожидать, когда он будет взорван неслышной канонадой лопающихся почек. Какой он был, этот свет, на самом деле, Костя не мог определить. Он только почувствовал, что он какой-то не всегдашний, не обычный, а именно какой, Костя определить не мог, хотя определить очень хотел. И он решил, пусть-де свет будет рыжеватоголубой или голубовато-рыжеватый. И такой вечер с таким светом как бы бережно приобнял Костю, заставил грустно неизвестно чем восторгнуться, заставил отметить, что все это ему внове — внове, как в детстве. Костя восторгом переполнился, даже немного и радостно встревожился от своего восторга и в умаление его стал искать занятие, какое бы восторг умалило. И сразу никакого занятия не нашел, а поглядел с балкона на эту самую световую недолепленность, оставленную голубовато-рыжеватой, и пошел взять с полки томик своего, можно сказать, брата, сослуживца, одинокого военного пенсионера и калеки из португальского шестнадцатого века поэта Камозанса, взял не то чтобы почитать, а взял неопределенно, чисто по гражданской байке об армейской логике — копать от ворот и до обеда. Стихи его Костю особо не трогали, не то что, например, Рубцов. Но Камозанс был старым бирюком-вожкой, и это обстоятельство очень Костю с ним сближало. И он любил порой просто взять его томик, как взял сейчас: взял, чтобы подержать его в руках, пошевелить его страницы, а потом поставить обратно, то есть отвлечь себя от не нужно нахлынувшего восторга. Он вспомнил, как, бывало, на Восьмое марта готовил в бригаде стенгазету и кое-какие стихи, например, «Сиянье ваших глаз, моя сеньора» и так далее, в газету выписывал, чем ловил бурный успех не только

у женщин, а и у своего брата мужиков, свято не верящих Косте, что это стихи Камознса, а не собственного Кости сочинения.

А потом он вдруг пошел на кухню и вынул из холодильника болтающуюся там с осени бутылку зверобоя. Взял вот так, ни о чем не думая, без угрызений и всякого прочего душевного груза, обычно неминуемого в семейной жизни. Он взял и ничуть не подумал о преимуществах того своего одинокого бытования, в каком пребывал и, скажем, коль уж вспомнилось, в каком пребывал его сослуживец Камознс, бытования старого бирюка-вояки в этом плане, конечно, выигрывавшем от бытования семейного. Взял Костя из холодильника бутылку зверобоя. А о преимуществе своего бытования ему нахлынуло потом и нахлынуло коротко, как бы укором жены, которая, кстати, никогда его за это не укоряла. Но ему нахлынуло — все-таки Костя был по характеру семейным человеком, и только служба сделала его, как он любил думать, бирюком, то есть привычным к одиночеству.

И так как он после именин у друга, после хорошего застолья в хорошей семье все-таки был пьян, то с этой бутылкой зверобоя он провел всю ночь до самого рассвета, а на рассвете хорошо и крепко заснул с чувством всего пережитого за ночь и надеждой, что все будет так, как он в переживании себе насочинял. А насочинял он, конечно, так, как обычно сочиняют все. То есть он насочинял, что все будет у него хорошо.

2

А то, что все будет хорошо, для Кости укладывалось в следующее.

Полтора годами раньше, в декабре, дочка сказала, что они с мужем решили усыновить ребенка из детского дома. Дочка характером была в Костю. Ему с ней было легко. И ее слова Костю не удивили. Он будто их даже предчувствовал, будто знал еще с ее рождения, что она однажды, выросши, скажет так. Он не удивился. Он и сам в декабре восемьдесят восьмого, когда сотрясло Армению, сказал жене о таком же желании, и жена согласилась. Но он вечно был на службе, и с женой уже не все у него ладилось. Он сначала сказал, она сначала согласилась. А потом он пару раз спросил, ну, как-де насчет ребенка. Она снова ответила согласием, давай-де, если хочешь, возьмем. Он понял, что ей не надо, и не стал настаивать, тем более что начались всякие нехорошие события по всей стране, будто землетрясение заодно сотрясло и народ. Лидер страны товарищ Гэ Эм Эс вмешал в события армию, а потом ее, как генерал Власов, сдал, то есть свалил все на нее и на министра обороны, хотя как раз армия не дала тем нехорошим событиям вылиться вообще в межнациональную резню и разгул преступности. Армия тогда, в тех нехороших событиях, сделала все, что смогла. Но ее все равно обвинили во всех грехах и преступлениях вплоть до того, что она не скинула власть, как это, например, полтора десятками лет до того сделали португальские армейские офицеры, далекие потомки друга Кости — поэта и вояки Камознса.

Одним словом, это новое землетрясение развалило страну, развалило очень многие, казавшиеся незыблемыми семьи, в том числе и семью Кости. И всем стало не до чужой беды, не до чужого горя, не до желания спасти от сиротства хотя бы одного ребенка.

А дочка ему сказала, и он сразу согласился, будто ждал ее слов. Еще она сказала, что нужна будет его, Кости, помощь, потому что ее с работы, с довольно солидной должности, согласны были отпускать только на половину дня, и потому другую половину дня хорошо было бы с ребенком быть Косте. Костя и тут согласился, хотя из-за этого ему пришлось оставить свою работу. Он только сказал себе,

что состоялась его мечта молодости, и стал ждать ребенка из детдома, то есть второго внука, как ждал в свое время внука первого и как ждал в молодости саму дочку. Он, конечно, ждал, что дочка возьмет девочку, то есть ему — внучку, и представлял ее нежные ладошечки на своих щеках, и ее нежный лепет, и ее уже в младенческом возрасте всякие женские штучки, какие с великим изумлением он отмечал у дочки. Ему так и рисовалась эта девочка, нежненький и сбитенький карапузик, тянущий к нему ручки, пускающий через два нижних зубика светленькие слюнки, улыбающийся и сияющий на него глазами, уже по-женски что-то ему являющимися. Дочка мечту о девочке сразу погасила. Она рассудила о мальчике — пусть растут два мальчика. И он опять согласился и подумал о дочке: умная.

И в декабре у него появился второй внук, Митька.

Костя совершенно не смог бы объяснить, если бы его стали спрашивать, почему он вынул из холодильника давнюю бутылку зверобоя. Стояла она там, купленная еще осенью, и предназначалась для дачи, для того, чтобы там с холода и устатку осенних работ дерябнуть ее вечером перед камином. Предназначенное, однако, не свершилось. И бутылка тихо-скромно постаивала себе в холодильнике, может быть, даже прижилась там — во всяком случае, видеть ее там стало привычно, будто стала она неотъемлемой деталью холодильника. И за время зимы и весны не раз на душе у Кости был праздник, подобный нынешнему, когда руки сами снимали с полки то Камознса, то Рубцова, а то и самого Льва Николаевича с его «Казаками» и «Анной Карениной». И не раз он мог бы бутылку из холодильника вынуть и рюмочка по рюмочке опустошить то вместе с Ерошкой, а то в негодовании на Анну, которой, видите ли, мужнины уши пришлось не ах. Однако за зиму и за весну такого желания не случилось — это даже при том, что Костя трезвенником и ханжой не слыл и порой выпить почитал за святое. А сегодня случилось. Сегодня майский вечерний свет, какой-то голубовато-рыжеватый, еще не успокоенный летней зеленью и от того позволяющий себе многое из того, что не будет позволять летом, — этот свет сегодня Костю приобнял и будто неуспокоенно нашептал ему чего-то такого, чего не было раньше. И Костя не на даче и не перед камином, не после осеннего холода и не с устатку враз дерябнул пару рюмок. А те тотчас же поспособствовали более чуткому восприятию вечернего майского света, обнимающего, обволакивающего и даже нечто нашептывающего. Способствование отразилось в хорошую сторону. Как-то по-иному стал восприниматься португальский сослуживец и друг Камознс, почти так же, как Рубцов. Как-то по-иному представился вечер у друга в семье, еще тоньше и теплее, и представился он с каким-то новым пониманием их увлечения зверушками и растениями — так, будто это увлечение явилось единственно насущным во всей жизни занятием, почти крестьянским и почти армейским — по Косте, самыми уважаемыми занятиями на земле. И Костя выпил за семью друга, за их занятие, за счастье их дочери, особо сказав, чтобы она быстрее в отношении своего детского чувства взрослела, то есть от детского чувства к нему, Косте, быстрее избавлялась. Он выпил, опять отметил их увлечение равным крестьянскому и армейскому, даже придал некую законность их увлечению, дескать, в такой-то семье оно совершенно логично, как логичны для государства труд крестьянина и труд военнослужащего, по-старинному, труд оратая и труд ратника, даже в названии имеющих один и тот же корень. И в эту логику Костя запоздало включил своих внуков — их-то, двух своих внуков, двух своих ненаглядных дураков, как он мог не взять во внимание! И конечно, вменил он это себе во грех, в грешинку, как он любил говорить. И, конечно, вспомнил иные свои грешинки по отношению к внукам и дочке, случаи, когда не совсем охотно отзывался, а если отзывался, то не совсем искренне,

а порой так и совсем скрепясь, отзывался на просьбы дочки побыть с ними, и слава богу, что ни разу при всем этом не отказал ей.

— Много грешешек, много! Но... — сказал он о себе.

И это «но» отнюдь не касалось того, как то можно было бы предположить, мол, а кто не без греха. Это «но» касалось только его самого, его прежней жизни, полностью прошедшей в военной службе. И это «но» должно было сказать, что при всех своих грешешках он служил честно и безотказно, звания, должности и награды получал по заслугам, а вернее, так по заслугам их недополучил — и, например, даже уволен был за два месяца до тридцатого календаря, то есть за два месяца до полных тридцати лет службы. Надо полагать, государство оттого-то и не разорилось, что сэкономило на этих двух месяцах немалые средства, дав тем самым вспять и оклематься олигархам.

И с этим «но» накатило на него воспоминаниями.

3

Воспоминаниями накатило на него разными — о службе, о внуках, и все они накатились вперемешку, и все они накатились светлыми, как объяввший его майский вечер. И сколько ни был любим первый его внук Ваня, вместе со службой перед глаза вышел вперед внук второй, Митька.

Дочка с мужем, тоже Костей, ставшим Костей Вторым, его привезли из соседней области. Уехали за ним рано утром и вернулись поздно вечером. Костя с первым внуком ждал их. Внук услышал их по мотору машины и подскочил к окну. Потом они оба спустились во двор. Костя Второй защелкивал замок на стоянке, а дочка вынимала из детского креслица на заднем сиденье большой продолговатый сверток. Внук подскочил к ней.

— Тише! Он спит! — сказала дочка внуку и так же сказала следом подошедшему Косте.

Но лишь Костя подошел, лишь различил, что в руках у дочки не сверток, а ребенок в толстом комбинезончике, лишь Костя увидел его личико, как он открыл глаза и с неожиданным взрослым вниманием посмотрел на Костю, потом на дочку Кости и снова на Костю. Костя поспешил улыбнуться.

— Митя! — сказала дочка.

А он, Митя, молча и серьезно потянул к Косте ручки.

— Вот так же сразу он потянулся и к Косте. Весь персонал даже удивился! — сказала дочка о муже, Косте Втором.

— Мужик! Мужичок! — сказал, подходя, Костя Второй.

— Да? Митя — мужичок? — спросил Костя и взял Митю-мужичка, Митьку, внука Митьку. И тот пошел к нему. И Костя удивился его неожиданно маленькому против комбинезончика тельцу, его легкости, будто в комбинезончике было больше пушоты, чем тельца.

— Митька, Митрофан! Дурак мой! — сейчас, держа рюмку и взглядывая в окно, сказал Костя и сам за Митьку ответил, как тот обычно отвечал: — Я не дувак! — и сам подтвердил: — Да, ты не дувак, ты чудонько наше!

И не уследил, каким образом, какой логикой нахлынуло ему слово «Васатичигнай», одно слово, просто слово, разумеется, связанное с его Афганом и несущее только название одного крупного ущелья, в котором была однажды проведена крупная и потому, прямо сказать, неудачная операция.

— Митя, чудонько! Васатичигнай мой! — сказал Костя и только потом себя услышал, услышал это слово и удивился: — А это-то зачем? — и ответил: — А низачем! — и выпил.

А тогда Митьку, конечно, понесли домой и стали втроем раздевать — больше-то, конечно, раздевали дочка с мужем, а Костя стоял рядом и был доволен уже тем, что ему передали и он подержал комбинезончик. Дочка с мужем, раздевая Митьку, поворачивали его и так и этак. Разговаривали с ним, а он молчал и, когда удавалось, неотрывно и с серьезным вниманием смотрел на Костю.

— Кто там? — заметила его взгляд дочка. — Кто там? Там деда? — и подтвердила: — Там деда, твой деда! Деда хороший!

А он, Митька, молчал, послушно поворачивался, и маленькое светленькое его личико было таким, будто он что-то думал, будто вспоминал или готовил что-то себе сказать. Без комбинезончика и толстых кофт и штанишек вышел он совсем худеньким кукленочком, встал на тонкие ножки, посмотрел на всех и протянул руки к дочке Кости, но с ее рук опять стал взглядывать на Костю, и опять дочка стала говорить про Костю словом «деда» и потом спросила Костю:

— Папа, а что он на тебя так смотрит?

Костя и сам не знал, почему Митька на него так смотрит.

— В диковинку, наверно. Там, наверно, мужчин не было! — скрывая потаенные гордость и удовольствие от того, что Митька на него так смотрит, ответил Костя.

И сейчас тоже сказал:

— В диковинку!

Сказал и посмотрел в пустую рюмку и удивился пустоте в ней.

И утром Митька молчал. Дочка сказала, что он и в дороге молчал, большую часть дороги он спал, а когда просыпался, тоже молчал, видимо, что-то понял еще там, в детдоме, потому что стал собираться и потащил из шкафчика свою одежку, но потащил тоже молча, как молча и распрощался с сотрудниками детдома, посмотрел в их сторону и отвернулся. А они провожали его, и им, кажется, хотелось, чтобы он простился с ними как-то по-другому. А потом Костя с Митькой остались одни. На уход дочки он заплакал, и дочка растерялась, стала в дверях топтаться, что-то Митьке говорить, собственно, стала сюсюкать с ним якобы в успокоение. Костя прикрикнул на дочку, мол, быстрее уходи, он без тебя быстрее успокоится. Так и получилось. Дочка ушла. Митька в тревоге показал на закрытую дверь, как бы спрашивая, как это так. Костя сказал ему, вот-де, так, мама ушла, а Митя и деда, то есть сам Костя, остались вдвоем, и пальцем показал, кто Митя, а кто деда. А потом Костя пытался с Митькой играть, подсовывал ему игрушки, рыкал, крихтел, гудел, изображая шум автомобильчика, трактора и самолета. Митька вроде бы улыбался, а глаза выдавали прежнее, вчерашнее, глаза выдавали какую-то совсем недетскую работу. Оживился он и вспрял, слыша во дворе машину.

— Ма! — сказал он, вытянул ручонку с тонкими, едва не просвечивающими пальчиками на звук, легко соскользнул с колен Кости, ухватил Костю за мизинец и потянул к окну. — Ма!

— Ма! Машина! — сказал Костя.

Они долго смотрели во двор, на въезжающие и выезжающие машины, и оба говорили: «Ма!», и Костя еще прибавлял: «Машина!» И Митька как-то пооттаял, как-то будто даже расслабился, посветлел личиком, и глаза выдали другую, не прежнюю напряженную, а другую работу, собственно, уже и не работу, а что-то именно детское, детям исподволь присущее, что-то впитывающее мир, счастливое, простое и чистое. Костя в порыве прижал его к себе, про себя матом обругав бросившую его мать и вместе с матом как-то эгоистично отметив совсем противоположное,

такое, что хорошо-де, что отдала, что теперь он достался Косте, достался всем им и что теперь ему во всем будет счастливо. Митька откликнулся на его ласку, прижался своей щечкой к щеке Кости, но тотчас отпрянул и внимательно поглядел на щеки Кости, модно небритые и колючие.

— Ах ты! И это тебе в диковинку! — сказал Костя, а сердце его так и забухало, так и заходило, так и заповыстраивало вокруг Митьки каменную стену, за которой предстояло Митьке быть счастливым.

Оно, сердце Кости, и сейчас, в этот хороший майский вечер, от воспоминания того хорошего декабрьского дня забухало так, что дерябнул Костя зверобоя еще и еще. И стало ему за Митьку, за предназначенную ему с отказом от него матери жизнь — если бы дочке Кости не пришло в голову взять его к себе, — за его самое черное, самое никакое будущее нестерпимо больно. Какое там будущее, если с самого рождения ему было уготовано не знать, ни разу не пролепетать слово «мама», подумал Костя и еще подумал, что его слово «ма», может быть, как раз вопреки доставшейся ему доле и обозначило слово «мама», может быть, привезли его в детдом на машине и бросили, и он запомнил звук машины, связывающей в воспоминании его с матерью и ставшей ему матерью-машиной. А тут дочка с мужем тоже приехали на машине и повезли его на машине, и он, может быть, тем более уверился в своем понимании, что машина и есть мать. Так стало Косте после того, как он зверобоя — еще и еще.

И Косте стало хорошо от того, что он хоть в тот декабрьский день и не догадался до этого, но долго стоял с Митькой у окна, смотрел на машины и вместе с ним говорил «ма» и следом же прибавлял слово «машина».

А слову «мама» Митьку научил тоже Костя и едва ли не в первый день — ну, пусть не в первый, а на второй или на третий, но научил Митьку этому слову Костя. Дочка утром, лишь Костя пришел, показала, где и что для Митьки приготовлено, и побежала на работу. Митька с рук Кости по-вчерашнему захныкал, потянулся за ней и неожиданно сказал: «Па!» Дочка, конечно, на хныканье остановилась.

— Ах ти мой хоросенький, ах ти мой Митенька! Да мама твоя побежала на работу! Да она скоро к тебе придет! — едва не в слезах засюсюкала она.

Косте опять пришлось прикрикнуть. Дочка убежала. Остались они одни. И Митька все оглядывался на дверь, и все говорил: «Па!»

— Э, — смекнул Костя, поднес Митьку к двойному портрету — дочка и Костя Второй, счастливые — и стал показывать то на одного, то на другого, четко выговаривая: — Папа!.. Мама!.. Папа!.. Мама!..

Митька некоторое время смотрел на портрет, потом недоверчиво посмотрел на Костю, мол, что-то ты, мил человек, не то мне городишь, еще смотрел на портрет, а потом точно таким же, как и Костя, жестом показал на Костю Второго, четко выговарив: «Па!», а потом показал на дочку Кости и опять четко сказал: «Ма!»

— Ну вот, обезьян! — обрадовался Костя. — Вот, правильно! Папа! Мама!

И Митька стал показывать на портрет еще и еще говорить «Па!» и «Ма!» и как-то особенно, в восхищении, что ли, смотреть на Костю: «Па!», «Ма!»

— И как же тебя не любить! — захлестнулся сердцем Костя и опять послал матюг в сторону, так сказать, биологической матери Митьки, а потом спохватился и послал вдогонку опровержение, мол, простите, сорвалось по недомыслию, а вам за ваш поступок большое спасибо.

Вот так сейчас, в хорошую ночь, пошли один за другим все его, Кости, переживания за Митьку, пошли укладываться в те полтора года, которые были там, неизвестно где, когда Митька был ничей, когда ему светила участь быть ничьим во всю его жизнь, когда ему светило счастье не уметь сказать ни «Па!», ни «Ма!».

— Ведь у тебя тогда, — стал говорить вслух Костя о том дне, — ведь у тебя умочек уже требовал сказать слово «мама», а сердчишко не имело возможности ему подсказать. Оно само было неграмотно. Оно само ничего не знало! — так сказал Костя, а потом сказал наоборот: — Нет! — сказал. — Не то! Сердчишко требовало сказать слово «мама», а умочек не мог ему подсказать!

Так Костя сказал, послушал себя, заключил, что во втором варианте вышло правильно. И он снова охватился сильной тревогой, тревогой более сильной, чем тогда, в декабрьский день, тревогой с морозцем по хребту и затылку, от представления того, что было бы с Митькой, не приди дочке Кости на первый взгляд блажь, а по сути, счастье, не приди его дочке страсть взять себе чужого ребеночка.

4

И другие воспоминания других, следующих полутора лет Митьки пришли Косте. Он изрядно подхмелел. Уже ночь была зрелой. Через открытое окно пришла Косте ночная прохлада, темная и нежная, навроде шелка. Он ее положил на ладонь и во всей выпренности, будто нечто торжественное, будто край бригадного знамени, поднес к губам — пьяненький, конечно. И он почувствовал, что прохлада темна, густо темна, как... он хотел сказать, что она густо темна, как кровавый бинт. Но перескок от знамени бригады к кровавому бинту ему не понравился. Он понял, что перескок обусловлен пьяным его состоянием.

— Обусловлен пьяным моим состоянием! — сказал он и напрягся, выгоняя хмель, и пошел к окну, и втянулся в ночную темноту, тоже густую, чернильную. Конечно, ему показалось, что он в нее втянулся, а на самом деле он просто высунул в окно голову и как-то этак ловко высунул, что увидел себя в этой темноте, себя давнего, оказавшегося непроглядной ночью среди огромной стаи собак, молча расступившихся перед ним, а потом молча же замкнувших за ним кольцо. Он почувствовал под ногами тепло нагретого за день асфальта. И, будто ввинчиваясь в самого себя из какого-то небытия, а попросту из беспамятства от контузии и потери крови, понял, почему здесь собрались собаки — они пришли на теплый асфальт. Сколько их было, увидеть было нельзя. Но по их дыханию со всех сторон и на уровне середины его бедра он понял, что их несколько штук и они крупные. Значит, сказал он себе, значит, он вышел к какому-то селению.

Тогда от потери крови и беспамятства он тоже был пьян. Тогда он тоже стал напрягаться, чтобы выгнать беспамятство, вспомнить, отчего он пьян. И ему тогда показалось, что он втягивается в самого себя, в сущности, в свою память. И ему мелькнуло тогда что-то насчет резкой оглушающей вспышки, после которой он ощутил себя среди крупных собак на теплом асфальте. И что-то похожее на страх пришло к нему.

И сейчас вдруг тоже возник страх. Он увидел не себя в кольце невидимых больших чужих собак, а Митьку. Он дернулся от окна, тотчас вспомнив, что тогда, опомнившись на теплом асфальте и среди собачьего дыхания, он не дернулся. К нему тогда пришла память. И первое, что он сказал себе, там, внутри себя, не вслух, первое было — что он вышел к какому-то селению. И он мелко-мелко, осторожно-осторожно пошел обратно, в ту сторону, с которой ступил на асфальт. И ему было непонятно, почему они не залаяли и не кинулись на него. Он подумал, что без памяти он не был человеком, что они не почуяли в нем человека, приняли за какого-нибудь барана из отары.

— А Митьку бы почуяли! — в страхе сказал он. И только стоило ему услышать себя, как в наплывающем просветлении он сказал: — Так ведь Митьку-то, Митьку, маленькое чистое создание, они бы не тронули вообще!

И ах как ему захотелось к Митьке. И ах как он выпил. И ах как пошли светлые воспоминания последующих Митьки полутора лет — полутора лет всеобщего любимца Митьки. Воспоминаний было много. Шли они не чередом, а как попало. Каждое приносило Косте теплую и отнимающую силы радость. «Деда!» — в восторге срывался Митька от родителей, стоило только ему завидеть Костю, и в восторге, будто в показ Косте, что он все помнит, быстрой чередой повторял все то, чему они с Костей успели научиться — надо полагать, благодарил. «Деда!» — вскрикал он в восторге, и мчался на своих коротких и быстрых, как спицы в колесе, ножках, и тянул к нему ручки. А дочка и Костя Второй, сами от Митьки без ума, каждый раз поражались тому, каким становился Митька при Косте. Все это хорошим светом приплыло Косте. И приплыло отметкой, которая родилась еще тогда, еще полтора года назад, что Митька переменялся к Косте после крещения, в котором Костя стал Митьке крестным отцом.

Может быть, только Костя был таким толстокожим, таким упрямым, таким невосприимчивым и черствым человеком, что отношение к вере у него было какое-то свое, ничуть не атеистическое, когда, как говорится, хоть на костер, а ты свое: «Все-таки она вертится!» — имеется в виду Земля и кто-то там, эту особенность Земли подсмотревший. Не был Костя таким безбожником. Но не был он и верующим. В церковь он ходил. В церкви он крестился. В церкви свечку он ставил. Но никак не мог уверовать. Ему ребята внушали — есть. Есть все то, что называется Богом, потому что есть параллельный мир. И не совсем вроде бы был Костя дурак, и мог принять параллельный мир. Но душа его чуяла одно: он, Костя, умрет, и его не станет, просто не станет, как его не было до рождения, как не было его, например, некоторое время в беспомощности от контузии и потери крови. Всем другим он, конечно, желал, чтобы было то, куда душа переселяется, и им там было бы хорошо. Но о себе он знал, умрет — и его не будет.

5

Вспомнил Костя крещение Митьки и — ну, пьяный же! — вдруг пронзился чувством, что при таком свете воспоминания и таком свете ночи, то есть при свете такой ночи, ему следовало переодеться в мундир. Он подумал, что это вычурно и смешно — расхаживать в мундире при наградах ночью в квартире. Но он сказал: «Ну и что!» — так ему захотелось ощутить на себе мундир. Он сказал: «Ну и что!» — и пошел в кладовочку, служившую ему гардеробом. «Служившую!» — сказал он со значением и от двери кладовочки отвернул на кухню выпить за это слово «служившую», прежде чем услышать звон серебра на снимаемом с плечиков мундире.

— Эхе! Как это! — в удивлении сказал он пустой бутылке. — Как это? — еще раз сказал он и сказал как бы куражливо, как бы с некоторым обвинением ей, неизвестно опустевшей перед самым необходимым моментом и в горечи от такого ее поступка, по сути, равного предательству, отвернулся.

Отвернувшись, вздохнул, пошел снова к кладовочке, и мундир снял, и звону серебра на мундире внял, и из кладовочки вышел, мундир надел, пуговицы застегивать не стал, сел на диван, всю свою левой стороной груди чувствуя броню наград и почему-то вспоминая пресловутую ОШМ, пресловутые оргштатные мероприятия,

не давшие ему двух месяцев до тридцати полных календарей. Не глядя, потрогал левую сторону мундира, перебрал ее, будто жизнь пропустил сквозь пальцы — пьянький, конечно.

А Митьку крестить повезли к давнему сослуживцу Кости отцу Феогносту в заштатный городишко, в бывшее, как любили отмечать историки и краеведы, демидовское гнездо, славившееся великолепным храмом начала девятнадцатого века и кое-какими другими достопримечательностями. Сослуживец Кости отец Феогност в этом храме служил настоятелем. Тут же при нем заведовала хозяйством, администрацией, воскресной детской школой, советом прихожан и еще много чем его жена, матушка Татьяна.

Поехали рейсовым автобусом. Митька сразу же посерьезнел, будто умочком своим и сердчишком взялся что-то постичь. И Костя затревожился — уж не приходит ли Митьке, что его везут опять туда, где нет места слову «мама», а слово «ма» обозначает только машину, но никак не «ма-машину», ту самую, которая привезла его к слову «мама» и сама как бы стала мамой. Вот смотрит, думал Костя, и умочком своим переводит что-то навроде того, эх, недолго мне досталось смотреть через окно на чудо из чудес на «ма-машину», опять повезли меня туда, где «ма» — это только «ма», машина и ничего более. И Костя молча говорил Митьке так не думать, говорил-де, если ты что-то умеешь думать, то так не думай, а думай про все хорошее, думай-де, вот окрестит меня в хорошем храме хороший батюшка, и повезут меня снова домой.

Думал что-то Митька или ничего не думал, а за все время крещения ничуть не пикнул, не изменился в лице, будто и в самом деле думал про все хорошее.

А храм, великолепнейшее двухсотлетней давности творение потомков демидовских, отреставрированное и отделанное после работы в нем снарядного цеха местного завода, встретил их сорокаголосьем детским ревом — сослуживец Кости отец Феогност около алтаря скопом крестил окрестных ребятишек. Митьку и это не тронуло. Он с рук Кости смотрел на все внимательно и иногда, чуть отстраняясь, взглядывал на Костю. А что хотел он сказать взглядом, Костя прочесть не мог и на всякий случай снова говорил думать Митьке про все хорошее.

Сослуживец Кости отец Феогност, покончив с сорока окрестными ребятишками, большой, могучий, увеличенный в физическом своем облике еще и церковным одеянием, едва не утопил Костю вместе с Митькой в радостном своем объятии.

— Ну, видел, командир, каков хлеб поповский? — радостно сказал он, чуть кивнув в сторону все еще ревуших сорока окрестных ребятишек.

— И наш был не слаще! — сказал Костя про службу.

И крестили Митьку отдельно, в отведенном для того приделе. Сослуживец отец Феогност спросил Костю, хотя знал еще со времени совместной службы его отношение к вере, спросил, верует ли он. Костя ответил виноватой улыбкой.

— Все понятно! — сказал сослуживец отец Феогност как бы в осуждение, хотя осуждать и не думал, и Костя это знал. — Все понятно, командир! — повторил он и прибавил, что он о Косте знает больше, чем сам Костя. — Ладно. Я больше тебя о тебе знаю! — сказал он.

И Костя был у Митьки крестным, и совершил все требуемое обрядом, трижды громко, как на плацу, кричал отречение от лукавого, раздевал серьезного и будто все понимающего Митьку, отдавал его сослуживцу отцу Феогносту, получал его обратно из купели, терпеливого, молчащего и серьезного, потом одевал в беленькую распашоночку с шитой по краям золотой узкой тесьмой, специальной к крещению, ходил с ним по кругу за читающим молитвы отцом Феогностом, держа Митьку на левой руке, крестясь в указываемом отцом Феогностом месте

правой и ощущая, как раненая левая рука Митьку, этого, можно сказать, одуванчика, с каждым шагом все более отказывается держать.

После крещения пообедали с вином в трапезной, поговорили о том о сем, менее всего, приличия ради, о службе боевой, как то можно было ожидать, а более о нынешнем, насущном. Выходило, что все у всех складывается хорошо. Матушка Татьяна, любившая Костю, как она говорила, сберегшего ей ее мужа, хотя Костя специально никого не берег да и сберечь не мог — разве что отказался бы выполнять задачи и распустил всех по домам, — сказала, что встречаться надо чаще. Встречаться чаще никто не был против. И договорились встретиться всем вместе на пасхальной неделе.

— Только не в саму Пасху. У меня и секунды свободной не будет! — уточнил встречу сослуживец отец Феогност.

На обратном пути, тоже в автобусе, Митька снова был на руках у дочки Кости, спал, а когда просыпался, тотчас оглядывался на Костю, сидевшего со вторым внуком Ваней сзади. Тревожный, во всяком случае, кажущийся Косте тревожный его взгляд, найдя Костю, успокаивался и даже будто что-то говорил.

— Папа, ну что он все время тебя ищет! — будто в недовольстве или в ревности не выдержала дочка.

— Я гарант его благополучия! — пошутил Костя.

— А мы разве не гаранты? — в прежнем чувстве спросила дочка.

— Вы отец и мать. А я дед. Да еще я его крестный! — снова отшутился Костя.

— Митя! Наш Митя! — с любовью прижала к себе Митьку дочка Кости.

А он, выворачивая голову, снова и снова смотрел на Костю. И как тут было, вспомнив все это, не облечься в мундир.

6

И как же тут, при мундире, было не назвать пустую бутылку и бесстыже исчезнувший зверобой предателями. Выходили они подлинными предателями, изменниками Родины, и к ним без всяких оговорок подходил приказ номер двести двадцать семь времени Великой Отечественной войны со словами...

Далее Костя хотел, конечно, привести эти слова приказа, но запнулся, стал вспоминать, какие именно слова в отношении предателей Родины говорил приказ. Он взял со стеллажа книгу фронтовых воспоминаний с полной публикацией этого приказа, более столетия скрываемого как нечто совершенно позорное, хотя никакого позора он в себе не нес, а нес только то, что должен был нести приказ времени войны — конкретные распоряжения для достижения победы. Костя несколько раз прочел приказ, как-то не очень ясно вспоминая, что читал эти слова о предателях Родины в приказе, но сейчас не находя их. В приказе не было этих слов. Там было определенно сказано, как поступать с трусами и паникерами: «Трусы и паникеры должны истребляться на месте». Но бесстыже исчезнувший зверобой и уж тем более пустая бутылка зверобоя под эту категорию не подходили. Они были предателями Родины, но никак не трусами и паникерами. А про предателей Родины приказ говорил только вот такие слова: «...все отступившие с боевой позиции без приказа свыше являются предателями Родины, и поступать с ними надо как с предателями Родины...», а как поступать с ними, с предателями Родины, именно это приказ не говорил.

— Эх, вы! — сказал в досаде зверобоем и пустой бутылке Костя. — Вывернулись! В самый необходимый момент подвели, оставили одного, бросили! А вас, оказывается, наказать нельзя!

И пока он так говорил, пока, сидя на диване в мундире с наградами, он произносил эти несколько слов, досада улетучилась, и вместо только что желаемого наказания Костя вынес им, выпитому зверобою и пустой бутылке, благодарность.

— А вы молодцы! — сказал он, все увидев по-новому, не так, что предатели Родины и прочее. — Да вы меня в самый необходимый момент поддержали! Вы сами погибли, а меня поддержали! — сказал он.

И он тронул одну из наград на мундире. Только она знала слова наградного листа, благодаря которым она и появилась. Она знала слова о том, что Костя, в ту пору майор Боборыкин, пошедший в поиск с молодежью и как наиболее опытный, остался прикрывать отход обнаруженной группы и повел боевиков в сторону, был контужен и ранен, но уничтожил шестерых. Сам он помнил только первых двух. А она по наградному листу знала о шестерых. Может, она была более права. Может быть. И потому-то, видимо, он оторвался от преследования — шесть двухсотых или там трехсотых хоть кого остановят, заставят призадуматься, за кем погнались. А сам он после первых двух им заваленных и после взрыва гранаты уже ничего не помнил — не помнил, как отстреливался, куда уводил или уже не уводил, а просто шел и шел, тащился, где падал и вставал, где спал или не спал. И совсем он не мог вспомнить, как на четвертые сутки едва ли не Божьим промыслом вышел на этот теплый асфальт со стаей собак. Он очнулся от их дыхания и понял, что рядом селение, что селение — это гибель или, того хуже, плен и ему в его положении самым лучшим оставалось пойти в ту сторону, откуда он пришел. Он так и сделал. И собаки молча пошли за ним. И никакого чуда в том не было, что они не залаяли. Куда там наброситься на него — они даже не залаяли. Они только молча обнюхали его и пошли за ним. И не было того, о чем он тогда, очнувшись, подумал, что они его, беспамятного и обморочного, приняли за нечто неодушевленное, например, за барана из отары. Все на поверку вышло просто и без чудес. Еще с Афгана Костя знал, что не было лучше в гарнизоне сторожей от духов и вообще местного населения, чем собаки, со щенячьего возраста выросшие в гарнизоне. И эти собаки, на которых он вышел, был отрядные, выросшие при их отряде. И до гарнизона, до родного отряда было всего с полкилометра. Откуда же ему в его беспамятстве было об этом знать. И он медленно пошел назад. И он упал в десятке метров от асфальта — обо что-то запнулся и уже не поднялся. А чудом было то, как он в беспамятстве вышел к отряду.

— Вот так вы молодцы! — сказал Костя выпитому, то есть уже не существующему, уже как бы погибшему зверобою и пустой бутылке.

А приплыло это воспоминание о том бое и о собаках на теплом асфальте потому, что прежде приплыло прошлогоднее хмурое, сырое и холодное осеннее утро на даче Кости в дремучих лесах среди каменных глыб уральских сопок. Дочка и муж, то есть Костя Второй, ушли за грибами. Внук Ваня удрал к соседским ребятишкам, а Митька остался с Костей. Он тоже стриганул на своих коротких и быстрых ножонках за Ваней. Он уже хлебнул счастья бегать за ними, за старшими ребятишками, и лучиками просыпающегося умишки ловить совсем непонятные, но уже подспудно, врожденно близкие ему и трогающие его сердчишко их затеи. Он длинной очередью из пулемета РПК прострочил за Ваней, но безжалостно был пойман Костей в дверях.

— Я с Ваней хосю! — заплакал Митька.

Косте надо было поработать во дворе. Но он сказал:

— Пойдем искать папу и маму!

Они вышли за ворота дачи и вошли в дремучий сырой лес. И этот поход с Митькой по дремучему сырому лесу, этот круг в полтора километра был для

Митьки, в глазах Кости, равен его, Кости, тогдашнему пути в отряд. Костя свято верил в то, чему его учили и что он учил до изнеможения, до автоматике, до навыков, переходящих в инстинкт. Именно эта автоматика навыков, перешедших в инстинкт, по мнению Кости, и привели его к отряду. И Митька не то чтобы верил Косте, что Костя найдет маму. Митька иного и не знал. Уже какая-то пуповина связывала их. Уже было у них что-то нераздельное. Что там Митька думал под низкими сырыми лапами елей, пихт и можжевельника — что он мог думать? Он держался за руку Кости и думал, если думал, что так и надо. Надо идти за Костей, за «дедиськой» — и ничего иного не надо. У него тоже был навык — навык знать, что Костя, «дедиська», ведет его к маме, почему-то оказавшейся в этом дремучем сыром лесу или оказавшейся где-то в другом месте, но к ней надо идти по этому дремучему сырому лесу. И он, Митька, придет к маме, если таким образом, через дремучий и сырой лес прийти к маме, сказал Костя, «дедиська». И он шел притихший, серьезный, исполняющий большую работу — идти к маме сквозь сырой дремучий лес. И они вышли обратно к воротам дачи. И Костя, заслышав за спиной, на тропке, по которой они только что шли, дальний и неясный шум чьих-то шагов, остановился. Он догадался, что это могли быть его дочка и Костя Второй. Через минуту он услышал их голоса.

— И где же наша мама? — спросил Костя.

Митька вздохнул и грустно, совсем как много поживший мужичок, развел ручонками:

— Тю-тю!

— А вон там кто? — показал Костя на тропку, по которой они только что пришли.

Митька посмотрел туда, в сырой и дремучий лапник ельника, в можжевельник, загораживающий тропку, и поверил Косте.

— Ма-а-ма! — в необычайном, но тихом восторге возгорел Митька.

И сегодня, в этот хороший майский день, ну, не в день, а в хорошую майскую ночь, Костя все вспоминал и — пьяный, конечно, — вспоминал все хорошо, вспоминал так, будто Митька был у него, был у его дочки и ее мужа Кости Второго, спал в своей кровати рядом с ними, с мамой и папой, спал, раскинув ручонки и ножонки, а те трепетно ловили каждое его сновидение.

Костя с тем и улегся на диван калачиком и укрылся мундиром, сквозь его плотную ткань чувствуя теплую, будто от чьих-то любящих ладоней, легкую тяжесть наград.

А Митьки у них не было. За год до нынешнего хорошего майского дня та мать, нагулявшая во второй раз брюхо, отсудила Митьку. И никто ни во что не стал вникать — ни Верховный суд, ни всякая там служба по правам человека и ребенка, ни в удовольствие пошумевшая по этому поводу пресса. Митьку увезли.

Вот так было и так стало. И Костя с того дня стал видеть Митьку среди стаи собак, только окружали его другие собаки, не отрядные.

Сегодня же, пьяный, он уснул хорошо и крепко, будто было у них все, как было прежде, с Митькой, или, по крайней мере, было как в хорошей семье его хорошего друга.

Владимир ПШЕНИЧНИКОВ

ВСЕ ОТРЕЗАНО

Рассказ

Похоже, настало время определиться со своим прошлым. Ни врачи, ни палачи — никто не грозит мне никаким приговором, но тут ведь главное, как ты сам чувствуешь, а я чувствую — да, пора. И не такие орлы крылышки сложили, не успев сообразить, чем же была их промелькнувшая жизнь, а все же... нет, не так.

Главное знание заключается в том, что жизнь человеческая до безобразия коротка. Да. Но и живи ты хоть сотню лет, а на исполнение замысла тебе дается все-то двадцать один год, если не меньше. Для наглядности нарисуй недлинную временную ось и попробуй расставить на ней точки своих явных провалов и успехов. Небогато, не так ли, даже если первым выдающимся событием пометить самостоятельную езду на двухколесном велосипеде типа «Школьник».

Сам бы я при таком подходе начал вспоминать с той весны, когда дед умер, а в небе вошла красивейшая за все столетие комета Bennett с двумя хвостами. Она появлялась под утро на северо-востоке, над увалом, называемым Горой, и первую неделю после похорон я, кажется, вообще не спал ночами. В потемках уходил на увал с самодельным угломером и лопатой, разворачивал там свою сургучно-веревочную лабораторию и до появления кометы слушал ночь. И земля, и космос в эти часы были открытыми и близкими мне, а люди спали и казались детьми. Когда длина хвоста кометы достигла десяти градусов и восходить она стала пораньше, я позвал на зады отца. Выводил его с отвернутым на глаза околышем треуха, поставил перед плетнем и сказал: теперь посмотри на Гору.

Каталожное имя и всю историю Bennett я узнаю осенью, а тогда мы проговорили целый час не только о звездах. Смеялись, и наши петухи пели часы показушно старательно и стройно. Оказалось, домашние заметили мои ночные вылазки сразу, как стали исчезать пирожки с листа, укрываемые бабушкой на ночь рушником, но увязали все с девушками, и матери уже точно было известно, к кому я бегаю: младшая Потаповых стала здороваться с нею, не поднимая глаз. «Так, Вадька, восьмой заканчивай без троек, среднюю школу — на отлично и будешь учиться в Москве, в главном университете», — сказал тогда отец.

После майских я соберусь показать Bennett той же Потаповой, но хвост кометы уже вытянется в ниточку, и вряд ли она его действительно разглядела, пискнув: «Ой, какая красивая», — вы, девушки, и не такое имитируете. О том, как умирал дед, напишу через десять лет, рассказ станут изучать в школах да и сейчас еще проходят. Так что на одномерной оси моя весна шестьдесят девятого никак не помещается — ни провалов, ни успехов, разве что восьмилетка потом будет окончена действительно без троек. Другое дело — семидесятые. Первые публикации в физико-математических и литературных журналах, какая-никакая карьера, первая женитьба по залету, первые сыновья, первый блуд. Тут, правда, не совсем понятно, каким цветом что метить, но цепочка выстраивается убористая. В восьмидесятых — книжки в сто-

Владимир Анатольевич Пшеничников родился в 1955 году. Окончил Пензенский политехнический институт. Автор нескольких книг прозы. Живет в Оренбургской области.

личных издательствах, последние шишки от партийной дубины, депутатство в областном и районном советах, еще сыновья и первые смерти по моей неподсудной вине. В девяностых — дела общественные, два года тюрьмы, из которых отдельно можно пометить арест и первый этап с вологодским конвоем как предельное унижение, а под самый конец десятилетия — рождение первой внучки.

В тюрьме я впервые и попытался осмыслить свои сорок прожитых лет. Изготовил кубики из клеклого хлеба, высушил снизу на регистре и, перебирая самодельные четки, понял, что осмысленность всей жизни действительно определяют жизненные пики, но одной временной осью тут не обойтись. Жизнь человека превосходит себя не в длину — даже в смысле воспроизводства, — а в высоту, реализуя ценности, или в ширину, воздействуя на общество. Так появилась работающая система координат, где вертикальная ось восходит от отчаяния к осуществлению смысла, одна горизонтальная протянута от неудачи к успеху, а другая — от толпы к сообществу. Только в такой системе можно обнаружить отчаяние, несмотря на успех, и понять осмысленность существования даже и в неволе. Как говорил Диоген, если в жизни нет удовольствия, то должен быть хоть какой-нибудь смысл.

В нулевые мою жизненную кривую вновь исказят — хорошо, украсят — соизмеримые пики реализованных смыслов. Шестидесятый победный май я самым чудесным образом, как победитель, встречу в Москве, и университет, и верных старых друзей повидать, и новыми публикациями отмечусь, потом восстановлю порушенную тюремной карьеру, а вот с семьей этого не получится.

В самом начале нулевых я привез на родину свою вторую, юную жену. В застолье рассказывал, как ловко удалось нам получить полуторку в общежитии и уже перестроить ее под себя, из чего и какие складываются у нас доходы, но отец, вроде бы любивший такого рода подробности, реагировал вяло, почесывал левый глаз и вдруг сказал: «Всю твою жизнь, Вадька, искалечили бабы». — «Ну, а жида и американцы угондошили нашу с тобой страну», — нашелся я. «А что, не так, что ли?» — закончил батя риторическим вопросом и ушел спать. Мы с ним досиживали вечер в гараже с поллитровочкой, я накатил остатки и отправился не в отведенную молодым спальню, а на Гору; ночью, после далеких школьных лет — впервые. Не знаю, что я хотел там найти, а наткнулся на плотный клубок памяти — это, скорее всего, правда, что не все наши воспоминания хранятся в черепной коробке, так, какая-нибудь часть, ставшая нарративом. Поднявшись на полста метров по увалу, я смотрел на огоньки все тех же трех сел внизу-вдали и на Большой Летний Треугольник в небе.

Лира, Лебедь, Орел и затесавшаяся к ним Лисичка — так я представлял когда-то любимые созвездия другу Вовчику и старшим сыновьям. Под Денебом светило село, где я заканчивал среднюю школу, под Вегой — наше родное, а под Альтаиром угасала Роптанка. На вершину увала похоже, что трактором приволокли отжившую свой век ветлу, мелкие сучья и кора ее давно сгорели на кострах, а на голом коряжистом стволе можно было устроиться целой компанией. Я уселся на развилку, нашел опору для спины, вытянул ноги к комлю — айда ночевай, Вадя, — и стал смотреть в засеянное небо. Летний Треугольник окормлял густой участок Млечного Пути, посверкивала внутри его Стрелка — оттуда и стал размазываться серебряный клубок. Впору было вспомнить молитву какую-нибудь, и я вспомнил: «Среди миров, в мерцании светил одной звезды я повторяю имя... Не потому, чтоб я ее любил, а потому, что я томлюсь с другими. И если мне сомненье тяжело, я у нее одной ищу ответа, не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света».

До ночевки на увале дело, конечно, не дошло, но не скоро уснул я и дома. О том времени, куда унесло меня, могло напомнить изрядное количество тетрадок, писем и фотокарточек, но вся эта куча была безвозвратно уничтожена первой женой, называвшей меня бабником и скотиной. Дольше всех продержался давний вызов из университета, но и тот в конце концов словно истерся и испарился. Когда почтальон принес его, жена доила, а я сгонял мух и слепней с коровы, чтоб не хлестала хвостом куда ни попадя. Вскрыл конверт и выразительно прочитал содержимое вплоть до расшифровки подписи декана физфака МГУ Василия Степановича Фурсова. Жена встала из-под коровы и, только что не наподдав ногою ведро, ушла в дом, я побежал следом и сунул бумажку — порви сама, а корова не виновата. Но все не так однозначно было и здесь. Как-то вскоре мы поливали речной огород, я отвлекся, растолковывая соседу закон Бэра, механизм образования меандр — отчего, короче, у наших рек берега подмываются по-разному, и петляют они даже на самых плоских равнинах, а жена как спустилась за водой, так и пропала. Застеснялась своей беременностью, решил я, свернул просветительскую беседу и — обнаружил ее плачущей Аленушкой на мостках. «Тебе что, плохо?» — «Да-а, — завывала она, — ты теперь скажешь, я тебе жизнь испоганила». — «Да почему испоганила, мы ж еще и не жили», — у меня это, честно сказать, получалось — вернуть какое-нибудь уместное слово, правда, понятным я бывал через раз, но правда и то, что боязливый зад редко когда пукнет весело.

Я не думаю, что там была исключительно ревность — подмена любви, — может быть, плюс инквизиция, хотя и это не точно. Первый аутодафе — свой *actus fidei* — она вершила не перед костром, а в уборной, построенной по случаю нашей женитьбы, да и позже моя писанина летела не в огонь, а — разодранная — в грязь и в помои. Ей бы утопить мои бумаги в дерьме, не читая, а она, видать, их все до одной исследовала. Может быть, и она знала, что только духовная близость имеет значение, и просто бесилась от бессилия, кусая меня и всех, с кем я сходилась ближе положенных ею пределов. На запястье, прикрываемая ремешком часов, у нее есть наколка «Гена», а я воображал вообще целую роту предшественников-свояков, которые знали ее совершенно другой: веселой, заводной, ненасытной в любви. Со мной она была такой один раз за все без малого тридцать лет, в ту новогоднюю ночь в клубе, за столом, на диване в учительской. Я тогда преподавал математику в родной восьмилетке, она учила мою сестренку-второклассницу... Стоп, ведь не это вспоминал я той летней ночью.

Начать с того, что в школе я был страшным общественником. С первого класса участвовал в постановках и читал стихи, пока голос не поломался и не угас, выкладывался в легкой атлетике, рисовал угарные стенгазеты и был прославлен брехней — своими устными рассказами. Читал на самом деле немного, но пересказать мог все, фантазируя на пустом месте. А к одному из последних вечеров перед выпуском из восьмилетки наш классный Михаил Федорович решил выучить меня игре на балалайке — сам он мог и на гитаре, страстно любил мандолину. Через неделю, ввиду отсутствия у меня слуха, стало ясно, что дуэт не сложится, и на вечере мы солировали порознь. Он исполнил «Меж высоких хлебов», а после молдавского танца жок вышел я, и мои куплеты стали гвоздем программы: «А за мостом за-азеленела-а полоса кав-аровая — а не печальси — а я приеду — а милка черна-абровая». Хототали все, даже не пытаясь расслышать, о чем я конкретно страдал девять или двенадцать куплетов.

Михаил Федорович приехал к нам после войны, чтобы забрать жену, эвакуированную из Подмосковья с детским домом, да так и остался. В детдоме,

а потом в школе преподавал русский и литературу, меня научил фотографии, радиоделу, нагрузил журналами «Техника—молодежи» лет за десять, как оказалось, самых прорывных, а на выпуск подарил красную книжку «Имена на поверке» — стихи погибших поэтов-фронтовиков. Хотел бы Киплинга, признался, но не нашел. И стал читать наизусть: «Наполни смыслом каждое мгновенье, часов и дней неуловимый бег, тогда весь мир ты примешь как владенье, тогда, мой сын, ты будешь человек», — потом я отыщу другие переводы «If», а этот помню и сейчас. Своих детей у них с женой не было, и в меня Михаил Федорович напихал всего с избытком. «Эти ребята Киплинга знали, факт, — сказал, поглаживая книжечку. — Ифлийцы, особый призыв. Мобилизовали весь второй курс аспирантуры и старшекурсников через одного. Прямо с лекций увезли на грузовиках и зачислили политруками в армию. Больше половины погибли. А институт после войны разорили как гнездо буржуазного космополитизма. Александр Трифонович успел его до войны закончить». Он был знаком с Твардовским, с выжившими, но так и не доучившимися студентами ИФЛИ — Института философии, литературы и истории, сам что-то писал великолепными авторучками, но мне ни одного листка из его бумаг не досталось.

Потом я буду с первого номера получать «Квант», стану печататься в нем, моя полка наполнится книжками по физике и математике, но «Имена» останутся всегда под рукой. «Мы были высоки, русоволосы, вы в книгах читаете, как миф, о людях, что ушли не долюбив, не докурив последней папиросы». Я завидовал им и томился своими малыми летами и скудными знаниями.

На первом году в средней школе я сошелся с физиком Василием Александровичем, которого местные называли Васяня-кот, и со второй четверти он стал разрешать мне первым излагать новую тему, а потом вступал сам со словами: «Та-ак, а согласны ли с этим бредом я и Александр Васильевич Перышкин?» Он знал автора бессмертного учебника, ездил делегатом чуть ли не на самый первый съезд учителей, или, как он говорил, шкрабов; вместе мы готовили демонстрации и лабораторные, и он всячески поддерживал отцово решение отправить меня на учебу в Москву. С математичкой дальше индивидуальных заданий мы не пошли и никаких внеурочных тем не поднимали. Вообще тихо как-то было в школе после уроков, почти мертво. Бывало, только я возился в лаборантской да трудовик постукивал в мастерской.

На торжественную линейку перед последним учебным годом я не попал: сволокивали солому в родной четвертой бригаде, а когда заявился, новостей было выше крыши. В школу назначили нового директора Силуанова, который привез с собой из города О. сразу двух учителей. С физруком Дерягиным, мастером спорта по штанге, мы познакомились в тот же день, а словесница преподавала в классах помладше и на глаза не попала. На второй или третий день ко мне на уроке подошел Василий Александрович и сказал: «Так, сейчас тихохонько встаешь и шагом марш к директору. Вещи оставь, я в лаборантскую заберу».

В кабинет директора я вошел с ходу, без стука, но «здрасьте» сказал внятно. С подоконника, сверкнув коленками, соскочила маленькая женщина, а из-за стола поднялся здоровенный кудрявый парень в сером костюме. «Здра-асьте», — пропела женщина. «Привет, — сказал директор Силуанов. — Вадим, я так понимаю. Говорят, паяльник держать умеешь». — «Ну», — сказал я. «Валерия Захаровна», — сказала Лера, протягивая мне руку. Все эр и эл родного языка в ее исполнении станут для меня невоспроизводимой музыкой. Ладонка была небольшая, твердая, глаз ее за темными стеклами очков я не разглядел. Скуластенькая, короткая стрижка, белая рубашка и темный сарафан балахончиком. «Пойдем», — сказал Силуанов, звякнув ключами.

Двоем мы зашли в кабинетик, где я не был ни разу. На двух столах громоздились провода, проигрыватели и проекторы, магнитофон «Яуза» без крышки, всеволновой приемник «Казахстан», ламповый трансляционный усилоч У-100 — да много чего электрического. «Ни один не работает, — вздохнул Силуанов. — А начать надо с радиоузла. Понятие имеешь?» У меня были три толстых книжки по радиоделу, и единственная непрочитанная называлась «Усилители и радиоузлы» — думал, никогда не пригодится. «Надо с приемника начать, — сказал я, — реальный же сигнал потребуется». Силуанов согласился, все равно еще «лапшу» добывать для разводки по классам, а мне просто не терпелось послушать короткие волны, их в «Казахстане» четыре поддиапазона. Но сначала надо было разобрать хозяйство, на что и ушел первый прогулянный урок.

Потом оказалось, что в приемнике достаточно заменить сетевой предохранитель и перетянуть вернерное устройство, в усилителе вообще ни одного предохранителя не было, а магнитофон тянул звук и после замены пассива. Пару раз в радиорубку заходил Силуанов, оценил наведенный порядок, предупредил, чтобы с уроков я отпрашивался сам, правда, разрешил в случае непонимания сослаться на него; колхозный телефонист пообещал ему не только метров сто «лапши», но и пятток абонентских громкоговорителей.

После уроков они пришли с Дерягиным, расконопатили форточку и стали курить и балагурить. Я спросил: «Кто-нибудь поможет мне антенну натянуть?» — «Сам, что ли, не справишься?» — живо нашелся Дерягин, но на крышу полез именно он; растянутый им медный канатик, уже никому не нужный, провисел на коньке школьной крыши еще лет двадцать. К приемнику я подключил динамик от проигрывателя, через форточку затащил снижение антенны, и диапазоны ожили еще до того, как Дерягин закончил монтаж. Когда он вернулся в радиорубку, из динамика доносилось: «Goodbye, Ruby Tuesday — who could hang a name on you». Силуанов курил под форточкой, покачивая крупной головой. «Ain't life unkind? — повторил довольно похоже. — Жизнь зла, не знал?» Но покамест она была прекрасна. «У меня на „шарпе“ есть, между прочим», — сказал Дерягин, когда «камушки» отыграли. «Откуда у тебя „шарп“?» — усомнился Силуанов. «После Мюнхена на боны сам покупал, — деловито ответил физрук. — Завтра принесу, буду разминки под музыку проводить».

Только заспорили о разводке по классам — я предлагал три отдельных линии или хотя бы начальные классы выделить, как нарисовалась техничка: «Пал Иваныч, вы школу сами закроете?» И все посмотрели на меня. Ну да, они как бы дома, а мне еще на велике пилить пять километров. «Да ерунда», — сказал я. Но и Дерягину пора было к семье, а Силуанову — ремонтировать квартиру к переезду жены. Так закончилась первая осмысленная среда в средней школе, под Рубиновый Вторник — как еще тебя назвать?

В субботу мы начали, а в воскресенье заканчивали разводку двух линий. В коридоре все подряд изрыгал дерягинский «шарп», а сам он пробивал «лапшу» со стола. Я обходил табуреткой, Силуанов всюду доставал с пола, только молоток себе по руке выбрал. Трудовик расsverливал дверные косяки и готовил чопики для крепления громкоговорителей на стенах в классах. Через окно я увидел, что в школу пришла и Лера — короткий плащик, стопа тетрадок под мышкой. Когда подтянулись предупрежденные с субботы технички, мусорить мы уже закончили. Трудовик собрал инструменты, физрук и Силуанов остались на линиях, а я пошел прогреть усилитель. «А если коротнет?» — спросил Дерягин. «Тогда увидим, кто как гвозди забивал», — сказал директор.

Дверь радиорубки была открыта. Лера перебирала пластинки. «И все уже работает?» — спросила. «Сейчас увидим», — сказал я. Когда индикаторная лампа

в «Казахстане» набрала полный накал, у меня уже были подключены два микрофона, и новый я протянул ей: «Говорите что-нибудь». — «Что говорить?» — «Ну, как под мостом поймали Гитлера с хвостом — новости, короче». — «А стихи можно? — и, глядя прямо на меня, она стала читать: — Косым, стремительным углом и ветром, режущим глаза, переломившейся ветлой на землю падала гроза». Я задохнулся от узнавания. Взял второй микрофон и, когда она сделала паузу, продолжил: «И вниз. К обрыву. Под уклон. К воде. К беседке из надежд, где столько вымокло одежд, надежд и песен утекло». Получилось не так, как хотелось, — сипло и неровно, гавканье какое-то. Я сбился, а Лера не без лукавства продолжила: «Далеко, может быть, в края, где девушка живет моя...» Потом она и меня будет учить читать стихи, главное — правильно дышать при этом, так, как их самих учили в пединституте, — мне не привилось. В дверях появился Силуанов: «Что это было?» — «Павел Коган, стихи». — «Буль-буль, буль-буль, — изобразил директор. — Ясно, что не проза, да не разобрать ни черта». — «А я все слышал а-атлично!» — сказал подошедший Дерягин. И мы стали разбираться. Выход в усилителе был один, а коммутатор я делал наспех. «Ну, привари пока два простых разъема, по очереди будем втыкать, — сказал Силуанов. — Говорил же, одну линию надо тянуть, нет, устроили, понимаешь, сегрегацию». Я переключил трансляцию на приемник, мы ходили по школе втроем, подкручивали громкость на динамиках, а Лера в рубке время от времени меняла линии. Треск в пустой школе раздавался жуткий. «Против этого я в коммутатор кондеры и вlepил», — оправдывался я. «Только стены испохабили!» — кричал издали Силуанов. Чушь со всех сторон неслась несусветная.

Я вернулся в радиорубку и застал Леру стоящей коленями на стуле, придвинутом спинкой к столу с аппаратурой, а туфли ее валялись на полу. «Ты знаешь, у Кульчицкого тоже есть о дожде, — сказала она, обуваясь. — Дождь. И вертикальными столбами дно земли таранила вода». Ну, не специально же она выбирала все эти эр и эл. А под внезапный настоящий дождь мы с ней попадем месяцев через восемь, под первый ливень семьдесят второго, промокнем до последних ниток, будем сушиться и все делать как-то без стихов. Да и не любила она стихи на самом деле. Когда я читал с ходу сочиненное: «Шаловливый шелест шелка. Полусвет иль полумрак. Кто подглядывает в шелку, приглушив зевок в кулак?», Лера засмеялась и сказала, что это был чуть ли не единственный раз, когда она вообще пододевала комбинацию.

Постоянно подключенной решено было сделать старшую линию — семь динамиков в классах и два в коридоре, и Силуанов потренировался запускать гимн. «Завтра перед линейкой врубим. И думайте о дикторах, о программах». — «Я о закаливании могу прочитать», — нашелся Дерягин. «Во, самое то, — ухмыльнулся директор. — Сентябрь скоро закончится, а скука — аж скулы сводит. Что, нечего замутить? Или не с кем?» Я сказался наезжающим. «Да все мы тут люди не местные, — рассмеялся Силуанов. — Но вы же нашлись, я так понимаю? — Он ткнул пальцами в нас с Лерой. — Буль-буль, буль-буль. Ищите дальше! А ты, мухач, когда свою штангу привезешь? Я среди бела дня школу закрываю — и мне стыдно, вы это понимаете?» — «Мне даже классного руководства не досталось, с кем заниматься?» — сказала Лера. Не было класса и у Дерягина. «Не, ну, есть же самостоятельность, — предположил я, — актив там». — «Завтра я вам собираю актив в пионерской, — пригрозил Силуанов. — Даже если это сплошь балалаечники окажутся». Я воспроизвел первый куплет своих страданий: «А за мостом за-азеленела...» Лера сняла очки, чтобы вытереть слезы, и я увидел ее глаза. «А если, — заливался Дерягин, — если еще на венике играть — ваще помрут со смеху». — «А тебя три дня не брить, пачку нацепить и — умирающим лебедем на сцену, — без смеха сказал Силуанов. — Самое то убожество получится».

На первом активе выяснилось, что какое-то шевеление происходит после уроков в интернате, но в школу перенести было нечего. Посудачили и разошлись. На второй я принес «Имена на поверке», Лера достала свой экземпляр, и девчата-активистки подумали, что это наш тайный знак. Послушали, кто как читает. А на третьем решено было создать клуб старшеклассников и к открытию подготовить композицию по стихам ифлийцев — послание потомкам. Круг сузился, но встречи сделались ежедневными. Подбирали стихи и песни («Бригантина» стала гимном клуба), разрабатывали мизансцены. «Выступать будем в физкабинете, — сказал я. — Демонстрационный стол разберем, крышку — на пол вместо сцены, тумбы по бокам, на доску — декорации. И прожектор из эпидиаскопа сделаем — выделять говорящих».

Декорации — это был первый повод остаться нам наедине. Я нарезал обои на полу, клеивал, рисовал контур бригантины, который должен был стать черным силуэтом на фоне огромного закатного солнца. Лера сидела на парте, болтала ногами и что-то говорила — мне было все равно что, я елозил по полу и помалкивал, понимая, что голос-то меня и выдаст. Возвращался домой под вечер и не самой короткой дорогой — мимо Камней, единственного в округе переката на речке. Крутил педали и в какой-то момент подумал: зачем говорить, если можно написать, и той же ночью измарал половину школьной тетрадки. Утром заехал в Бабкин лес, чтобы на знакомом пне перечитать написанное, но в итоге в школу попал под конец занятий и с единственным листком в кармане. Лера мне обрадовалась, потому что разыскивала с утра, а никто ничего вразумительного сказать ей не мог. Она нашла в каком-то журнале вторую декорацию: девушка с поднятой рукой на берегу моря, вид сзади, пара чаек в вышине. Я вернул вырезку вместе со своим листком, сказал, что пока полотно подготовлю, и ушел в физкабинет один, поигрывая ключом.

Лера пришла, может быть, через полчаса с моим листком в руке и сказала, что потеряла эскиз. Я принес из лаборантской свернутую штору для затемнения, бросил на пол в проходе между партами и велел ей разуться. На закрытую дверь мы посмотрели одновременно. Я сказал: «Смотрите на Ньютона». «Встаньте так-то» все равно бы прозвучало как «встаньте раком», а мне надо было рисовать ее со спины. И она стала рассказывать сэру Исааку о моей записке: просто, ясно и при этом стильно и сильно. А самое ее любимое — «Голубая чашка» Гайдара. «Что такое счастье, каждый понимал по-своему», — сказал я. «Да», — сказала она. Потом мы и на людях перебрасывались такими цитатками-паролями — мол, она знает, что я знаю то, что знает она, и наоборот. И вдруг я увидел, как вся она напряглась: не стало заметно позвоночника, округлилась попка, а икры сделались как у культуристки. Быстро набросал ее лодыжки и попросил как бы словить муху над головой — ухватил и линию позвоночника, и плечо поднятой руки. «Можете обуваться», — сказал.

Лера села на дальнюю парту и принялась снова за мой листок. «Правда, здорово! А это на самом деле случилось?» — «Нет, — сказал я, — но могло». Года через полтора она перепишет часть моих записок, отнесет в молодежную газету, там выйдет целая полоса, а на открытие поставят этот самый рассказик. Короче, глобус был большой, тяжелый и стоял в классе на шатком шкафу. На переменах шкаф задевали, и глобус часто оказывался на полу. Его каждый раз возвращали на место, а могли перенести на подоконник и оставить в покое. И вот я решил сделать это сам. Достать глобус даже со стула — нечего и думать, придется раскачивать шкаф... Когда я наскочил на шкаф с разбега, глобус наконец покачнулся, стал заваливаться, полетел вниз, ударился об пол и распался на две половинки. По классу, нарезая круги, покатились шайба или пуговка, а я стоял и смотрел на расколотую Землю.

Записок будет много, потому что Лера от меня уже не отстанет. Она никогда не разбирала их как филолог, оценивала самыми общими словами и требовала — еще. А потом мы болтали о чем попало, при этом мне очень хотелось назвать ее по имени, но только она сама могла как надо произносить все эти эр и эл, да еще в одном слове.

Однажды я остался после репетиции в лаборантской физкабинета, чтобы подготовить какую-то демонстрацию. Василий Александрович специально принес краюху свежего хлеба, дождался, пока мои одноклубники схлынут, и, подмигнув, укандылял в больницу к жене. Я нарезал хлеб, достал коробку с разными консервами, и тут в лаборантской появилась Лера. «У вас не заперто, — сказала. — Я не сильно помешаю?» — «Кто мешает, того бьют, — сказал я. — Что вы есть будете?» — «Ой, а я правда голодная! Даже чаю не пила». — «Чаю не обещаю, а два кубика какавы есть, — нашелся я. — И вот еще...» Она выбрала кильку в томате, самое то. Я поставил на электроплитку колбу Эрленмейера, приготовил стаканы, накрошил ножом камнеподобные кубики какао. Стол надо было расчистить пошире, я стал убирать книги, Лере достались вырезки о «Союзе-11», она взялась перебирать их и разворачивать. «Что же с ними случилось?» — спросила. Мы разобрали ложки, начали есть, и я стал рассказывать: «В кабине „Союза“ были выключены все передатчики и приемники. Один из двух вентиляционных клапанов открыт. Плечевые ремни у всех троих членов экипажа отстегнуты, а ремни Добровольского перепутаны, застегнут был только верхний поясной замок». — «Они пытались ликвидировать утечку!» — «Ну, так правильно ведь?» — «Да, но ты представь только! Закипает кислород в крови. Друг друга они не слышат — барабанные перепонки лопнули. Боль по всему телу — декомпрессия же! В кабине туман после разгерметизации. Закрыли не тот клапан и потеряли время». — «Все равно правду мы никогда не узнаем», — сказала Лера. «Правду? Что значит правда? — мне показалось, что она просто не поверила мне. — Поддай, пожалуйста, банку с фасолью. Теперь смотри. Что ты сейчас видишь? Круг. А так? Ну не совсем квадрат — прямоугольник. Главное, и круг, и квадрат ты видела своими глазами, значит, и то и другое — правда. Истинным тут будет цилиндр. А если наклеить этикетку какого-нибудь компота, какими будут истина и правда? „Другими“. Просто надо задавать правильные вопросы». — «И какой, по-твоему, вопрос правильный?» — спросила она чуть погодя. «Почему», — буркнул я.

Тут вода в колбе загудела, выплескиваясь, Лера протянула руку к горловине, я успел крикнуть: «Ты что делаешь!» — и припечатал ее предплечье к столу. «Ничего себе реакция! — Лера засмеялась, потирая локоть. — Делай что-нибудь, выкипит же». Я выдернул шнур из розетки, снял брючный ремень, обхватил горлышко колбы плоской ременной петлей и разлил кипяток по стаканам. «Извини», — сказал, ясно сознавая, что мы на «ты» уже минуты три или больше.

Потом я готовил демонстрацию, а Лера читала письма, полученные мной за последнюю неделю. «Ничего не понимаю, но затягивает, — сказала она. — Ты на все отвечаешь?» — «Стараюсь». Писем я получал множество. Мое описание движения заряженных частиц в электромагнитных полях различных конфигураций и напряженностей критиковали за неуместную простоту, но этой же простотой и восхищались. Девчата уже со второго письма начинали интересоваться более широкими темами, потом присылали всякие трогательные вещички; истинно — мы любим тех, с кем нравимся себе.

День, как бы сейчас сказали, презентации клуба наконец настал. Уже зарядили дожди, местные разбежались по домам переодеваться, а мне, приходящему, пришлось шалавиться до вечера в школе. Униформа у нас была простая: белый верх с картонными кружками эмблем на груди, темный низ, но девчата что-

то такое накрутили на головах, подобрали что-то — картинки сделались. Лера вернулась быстро и накормила меня какими-то пирожками. Мы нервически смеялись, готовя сцену и оборудование, и досмеялись — электричество кончилось. Прибегал Силуанов, не ссать, сказал и умчался выправлять положение. Я засучил рукава и включил аварийный план. Из кубовой принес четыре керосиновых лампы — еле донес целыми, по коридорам начались массовые гулянья и жмурки, из лаборантской вытащил два ящика щелочных аккумуляторов — подсоединил «шарп» и прожектор (эпидиаскоп не отключил от сети, и он выдал потом первые и последние тысячу свечей), новообращенный радист Санек из девятого изготовился работать по экстремальной схеме. Вернулся взъерошенный Силуанов, но, увидев иллюминацию, успокоился, быстро вывел на свет из темных коридоров зрителей, и в физкабинете стало не продохнуть.

«Надоело говорить, и спорить, и любить усталые глаза. В флибустьерском дальнем синем море бригантина подымает паруса», — спел недружный из-за моего медвежачьего участия хор, Лера объяснила, кто мы и зачем, и я, ведущий, начал с Рождественского: «Эй, родившиеся в трехтысячном, удивительные умы! Археологи ваши отыщут, где мы жили, что строили мы...» Дальше мальчишки (четверо) читали предвоенную лирику ифлийцев, девчата (пятеро) пели: «До свидания, мальчишки», и мальчишки уходили в потемки, а я оставался, повыше подсучивал рукава и гнал жути про войну. Мальчишки выходили по одному, читали фронтовые стихи и уходили совсем. Николай Майоров, Павел Коган, Леонид Вилкомир, Захар Городисский. Когда девчата начали: «В полях за Вислой темной лежат в земле сырой...», стало ясно, что до публики дошло и премьеры состоялась. Но надо было еще пережить минуту тишины в конце, и общий выдох, и аплодисменты.

Лера подбежала первой, обняла меня, и я осмелился прижать ее покрепче, почувствовать и грудь ее, и бедра, и сбрую на теле — и тут дали электричество, прожектор нас ослепил, и все смеялись и улюлюкали. Подошел Силуанов, разнял нас и увел меня в свой кабинет. «Ну, Вадька, за то, что получилось у вас, — сказал, встряхнув кулаками, — на седьмое — в клуб, а потом поездите». Он разлил водку, достал из сейфа открытую банку сайры, хлеб, и мы стали выпивать и закусывать. «У нее же там, — он махнул рукой, — дикая история была с женатым архитектором. Видал, руки все поисчирканы? Вскрывалась. Вот забрал с собой. Отошла, как думаешь?» А я не видел ее голых рук, она их мне покажет только после Нового года, все покажет. Будет ее истерика после материнского письма с какими-то упреками: «Я же выблядок! Она сама не знает, от кого родила меня, сволочь!» А тогда она влетела к нам и велела налить тоже — ишь, попрятались! Дерягин пришел выпивать с большим куском сала, а перед этим открыл спортзал для танцев, и Санек перенес туда магнитофон.

Ходили и мы танцевать. Силуанов вышел с Лерой на круг, а мы с Дерягиным встали к стенке. Потом меня выбирали наши умницы-красавицы — тормозили, прижимались, а Дерягин в это время отвлекал их парней разговорами. Силуановские запасы мы добились, я наспех прибрался в физкабинете и впервые пошел провожать Леру до дома. Оказалось, что квартиру она сменила: на прежней достали какие-то уроды, хозяйкины родственники. Держались за руки, я нес нашу поклажу, поливал дождичек, шуршал ее плащик, хлопали голенища сапожек, размокшая кепка наезжала мне на уши и на лоб, с козырька капало. Я сказал о силуановских планах, но она их уже знала. Разговор не клеился вообще. Возле дома она сказала: «Я могу войти только одна». — «Тогда до понедельника», — сказал я. Мне до дома оставались еще километров пять тьмы и бездорожья, по времени — часа два. За селом я продвигался от столба к столбу, чуть не пропустил главный

поворот и всю дорогу твердил: «Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях, чтоб от Японии до Англии сияла Родина моя».

Потом будут наши гастроли по соседям, мы порвем всех на районном смотре, выступив вдобавок с живой музыкой, а вторую композицию так и не запустим. Девчата кипами приносили свои «альбомы» с Асадовым и безымянными авторами, но и тема любви у ифлийцев прозвучала убедительней. К Дню космонавтики что-то свое мутили уже пятиклашки.

В разлив семьдесят второго, ночью, мы угнали с Вовчиком колхозную лодку, поднялись против течения до самых Камней и начали блаженный сплав по течению. Ночь была белесой, тихой, и я рассказал другу о Лере. Пора было, потому что после разлива она захотела сама увидеть все наши с ним места, описанные мной за зиму в записках и устно.

Я привез ее на мотоцикле в коляске, высадил в начале нашей улицы, у речки, и отогнал «Ижа» хозяину-соседу. Вечер был теплый, светлый, все лавочки заняты, и наша тоже. Сестренка моя тут же сбегала на разведку, а Вовчик потом рассказал, что шел за нами под берегом до ручья, только на Пески не решился: укрыться негде под этой лунишей. Лера ему понравилась. Сейчас не могу даже выдумать, о чем мы говорили в ту ночь. Потом она скажет, что просто любовалась мной, моим горением, точными словами, перечисляла кучу вещей, которые стали для нее простыми и понятными благодаря мне. На Горе мы оставили свои знаки на скалистом выходе песчаника, на Песках посидели у костерка, а возвращались самой короткой дорогой — через Камни. Вода спала, я собирался с ходу перенести Леру на руках по перекату, но она план разгадала и согласилась ехать у меня на закорках, только чтобы я штаны снял и разулся. «До дома высохнут», — сказал я. «Вот именно, а ты станешь калекой». Под ливень мы попадем через месяц.

Потом нас распустят перед экзаменами, и у меня начнется сенокос. Сочинение я напишу по Чехову: люди сидят, обедают, а в это время рушатся их судьбы. За математику получу четверку только потому, что перед комиссией лягут оба решенных мною и пущенных по рядам варианта. Математичка через много лет признается, что я был лучшим из всех ее учеников, а тогда она, дура молодая, захотела дать мне жизненный урок. «Они должны были съесть твои листки!» — негодовала Александра Андреевна. «А им представился случай закусить мною», — успокоил я ее. На консультации из-за сенокоса я не ездил, к тому же умудрился отравиться лжалой селедкой и однажды, приехав сдавать химию, угодил на историю.

На наш выпускной Лера не пришла, но Санек донес ее записку, и ночь после выпуска я провел с нею. В Москву уезжал наутро, автобусом с центральной усадьбы, и мне оставалось часа два, чтобы сбегать домой за рюкзаком и вернуться. Она ждала и проводила, дала свой адрес, потому что через пару дней тоже уезжала, больше ее ничто не удерживало. Силуанов сидел на чемоданах давно, жена к нему так и не приехала. Дерягин о возвращении в спорт уже не заикался, в школе ему понравилось, дети пили парное молоко, а штангу и гири он намеревался перевезти за лето. Мы все реализовали смыслы открывшихся нам ситуаций в тот год и могли быть счастливы. «Ты даже не представляешь, что ты для меня сделал», — говорила Лера и тут же жалела, что не научила меня одеваться (сама была в каком-то ситцевом платьишке балахончиком), представляла, каков я буду в столице с рыбацким рюкзаком и удостоверением личности вместо паспорта. Мы целовались, стучаясь зубами и очками. Исходили все окрестности, издали проводили наш выпуск за село, встречать рассвет. «Ты хочешь быть с ними», — сказала она, а я хотел быть одновременно в сотне, может быть, мест.

Лере я написал из университета, что заселен в главное здание, в сектор В, в боксе со мной философ-заочник из Чимкента и — ты не поверишь — Лешка Федотов из города О.; жара адская, горят торфяники, и Москву заволочло дымом. До экзаменов была куча времени, и готовились мы только ночами, когда зной немного отступал. Лешка был вечерником, лет на семь старше меня, физфаком его заразил какой-то выпускник, с которым они строили бетонку Москва—Саратов. Скоро я стал получать письма от Леры, почти каждый день. Ей пообещали место в пригородной школе. Она помирилась с матерью. Сняла квартиру напротив школы. И вдруг — она испугалась, что никогда не дождется меня, никогда. Я уже сдал две математики, а Лешка завалил первую же, но еще ошивался в университете, попивал «тамянку» и спорил с будущим советским философом, как бурсак. То, что я прошел главный фильтр, нагнало на него окончательную скуку, и он засобирился домой. Я перечитал письмо с «никогда» и сказал, что еду с ним. Потом вместе поступим.

«Спросим: мыши есть?» — фантазировал Лешка, когда мы отыскивали наконец нужную квартиру. Дверь нам открыла востроглазая тетенька. «Нам Валерию Захаровну», — сказал я. «А Лера в деревне, к свадьбе готовится», — сказала тетенька, скушав «Захаровну». «К чьей, может, я знаю?» — нашелся Лешка. Оказалось, к своей. Потом она скажет, что все написала мне сразу же, каждый день же писала. Лешка откровенно радовался и утешал: «Пойдем с тобой в башкирские пещеры — мать родную забудешь!» В пещеры он ходил без меня, подхватил геморрагическую лихорадку и писал длиннющие письма из больницы, подписываясь коротко и ясно: твой Шизя. Я уехал домой, мы с отцом взялись перестраивать баню, а теперь вот, через тридцать лет, он наконец сказал, что бабы всю жизнь мне испортили. Я мог бы ответить, что это просто его план тогда провалился, но он спал уже, а после мы никогда эту тему не поднимали — я был дед, он прадед, и нам хватало иных забот. Если скорбь и раскаяние служат тому, чтобы исправить прошлое, то я в этом совсем не нуждался.

С Лерой мы увидимся через девять лет. Я буду в городе О. по каким-то делам, и друзья-приятели уговорят меня остаться на ночь, сходить к художникам — ставропольское вино будет, «битлы», двойной эпловский альбом. Я остался, и мы пошли. Все было по плану, но в компании появилась некая В. А., землячка хозяев берлоги. В какой-то момент она под села ко мне и заявила, что знает обо мне все. «Цыганка, что ли?» — «А Леру хочешь увидеть?» И я вдруг захотел. Они работали вместе, дружили, а больше я пока ничего не хотел слышать. От художников мы возвращались далеко за полночь, в сквере перед нами тормознул милицейский уазик, приятелей ветром сдуло в кусты, а я остался, потому что во мне уже постукивал метроном какого-то невероятного предчувствия, и я считал себя трезвым. «Какой же ты трезвый, если даже убежать не смог», — посмеялись мусора. Я удивился: «Зачем же трезвому от вас бегать?» Короче, заночевал в вытрезвителе. Оправку помню, влажные простыни, правдивые рассказы сокамерников. Выкупать меня пришли в десятом часу. Мы поднялись на второй этаж к начальнику с просьбой не сообщать на мою работу, и он оказался сговорчивым. Даже опохмелил нас, но за это мы ему выступление на коллегии написали, на его взгляд, отличное. Выкуп нам вернули натурой, мы пошли выпивать и думать, где взять деньги на мой отъезд. Денег нигде не было, и вдруг зазвонил телефон. «Можете приехать хоть сейчас», — сказала В. А. голосом сводни.

Оказалось, ее пришли проведать давние ученики, а она пригласила Леру. На людях мы обнялись, почти не видя друг друга, и сели в разных углах. «За ней скоро заедут», — шепнула В. А. Через минуту я выбрался из-за стола и пошел в ванную.

Постоял там, как дурак, помыл руки, еще постоял, а когда вышел, Леру уже уводили почему-то двое, или второй был из компании. «Так даже лучше пока», — со значением сказала В. А. Я взял у нее все телефоны, денег на дорогу, и мы тоже отчалили. Едва добрались — звонок: я закрыл кран так, что... в общем, утром я поехал не на вокзал, а снова к В. А., починять водопроводные краны. Она опять пыталась что-то рассказать о Лере, но я прикрыл и этот фонтанчик.

О своих приездах я звонил на телефон школы, но они все равно приходили на свидание вдвоем. «Что ты, тут столько глаз!» — восклицала В. А., а я думал, что она и есть главный соглядатай, куратор всех наших встреч. Лера улыбалась рассеянно и виновато. Обо всех моих публикациях, премиях и некоторых похождениях они знали и без меня, видели оба раза по телевизору, а интервью по радио слушали в учительской, тогда же всем телефонограмма приходила: поддержать цикл «Школа и общество». Прорисовывались разрозненные картинки наших пропущенных лет, может быть, и яркие по отдельности, но, сопоставленные, они тут же одинаково перекрашивались сепией, делались монотонными, жалкими, банально эмигрантскими. Возвращаясь домой ночным поездом, я потихоньку выпивал, ходил курить в тамбур и думал о том, что никакого будущего у нас нет. Нас нет — есть она там и я тут. Она там — ия́тут, выстукивали колеса. Стихов я уже не писал, но чужие помнил: «Кому ж нас надо? Кто зажег два желтых лика, два унылых. И вдруг почувствовал смычок, что кто-то взял и кто-то слил их. О, как давно! Сквозь эту тьму скажи одно: ты та ли, та ли? И струны ластились к нему, звеня, но, ластьясь, трепетали».

В сентябре В. А. устроила нам свидание у себя в квартире. Я приехал, и она засобиралась по делам. Лера была в скользком каком-то платье, и ее пришлось специально придерживать на коленях, пока она снимала мои и свои очки. «Ты научился целоваться?» — спросила она. Я сказал: нет, потянулся к ее красиво уложенным волосам — и сдвинул парик. Она поспешила поправить, но я стащил эту нахлобучку и бросил на стол. Спина ее выпрямилась, попка превратилась в гладкий валун, оставленный первобытным глетчером, а на меня посмотрела перепуганная тифозная тетка. «Вот здесь у меня ничего нет, — сказала она, — все отрезано», — и приложила ладонь к левой груди. Я стал целовать ее, куда доставал, и она уточнила, что удалили грудь, а сердце на месте. Я положил ее на диван и сказал, что всегда помнил о ней. «А я не знаю, что теперь с этим делать», — сказала она. Не знает, как с этим жить, подумал я. Лера засмеялась: «Ты что делаешь, я же в колготках». А я стеснялся на нее посмотреть. В нее и входить, наверное, надо было как-то иначе — она помогла бы, так, да — и дальше ох, и захлюпало. Ни продолжать, ни заканчивать я не мог, но выручила В. А., давшая три звонка, прежде чем ворваться. «Он в школу звонил полчаса назад, расходимся, ребята!» Они вышли вдвоем и направились к своей школе, а я захлопнул дверь минут через пять и двинул в сторону проспекта. Шел и думал о своей первой и последней любви. Хотя первая, последняя — при чем тут это? Каждая любовь переживается как вечная, но и кончается сразу — ох, и... Или вообще без вздоха. Больше мы не встречались и не созванивались.

Когда Лера покончила с собой, выяснилось, сколько вокруг нас было доброхотов. Они знали о ней столько ненужных им подробностей, о которых я и понятия не имел. Я позвонил сводне, она подтвердила известие и сказала, чтобы я приехал к ней, и мы сходим на могилу. Я не приехал и могилы не видел. Сейчас уверен только в одном: когда-то я отвлек Леру от суицида, а через десять лет — подтолкнул. С этим живу, а она смотрит с небес, и я не знаю, как она смотрит.

Елена НОВИКОВА

РАССКАЗЫ

БИБЛИОТЕКА

Нужно придумать, куда поставить детскую кроватку, сказала беременная дочь. Больше они ничего не сказали, а смотрели в окно, где желтые листья медленно падали, будто не решаясь назвать осень по имени.

Говорилось это, он знал, именно ему: ведь это его библиотека занимает большую часть квартиры: уже завешаны все стены, сложены стопки на столах, на табуретках, ящики под кроватями..

Каждую книгу он знал лично: где купил, как читал, какая тогда была погода, да, не смейтесь, отлично читался, к примеру, Шарль Нодье в грозу, вписываясь между молний этаким буревестником, а вот «Победа над солнцем» хотела хорошей погоды, иначе в чем же ценность победы? — если все мироздание с тобой заодно... Нет, извините, победа должна быть личной.

Его взгляд бродил по стенам, находя то один, то другой корешок, узнавая... Вот Баскер точно сказал бы, что это проблема дочери и зятя — пусть покупают себе квартиру. Но он любил дочь и понимал, что денег у нее не будет никогда, во всяком случае на квартиру, такой он ее воспитал...

Итак, нужно избавиться, по крайней мере, от двух кубометров книг... Пока... Продать, подарить библиотекам, раздать друзьям... Книгам будет не хуже, они не будут скучать и скулить, как на их месте скулил бы пес, они даже будут прочитаны лишней раз или даже десять... Их кто-то полюбит. Но он почему-то видел их в мешках и обязательно под дождем, брошенных, преданных, забытых...

Дочь ушла по делам, и дома никого не было. Он подходил к полкам, всматривался в лица книг и повторял, как заклинание: у меня должен родиться внук! Книги молчали. Потом он подумал, что если бы не стало его, и книги были бы не нужны, большая часть.

Он хорошо знал, что сказала бы жена, если бы была жива: перестань ныть! С барахлом нужно расставаться легко: с собой все равно ничего не возьмешь. Но он не мог называть книги барахлом. Он знал, что и жена произносит это слово специально, так сказать, для эмоционального воздействия: вот, мол, живой человек, а вот гора макулатуры.

Он отправился на кухню сварить себе кофе, читать с чашечкой кофе было лучше всего. Решение он только что принял — избавиться себя от выбора, кому из книг остаться, кому уйти. Он будет брать наугад, с закрытыми глазами — с каждой полки по одной. Прочитает страничку напоследок, попрощается... Ему даже захотелось для полноты ощущений делать это под музыку... Кто подойдет? Гайдн, Лист? Важно, чтобы без слов, чтобы не отвлекало от текста.

Елена Станиславовна Новикова — прозаик. Окончила ЛПИ им. Калинина (теперь СПбГТУ) по специальности «прикладная математика», работает в рекламном агентстве. Публиковалась в журналах «Нева», «Звезда», «Урал», «Новый берег», «Полдень XXI век» и др. Живет в Санкт-Петербурге.

А потом пришла дочь и сказала, что арендовала теплый чулан в соседнем доме и туда можно временно поселить часть вещей и ходить к ним в гости, а там посмотрим. Она так и сказала — «поселить», будто бы речь шла о живых существах. Если позвать писателя с улицы, он обязательно бы устроил здесь какой-нибудь инсульт, и дочь нашла бы отца на полу, а рядом лежала бы раскрывшаяся при падении книжка — вот на этой странице, а на странице было то-то и то-то — например, привычный апокалипсис. Но жизнь чуточку умнее...

МУЗЫ

Главной его бедой (а может, как раз удачей) было то, что со всеми своими музами он вступал в человеческие отношения. Музы матерели, старели, плакали и смеялись, у них выпадали зубы и волосы, они выходили замуж и рожали, ели шашлык измазанным помадой ртом, эмигрировали и возвращались, они звонили и жаловались (только ты меня можешь понять!), они просили в долг и просто просили, им нужна была новая зубная щетка в больницу, ласты в отпуск, лекарства хеомоциин и ношпа, и он, восхищенный ими когда-то почти до обморока, настоящий рыцарь в доспехах из серебра с лунным камнем, должен был мчаться на белом коне, на стареньком, выдавшем виды «опеле» куда-то к черту на кулички.

И черт его ждал, скажем, в уютном кафе в итальянском стиле и за чашечкой чая, рюмочкой коньяка или просто бокалом красного вина, спрашивал: сколько стихотворений посвящено этой, а той, а вот этой? А какие? И таки да, стихи оставались, работа шла, музы свое дело знали... Только он иногда путался, что кому посвящено, и, изменив пару слов, а то и в прежнем виде, не стесняясь, посвящал стихотворение другой.

А та, что без зубов, вставила новую челюсть и явилась прямо из Европы в гости, прихватив пирожное «Муравейник». Он ковырялся вилкой в пирожном, и был ей рад, и ждал, когда она уйдет, тогда он сядет и напишет, что любовь укутана старым шерстяным одеялом и луна особенно круглая в эти дни, когда подкрадывается на костлявых ногах тень смерти, но ты еще удерживаешь любовь за руку, и пока эта рука теплая, ты жив. Или что-то в этом духе. А завтра воспоминание о ней он аккуратно, как любимые носки после стирки, положит в специально отведенный ящик — до следующего раза.

Иногда они умирали. Переживал он это остро и продуктивно. Погибшая муза могла подарить на прощание целую поэму, слезы застывали, как кусочки алмазов, которые он, только он, мог превратить в настоящий бриллиант.

Но жизнь продолжалась, и тогда он на своем хромом ослике, стареньком «опеле», который что-то барахлить начал совсем по-взрослому, въезжал в очередной город на главную площадь и спрашивал: вы меня ждали? Выходили люди в белых одеждах, волосатые парни в рваных джинсах и с гитарами, открывали томики стихов, его стихов, и начинали петь. Тогда он удовлетворенно кивал головой, мол, все правильно, можно ехать дальше, а рядом с осликом шагала стройная выносливая муза, ее длинные ресницы скрывали смущенный вниманием толпы взгляд, и, сидя на правом сиденье старенького «опеля», она смотрела, как лес по краям дороги становился все зеленее и зеленее.

ДОМИК У МОРЯ

Город Ч. расположился на перекрестке двух больших дорог, где первая вела к церквкам с куполами и вторая — к церквкам с куполами. Вторые отли-

чались от первых, как отличается синичка от воробья, как ни крути — родственники. Если проедешь много городов подряд, постоишь на одном пригорке, помотришь окрест — лепота, равнина, зелень кругом и белые лилии церковей в синем небе, а потом на другом — и снова белая церковь цветет, и яблоки уже поспевают в окрестных садах, и речка вьется, словно пританцовывая. Голова закружится, будто поместили ее в калейдоскоп с воробьями и синицами, крылья-клювы-крылья-клювы-купола-чирик-чик-фью...

Вот на таком перекрестке стоял город Ч., задумчиво, словно выбирая, по какой дороге пойти. Трубы радостно пускали цветные дымы. Да, в городе Ч. было несколько заводов, безработицы, похоже, не было вовсе, и никто без дела не шатался по улицам, кроме разноцветных котов. По вечерам сидели в кафе, и здесь, как и в нарядных столицах, народу являлась пицца, или суши, или устрицы с бланманже, чего уж там.

Два старинных здания из красного кирпича означали филармонию и театр, культурную жизнь с ароматом истории. Но к этому аромату порой примешивался и легкий запах дыма, это зависело от того, откуда ветер — с заводского ли квартала? Здесь, в историческом центре, гуляла свадьба. В костюмы жениха и невесты нарядили и девочку с мальчиком лет восьми — пышное белое платье, туфельки на каблучках, строгий костюм. Лица их светились счастьем сильнее, чем у жениха с невестой. У девочки в руках воздушные шары, в нужный момент по команде она их выпустит.

Больше ничего, за что мог бы зацепиться взгляд праздного туриста, здесь не было. Все и объезжали город Ч. стороной — или к одним куполам, или к другим. Еще и нос воротили, поглядев на трубы. А свадьбе оставался один путь — вниз к речке, и там, у старого речного вокзала, у памятника двум преподобным основателям города, запустить в небо фейерверк и выпить шампанского. Пустые бутылки укладывали обратно в ящики и оставляли здесь же, целый забор уж вырос. Суббота...

Вот в этом городе и решили провести социологический опрос — о чем же люди мечтают. Вариантов ответа было восемь: уехать в большой город, завести семью, заработать много денег, выиграть в лотерею, купить автомобиль, посмотреть мир, выучить иностранные языки, написать или издать книгу — и правда, чего такого оригинального могут придумать социологи? Но они оставили вариант «другое», и люди могли отвечать, что хотели. И вот тут-то выяснилось: половина участвовавших в опросе горожан сообщила, что мечтает о домике у моря. Это превзошло все ответы с подсказками и даже свободный вариант — «завести собаку».

Про домик у моря сказали парни с татуировкой из соседней шашлычной и пожилая дама с финскими палками, спускающаяся к реке. И девочка с шарами, и молодая мамаша с коляской, и подростки на роликах. Все хотели синих волн, разбивающихся о берег (песок и скалы по вкусу), солнца, в течение дня меняющего свой цвет от белого до фиолетового и красного, ракушек на берегу и прямо здесь, в двух шагах, на тенистой террасе — чашку горячего чая или бокал холодного вина. А потом волшебных снов под шум прибоя, в которых почему-то все снится и снится как будто знакомый город в цветных дымах, и там, во снах, они все спрашивают: что это за город? почему мы там были счастливы? куда он исчез?

НИНА

Говорили: у нее был фронтовой муж, снабженец. Любил ее, как облака любят друг друга в полете, перемешиваясь и истаивая, будто и не существовало их. Победа принесла расставание, так она решила и вернулась к еще довоенному

мужу, будто из булочной, поправив пилотку в отражении в луже и убедившись — все облака слились в одно серое небо.

Жила хорошо, работала врачом на «скорой», а муж становился мрачен в пасмурную погоду и воспитывал детей, будто они солдаты. Так жили все, кто выжил вдвоем в этой войне, иным было еще тяжелее, кто один и чьи глаза упираются в пустую стену.

В ночную смену подошли к ней сзади и ударили в затылок. Лежала в апрельской прохладе на мостовой, пока не нашел водитель, на той же «скорой» и увез. Что-то сдвинулось в голове, то казалось — стреляют, то белые овцы проходили сквозь стены и требовали хлеба, а откуда? Тут-то и поняли, почему вернулась к мужу — умел выводить из темноты, разгоняя овец, устраивая к лучшим врачам.

И стало так, будто нет ветра. Ноги идут, если их уговаривать, и руки такие медленные, что носок можно вязать полгода. Такую ее и привезли к нам весенним утром, и бабушка — ее сестра — гуляла по паркам, присматривая за ней и за нами.

Нина была любопытна, задавала свои медленные вопросы, а ведь кто нас особенно слушал? И я рассказала тайное: если забраться на плот, вон тот, затонувший под мостиком, видишь? — то можно уплыть в другую страну, где я, конечно, королева. Там много цветов, все ходят в пышных юбках, в гольфах с помпошками и лакированных туфлях, и у каждого есть лошадь и собака.

Нина слушала внимательно, а потом сказала — да, я хочу туда. И пошла. Она шла уверенно, словно хорошо знала дорогу, а я стояла на берегу и напряженно сообщала, идти следом или нет?

Бабушка прибежала, когда Нина была по колено в воде. Отпаивали горячим чаем и уложили спать.

Нина спала здоровым безмятежным сном, и там, во сне, примеряла лакированные туфли, те самые, вишневого цвета, которые мне не купили, потому что в магазине нашлись дешевле. Нине они оказались в самый раз.

ПРОГУЛКА

Мне не нужны симпатичные люди, по крайней мере, сейчас. Так он сказал и добавил: мне нужны люди, которые царапают мне мозги, и потом мне снятся цветные сны, распускаются в них азалии и магнолии.

Тоже мне, лингвист! Это сказала она. Если «царапают», то какие уж розалии и монголии? Речь может идти только о кактусах, цветущих пустынных кактусах! А какие ты любишь больше — круглые или такие, знаешь, продолговатые? Или с плоскими ладошками? Они будто карабкаются в небо!

Этот разговор состоялся в восемнадцать часов тридцать две минуты в трамвае, ехавшем с Васильевского острова в сторону других, не менее прекрасных островов. На ней был белый плащ, еще немного не по сезону, зато новый. Он был в кепке с длинным козырьком, теперь их называют бейсболками, хотя никто не знает, что такое бейсбол. Они ехали расставаться. Иногда на это нужно очень много времени, а также куча лишних слов и острой грусти, спрятанной за иронией или не спрятанной, а, наоборот, выставленной напоказ, как ценный музейный экспонат.

Музейные экспонаты он ценил всегда, считая, что в музеи ходят главным образом фетишисты, и причислял себя к ним. И правда, разве нельзя посмотреть альбом или в Интернет залезть? Нет, этим людям необходимо глотать музейную пыль, тайно дотрагиваться рукой до статуи или до чего там можно дотянуться, ожидая — завопит или нет сигнализация?

Он и в кармане таскал артефакт — зажигалку, которую знаменитый N привез из Америки и раздавал в качестве сувениров. Эта зажигалка всегда лежала в правом кармане, а в левом — другая, какую можно купить в любом киоске. Сам он пользовался, понятно, «левой», а «правую» доставал в особых случаях, давая кому-то закурить, и обязательно — невзначай — упоминал, что вот, мол, ему N подарил...

Впрочем, какие это пустяки, зажигалки, бейсболки, — когда вечер спускается на мир, пусть вполне светлый уже, но всем понятно, что вечер и день уже окончен, и если ты не успел запастись надеждой и сухарями, то так и пойдешь то ли один, то ли вдвоем по торжественным улицам прощания.

Тогда они, конечно, об этом не знали, ведь те, с кем что-то случается, узнают об этом последними. И ее рука, протянувшая подбежавшей белке заранее приготовленный орех, на самом деле была протянута навстречу счастью. И белка, как и положено счастью, схватив орех, умчалась ввысь, оставляя хвостом в воздухе какие-то надписи. Ведь жизнь, по сути дела, просто квест, главное — вовремя прочитывать поданные тебе знаки и пойти по правильному пути.

Как будто правильным может быть только один путь! Это возмущенно подумала она. Ей хотелось проживать варианты, и тот, и этот, наверняка ведь фантасты уже придумали миры, где это возможно... Она посмотрела, как он прицеливается фотоаппаратом, чтобы поймать в объектив белку, и подумала: что она делает здесь с этим совершенно чужим человеком? И еще подумала, что если она сейчас тихо-тихо уйдет, то он, возможно, этого даже не заметит.

ФЛИГЕЛЬ

О, этот бросающийся в глаза памятник архитектуры...

Из туристической брошюры

Призраки собирались по четвергам. Должны были совпасть несколько мало связанных, но важных обстоятельств: когда луна видна хотя бы час в течение ночи, в округе радиусом километр не воет ни одна собака, и хотя бы один человек в эту ночь идет пешком со стороны старой железнодорожной станции в сторону курорта. Всякий, кто хоть отдаленно знаком с теорией вероятности, может подтвердить, что совпадение всех этих обстоятельств, тем более в четверг, — событие чрезвычайно редкое. Впрочем, сами четверги обычно случаются каждую неделю.

Для своих встреч призраки выбрали флигель заброшенного и уже наполовину сгоревшего деревянного дома (или это дом выбрал себя местом их встречи). Круглая резная башня, давно без стекол, в эту ночь преображалась. Горели тусклым, словно лунным, светом специальные лампы (свечи давно запретила служба безопасности), круглый стол, покрытый изрядно потрепанной зеленой плюшевой скатертью, приглашал занять одно из скрипучих кресел вокруг себя. На столе аккуратно лежали карты, несколько колод.

Все было готово к приему гостей. Первым прибыл, как обычно, Модест Никанорович, фармацевт с Васильевского острова, призрак интеллигентной наружности с небольшой седой бородкой. Он умер в 1904 году, и в той реальности, где он вынужден теперь пребывать, не случилось ни революций, ни Гражданской, ни Второй мировой... Коммунистами и террористами он считал в основном французов, и не дай бог эта зараза перекинется всерьез на Российскую империю... А ведь прецеденты уже были...

Потерев руки, Модест Никанорович выглянул в окно: у французской кондитерской (везде эти французы, куда ни плюнь) еще стоял последний извозчик, хотя

вечерний поезд из Санкт-Петербурга прибыл час назад. Кого он ждал? Лошади скучали, а Модест Никанорович когда-то привычным жестом попытался достать из кармана часы, но часов не было...

Второй прибыла Альбина, она умерла от чахотки в 1912 году в возрасте двадцати лет и тоже много чего в жизни не видела. Бледный лоб и словно нарисованный на щеках румянец был не типичен для призрака, но, видимо, прилип к Альбине прочно. Она часто бывала на курорте в надежде на ингаляции и другие волшебные процедуры, прохаживалась по эспланаде под розовым зонтиком в компании своей горничной Хильды. Но, честное слово, лучше бы ей было уехать в Европу, в горы, да хоть в Карловы Вары на худой конец, и пожить годик-другой. Там бы ее и застала Первая мировая, но, как знать, может, пережила бы она и ее, и революцию... Модест Никанорович галантно поклонился, Альбина протянула руку в кремовой перчатке для поцелуя и тихо присела в кресло.

Степан появился громко, прямо в униформе. Работник когда-то Николаевской, а теперь Октябрьской железной дороги, он погиб прямо на службе. В тот день поезд добирался четыре часа, останавливаясь и замирая. Раздраженные дачники жилились с каждым часом, их коробки, шляпки и моськи заполнили пространство так, что стало совсем мало воздуха. Самые юные и выносливые уходили по шпалам. Толпа напирала, а Степан отступал, оправдываясь, что топливо, мол, не то, и вот он споткнулся и упал, ударившись головой то ли о рельс, то ли о какой-то угол. Крови не было. Толпа отхлынула, а он остался лежать в 1918 году, в ясный солнечный день, и сосны качались над головой.

Он готов был сражаться с толпой, уж теперь бы он смог ее остановить, точно смог бы... Но толпы не было, и он, словно аккуратно поворачивающий рядом с эспланадой поезд, затормозил при виде Модеста Никаноровича и Альбины, чтобы случайно на них не наехать.

Четвертым был рядовой Петров, мужичок средних лет в гимнастерке и почему-то американских ботинках. Он воевал на Сестрорецком рубеже летом 1942 года, финны стояли с другой стороны реки, и время от времени кто-нибудь постреливал.

В 1942 году таких ботинок в обмундировании не было точно, и это заставляет подозревать, что и в небытии, откуда прибыл рядовой Петров, какие-то грехи, обычно свойственные живым, продолжали присутствовать.

Умер он, впрочем, не от снаряда, а от заурядной кишечной колики, или — как правильно говорят врачи — кишечной непроходимости. Его буквально взрывало изнутри, и в этом не были виноваты ни финны, ни немцы, ни Сталин. Так бывает, что никто не виноват, а что делать, тоже не понятно, так как до ближайшего рентгеновского аппарата далеко, а смерть близко, вон она выглядывает из-за ствола.

Как появился Константин Ильич, не заметил никто. Он был, как говорят, «из тех, кто...», обозначая тем самым не столько отсутствие индивидуальности, она не отменялась, сколько всепобеждающую типичность, в данном случае профессиональную. Так вот типичными чертами этой профессии были незаметность, вежливость, внимательность, спокойствие. В других обстоятельствах это спокойствие могло разорваться в крик, но это в других обстоятельствах, а теперь Константин Ильич каждому подал руку, заглянул в глаза и сосредоточился, чтобы максимально точно запомнить, о чем и как высказывался каждый из присутствующих. Заметим, что представители этой профессии тоже умирают, причем в любые времена и, случается, совсем не своей смертью.

Теперь, когда все были в сборе, можно было начинать. Немного подождали, не появится ли кто-нибудь новенький, но никто, привязанный к этому месту, похоже, на встречу не рвался.

Пока ждали, каждый хотя бы по разу выглянул из флигеля. Кто видел французскую кондитерскую, кто рельсы и шпалы, кто свежий окоп. Альбина увидела Хильду, спешащую в сторону моря, и пожалела, что та не уложила ей сегодня как следует волосы. Альбина машинально поискала на стене зеркало, но в зеркале ничего не отражалось.

«Ну-с!» — сказал Модест Никанорович и перемешал колоду. Мало кто знал, что исход именно этой партии, какой бы нелепой и неправдоподобной она ни казалась непосвященным, определит ход истории на несколько десятилетий вперед.

НЕПРИЯТНЫЙ ЧЕЛОВЕК

О нем говорили «неприятный человек», и сразу вспоминалось «дама, приятная во всех отношениях». Переводя с языка классики на язык ощущений — приятная на ощупь, на вкус, как сочный спелый фрукт или какая мягкая ворсистая ткань.

Не знаю, кто его щупал и гладил, жадно прислушиваясь, как реагирует организм. Внешне он не был таким уж отвратительным. Ну, бледная влажная кожа: такие на солнце сгорают мгновенно, они проводят дни в тени, намазавшись кефиром или какой новомодной мазью. У них есть книга или планшет, и мысль, которую они думают долго и трудно, словно у них в голове есть зубы, и они ее пережевывают.

Толстым он не был, хотя пухлым — пожалуй, особенно губы, в которых угадывалось что-то порочное. Но когда им был неприятен порок? Порок практиковался как средство выражения индивидуальности, не было необходимости даже тратить на него силы — важно обозначить, позиционировать, концептуализировать, создать ауру.

Вот эту самую ауру он и создавал, как шеф-повар свое главное блюдо, добавляя понемногу травки и специи. Движения несколько замедленны, зеленый шарф даже в жару (шепотом про ларингит), уложенные лаком волосы. Ботинки, правый и левый, разного цвета, из дорогого магазина, не помню.

И вот он входит, ступая важно, как верблюд, покачиваясь, и таки да, кругом будто пустыня, и он торжественно несет свою голову, глядя вдаль. Пустыня, хотя их много, и они расступаются, такое невольное движение — то ли уступить дорогу, то ли держаться подальше, каждый себе объясняет, как нравится.

А потом словно сбой кадра — все шумят, здороваются, кто-то и ему протягивает руку. Ведь здесь все свои, все всё правильно понимают, хоть иногда и хотят отгрызть друг другу головы, но это мелочь. И он уже варится в этом котле или варит, помешивая направо и налево, останавливаясь иногда, чтобы что-то кому-то шепнуть...

Но что затмевает и шарф, и ботинки, и бледную кожу — все это еще можно бы простить, — он иногда говорит то болезненное, скользкое, тысячу раз кем-то оплеванное, что никто из них, даже думая так, никогда не решится произнести вслух. И самое-самое неприятное, как ни крути, — то, что он прав.

ПЬЕСА ДЛЯ РОЯЛЯ, ДВУХ МАНЕКЕНОВ И КУРИЦЫ

Сцена оформлена черной тканью. Не нужно драпировки, все скромно. Просто фон, на котором все должно проявляться.

На задней стене экран, на нем проекция окна с открытой форточкой, качающаяся занавеска, за окном гипотетический город без узнаваемых черт. Без этих вот

черепичных крыш или Эйфелевых башен... Восточного колорита тоже не нужно. Цвет занавески? Что-то неброское, но цветное — голубой, изумрудный... В пастельных тонах.

Посередине черный рояль, клавиатура открыта, крышка рояля закрыта.

Музыкальное сопровождение — Алексей Айги и ансамбль «4'33"». Как хотите, так и договаривайтесь!

Выходит человек в черном трико, выносит два белых кресла. Ставит спинками к роялю, сиденьями в сторону зрителей, немного повернув друг к другу. Нет, не так, естественно ставьте, не нужно липовой симметрии!

С разных сторон сцены выходят два человека в черных трико. Каждый тащит на плече по голому манекену. Должно быть видно, что им тяжело. Покачнуться? Можно. Заботливо усаживают манекены в кресла. Оглядывают со всех сторон, поправляют, уходят.

Еще два человека в черном приносят одежду, каждый наряжает своего манекена, иногда отходя в сторону, как бы оценивая. Женский манекен в шляпке, в вязаной шали. Мужской — в одежде, напоминающей военную форму. Очень похожи на живых людей.

С одной стороны человек в черном выносит столик, с другой белый поднос с двумя чашками кофе. Запах кофе должен чувствоваться во всем зале. Если нужно, сварите ведро за кулисами и все время подогревайте! Сами договаривайтесь с пожарными! Обычную кофеварку, в конце концов, возьмите!

Да, вы поняли? Поднос белый, чашки белые, лица и руки манекенов белые...

Выдержать паузу. Только музыка. Манекены и зрители должны друг к другу привыкнуть.

Человек в белом трико выносит детский фотопортрет в рамке. Здесь балет, настоящий. Танец с портретом. После ставит портрет на столик, утанцовывает за кулисы. Музыка — *Penultimate dance* из последнего альбома Айги.

Выходят два человека в черных трико, разворачивают кресла с манекенами так, чтобы тем было удобнее смотреть на портрет.

Экран на задней стене становится ярче. Теперь уже не он фон, а наоборот. Слышны вдали звуки взрывов, видны всполохи ракет. Занавеска постепенно, очень постепенно из своего нежно-зеленого становится алой. Зритель не должен заметить, как это произошло, но увидеть результат! Ветер все сильнее, занавеска взлетает и падает.

Входят люди в черном. Теперь у них отчетливо видны белые лица и руки, такие же, как у манекенов. Они ходят по сцене и «сеют», разбрасывают зерна. В том числе на рояль. Жесты очень пластичны, но не танец. Уходят.

Человек в черном вносит белую курицу и опускает ее на крышку рояля. Курица клюет зерна.

Курицу перед спектаклем не кормить. Но без живодерства! Курица должна кушать с аппетитом. Побольше зерен высыпать на клавиши рояля, чтобы курица, наступая на клавиши, добавляла звуков.

Люди в черном постепенно уносят: манекены, кресла, поднос с кофе. Дольше всего стоит на столе портрет ребенка, но и его уносят.

Музыка — *Осто* из последнего альбома Айги.

Курица должна клевать зерно до тех пор, пока в зале не останется ни одного человека. Если зрители окажутся тупые и будут ждать традиционного финала, бросить немного зерна в зал и выпустить вторую курицу, через некоторое время третью...

ФРАГМЕНТЫ ИЗ ДНЕВНИКА (2014—2015)

От автора. Вот уже несколько лет веду дневник. Но записываю туда не события личной жизни, а отклики, впечатления, соображения по поводу происходящего в мире и в стране. Поскольку давно занимаюсь творчеством Достоевского, часто возникают ассоциации с тем, что он писал полтора века назад, но что актуально и сегодня. Будучи армянином и гордясь этим, считаю себя частью русской цивилизации, которая гораздо шире этнического понятия «русский народ». И потому о происходящем в России пишу «мы», «у нас», «с нами».

Употребляю в тексте инициалы, потому что веду полемику не с отдельными людьми, а с явлениями, которые они олицетворяют.

Редакция «Невы» любезно предоставила мне возможность опубликовать некоторые фрагменты из моего дневника на ее страницах. Очень надеюсь, что это окажется интересно не только мне и редакции.

Говорят, что фильмы вроде «17 друзей хунты» и проч. — начало той же травли интеллигенции, поисков «врагов народа», что было при Сталине. Но это не так по многим обстоятельствам. Во-первых, там признания (большой частью фальшивые) выбивались под пытками или вообще сочинялись следователями, а здесь о своей вражде к государству и сочувствии врагам его открыто заявляется в печати, в Интернете, на ТВ, на публичных встречах, и за это получают немалые дивиденды в Европе и США. Представить себе, чтобы Мандельштам ездил со стихотворением «Мы живем, под собою не чуя страны...» с гастрольями по Европе и Америке... Во-вторых, проповедуя свободу мнений и слова, «оппозиционеры» на деле такую не признают: всех поддерживающих позицию государства они объявляют «прихвостнями власти» (а то и хуже) и травят. В-третьих, там, где это все поддерживается, никакого разногласия и свободы мнений не допускается. Попробуйте там публично сказать, что США «пожирают другие народы» или что США — это «гроб с гниющими потрохами» (как позволяют себе по отношению к России наши оппозиционеры), — ваша карьера (по крайней мере) будет закончена. И, наконец,

Карен Ашотович Степанян родился в 1952 году. Доктор филологических наук, вице-президент Российского общества Достоевского, главный редактор альманаха «Достоевский и мировая культура», заведом критики журнала «Знамя», старший научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН, член Союза писателей Москвы. Автор монографий «Достоевский и язычество (какие пророчества Достоевского мы не услышали и почему?)» (1992), «„Узнать и сказать“: „реализм в высшем смысле“ как творческий метод Ф. М. Достоевского» (2005), «Явление и диалог в романах Ф. М. Достоевского» (2009), «Достоевский и Сервантес: диалог в большом времени» (2013), «Путеводитель по роману Ф. М. Достоевского „Преступление и наказание“» (2014), а также более 150 статей по проблемам русской классики, отечественной и зарубежной литературы. Живет в Москве.

такое противоречие: если вы, скажем, в случае с Крымом так преданы принципу территориальной целостности и нерушимости границ, почему же тогда, когда у России Чечню (да и весь Северный Кавказ) хотели отнять, не ездили по миру с призывами защитить территориальную целостность России, а, напротив, как могли, чеченских сепаратистов поддерживали? О чем это говорит?

Ставрогин (в черновиках к роману «Бесы») предполагает, что с распространением образования вера в народе рухнет (а вся сила России в православии, стало быть...). Но произошло не так: с развитием образования (колоссальное духовное образование народа произошло во время войны) рухнули идеи социалистическая (в марксистском понимании) и коммунистическая. А православие с развитием образования получило новую жизнь: люди поняли и осознали, что, несмотря на все развитие науки, всем в мире управляет Бог. Это знали тоже, но забыли (забывают?) в Европе. Вот почему отчаяние и от отказ от «великих дискурсов» там и живая жизнь здесь. Все это предвидел и об этом писал Достоевский.

Русский тип «всемирного боления за всех» — как это здорово и как надо быть Достоевским, чтобы увидеть здесь и опасность!

Обсуждение «кризиса среднего возраста» на радио «Маяк». Звонят мужчины 30—40 лет и говорят — не о жене и любовницах, а вот о чем: зачем жить, зачем работать, зачем растить детей — вот если бы какая большая идея была... Дикторы-ведущие тут же заволновались: вы что же, хотите опять государственную идею, идеологический диктат, тоталитаризм? Да нет, отвечали звонившие, но вот все-таки если бы...

«Наука в нашем веке опровергает себя в прежнем воззрении. Всякое твое желание, всякий твой грех произошли от естественности твоих неудовлетворенных потребностей, стало быть, их надо удовлетворить. Радикальное опровержение христианства и его нравственности» (Ф. М. Достоевский. Полное собр. соч. в 30 т. Т. 24. С. 164—165).

Нынешние писатели тоже пытаются изобразить из себя борцов с цензурой, как и жившие при советской власти. Но те боролись для того, чтобы сказать правду, а нынешние — за то, чтобы ругаться матом.

Бог — это концепт, это часть культурной составляющей, культурная универсалия и т. п. Удивительно, что на Западе так думают многие. И не надо тут говорить о рационализме. Рационализм — это глупость, ограниченность. А на Западе много умных людей. И тем не менее все эти глупости про Бога принимаются всерьез. Почему?

Ницше: христианство противостоит воле к власти. Великая Отечественная. Воля к власти (немцы) оказалась побеждена готовностью к бесконечному страданию ради ближних и блага Отечества (русские). Значит, так и надо вести себя всегда? Терпеть, например, когда оскверняют храмы? «Зачем вы меня обижаете?» Думать.

В. К.: русские писатели, русская интеллигенция придумали народ, нафантазировали, создали из него двойника Христа — то есть Антихриста. В революции 1917 года погибли оба: и русская интеллигенция, и русский народ.

Кто же вас и ваших родителей спас-то в Великую Отечественную, если русский народ тогда уже погиб?

На государственном радиоканале обсуждается вопрос: надо ли изменять в браке? Приглашенный медицинский специалист доказывает пользу и даже необходимость измен. «Нравственных идей теперь совсем нет; вдруг ни одной не оказалось, и, главное, с таким видом, что как будто их никогда и не было» (Достоевский. «Под-росток». Т. 13. С. 54).

Студия красоты «Гамлет» (на Ленинградском проспекте).

В одной из газет учитель с отчаянием: «Поговорить с нынешними старшеклассниками — как будто они радио Геббельса наслушались!»

«Сребролюбец есть хулитель Евангелия и добровольный отступник. Стяжавший любовь расточил деньги; а кто говорит, что имеет и то, и другое, тот сам себя обманывает.

Не говори, что собираешь деньги для нищих: ибо и две лепты вдовицы купили Царствие Небесное.

Сребролюбие начинается под видом раздаяния милости, а оканчивается ненавистью к бедным. Сребролюбец бывает милостив, пока собирает деньги, а как скоро накопит, так и сжал руки» (из «Лествицы» прп. Иоанна Лествичника).

Ну и как с такими установками, по которым и по сию пору живет (жила?) Россия, принять капитализм и ужиться с ним?

Объявление по ТВ: мы ставим перед собой задачу переломить негативное отношение россиян к деньгам как к какому-то злу.

Вот говорят: я люблю русский народ, русскую культуру, но отвергаю (ненавижу, обличаю) русское государство. Но что такое народ без государства? Толпа беженцев, которая станет жертвой первого же злодея-«хозяина мира» (а таких в мире достаточно).

Музей Матисса в Ницце. Его эскиз для часовни. Люди и люди по стене вверх. А на самом верху — Голгофа. Христос поднимается туда по грехам людей.

Концерт Берлинского филармонического оркестра и Рене Флеминг по ТВ. Радость. Всю боль и злость этого дня как будто смыло. Публика в лесу. Лица прекрасные. В руках бенгальские огоньки. Как в церкви со свечами. «Европа нам родная», «Европа нам второе отечество» (Достоевский). Вот только... Может, искусство, культура им и заменили Церковь? А в искусстве ведь всегда есть и добро, и зло, и духовное, и материальное. И без умения «различать духов» нетрудно соблазниться.

В Европе уже в средневековье христианский потенциал стал уходить в культуру: литература, живопись, архитектура, музыка. И вера стала потихоньку уходить. В России такое случилось в XIX веке (до этого культура была не главной в жизни общества, главной была религиозная жизнь). И тоже вера стала уходить. В результате — безобразия начала XX века и революции. Мирская элита, имевшая в большинстве своем за плечами лишь культуру, окончательно разъединилась с народом и с ду-

ховенством (которое в одиночестве не может поддерживать высокий градус религиозной жизни в стране, но только в союзе с мирской духовной элитой, а без этого начинает деградировать). Народ же, глядя на то, во что превратили культуру Белые и Мережковские, Арцибашевы и футуристы и как ведет себя духовенство, стал искать новую веру и нашел: коммунизм. Предупреждения Достоевского.

На Байконуре открылся православный храм во имя Св. великомученика Георгия, где космонавты могут помолиться перед полетом. «Летали, Бога не видели». Две эпохи?

В России к литературе и искусству иное *онтологическое* отношение, чем на Западе. Вот почему здесь погоня лишь за формальными изысками сразу делает художника *чужим*.

Статья Г. П. в уважаемом журнале. Столь многих людей пугает, или злит, или вызывает такое отторжение все, что говорит Достоевский о глобальных проблемах (и его оценки), что они изо всех стараются доказать, что он только тогда прав, когда говорит о единичных явлениях, о конкретных людях, когда он выступает «как художник» — а как публицист он недалекий, верно не видящий, находящийся «в плену стереотипов» (?), рядовой.

Абсурд нашего времени: делать операции на ладонях с целью изменить линии на них, в частности, продлить «линию жизни».

Депутат ГД: «Скажем правде прямо в глаза!»

Знакомый художник, участник Манежной выставки, возмущается «аннексией Крыма». Но если вы считаете, что Хрущев был прав, подарив Крым Украине, то должны считать, что прав он был, называя вас так, как он называл, при посещении Манежной выставки, что он был прав, травя Пастернака, разрушая храмы, преследуя священников, губя сельское хозяйство. Иначе как-то нелогично получается.

«В реалисте вера не от чуда рождается, а чудо от веры» (Достоевский. «Братья Карамазовы». Т. 14. С. 24). Очень точно: только находящийся в подлинной *реальности* может увидеть и постичь чудо, для остальных всегда остается возможность объяснить любое чудо удачным стечением обстоятельств, чем угодно иным.

На пути тех, кто хотел бы смешать все национальности, языки, культуры (потому что лишенными корней людьми легче манипулировать), встает спорт с его болезнью за *своих*. Но поскольку, с другой стороны, спорт нужен, чтобы отвлекать людей от мыслей и давать паллиатив радости, стараются и в спорте стереть все различия: поляки, хорваты, африканцы, французы играют за английскую команду, португальцы и бельгийцы — за русскую. А если вдруг захочешь создать команду из *своих* игроков — ты расист.

Надпись на уличном контейнере:	Гос
	поди
	пока
	рай

Вот и читай, как хочешь.

Еще надпись, на бетонном блоке возле метро, где идет ремонт: «Колонна пятая где». Через пару дней исчезла. Надеюсь, потому что нашлась колонна № 5, а не пятая.

В аду будешь видеть страшное уродство зла, и только это — может быть, то и будет самая страшная мука.

«Слово стало плотью» — вот сущность «реализма в высшем смысле» Достоевского.

Знаменитый телеведущий собирается спросить у Бога, почему дети умирают от голода. Но он лично мог бы сделать — по своим доходам, — чтобы, как минимум, два-три ребенка не умерли. А если бы и все, кто с такими доходами, сделали это, ни один ребенок бы не умер. Вот и ответ.

На первый взгляд может показаться, что либерализм и государственничество различаются тем, что первый ставит превыше всего интересы личности, отдает предпочтение частному перед общим, в то время как второй — общему перед частным; первый во главу угла ставит права, второй — обязанности, служение. Но на деле служение высокой идее делает жизнь отдельного человека столь богатой, осмысленной и по-настоящему счастливой, что никакое существование во имя своих частных интересов и близко не обеспечит подобное.

Подумать только: ведь были же люди, которые присутствовали при первой постановке «Гамлета», «Макбета», «Зимней сказки» и, возвращаясь узкими лондонскими улочками домой, обсуждали это. Могли ли они предположить, что люди еще 400 лет будут читать, смотреть, обсуждать это, пытаясь понять? И что думал в это время автор?

Статья Достоевского из «Дневника писателя» о восточном славянстве на одном из сайтов в Интернете (без подписи). Отклик: «Это заказная пропутинская статья».

Мария Магдалина. Женщиной вошла в мир смерть, и женщина же первой принесла в мир весть о Воскресении.

Человек ведет постоянный диалог с Господом: Он спрашивает — мы отвечаем, мы спрашиваем — Он отвечает. Диалог этот идет через мир и через нашу душу. Только кто-то ведет этот диалог в ясном сознании, а кто-то — как в болезненном бреде.

Фильм «Ной» (реж. Д. Аронофски). Человек никогда не очистится внешними средствами, даже такими, как потоп, — только изнутри себя, в диалоге с Богом.

Некто Н. К. пишет в Интернете, что закон о запрете пропаганды нацизма и фальсификации истории «призван защитить память палачей и оккупантов от памяти их жертв». И кто же эти палачи и оккупанты? Советские солдаты, своей кровью заплатившие за то, чтобы эти «жертвы» (или их потомки, которых у них не было бы в ином случае) могли сейчас благоденствовать, иметь собственные государства и нападать на своих спасителей.

О волонтерстве. Очень хорошо и благородно, но ведь что по существу? Злой дух только этого и хочет: он своим излучением, как из некоего тоннеля, непрерывно калечит и губит людей, а тут волонтеры подбирают, перевязывают, утешают

жертв, но число жертв увеличивается в геометрической прогрессии. Не боремся с источником губительного излучения, напротив, признаем его право на существование (признаем человеческие грехи и «необходимость» их удовлетворения), а просто подбираем жертв и покаленных. А подлинная борьба — христианская аскеза, борьба со страстями.

Любовь и даже преклонение перед Европой в России может быть даже полезно в преддверии будущего: когда Европе понадобится помощь России, чтобы сохранить себя, свою культуру, свою идентичность, свою жизнь вообще. Если до того Европа не разрушит окончательно любовь к себе в сердцах россиян, то на вопрос: зачем им вообще помогать, пусть задохнутся в своих грехах, сами виноваты — вопрос этот обязательно встанет перед Россией в обозримом будущем — найдет-ся ответ: не только потому, что Христос велел, но и из непосредственного чувства, из любви.

На умной женщине глаз отдыхает.

В каждом человеке в метро с умной книгой в руках видишь родственника. Но как же горестно смотреть, как сидят все, молодые и старые, уткнувшись в мобильники и айфоны, и жмут, жмут, жмут на кнопки. Поневоле уверуешь в заговор против человечества.

Хороший аргумент от молодого священника на ТВ: всем, кто упрекает Бога в неправильном устройстве мира, предложить: а вот как бы вы сами устроили? Рискнули бы? У тех, кто рискнул бы, дело кончилось бы, скорей всего, жуткой диктатурой. Ведь в идеале надо совместить свободу человека и благо его. А это невероятно сложно.

Может быть, непостижимая для нас тайна таких гениев, как Шекспир, Достоевский, — возможность находить в их произведениях правду свою и тем, и этим, и верующим, и бунтарям, и католикам, и протестантам, и христианам, и гностикам, — заключается в их всецелом, всеобъемлющем доверии к Богу.

Если текст нынешних ежедневных новостей показать или даже услышать человеку в 80-е годы прошлого века: «Украинская армия ведет наступление на ополченцев Новороссии и Донецкой Республики» — сочли бы бредом сумасшедшего или отрывком из фантастического романа (впрочем, такие фантастические романы стали писать в 90-е годы, и кто знает, как повлияли они на сознание людей). Да, повседневные реалии очень сильно и быстро меняются, но суть остается прежней: и тогда, в 80-е, и ныне: Россия против всего мира, вернее, весь мир против России. Да, пожалуй, и со времен Александра Невского ничего не изменилось: весь мир против России, Запад и Восток. И внутри ничего не изменилось: пока все тихо, хотим торговать с Западом и Востоком, заимствовать у них «технологии», не хотим сильного вождя, хотим демократию (новгородцы в XIII веке) — а как Запад и Восток покажут, какой они хотели бы видеть Россию (вернее, вообще не видеть ее на карте больше), — так объединяемся, призываем сильного вождя, понимая, что в нем, и в патриотическом духе, и, главное, в Боге и Пресвятой Богородице единственное спасение, и сохраняем Россию. Дай Бог, чтобы и на сей раз было так. У тех «технологии», а у нас вера. Хотя и технологии свои пора бы уже иметь.

Думаю, ко многим болящим приходила Богородица и исцеляла их, но лишь святы, как батюшка Серафим, способны были увидеть Ее телесными очами.

Оппозиция — это когда ты говоришь: правительство считает, что Россия должна стать великим, духовно и экономически, процветающим и могущественным государством, идя вот таким путем, а мы считаем, что Россия должна стать таким государством, идя другим путем. А когда говорят, что Россия должна разделиться на дюжину маленьких государств, которые будут тихо-мирно влачить свое существование в фарватере США и Западной Европы, — это не оппозиция, а предательство.

В храм приходишь не для того, чтобы учить (как многие осознанно или неосознанно, делают), но чтобы учиться. А в храме, кроме молитв, можно говорить только: «Прости(те)».

Многие сейчас, выходя из дому, отказываются слышать мир, окружающих людей, втыкая в оба уха наушники. А когда войдут в широкий обиход компьютерные очки, откажутся и видеть мир.

9 мая 2015 года. Как изменилось отношение к песням, которые в 1960—1980-е годы вызывали только усмешку или иронию: «Враги сожгли родную хату», «Осенний сон», «За себя и за того парня». Сейчас слушаешь их со слезами на глазах. Даже если бы Евтушенко написал только «Хотят ли русские войны?», он остался бы в благодарной памяти народной. Какое было шествие по Тверской «Бессмертного полка», сколько людей — молодых, старых, женщин, девушек, мальчишек с георгиевскими ленточками, сколько прекрасных лиц! Поистине для России чем хуже, тем лучше. Христианская страна.

В чем все-таки причина такой, мягко говоря, неприязни к России у большинства людей в Европе, на Западе? Ведь ясно же, что нынешние политические события послужили лишь спусковым крючком для легализации этой подспудной неприязни, которая существовала всегда. Думается, что, помимо геополитических соображений и страхов, главное все-таки в ином. На Западе основная идея — комфорт и личное благосостояние отдельного человека. У нас — готовность пожертвовать всем личным ради торжества великой идеи, ради спасения мира. Со стороны это кажется безумием, извращением, чем-то невозможным и непонятным. А непонятное всегда вызывает страх и отторжение. Достоевский писал об этом так: «Идею мы несем вовсе не ту, чем они (европейцы. — К. С.), в человечество — вот причина!» (Т. 27. С. 35). И в Евангелии: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел» (Ев. от Иоанна, 15:18).

Но это не навсегда, хочется думать. Глупых народов не бывает, и на Западе не померк облик Спасителя, как не уставал напоминать Достоевский. И где истинное спасение, рано или поздно увидят все. Просто нам не дано знать времени и сроки.

Евгений БЕРКОВИЧ

НОВЕЛЛА ТОМАСА МАННА «КРОВЬ ВЕЛЬЗУНГОВ» И ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО АНТИСЕМИТИЗМА

Литературные скандалы

Профессор Прингсхайм не интересовался художественной литературой, но она сама время от времени напоминала о себе громкими скандалами, затравившими его семью.

Первый удар он ощутил в 1896 году, когда в издательстве Самуэля Фишера, в том самом, в котором начиная со следующего года будут напечатаны все работы Томаса Манна, вышел роман «Сибилла Дальмар» тещи Альфреда Прингсхайма Хедвиг Дом. Хедвиг прославилась прежде всего борьбой за права женщин, ей принадлежит знаменитый лозунг «Права человека не имеют пола». Но и в литературной деятельности она была активна, писала пьесы, театральные рецензии и даже романы. При этом, будучи женщиной, хотя и умной, но достаточно наивной, без зазрения совести вставляла в свои тексты фрагменты писем дочери, тоже Хедвиг, в замужестве ставшей Прингсхайм, благо дочь писала матери длинные послания два-три раза в неделю. Дочь жила в Мюнхене, в знаменитой вилле Прингсхаймов на улице Арси, 12, а ее родители — Хедвиг и Эрвин Дом — в Берлине, так что переписка была в то время основным способом их общения.

Роман «Сибилла Дальмар» содержал такие характеристики членов мюнхенского общества в целом и дома Прингсхайма в частности, которые высказывают обычно с глазу на глаз только близким друзьям и очень доверенным лицам. Кроме того, в романе подробно описана любовная интрижка героини, в которой все узнали Хедвиг Прингсхайм, с неким юным прибалтийским бароном.

В личной жизни Хедвиг и Альфред Прингсхаймы давали друг другу достаточно большую свободу. Альфред, например, открыто жил как бы «параллельным браком» с известной хорватской певицей Милкой Тернина, примадонной основных опер

Евгений Михайлович Беркович — математик, публицист, историк, издатель и редактор. Окончил физический факультет МГУ им. Ломоносова, кандидат физико-математических наук, доктор естественных наук. Создатель и главный редактор журналов «Семь искусств» и «Заметки по еврейской истории», издатель альманаха «Еврейская старина» и журнал-газеты «Мастерская». Автор книг «Заметки по еврейской истории» (2000), «Банальность добра. Герои, праведники и другие люди в истории холокоста» (2003), «Одиссея Петера Прингсхайма» (2013), «Антиподы. Альберт Эйнштейн и другие люди в контексте физики и истории» (2014). Публиковался в журналах «Нева», «Иностранная литература», «Вопросы литературы», «Зарубежные записки», «Человек» и многих других изданиях. Живет и работает в Германии (Ганновер).

Вагнера. Эта связь не скрывалась даже от детей, Милка официально считалась другом дома. Но сделать любовные похождения жены предметом пересудов всего города — было слишком даже для любвеобильного профессора. Хедвиг Прингсхайм, которая к литературным вольностям матери относилась более снисходительно, чем ее взрывоопасный муж, удалось погасить скандал только спустя несколько месяцев.

Еще одно вмешательство литературы в личную жизнь Прингсхаймов произошло в 1904 году, когда Томас Манн терпеливо и настойчиво добивался руки Кати. Осада продолжалась почти год, письма, которые писал будущий лауреат Нобелевской премии по литературе, могли растрогать каменное сердце, но упрямая девушка не говорила ни «да», ни «нет». В ожидании окончательного ответа Томас закончил рассказ «У пророка», в котором бегло описал внутренность роскошного дворца и красоту его хозяйки:

«И вдруг вошла богатая дама, великая охотница посещать подобного рода сборища. Она приехала сюда в собственной обитой штофом карете, покинув великолепный свой особняк с гобеленами и дверными рамами, облицованными желтым нумидийским мрамором, поднялась на самый верх по темной лестнице и впорхнула в дверь — красивая, благоухающая, обворожительная, в синем суконном платье с желтой вышивкой, в парижской шляпке на рыжевато-каштановых волосах — и усмехнулась одними глазами, будто украденными с полотен Тициана» (VII, 288—289)¹.

Стоит отметить, что с образами Тициана сравнивает свою бабушку и сын Томаса Манна Клаус, говоря о ней, что она «обольстительная смесь венецианской красоты а-ля Тициан и загадочной гранд-дамы а-ля Генрих Ибсен»².

На одной из встреч в доме по улице Арси, 12 Томас прочитал Хедвиг рассказ «У пророка», и Хедвиг сразу узнала себя. Каково же было удивление и разочарование молодого автора, когда его восхищенный портрет вызвал откровенное недовольство и раздражение будущей тещи. В письме другу Курту Мартенсу от 13 июня 1904 года Томас жалуется:

«„У пророка“ я для надежности предъявил госпоже проф. П.[рингсхайм] и не мог поверить, что она из-за моих невинных похвал так рассердится»³.

К счастью, этот эпизод не дошел до вспльчивого Альфреда Прингсхайма, и этим дело ограничилось. Зато через год разгорелся такой скандал, что потушить его удалось только с большим трудом, благодаря в основном женщинам с обеих сторон конфликта, проявившим терпение, такт и находчивость. И все равно последствия «военных действий» ощущались еще долго.

Причиной нового скандала стала новелла Томаса Манна «Кровь Вельзунгов», законченная в 1905 году. Ее публикация планировалась на январь следующего года в берлинском журнале «*Нойе рундшау*».

Вкратце содержание новеллы сводится к следующему. Неразлучные близнецы, девятнадцатилетние брат и сестра Зигмунд и Зиглинда, сибаритствуют в роскошном

¹ Здесь и далее в круглых скобках с указанием римскими цифрами номера тома и через запятую номера страницы или номеров страниц даются ссылки на следующее издание: Манн Томас. Собрание сочинений в 10 т. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1959—1961.

² Mann Klaus. Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 1984, S. 18.

³ Mann Thomas. Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Werke — Briefe — Tagebücher. Briefe I, 1889—1913. Band 21. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 2001, S. 284. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слов «Briefe I» и через запятую номера страницы.

доме своего отца, предпринимателя-богача Ааренхольда. За восемь дней до свадьбы Зиглинды и чиновника фон Бекерата, которого девушка не принимает всерьез как мужчину, брат и сестра решают в последний раз сообща насладиться оперой Рихарда Вагнера «Валькирия». Музыка приводит их в эротически-томное состояние, и по возвращении из театра они вступают в кровосмесительную связь, как бы повторяя сцену инцеста, которую только что видели на сцене. Первый опыт такого рода не только не порождает в них чувства неловкости друг перед другом или вины перед незадачливым женихом, которому наставили рога еще до свадьбы, но, напротив, больше сближает близнецов. А Бекерату они обещают с этих пор «менее тривиальное существование»⁴.

Хотя действие в новелле происходит в западной части Берлина, в районе Тиргартена, читателям не составляло никакого труда узнать в действующих лицах членов семьи профессора Прингсхайма, которого хорошо знали в Мюнхене. Мало того, что хозяин и хозяйка дома показаны весьма неприятными людьми с карикатурно выделенными еврейскими чертами, рассказ заканчивается откровенно предосудительной сценой сексуальной близости брата и сестры, близнецов Зигмунда и Зиглинды. В семье Прингсхаймов младшими детьми тоже были близнецы Клаус и Катя, которая как раз в эти дни готовилась стать матерью — их браку с Томасом Манном не исполнился еще и год. Получалось, что писатель, недавно вошедший в семью Прингсхаймов, бросает тень на свою молодую жену, ее брата, их мать и отца.

Слухи о скандальном содержании еще не опубликованной новеллы распространились в городе и в конце концов дошли до Альфреда Прингсхайма. Тот пришел в ярость и потребовал запретить издание новеллы. И хотя его требование было исполнено, отношения между зятем и тестем испортились на долгие годы. Новелла официально увидела свет только в 1921 году в одном специальном эксклюзивном издании с ограниченным числом нумерованных экземпляров. Больше при жизни автора новелла в Германии не публиковалась.

Версия Клауса Прингсхайма

Ни одна новелла Томаса Манна не обсуждалась так горячо в последние годы, как «Кровь Вельзунгов». Много дискуссий вызвал вопрос, можно ли считать содержание новеллы антисемитским или нет. Не вполне ясна и загадочная история ее издания, начавшаяся с отказа от публикации уже готового текста в 1906 году. Кроме Клауса Прингсхайма, никто из участников конфликта не оставил подробных письменных свидетельств о происшедшем, да и то «Послесловие к „Крови Вельзунгов“» Клаус выпустил в свет лишь в 1961 году, спустя более полувека после описываемых событий. Автору «Послесловия» в том году исполнилось 78 лет.

Вот как Клаус описывает свое знакомство с текстом новеллы Томаса Манна:

«Однажды в конце лета 1905 года после обеда — Томас пришел к нам один — у него был короткий разговор с моей матерью; я сидел рядом, вопрос, сказал он,

⁴ Манн Томас. Кровь Вельзунгов. В книге: Манн Томас. Ранние новеллы. М.: АСТ, Астрель, 2011. С. 522. Перевод Е. Шукшиной. Переводчица использует скандинавский вариант написания «Вельсунги». В некоторых энциклопедиях и в научных работах придерживаются нашей транскрипции «Вельзунги». В дальнейшем ссылки на русский перевод новеллы будут даваться в круглых скобках с указанием слов «Кровь Вельзунгов» и номера страницы из этого сборника. В другом переводе новеллы на русский язык, сделанном Елизаветой Соколовой и опубликованном в журнале «Ясная Поляна», 1997, № 2, с. 265—281, используется вариант «Кровь Вельзунгов». Так же пишет название новеллы Игорь Эбаноидзе в статье «О новелле „Кровь Вельзунгов“», опубликованной в том же журнале, с. 283—286.

касается и тебя. Он говорил о своей новой новелле, которая зимой должна выйти в „Нойе рундшау“. Но в этом рассказе есть нечто особенное, заявил он, и он не хотел бы отсылать рукопись, не показав ее нам — мне в том числе — и не заручившись нашим согласием. В назначенное время мы втроем сидели в комнате моей матери. Мысль о том, что отец тоже захотел бы послушать, никому не приходила в голову: литература интересовала его меньше всего на свете. После того как Томас закончил чтение, первой заговорила мать. Она поздравила автора, нашла его работу „превосходной“, при этом деликатная тема разработана на таком высоком художественном уровне, так тонко и ненавязчиво, что против публикации действительно нет никаких возражений»⁵.

Время чтения новеллы в доме Прингсхаймов, указанное в этом отрывке — конец лета 1905 года, — вызывает сомнение, о чем мы еще поговорим. Сейчас же интересно мнение самого Клауса, который мог бы обидеться, что списанный с него герой новеллы совершает неблаговидный поступок со своей сестрой. Но ничего подобного. Он пишет:

«Я чувствовал себя даже немного польщенным, когда в некоторых поступках и оборотах речи юного героя рассказа узнавал себя — скорее, польщенным, чем смущенным — и присоединился к оценке матери без всяких оговорок» (Klaus Pringsheim, 257).

После этого Томас Манн с легким сердцем отослал рукопись новеллы в Берлин и на время забыл о ней, так как на него навалились другие проблемы и переживания.

Далее, по словам Клауса, произошло следующее. Поздней осенью 1905 года в один книжный магазин на Бриннерштрассе, что в двух шагах от виллы Альфреда Прингсхайма на улице Арси, привезли большую партию книг из издательского дома Самуэля Фишера, тогда располагавшегося в Берлине. Книги предназначались для грядущей рождественской распродажи и были упакованы в пачки, оберточной бумагой, как обычно, служили испорченные или ненужные печатные листы от других книг и журналов. Молодой человек, которого Клаус называет «литературный юноша из Вены», помогал продавцам распаковывать товар и обратил внимание, что на оберточной бумаге напечатан какой-то художественный текст. Собрав все нужные листы вместе, он понял, что перед ним неизвестная ему новелла Томаса Манна «Кровь Вельзунгов». Текст должен был выйти в январском номере журнала «Нойе рундшау», тираж которого уже начал печататься в типографии. Прочитав еще не опубликованный рассказ, юный волонтер понял, что в его руках оказалась сенсация. Долго такую находку держать втайне от друзей он не мог, и скоро по городу поползли слухи:

«Автор „Будденброков“, который в феврале взял в жены единственную дочку известного математика, вагнерианца, коллекционера произведений искусства Альфреда Прингсхайма, описывает в некоторой новелле греховную связь близнецов из еврейской семьи, Зигмунда и Зиглинды, а также жалкую роль, которую должен был играть в ее семье жених девушки, позорно обманутый фон Бекерат. Кто послужил автору моделью для близнецов и из какой они семьи, было очевидно. Ясно, что речь идет о мести писателя; с разоблачением юной супруги он мстил за все унижения, которые пришлось ему претерпеть в ее родительском доме» (Klaus Pringsheim, 254).

⁵ Pringsheim Klaus. Ein Nachtrag zu «Wälsungenblut». In: Wenzel Georg (Hrsg.). Betrachtungen und Überblick. Zum Werk Thomas Manns. Aufbau-Verlag, Berlin, Weimar 1966, S. 257. В дальнейшем ссылки на эту работу будут даваться в круглых скобках с указанием слов «Klaus Pringsheim» и номера страницы.

Вскоре в гостиных, кафе и пивных баварской столицы начались разговоры о скандальном инциденте в некогда уважаемом доме. Ведь когда-то, по словам Бруно Вальтера, часто там бывавшего, «в гостеприимном доме на улице Арси в большие вечера можно было встретить „весь Мюнхен“»⁶.

Дом на улице Арси, 12 служил городской достопримечательностью. Коллекции художественных ценностей, прежде всего средневековой итальянской майолики, собранные Альфредом Прингсхаймом, приходили осмотреть интересующиеся любители и знатоки со всего мира, американские миллионеры и члены королевских фамилий...

Нетрудно себе представить, какой гнев должны были вызвать у хозяина дома слухи, задевающие честь семьи и его честь, первоклассного ученого, тонкого знатока музыки и искусства, гостеприимного хозяина...

Отметим еще одну слабость в версии Клауса. Выходит, что новеллу Томаса Манна еще до появления слухов все же напечатали в Берлине. Но далее пойдет речь о том, что автор дал команду не печатать и вернуть рукопись назад. Если новелла уже напечатана, то команда должна была бы быть иной. К этому мы еще вернемся.

О слухах в городе Хедвиг Прингсхайм узнала от своей близкой знакомой, порекомендовавшей запретить публикацию новеллы, чтобы не было хуже. Хедвиг поняла, что обязана немедленно все рассказать мужу. Пережив скандал с тещиним романом «Сибилла Дальмар», получить теперь такой удар от зятя — это было бы слишком для впечатлительного и вспыльчивого профессора. Его реакция могла быть непредсказуемой.

Как и следовало ожидать, Альфред был взбешен. Он захотел немедленно встретиться с зятем, чтобы потребовать отчета. Но так получилось, что Томас Манн именно в этот день находился в отъезде. Возвращение писателя в Мюнхен планировалось на следующий день утром, а во второй половине дня профессор собирался навестить зятя и во всем разобраться. Все предвещало семейную катастрофу. Впоследствии ходили слухи, что старший Прингсхайм ворвался в квартиру Томаса с револьвером в руке, но Клаус утверждал, что, насколько ему известно, револьвера в доме никогда не было (Klaus Pringsheim, 258).

В «Послесловие к „Крови Вельзунгов“» Клаус рассказал, что произошло на следующий день:

«Я стоял перед спальным вагоном только что подошедшего ночного экспресса. Зять поблагодарил меня за то, что я оказал ему внимание и пришел встретить, мы обменялись парой сердечных слов. Когда мы расставались, я сказал, что хотел бы еще раз увидеть его до обеда, если это ему подходит. Речь идет об очень спешном деле, которое я хотел бы с ним обсудить. Почему нет, около одиннадцати; после того, как он немного освежится и отдохнет, он будет ждать меня. Там, в его комнате, я рассказал, что произошло. Он слушал, качая головой, потом, не дав мне закончить, заявил: „Естественно, я телеграфирую немедленно Фишеру, чтобы новеллу забрать назад“. Срочная телеграмма — телеграфное подтверждение, которое, в общем, и не нужно было, — пришла в тот же день» (Klaus Pringsheim, 258).

Клаус вернулся домой немного успокоенным. За обедом царила грозная обстановка, все молчали. Профессор с мрачной решительностью ел суп. Наконец кто-то робко спросил, а что будет, если Томми откажется отозвать новеллу из журнала? Клаус решил, что настал его момент:

«„Этого не будет, он уже телеграфировал в издательство, что он свою историю забирает“. — Я сказал это приглушенным тоном, думая ослабить шоковое действие,

⁶ Walter Bruno. Thema und Variationen. Erinnerungen und Gedanken. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1960, S. 273.

которое вызовет мое открытие. Однако то, что последовало, было похоже на взрыв бомбы» (Klaus Pringsheim, 258).

Клауса поразило, что мать сидела с таким видом, будто не она пару месяцев назад одобрила публикацию новеллы в журнале. Отца выступление сына так задело, что, похоже, весь накопленный со вчерашнего дня гнев вырвался наружу. Альфред чувствовал себя обманутым, его отцовская честь была запятнана, а тут еще его младший сын захотел снять напряжение, считая, что инцидент исчерпан. Высказывание Клауса словно придало профессору новые силы, он вскочил, чтобы немедленно идти к мужу своей дочери и сказать ему все, что он о нем думает.

Разговор тестя с зятем прошел без свидетелей, с глазу на глаз. Что сказал Прингсхайм Томасу Манну, точно не известно. Писатель ответил на следующий день письмом, но примирение не было достигнуто.

Размолвка продолжалась долго, и потребовалось много женской мудрости с обеих сторон, чтобы восстановить мир в семье.

Немного хронологии

В августе 1905 года Томас с Катей отдыхали в Сопоте под Данцигом. Вернувшись домой, писатель в письме от 3 сентября 1905 года рассказывает романистке Иде Бой-Эд, хозяйке знаменитого литературного салона в Любеке, как прошел отдых:

«Так мило и бодро, так прекрасно и трогательно было пребывание тут в начале, так мрачно и отвратительно стало оно в конце; барометр колебался между дождем и бурей, но в наличии было все, и дождь, и буря, море смешано с грязью, дорожки превратились в пюре, в Данциге — сплошная холера, все в целом — серость» (Briefe I, 323).

Плохая погода иногда помогает творчеству — не дает писателю отвлечься, и Томас Манн успел за короткий отпуск написать большую часть новеллы «Кровь Вельзунгов». В том же письме Иде Бой-Эд, помогавшей молодому писателю добиться известности, он докладывает о проделанной работе:

«Начата большая новелла, история принца, кроме того, я написал небольшую, очень независимую новеллу, действие которой происходит в Западном Берлине» (Briefe I, 323—324)⁷.

Окончание новеллы пришлось на октябрь или начало ноября. В письме брату Генриху от 17 октября 1905 года Томас пишет:

«Поскольку погода прояснилась, я кончу в ближайшие дни свою тиргартеновскую новеллу, которая будет напечатана сперва в январском номере „Нойе рундшау“ и потом не посрамит том с „Крл.[Королевским] высочеством“»⁸.

Как видно, в это время «Королевское высочество» рассматривалось как название еще одной новеллы и сборника рассказов, мыслей о романе тогда не возникало.

⁷ «Большая новелла» через пару лет превратится в роман «Королевское высочество», вышедший в свет в 1909 году, а небольшая, «очень независимая» новела — это и есть «Кровь Вельзунгов».

⁸ Манн Г., Манн Т. Эпоха; Жизнь; Творчество. М.: Прогресс, 1988. С. 82. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слов «Манн Г.-Т.» и номера страницы.

Так часто случалось с Томасом Манном — начиналась писаться новелла или рассказ, а получался роман, иногда в нескольких томах.

То, что новелла «*Кровь Вельзунгов*» занимала в творчестве Манна особую роль, свидетельствует еще одно место из цитированного письма брату:

«Слава богу, я постепенно опять становлюсь художником. Последний мой год, год помолвки и свадьбы, был мучительно непродуктивен. Теперь я вжилась и работаю регулярно» (Манна Г.-Т., 82).

Но именно новый семейный статус писателя, свежее испеченного супруга, стал причиной серьезных осложнений и в личной, и в творческой жизни. Использование в новой новелле впечатлений времен сватовства — роскошной виллы Прингсхаймов на улице Арси, еще более шикарного дворца родственников Кати в Берлине, — несомненно, бросало тень на его новую родню, заставляло думать, что рассказ — про них.

Подспудно это чувствовал и сам писатель. Не случайно он настойчиво подчеркивает, что его новелла «*очень независима*» (см. приведенное выше письмо Иде Бой-Эд от 3 сентября 1905 года). Еще раз этот эпитет использовал Томас Манн в письме брату Генриху от 17 января 1906 года:

«Так вот, коротко и холодно: вернувшись из декабрьской поездки, я застал здесь слух, будто я написал какую-то резко „антисемитскую“ (!) новеллу, где страшно компрометирую семью своей жены. Что мне было делать? Я окинул внутренним взором свою новеллу и нашел, что при всей своей невинности и независимости она не очень-то способна подавить этот слух. И должен признать, что в человеческо-общественном смысле я уже не свободен. Я послал, стало быть, несколько властных телеграмм в Берлин и добился того, что январский номер „Рундшау“, который был уже совсем готов, вышел без „Крови Вельзунгов“. Фишер взял на себя (из страха перед Лангеном⁹) расходы по новому тиражу, вероятно, вовсе не такие уж огорчительные» (Манна Г.-Т., 87–88).

По поводу расходов на новую печать номера Томас Манн, скорее всего, лукавит перед братом — потери должны были быть вовсе не маленькими. По слухам, Самуэль Фишер получил от Альфреда Прингсхайма около 6000 рейхсмарок. Об этом написал в своем дневнике 25 января 1906 года австрийский писатель Артур Шницлер¹⁰.

Не совсем ясно, когда поползли по Мюнхену слухи о клевете Томаса Манна на родню своей жены. Верить воспоминаниям Клауса Прингсхайма в этом вопросе не приходится — слишком много ошибок и натяжек они содержат, слишком предвзят автор, желающий снять с автора новеллы подозрения в желании мести и антисемитизме. Другие участники конфликта — Томас и Катя Манн — не оставили каких-либо развернутых воспоминаний о событиях вокруг «антисемитской новеллы». В своих «*Ненаписанных воспоминаниях*» Катя просто оценила тот скандал как «*Много шума из ничего*»¹¹.

Томас Манн высказался о том же много лет спустя, когда в 1931 году появился французский перевод новеллы и журналисты не упустили случай вспомнить револьвер в руках Альфреда Прингсхайма, с которым тот якобы прибежал к Томасу для выяснения отношений. Назвав выдумки журналистов блажью и враньем, писатель

⁹ Альберт Ланген (Albert Langen, 1869–1909) — немецкий издатель, основатель журнала «Симплициссимус».

¹⁰ Vaget Hans Rudolf. Von hoffnungslos anderer Art. In: Dierks Manfred, Wimmer Ruprecht (Hrg.). Thomas Mann und das Judentum. Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M. 2004, S. 35.

¹¹ Mann Katia. Meine ungeschriebenen Memoiren. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1974, S. 74. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слова Katia и номера страницы.

ничего не сказал ни о реальной последовательности событий после его возвращения в Мюнхен, ни о разговоре с тестем, ни об источнике слухов¹².

Последовательность событий постараемся восстановить по косвенным данным. Окончательно структура новеллы стала ясна автору в середине октября, когда он написал брату уже цитированную фразу: «я кончу в ближайшие дни свою *тургар-теповскую новеллу*» (письмо от 17 октября 1905 года). Поэтому чтение новеллы для Хедвиг и Клауса Прингсхаймов состоялось, скорее всего, в начале ноября. Слова Клауса, что чтение произошло «в конце лета» (Klaus Pringsheim, 257), нужно признать абберрацией памяти, ибо тогда новелла еще не была готова.

Некоторые биографы Томаса Манна полагают, что он послал рукопись в Берлин без предварительного чтения в доме Прингсхаймов, а когда получил назад текст с замечаниями редактора, то писателя одолели сомнения и он решил заручиться согласием родственников жены. Так считают, например, Инге и Вальтер Йенс, авторы серии биографических книг о Маннах и Прингсхаймах. В книге «*Фрау Томас Манн*» они пишут:

«Издательство С. Фишера с радостью согласилось опубликовать это вполне удавшееся автору художественное произведение в ближайшем номере „*Нойе рундшау*“. Однако во время чтения корректуры Томасом Манном овладели сомнения, не истолкуют ли превратно его рассказ, поэтому он решил проверить свои опасения, прочитав его шурина и теще»¹³.

Думается, что такое предположение маловероятно. У Томаса Манн был уже неудачный опыт публикации рассказа «*У пророка*», вызвавшего раздражение Хедвиг Прингсхайм. Вряд ли писатель осмелился второй раз рисковать, тем более содержание его новой «независимой» новеллы давало куда больше повода для обид и огорчений со стороны Прингсхаймов. Об этом же пишет Клаус Прингсхайм в уже цитированном «Предисловии»: «...он не хотел бы отсылать рукопись, не показав ее нам — мне в том числе — и не заручившись нашим согласием».

Итак, можно с большой долей уверенности утверждать, что к началу ноября, когда состоялось чтение нового произведения Томаса в комнате Хедвиг Прингсхайм, еще никаких слухов и сплетен о скандальном содержании новеллы не было.

6 декабря Томас Манн слушал в королевской мюнхенской опере вагнеровских «*Валькирий*», звучавших и в его новелле, а 9 декабря отправился в недельную поездку в Прагу, Дрезден и Бреслау с лекциями и чтением своих произведений. Как и планировалось, в Мюнхен он вернулся 15 декабря¹⁴. Здесь, на перроне, его и встретил Клаус Прингсхайм с известием о слухах, заполнивших город.

Значит, слухи появились в промежуток времени со дня чтения новеллы в доме Прингсхаймов до начала декабря. Кто же был источником слухов? Кто сделал содержание новеллы достоянием толпы? Здесь возможны только предположения, точно сказать мы вряд ли сможем. Вполне вероятно, что на чтении в комнате Хедвиг Прингсхайм присутствовал еще какой-то третий слушатель. Нельзя исключить также, что сам автор показал кому-то рукопись или рассказал о содержании — ведь он охотно рассуждал в письмах о своей «независимой новелле». Как бы то ни было,

¹² Mann Thomas. Noch einmal «Wälsungenblut». In: Mann Thomas. Rede und Antwort: Über eigene Werke; Huldigungen und Kränze: Über Freunde, Weggefährten und Zeitgenossen. S. Fischer Verlag. Frankfurt a. M. 1984.

¹³ Йенс Инге и Вальтер. Фрау Томас Манн. Перевод с немецкого И. Солодуниной. М.: Издательство Б.С.Г.—ПРЕСС, 2007. С. 99.

¹⁴ Heine Gert, Schommer Paul. Thomas Mann Chronik. Vittorio Klostermann. Frankfurt a. M. 2004, S. 40–41.

но к возвращению Томаса Манна в Мюнхен 15 декабря 1905 года положение накалилось, от разгневанного Альфреда Прингсхайма можно было ждать чего угодно.

Рассказу Клауса Прингсхайма о случившемся дальше можно верить. Он предупредил зятя о возможной семейной буре и посоветовал забрать новеллу из журнала, чтобы избежать разговора с отцом. Несмотря на то, что Томас сделал все, что от него требовалось, беседы с разгневанным профессором избежать не удалось. Письмо, которое написал на следующий день Томас, не помогло снять напряжение в отношениях с родственниками жены.

Об обстановке в доме Прингсхаймов красноречиво свидетельствует письмо Хедвиг ее близкому другу Максимилиану Гардену 26 декабря 1905 года, во второй день рождественских праздников:

«О, Гарден, у меня плохое Рождество! Кроме моего Эрика, о котором я думаю с горькой болью, виновато кое-что иное, от зятя Томми, что я Вам как-нибудь позже расскажу. Он нам сильно отравил праздник. Моя бедная маленькая Катя все еще весьма бледна, весьма слаба, весьма несчастна, и она принимает все близко к сердцу»¹⁵.

Однако Альфред Прингсхайм слишком любил свою единственную дочь, чтобы бесповоротно рвать отношения с ее мужем. Постепенно все утряслось, и через месяц в доме уже царил мир. Хедвиг Прингсхайм с облегчением сообщает Гардену 23 января 1906 года:

«С Томми и его семьей все в порядке. Эрика хорошо растет у материнской груди, и небольшие неувязки с зятем улажены» (Hedwig, 42).

Однако на этом скандал с «историей на еврейскую тему» не закончился. В феврале 1906 года появились новые обстоятельства. 6 февраля Томас Манн написал довольно резкое письмо своему издателю Самуэлю Фишеру:

«Вот тебе раз! Мне сообщают, что один местный книжный торговец получил от С. Фишера партию книг и заметил, что на одном оберточном листе бумаге напечатана часть „Крови Вельзунгов“. Так не пойдет! Тем самым запрет на печатание становится иллюзорным. Вы не поверите, с какой жадностью тут набрасываются на эту историю. Если Вы хотите, чтобы я оставался спокойным в обстановке глупости и злости, которая меня окружает с тех пор, как я занимаю заметное положение в обществе, то потрудитесь, чтобы эта неосторожность больше не повторялась. Пошлите мне имеющиеся оттиски или уничтожьте их сами, это, пожалуй, лучше всего»¹⁶.

А произошло то, что Клаус Прингсхайм описал как повод для скандала, хотя описанное ниже случилось после того, как первые страсти по злосчастной новелле уже улеглись. Юного волонтера в книжном магазине, которого Клаус назвал «литературным юношей из Вены», звали Рудольф Бреттшнайдер (Rudolf Brettschneider). Он сам впоследствии описал случившееся в своих воспоминаниях. Среди макулатуры,

¹⁵ Pringsheim Hedwig. Meine Manns. Briefe an Maximilian Harden. Aufbau Verlagsgruppe, Berlin 2008, S. 40. В дальнейшем ссылки на эту работу будут даваться в круглых скобках с указанием слова «Hedwig» и номера страницы. Эрик — старший сын Прингсхаймов, который за недостойное поведение был сослан отцом в июне 1905 года в Аргентину, где через несколько лет умер при странных обстоятельствах (известие о смерти пришло в начале 1909 года).

¹⁶ Wysling Hans (Hrsg.) Dichter über ihre Dichtungen. Thomas Mann. Teil I: 1889–1917. Heimeran/S. Fischer 1975, S. 227. Подчеркнутое предложение выделено Томасом Манном. В дальнейшем ссылки на эту работу будут даваться в круглых скобках с указанием слова «DüD» и номера страницы.

которую издательство Самуила Фишера использовало как оберточную бумагу, он нашел странные оттиски какой-то статьи. На оттисках не было ни автора, ни названия, но продвинутый в литературе юноша распознал стиль Томаса Манна. Вскоре от литераторов и художников, которых объединил в Мюнхене австрийский литератор, редактор журнала «Инзель» («Остров») Франц Бляй, Рудольф узнал о недавнем скандале, связанном с новой новеллой Манна. Поняв, что в его руки попала неслышанная литературная редкость, он стал ждать новых посланий из издательства С. Фишера. В конце концов ему удалось собрать все листы новеллы, опубликовать которую автор запретил. Примерно пятнадцать лет спустя Бреттшнайдер признавался:

«Сохраненные, сброшюрованные и переплетенные листы долгое время были, без сомнения, самым ценным владением в моей довольно скромной библиотеке»¹⁷.

О том, что он пустил текст неопубликованной новеллы «по рукам», Бреттшнайдер ничего не пишет. Скорее всего, он понимал, что поступает незаконно, нарушая авторские права Томаса Манна. Однако точно установлено, что этот текст в машинописных копиях разошелся среди читателей. Один экземпляр такой копии хранится в архиве Томаса Манна в Швейцарии¹⁸. Возможно, что именно этот экземпляр попал в руки какого-то берлинского книжного торговца, предложившего Томасу Манну издать новеллу. Об этом есть запись в дневнике от 10 июня 1919 года:

«Один берлинский торговец книгами сообщил мне, что у него есть машинописная копия „Крови Вельзунгов“, и он хотел бы ее издать. Я потребовал ее выдачи»¹⁹.

Появление копий неопубликованной новеллы снова обострило отношения в доме Прингсхаймов. Даже через полгода после письма Томаса Манна Самуэлю Фишеру происшедшее еще живо обсуждается в переписке Хедвиг Прингсхайм и Максимилиана Гардена. 1 августа 1906 года Хедвиг возмущается:

«Подумайте только, дело, связанное с публикацией „Крови Вельзунгов“ на оберточной бумаге, имеет еще больший размах, чем мы думали. Один клерк из книжного магазина Яффе собрал таким образом полный экземпляр новеллы и пустил ее в свет. Так как речь может идти только о мошенничестве какого-то сотрудника издательства Фишера, то мне кажется абсолютно возмутительным то, что такое вообще могло произойти. Неужели наш любимый Мюнхен — трущоба?» (Hedwig, 51).

Скандал вокруг новеллы «Кровь Вельзунгов» — один из крупнейших в немецкой литературе XX века. Он так сильно подействовал на писателя, что он до конца жизни воздерживался от публикации новеллы для широкого читателя. Только один раз в 1920 году, когда стало казаться, что все «быльем поросло», он согласился на предложение своего мюнхенского знакомого издателя Георга Мартина Рихтера (Georg Martin Richter, 1875—1942) выпустить новеллу для узкого круга ценителей прекрасного. Всего должно было быть издано 530 нумерованных экземпляров на роскошной

¹⁷ Brettschneider Rudolf. Die Entdeckung des «Wälsungenblut». Die Bücherstube. Buchhandlung Stobbe, München, Oktober 1920, S. 110—112.

¹⁸ Reed Terence J. Kommentar zu «Wälsungenblut». In: Mann Thomas. Frühe Erzählungen. 1893—1912. Kommentar. Band 2.2. S. Fischer Verlag Frankfurt a. M. 2004, S. 323. В дальнейшем ссылки на эту работу будут даваться в круглых скобках с указанием слова «Kommentar» и номера страницы.

¹⁹ Mann Thomas. Tagebücher 1918—1921, herausgegeben von Peter de Mendelssohn. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1979, S. 262. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слов «Tagebücher 1918—1921» и номера страницы.

бумаге в сафьяновых переплетах с иллюстрациями художника Томаса Теодора Гейне (Thomas Theodor Heine, 1867—1948), близко знакомого с семьей Прингсхаймов.

Работа у художника продвигалась небыстро, им сделано в общей сложности тридцать иллюстраций, из них десять — на целую страницу. Книга увидела свет только в 1921 году.

Публикация новеллы вновь вызвала раздоры внутри семьи. Правда, Альфред Прингсхайм против ограниченного издания для библиофилов не возражал. Об этом Томас оставил запись в дневнике 25 января 1920 года, как только поступило предложение от Рихтера:

«Тайный сов.[етник] Пр.[ингсхайм] не ставит препятствий для частного издания „Вельз.[унгов]“» (Tagebücher 1918—1921, 373).

Однако через год старые раны снова дали о себе знать. В понедельник 2 мая 1921 года Томас пишет в дневнике:

«Вечером нервный срыв в противостояниях с К.[атей] о новелле „Кровь Вельзунгов“ и еще об одной бестактной заметке, которая разозлила ее отца. Высказались и помирились. Давление на меня растет» (Tagebücher 1918—1921, 512).

«Бестактная заметка», о которой идет речь в этой записи, — это как раз опубликованные в 1920 году воспоминания Рудольфа Бреттшнайдера «Открытие „Крови Вельзунгов“».

Художник нового издания Т.-Т. Гейне писал своему другу Альфреду Кубину (Alfred Kubin, 1877—1959):

«Скоро вышлю тебе книгу (как только печать будет готова), которую я иллюстрирую. Это первые литографии, которые я делаю. Я не очень доволен, литографии все же это не мое. Это книга о Прингсхаймах Томаса Манна»²⁰.

Гейне без колебаний называет новеллу «Кровь Вельзунгов» книгой о Прингсхаймах. Для всех, кто бывал в доме на улице Арси, 12, это было очевидно. Убедимся и мы, что такое мнение имело под собой серьезные основания.

«Атлеты бестактности»

Мы видели, что писатель проявил осмотрительность и осторожность, прочитав предварительно новеллу родственникам жены и заручившись их согласием на публикацию. Поэтому обвинять его в том, что он вообще не обращает внимания на чувства людей, являвшихся прототипами его героев, как это делает биограф Манна Клаус Харппрехт, называя Томаса и его брата Генриха «атлетами бестактности»²¹, не совсем справедливо.

Однако в новелле слишком много скрытых и явных указаний автора на то, что действие происходит в доме по улице Арси, 12, чтобы оставить это без внимания. Правда, хозяин виллы в Тиргартене коллекционирует не майолику, не картины и не серебряные и золотые изделия, как Альфред Прингсхайм. Господин Ааренхольд собирает всего лишь антикварные книги: «Он постоянно приобретал литературные древ-

²⁰ Ralf Thomas (Hrsg.). Du nimmst das alles viel zu tragisch. Briefe von Th. Th. Heine an Alfred Kubin. 1912—1947. München 2009, S. 21.

²¹ Harpprecht Klaus. Thomas Mann. Eine Biographie. Rowohlt, Hamburg 1995, S. 269.

ности, первоиздания на всех языках — бесценное, подгнившее старье» (Кровь Вельсунгов, 491).

Зато в тексте есть тонкие намеки на то, какие именно сокровища хранились в шкафах и витринах, расставленных вдоль стен роскошной столовой в доме Прингсхайма. Речь идет об именах героев новеллы — хозяина дома Ааренхольда и жениха его дочери чиновника фон Бекерата. Скорее всего, эти имена Томас Манн услышал впервые во время разговоров именно в этой столовой, причем из уст самого Альфреда Прингсхайма. Дело в том, что крупный берлинский текстильный промышленник Адольф фон Бекерат (Adolf von Beckerath, 1834—1915), родом из Крефельда, считался в Германии основным конкурентом Альфреда Прингсхайма по части коллекционирования средневековой итальянской майолики. Когда его коллекция распродавалась с аукционов в 1913 и 1916 годах, то некоторые образцы были куплены Прингсхаймом, а часть других попала в Берлинский музей декоративно-прикладного искусства. Фон Бекерат был одним из немногих немцев среди крупных берлинских коллекционеров искусства, большинство из которых имели еврейское происхождение. Возможно, именно поэтому Томас Манн выбрал это имя для жениха Зиглинды, так как сокровенным желанием Ааренхольдов было войти в высшее немецкое общество.

Фон Бекерат из новеллы Томаса Манна «*был чиновник из знатной семьи — бородака клинышком, маленький, канареечного цвета и ревностной учтивости*» (Кровь Вельсунгов, 493). В смысле учтивости его прототип был прямой противоположностью. Если верить воспоминаниями известного историка искусств и музейного деятеля Вильгельма фон Бодде (Wilhelm von Bode, 1845—1929), реальный Бекерат отличался «*дурными манерами и озорством неумного холостяка, что было подчас непереносимо*»²².

Фамилия Ааренхольд тоже напоминает об известном предпринимателе, меценате и коллекционере Эдуарде Арнхольде (Eduard Arnhold, 1849—1925). Свое состояние он, как и отец Альфреда, Рудольф Прингсхайм, сделал на торговле каменным углем, добываемом в Силезии. Он был единственным евреем, назначенным кайзером членом верхней палаты прусского парламента (Herrenhaus). Он, как Альфред Прингсхайм и Адольф фон Бекерат, коллекционировал майолику и произведения живописи.

Господин Ааренхольд из новеллы Томаса Манна тоже разбогател на угольном бизнесе:

«Родившись в дальнем местечке у восточных границ и взяв в жены дочь состоятельного торговца, господин Ааренхольд, смелый и умный предприниматель, посредством великолепных махинаций, имевших предметом горное дело — развитие угольного месторождения, — направил в свою кассу мощный и неиссякаемый поток золота...» (Кровь Вельсунгов, 496).

И Альфред, и Рудольф Прингсхаймы родились «*в дальнем местечке у восточных границ*» — в Силезии, на границе с Польшей, Альфред — в городке Олау (Ohlau) в 1850 году, его отец Рудольф — в местечке Эльс (Oels) в 1821 году.

Внутреннее убранство и оборудование дома Ааренхольда в деталях совпадает с описанием виллы Альфреда Прингсхайма в Мюнхене. Это здание не сохранилось, нацисты, придя к власти, заставили Альфреда продать дом, чтобы немедленно его снести и на этом месте построить Управление национал-социалистической партии (Verwaltungsbau). Но сохранились планы постройки, фотографии, воспоминания современников. По этим материалам по заказу Баварской академии наук историк Ханно Вальтер Круфт реконструировал внешний и внутренний вид виллы на ули-

²² Bode Wilhelm von. Mein Leben. Reckendorf Verlag, Berlin 1930, S. 193.

це Арси, 12²³. Вот что он говорил в докладе на заседании философско-исторического отделения академии 30 октября 1992 года:

«Все представительские и жилые помещения лежат на первом этаже. На обустройство дома не жалели средств. Поднимаясь по лестнице в сводчатый холл, попадаешь в двухэтажную „прихожую“, из которой одна лестница вела на второй этаж. Самым большим и роскошным помещением был музыкальный зал, соединенный через венецианскую арку с библиотекой... Небольшой кабинет хозяина дома располагался за библиотекой и выходил окнами в сад. Отсюда еще одна лестница вела на второй этаж в спальню. Столовая находилась на другой стороне от прихожей и площадью около 65 квадратных метров была сравнима с музыкальным залом. Как видно на фотографиях, потолок и стены отделаны деревянными панелями. В библиотеке и в столовой выставлены для просмотра части прингсхаймовских коллекций»²⁴.

Похожий вид имела внутренность виллы Ааренхольда в новелле Томаса Манна. Вот, например, описание столовой:

«В колоссальной, выложенной коврами и по кругу обшитой буасери восемнадцатого века столовой, где с потолка свисали три электрические люстры, семейный стол, накрытый на семь персон, терялся. Он был придвинут к большому, до пола, окну, под которым за невысокой решеткой плясала изящная серебряная струя фонтана и из которого открывалась широкая панорама зимнего еще сада. Гобелены с пастушескими идиллиями, как и деревянная обшивка, прежде украшавшие французский замок, покрывали верхнюю часть стен» (Кровь Вельсунгов, 494).

Суп бесшумно спускался в столовую со второго этажа из кухни по лебедке, которая уходила в буфет. Такой же лифт действовал и в доме Прингсхаймов. Список таких совпадений можно продолжить.

Как и у Прингсхаймов, младшими детьми Ааренхольдов являются близнецы, брат и сестра, имена которых указывают на то, что их отец — страстный вагнерианец. Зигмунд и Зиглинда — персонажи музыкальной драмы Вагнера «Валькирия», второй части тетралогии «Кольцо Нибелунга». Имена всех четырех детей Ааренхольдов (старшего сына и дочь зовут Кнут и Мерит) подчеркнута германские, хотя еврейское происхождение всех членов семьи автор не просто отмечает, но настойчиво подчеркивает.

«...под чужим, более жарким солнцем»

В письме брату Генриху от 20 ноября 1905 года Томас Манн назвал новеллу «Кровь Вельсунгов» «историей на еврейскую тему» (Манн Г.-Т., 84)²⁵. Сегодня внимательному читателю новеллы очевидно то, что, возможно, не было так заметно в начале XX века. При описании еврейских черт своих героев, будь то физические характеристики, особенности языка и мышления или социальные признаки, автор использует откровенно антисемитские клише. При этом автор осторожен. В письме Генриху от 5 декабря он признается:

²³ Сейчас по этому адресу стоит другое здание, построенное нацистами как «Дом фюрера». Теперь там расположена мюнхенская консерватория («Высшая школа музыки и театра»). Из-за перестройки нумерации домов сейчас и до 1933 года не совпадают.

²⁴ Krufft Hanno-Walter. Alfred Pringsheim, Hans Thoma, Thomas Mann. Eine Münchner Konstellation. Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München 1993, S. 7.

²⁵ В оригинале Томас Манн использует слово «Judengeschichte» «история евреев», см.: Briefe I, 333.

«Слова „еврей“, „еврейский“ не встречаются. Есть лишь очень сдержанный намек-другой на еврейскую интонацию. О господине Ааренхольде сказано, что он „родился на Востоке, в далеком месте“» (Манна Г.-Т., 85).

И все же еврейство героев новеллы не просто подчеркивается, оно подается карикатурно, с нескрываемой антипатией со стороны автора.

Все члены семьи Ааренхольдов имеют прототипы в доме Прингсхайма. И только мать семейства изображена так, что никакого сходства с Хедвиг Прингсхайм в ней не найти. Хедвиг — красавица, мы помним слова Клауса Манна: *«обольстительная смесь венецианской красоты а-ля Тициан и загадочной гранд-дамы а-ля Генрих Ибсен»*. А в новелле мать — *«низенькая, некрасивая, рано постаревшая, словно высохшая под чужим, более жарким солнцем»*. Чтобы подчеркнуть безвкусию и богатство, упомянуты классические бриллиантовые ожерелье и брошь (Кровь Вельсунгов, 492). Томас Манн словно боялся нового гнева тещи, подобного тому, что случилось при чтении рассказа *«У пророка»*. Зато с остальными членами семьи писатель не церемонился.

Старший сын Ааренхольдов, Кнут, представлен как *«красивый, загорелый человек»*, но с этим соседствует клише, типичное для антисемитских изображений евреев: *«с вывернутыми губами»*. Для описания внешности его сестры Мерит используются образы животного мира: *«орлиный нос, серые глаза хищной птицы»* (Кровь Вельсунгов, 492).

У близнецов, Зигмунда и Зиглинды, *«одинаковые, чуть приплюснутые носы, одинаковые полно, мягко смыкающиеся губы, выступающие скулы, черные блестящие глаза»* (Кровь Вельсунгов, 493). Кроме того, у Зигмунда выделяются *«густые, черные, курчавые, силой зачесанные на пробор волосы, которые начинали расти низко на висках, и сами глаза под сильными сросшимися бровями — эти большие, черные, влажно-блестящие глаза»* (Кровь Вельсунгов, 520).

Зигмунд чрезвычайно чувствителен к запахам, постоянно пользуется косметикой и благовониями, и *«ему была присуща такая необычайная и непрерывная потребность мыться, что значительную часть дня он проводил возле умывальника»* (Кровь Вельсунгов, 502). Автор дает понять, что его герой знает, из какого общества он родом. Там, согласно антисемитским стереотипам, царят грязь и вонь, от которых он стремится избавиться.

Что-то звериное есть в описании волос на теле Зигмунда. Щетина его росла столь сильно, что приходилось бриться дважды в день (Кровь Вельсунгов, 502). Его торс был *«мохнатым от черных волос»* (Кровь Вельсунгов, 506). Ласки близнецов тоже напоминают звериные: *«они принялись играть, как щенята, кусаясь одними губами»* (Кровь Вельсунгов, 508). Не так симпатично, но выразительно выглядит сравнение старшего Ааренхольда себя самого с *«червяком, вошью»* (Кровь Вельсунгов, 496).

В юдофобской традиции принято сравнивать евреев со зверями, пресмыкающимися, насекомыми, чтобы отделить их от остального рода человеческого, показать обособленность от других людей. Выражаясь высоким слогом, можно сказать, что такими сравнениями достигается дегуманизация еврея, лишение его человеческого облика.

Показательно начало новеллы, так сказать, ее увертюра. Слуга дома Венделин вышел на площадку второго этажа и бьет колотушкой в гонг, призывая хозяев к столу:

«Медный гул, дикий, каннибальский, несоразмерный цели, проникал повсюду: в салоны направо и налево, в бильярдную, библиотеку, зимний сад, вниз, вверх, по всему дому, равномерно прогретый воздух в котором был изрядно пропитан сладким экзотическим ароматом» (Кровь Вельсунгов, 491).

Гонгом в прямом смысле слова озвучено противоречие между видимой на поверхности роскошью, в которой семья живет в одном из самых престижных районов Берлина, и звериной, «каннибальской», доцивилизационной сущностью этих людей, чей внешний вид свидетельствует о ближневосточных корнях семьи. Об этих корнях упоминает и «выцветший от времени молельный коврик», на котором стоял Венделин.

Духовные черты евреев проявляются прежде всего в языке. В речи матери слышны слова и выражения ее родного языка — идиш, называемого Манном «диалектом»:

«Ее речь была пропитана странными, богатыми на гортанные звуки словами — выражениями из диалекта детства» (Кровь Вельсунгов, 497).

Речь у нее не совсем гладкая, она часто отвечает вопросом на вопрос, не точно выбирает слова:

«— И что ты там такое говоришь? — сказала она. — Ты этому учился? Ты мало учился» (Кровь Вельсунгов, 498).

Близнецы, напротив, говорят на правильном, культурном, можно сказать, изысканном языке. Правда, они иногда используют не очень употребительные, вычурные обороты. Например, желая поторопить брата, Зиглинда обращается к нему:

«— Не смею утаивать от тебя, — сказала она, — что экипаж ждет» (Кровь Вельсунгов, 507).

Или Зигмунд благодарит Бекерата весьма заковыристой фразой, которая в русском, весьма упрощенном, переводе звучит так: «*Покорнейше вас благодарим*» (Кровь Вельсунгов, 501)²⁶.

Близнецы великолепно владеют речью, и это компенсирует, даже с лихвой, все недостатки разговора матери.

«Беседа была оживленной, всеобщей, дети играли в ней решающую роль, они говорили хорошо, жестикулировали нервозно и высокомерно. Они двигались в авангарде вкуса и требовали предельного» (Кровь Вельсунгов, 499).

Речь близнецов активна, даже агрессивна, они постоянно стремятся подавить оппонента, выиграть словесную схватку:

«Дети возражали по любому поводу, будто не возражать казалось им невозможным, жалким, постыдным, возражали превосходно, и глаза их при этом превращались в мечущие короткие молнии прорези. Они накидывались на одно слово, отдельное, использованное им, трепали его, отбрасывали и подбирали другое; смертельно-меткое, оно звенело в воздухе, попадало в яблочко и с дрожанием заседало в нем...» (Кровь Вельсунгов, 500).

Остроумие и образованность служат для демонстрации своего интеллектуального превосходства не только над родителями, но прежде всего над незадачливым женихом Зиглинды, дворянином из знатной семьи Бекератом.

²⁶ В оригинале «*seien Sie unserer Dankbarkeit wohl versehen*» — дословно «будьте совершенно уверены в нашей благодарности». Это чуть измененная цитата из «Нюрнбергских мастерзингеров» Рихарда Вагнера: «*seid unserer Treue wohl versehen*» (действие первое, сцена третья). Здесь слово «благодарность» заменено на слово «преданность».

Отношение автора новеллы к такой манере поведения откровенно отрицательное. Он полностью разделяет распространенное среди антисемитов клише о разрушающей силе еврейского интеллекта, вооруженного «стальной и абстрактной диалектикой» (Кровь Вельзунгов, 498).

Когда в Германии после Первой мировой войны вспыхнули первые беспорядки, переросшие в Ноябрьскую революцию, Томас Манн видит главную причину в евреях. В дневнике от 8 ноября 1918 года он пишет:

«Это революция! И делают ее почти исключительно евреи. Военными делами руководит лейтенант Кенигсбергер» (Tagebücher 1918–1921, 63).

Здесь же Манн отмечает:

«В Мюнхене, как и во всей Баварии, правят еврейские литераторы. Да сколько же можно? <...> У нас член правительства — такой мерзкий литературный мошенник, как Герцог, спекулянт и делец по духу, из еврейских молодцов больших городов» (Tagebücher 1918–1921, 63).

Страх перед опасным интеллектом евреев сопровождал писателя всю жизнь. В российском большевизме, который угрожал западной культуре, он видит руководящую роль евреев-интеллектуалов. Результат беседы с Катей 2 мая 1919 года Томас записал в дневнике:

«Мы говорили также о таком типе российского еврея, руководителя мирового движения, о взрывоопасной смеси из интеллектуального еврейского радикализма и славянской христианской мечтательности. Если мир не потерял инстинкта самосохранения, он должен со всей энергией и по-военному быстро выступить против такого типа людей» (Tagebücher 1918–1921, 223).

Антисемитское клише о разрушительном еврейском интеллекте оказалось живучим. «Гной еврейского высокоинтеллектуального высокомерия» упоминает Виктор Астафьев в знаменитой переписке 1986 года с Натаном Эйдельманом²⁷.

Похоже, что Томас Манн, работая над новеллой «Кровь Вельзунгов», не отдавал себе отчета в ее недвусмысленной антиеврейской направленности. Показателен его восклицательный знак в письме Генриху Манну от 17 января: «вернувшись из декабрьской поездки, я застал здесь слух, будто я написал какую-то резко „антисемитскую“ (!) новеллу». И хотя он дальше в этом же письме признает, что его новелла «не очень-то способна подавить этот слух», упрек в антисемитизме явно удивляет автора.

С течением времени, однако, на фоне всех трагедий XX века, которые ему суждено пережить как свидетелю, отношение писателя к его раннему произведению менялось. В письме от 19 марта 1948 года Мартину Шлаппнеру (Martin Schlappner, 1919–1998), будущему главному редактору газеты «*Нойе цюрхер цайтунг*», в 1947 году защитившему диссертацию по Томасу Манну, писатель дает такую оценку «тиргартенской новелле»:

«„Кровь Вельзунгов“ — это действительно устаревшая работа, которая сегодня могла бы вызвать недоразумения. Я не включил ее в новое собрание своих рассказов и не хотел бы, чтобы она Вами была снова воспроизведена» (DüD, 230).

²⁷ См., например, Азадовский Константин. Переписка из двух углов Империи. Вопросы литературы. 2003. № 5.

Спустя некоторое время, 27 апреля 1951 года, Томас пишет письмо шведскому писателю и журналисту Андерсу Эстерлингу (Anders Oesterling, 1884–1981), готовящему сборник рассказов Манна на шведском языке. Автор возражает против включения в него «еврейской новеллы»:

«Контраргумент состоит в том, что историю легко неправильно понять и интерпретировать в антисемитском смысле. Это возражение много весомее в наши дни, чем во времена написания новеллы» (DüD, 231).

«Беганэфт мы его, – гоя!»

Томас Манн придавал большое значение последней фразе текста, так сказать, завершающему аккорду новеллы. По замыслу писателя в конце повествования, уже после сцены инцеста, растерянная Зиглинда обращается к брату с вопросом, как быть теперь с обманутым женихом. Ответ Зигмунда предполагался хлестким, в нем должны были прозвучать мотивы превосходства над несчастным чиновником, мести за предстоящую свадьбу Зиглинды, за неизбежную ассимиляцию еврейской семьи в немецкое общество. Лучше всего, чтобы фраза содержала пару типично еврейских слов, означавших обман, надувательство или что-то подобное. Не владея идишем, Томас в начале осени 1905 года пришел за помощью к тестю, объяснив ему, какие слова нужны ему для новеллы, которую он как раз заканчивает.

Альфред Прингсхайм, по словам его сына Клауса, отнесся к просьбе зятя доброжелательно, правда, не захотел и слушать, о чем эта новелла, как мы знаем, художественной литературой он совершенно не интересовался. Но слово «ганэв» (ganev), означавшее на идиш «обман», «воровство», «обвес», «обсчет», он охотно дал, добавив *«филологическое пояснение, касающееся возможных трудностей перевода, что всегда делается, когда отдельное слово, тем более глагол, вставляется из еврейского языка в немецкий текст»* (Klaus Pringsheim, 263).

Здесь стоит отметить, что Игорь Эбаноидзе в статье «О новелле „Кровь Вельзунгов“» не прав, утверждая, что «в качестве советника по вопросам идиша Т. Манн привлек своего шурина Клауса Прингсхайма – прототипа Зигмунда Ааренхольда»²⁸.

Дело даже не только в том, что это утверждение противоречит воспоминаниям Клауса Прингсхайма, который подчеркнул, что Томас Манн сам направился к тестю, «что он нечасто делал, с вопросом, точнее, с просьбой» подобрать подходящее к концовке новеллы еврейское слово (Klaus Pringsheim, 262). Клаус не мог быть советником Томаса Манна по вопросам идиша, потому что в доме Прингсхаймов дети росли, не зная, что они евреи. На идиш они не говорили, а отдельные еврейские слова, которыми иногда обменивались родители, воспринимали как семейную игру, проявление каких-то интимных родительских отношений²⁹.

²⁸ Эбаноидзе Игорь. О новелле «Кровь Вельзунгов». В журнале «Ясная Поляна», 1997, №2, с. 284. В этой публикации есть еще пара неточностей. На странице 285 упомянута пара влюбленных из романа «Королевское высочество» Клаус-Генрих и Дитлинда, хотя невесту принца звали Имма Шпельман, а Дитлинда – это сестра принца. Кроме того, на странице 284 утверждается, что Томас Манн отозвал новеллу «и из журнала, и из сборника рассказов, который выходил в издательстве „С. Фишер“». Это верно в отношении журнала «Нойе рундшау», а сборника рассказов с новеллой «Кровь Вельзунгов» еще не существовало. Томас Манн лишь планировал сборник из двух новелл с общим названием «Королевское высочество». Но, как мы уже говорили, задуманная вначале как новелла, «Королевское высочество» выросло до романа, вышедшего в свет в 1909 году.

²⁹ Roggenkamp Viola. Erika Mann. Eine jüdische Tochter. Arche Literatur Verlag, Zürich-Hamburg 2005, S. 20.

В результате консультаций с тестем у Томаса Манна получилась такая концовка новеллы, такая последняя фраза, сказанная Зигмундом: «*Begánэфт мы ego, — гоя*». В оригинале последняя фраза новеллы звучит так: «*Beganeft haben wir ihn, — den Goy*»³⁰.

Слово «*beganeft*» в значении «обманули», «обворовали» вряд ли предложил бы кто-нибудь из знатоков идиша, это результат ошибочного словотворчества самого Томаса Манна. На идиш глагол «обманывать», «воровать» — *гáнвэнэн* (*ganvenen*). Соответственно, в прошедшем времени *гегáнвэт* (*geganvet*) или *бегáнвэт* (*beganvet*).

Томас Манн построил свое слово «*beganeft*» по образцу немецкой грамматики: приставка *ge* (*be*) + основа глагола + *t*. Но вместо глагола *ganvenen* он взял существительное *ganev*, заменив последнюю букву на *f*, и получилось *beganeft*, которого нет ни в немецком языке, ни в идиш.

Для писателя здесь важен был не конкретный смысл отдельного слова на чужом языке, а именно его «чуждость», «ненормальность». Последняя фраза Зигмунда звучит явным диссонансом к его правильной, изысканной, местами вычурной немецкой речи. Такого диссонанса и добивался Волшебник, как называли Томаса его дети.

Редактору «*Нойе рундшау*» доктору Оскару Би (*Oscar Bie*, 1864—1938) концовка новеллы не понравилась. По его мнению, последняя фраза выпадала из общего стиля повествования. Об этом подробно рассказывает Томас в письме брату 20 ноября 1905 года:

«...просьба моя касается рукописи, посылаемой тебе в сопровождении этих строк: „Крови Вельзунгов“, истории на еврейскую тему, и в связи с этой рукописью я и прошу у тебя совета, вернее, даже помощи. Новелла должна выйти в январском номере „Нойе рундшау“ и уже сдана в набор. Профессор Би, однако, возражает против конца, против самой последней фразы с иностранными словами, боясь, что средний читатель найдет ее грубой, и умоляет меня, ради его парадного номера, смягчить конец, как смягчал я эту ноту на протяжении новеллы. Но я не хотел кончать тире или многоточием (ты увидишь каким), а чувствовал потребность все еще раз перевернуть вверх дном какой-нибудь репликой — и при всем желании не могу найти ничего лучшего. Просто заменить еврейские слова немецкими нельзя, это ясно. Ничего не получилось бы. Но что делать? Как кончил бы ты? Если тебе придет что-нибудь в голову, не таи от меня! Но дело срочное...» (Манн Г.-Т., 84).

Более радикальный, чем младший брат, менее склонный к компромиссам, Генрих призвал не сдаваться и бороться с редактором за свое мнение, за свою формулировку последней фразы. Его письмо с ответом не сохранилось, но Томас цитирует высказывание Генриха в своем письме от 5 декабря 1905 года:

«Ты говоришь: жертвовать характерным ради благопристойности — это шлятина. Но можно сказать: искусство в том и состоит, чтобы при предельной характерности не оскорблять чувство стиля. А „*beganeft*“ нарушает стиль, это надо признать» (Манн Г.-Т., 85).

В то же время концовка с иностранными словами нравилась обоим братьям, и Томас принимает ее для окончательного варианта новеллы. В журнальном же варианте он пошел на компромисс и уступил редактору «*Нойе рундшау*»:

³⁰ Mann Thomas. Frühe Erzählungen. 1893—1912. Band 2.1. S. Fischer Verlag Frankfurt a. M. 2004, S. 463.

«То, что ты говоришь о конце, очень укрепило мою веру в этот конец — в его возможность и внутреннюю оправданность. Я и решил оставить его в книжном издании. Для „Рундшау“ я, пожалуй, в угоду Би сделаю другой, который не будет плохим компромиссом, ибо вовсе не обязательно связывать конец с „местью“. Напротив, дано уже столько мотивов, что можно представить себе еще четыре-пять других концовок» (Манн Г.-Т., 85).

В этом же письме Томас Манн приводит концовку текста, которая потом с небольшими изменениями вошла в опубликованные на разных языках варианты новеллы:

«Я мог бы, например, сказать: „А как же Бекерат?“ — „Ну, он должен быть нам благодарен. Теперь у него будет менее тривиальная жизнь“» (Манн Г.-Т., 85).

Когда в 1921 году Томасу Манну наконец попал в руки один из роскошных экземпляров новеллы, отпечатанных в мюнхенской типографии Dr. C. Wolf & Sohn, писатель был огорчен: концовка текста осталась той же, что была подготовлена для «*Нойе рундшау*», без «грубых» еврейских слов. В дневнике от 13 апреля 1921 года Томас признается:

«Пришли экземпляры люксовского издания „Крови Вельзунгов“, к сожалению, не с оригинальным концом. Я должен был об этом позаботиться» (Tagebücher 1918–1921, 504).

Через три дня писатель дарит экземпляр книги другу Эрнсту Бертраму (Ernst Bertram, 1884–1957) и собственноручно исправляет последнюю фразу на первоначальный конец текста с еврейскими словами (Tagebücher 1918–1921, 505). Копия исправленной автором страницы текста приведена в томе комментариев к тексту новеллы (Kommentar, 341).

Надо сказать, что качество, внешний вид и, соответственно, цена сильно отличались для разных экземпляров. Номера I–V были вручную переплетены в бирюзовый левантийский сафьян и богато позолочены. Номера VI–XXX тоже переплетены вручную, но позолоты на них поменьше. Все первые тридцать экземпляров (I–XXX) снабжены папками с отпечатками литографий на настоящей китайской бумаге, листы пронумерованы. Кроме того, в эти папки был вложен лист с оригинальной концовкой новеллы. В тексте остальных экземпляров стояла последняя фраза, исправленная по настоянию Оскара Би.

Экземпляры 1–500 переплетены в специальной переплетной мастерской Карла Херкомера (Carl Herkomer) в Мюнхене. Номера 1–30 сделаны в сафьяновом переплете, номера 31–100 — в переплете из телячьей кожи, остальные в различных комбинациях из кожи, сафьяна и специального картона³¹.

Экземпляры предназначались для истинных библиофилов, и цены были запредельные — от 350 до 1600 марок! Современники жестко критиковали и оформление книги, и ее стоимость. Ганс фон Вебер в своей газете «Цвибельфиш» («Zwiebelfisch») назвал появление такой книги «скандалом безвкусицы»³².

Самым полным и научно обоснованным собранием сочинений Томаса Манна является еще не законченное Полное комментированное франкфуртское издание (GKFA). «*Кровь Вельзунгов*» опубликована в томе 2.1 «*Ранние рассказы*». Концовка текста здесь та, которую придумал автор, то есть с «грубыми» еврейскими словами.

³¹ Raff Thomas. Ironie und Satire. Thomas Mann und Thomas Theodor Heine. In: Heißerer Dirk (Hrsg). Thomas Mann in München. V. [peniope] — Verlag Anja Urbanek, München 2010, S. 158.

³² Heißerer Dirk (Hrsg). Thomas Mann in «Villino» am Starnberger See. P. Kirchheim Verlag, München 2001, S. 152.

Так же поступили издатели французского перевода 1931 года, заменив, правда, еврейские слова французскими.

Русский читатель получил перевод «Крови Вельзунгов» в том виде, на котором настаивал редактор «*Нойе рундшау*». Томас Манн был согласен с такой концовкой только в виде исключения, обещав брату Генриху, что в книжном издании обязательно вернется к оригинальной фразе. Увы, переводчики на русский язык (Е. Шукшина и Е. Соколова) желание автора проигнорировали.

«...я соблаговолил принять конституцию»

Может ли писатель в своих произведениях изображать реальных людей, их внешность, поступки, достоинства и недостатки, успехи и неудачи? Томас Манн с первых своих шагов в литературе был убежден, что да, может! Его роман «*Будденброки*», сделавший писателя знаменитым, принес и немало огорчений. В родном Любеке эта книга произвела сенсацию и вызвала ярость многих известных жителей города, узнавших себя в героях романа. В городе циркулировали списки лиц, послуживших прообразами тех или иных персонажей. Среди обиженных были даже родственники писателя, например, дядя Фридрих Вильгельм Леберехт Манн (Friedrich Wilhelm Leberecht Mann, 1847–1926). Обиду он долго терпел, но через двенадцать лет один случай подтолкнул его выплеснуть свой гнев на публику. В Лейпциге вышла книга Вильгельма Альбертса «*Томас Манн и его профессия*». И дядя не выдержал. Он опубликовал короткую заметку в газете «*Любекишен анцайген*» («*Lübeckischen Anzeigen*») от 28 октября 1913 года, где жаловался на множество неприятностей, которые ему в последние двенадцать лет принесла книга племянника. Поэтому автор заметки призывает всю читающую публику Любека по достоинству оценить упомянутый роман:

«Если автор „Будденброков“ карикатурным образом вываливает в грязи своих ближайших родственников и откровенно выдает обстоятельства их жизни и судьбы, то каждый здравомыслящий человек найдет это недостойным. Плоха та птица, которая гадит в своем гнезде»³³.

Подобные упреки доходили до писателя и раньше. Он не считал нужным публично оправдываться, отводя душу в частной переписке. Но после скандала с новеллой «*Кровь Вельзунгов*» Томас решил громко заявить о своих правах писателя, опубликовав в 1906 году «маленький манифест» «*Бильзе и я*» (IX, 7–19). И хотя формально поводом для написания этой работы послужили обиды любекцев на роман «*Будденброки*», многие аргументы автора выглядят как ответ на упреки по поводу его «тиргартенской новеллы».

Прежде всего писатель утверждает принципиальное отличие изображения и его прототипа:

«Действительность, которую поэт заставляет служить своим целям, может быть его повседневностью или самым близким и любимым человеком, поэт может сколько угодно сохранять верность внешних деталей, порожденных этой действительностью, пытаться жадно и последовательно сохранить в своем произведении любой признак этой детали — и тем не менее для него (а значит, так должно быть и для всего света!) между действительностью и ее изображением пролегла бездонная пропасть: то различие в самой сущности, которое навсегда отделяет мир реального от мира искусства» (IX, 12).

³³ Wysling Hans, Schmidlin Yvonne (Hrsg.). Thomas Mann. Ein Leben in Bildern. Artemis, Zürich 1994, S. 118.

Писатель берет из жизни те или иные детали, внешние признаки, по которым люди сразу узнают: этот — тот или та. Но дальше писатель строит свои образы, отвечающие его задачам художника. И образы могут стать далекими от оригиналов.

«Люди же думают, что на основании этих внешних признаков они вправе и все остальное считать „правдой“, анекдотом о личностях, рыночным товаром, сплетней... Вот и готов скандал» (IX, 14).

Главное, о чем сокрушается автор «*Бильзе и я*», это потеря художником своей свободы. Манифест заканчивается страстным призывом:

«Не мешайте сплетнями и оскорблениями его свободе, — лишь она одна помогает ему делать то, что вы любите и перевозносите, и без нее он был бы никому не нужным рабом» (IX, 19).

Скандал с новеллой «*Кровь Вельзунгов*» показал Томасу Манну его несвободу. Он сам признавался старшему брату в письме от 17 января 1906 года:

«И должен признать, что в человеческо-общественном смысле я уже не свободен» (Манны Г.-Т., 87).

И далее он еще раз возвращается к этой проблеме:

«Правда, с тех пор я никак не могу избавиться от чувства несвободы, которое в ипихондрические часы становится очень гнетущим, и ты, конечно, назовешь меня трусливым буржуем. Но тебе легко говорить. Ты абсолютен. А я соблаговоллил принять конституцию» (Манны Г.-Т., 88).

Раньше свободный от супружеских обязательств начинающий писатель, затем автор шумевшего романа, снимавший скромные квартирki в богемном районе Мюнхена и позволявший себе длительный мужской роман с художником Паулем Эрнбергом, был сам себе абсолютный монарх, мог не считаться с общественным осуждением. Теперь же он выбрал конституционную монархию брака, получив взамен статус добропорядочного отца семейства, но вместе с тем и жесткие рамки допустимого в обществе поведения. Эти рамки не были ему еще точно известны, когда семейная жизнь только начиналась. Зато перспектива стать богатым человеком ему нравилась. В уже цитированном письме Иде Бой-Эд от 3 сентября 1905 года Томас признается:

«Ах, пусть говорят что угодно, но богатство — хорошая вещь. Я в достаточной степени художник, в достаточной степени продажный человек, чтобы позволить себя такой жизнью очаровать. Между прочим, две противоположные склонности, с одной стороны, к аскезе, с другой — к роскоши, обе свойственны современной душе: вы видите их в свете великого стиля Рихарда Вагнера» (Briefe I, 323).

Конфликты, связанные с «тиргартенской новеллой», на долгие годы испортили отношения между Томасом Манном и его тестем Альфредом Прингсхаймом. В воспоминаниях сына писателя Голо Манна рассказывается о прогулке с отцом к дому бабушки на улице Арси, 12. Это было воскресенье, когда в доме Прингсхаймов устраивали семейный обед, на котором должны были присутствовать и Манны. Томас был в черном цилиндре, который носил редко, но тут торжественность церемонии требовала представительности. Катя лежала в то время в больнице с ос-

ложением от очередного выкидыша. Старшие дети — Эрика и Клаус — были отосланы к родственникам в Берлин. Младшая Моника оставалась дома, на Пошингерштрассе, 1 под присмотром няни. Голо тоже охотно остался бы дома. Но Томас Манн взял его с собой. Поступок отца Голо понял только через много лет. Отцу не хотелось идти на улицу Арси, так как *«тещу и шурина он еще терпел, но тайного советника не переносил»*³⁴. Не последнюю роль в этой неприязни сыграл скандал с новеллой *«Кровь Вельзунгов»*. Томас взял маленького сына с собой, чтобы не чувствовать себя в гостях совсем одиноким.

С «еврейской новеллой» Томаса Манна постоянно что-то происходит. Ей словно на роду было написано находиться в центре скандалов, не только литературных, но и политических.

В 1950 году старшей дочери Томаса и Кати Эрике Манн было отказано в американском гражданстве. В Федеральном бюро расследований ссылались при этом не только на левые взгляды и прокоммунистические симпатии журналистки, но на ее склонности к инцесту со своим братом Клаусом. Доказательством служила новелла их отца *«Кровь Вельзунгов»*. То, что новелла была написана до рождения Эрики, бдительных сотрудников ФБР не смутило.

Показателен и фильм, снятый по новелле *«Кровь Вельзунгов»* в 1964 году режиссером Рольфом Тиле (Rolf Thiele, 1918—1994). Сценарий фильма был написан так, чтобы скрыть все указания на еврейство семьи Ааренхольд. При этом даже сама фамилия главных героев была заменена на Арнштатт. Сложные проблемы ассимиляции, за которые взялся Томас Манн в своей *«истории на еврейскую тему»*, были в фильме решены просто: со сцены убрали всех евреев.

«Добрые буржуа в маленьком городе»

Новелла *«Кровь Вельзунгов»* сыграла важную роль в жизни писателя: после семейных скандалов, с ней связанных, он почувствовал, какую грань нельзя переходить никогда. И хотя от манеры изображать в своих романах живых людей Томас Манн не отказался, но репутацией членов семьи он больше не рисковал.

И еще в одном пункте новелла *«Кровь Вельзунгов»* занимает особое место в творческой судьбе автора. Эта *«история на еврейскую тему»* стала первым художественным произведением, в котором Томас Манн непосредственно обратился к проблемам еврейской эмансипации и ассимиляции. Хотя он изображал евреев и в своих ранних новеллах, и в романе *«Будденброки»*, только войдя в дом Прингсхаймов, Томас впервые в жизни реально столкнулся с «еврейским вопросом», который в то время активно обсуждался в обществе³⁵.

Несмотря на сходство домов Прингсхаймов и Ааренхольдов, мысль о том, что Томас Манн нарисовал злую карикатуру на семейство своего тестя, в том числе и на свою жену, представляется абсолютно неверной. Этому противоречит и желание прочитать новеллу теще и шурину, и просьба о помощи, с которой Томас обратился к Альфреду Прингсхайму. Да и на фон Бекерата, подвергавшегося постоянным насмешкам и уколам со стороны родственников его невесты, автор *«Будденброков»*, сва-

³⁴ Mann Golo. *Erinnerungen und Gedanken. Eine Jugend in Deutschland*. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a. M. 1991, S. 20.

³⁵ Об отношении Томаса Манна к «еврейскому вопросу» см., например, мои статьи «Томас Манн: между двух полюсов». Студия. 2008. № 12; «Томас Манн в свете нашего опыта». Иностранная литература. 2011. № 9; «Работа над ошибками. Заметки на полях автобиографии Томаса Манна». Вопросы литературы. 2012. № 1. О сложных отношениях Томаса с тестем см. мою статью «Писатель и математик под одной крышей». Нева. 2016. № 3.

тавший к Кате, не похож. Так что на месть автора за год неопределенности и страха получить от невесты отказ новелла «Кровь Вельзунгов» явно не похожа.

И тем не менее связь между домами Прингсхаймов и Ааренхольдов существует, только она немного сложнее, чем просто злая карикатура на реальную семью. Выдуманное семейство Ааренхольдов есть образ того, чем представлялись Прингсхаймы Томасу Манну в его страхах перед неведомым доселе еврейским домом. Вместо Прингсхаймов писатель должен был бы встретиться с Ааренхольдами, если следовать антиеврейским клише и стереотипам, которыми руководствовался писатель.

К счастью для автора новеллы, его страхи не оправдались, Прингсхаймы оказались нормальными европейцами, «ничего, кроме культуры», как выразился Томас в уже цитированном письме брату. Это объясняет свободу, с которой писатель рисует жизнь богатой еврейской семьи, безуспешно стремящейся стать немецкой. Чем злее показаны пороки Ааренхольдов, тем больше славы и почета непохожим на них Прингсхаймам. Так полагал автор, но просчитался.

К Томасу не подходит ярлык банального антисемита. Для аристократа духа, каким считал себя и каким на самом деле являлся Манн, «антисемитизм — это аристократизм черни», как чеканно выразился автор «Иосифа и его братьев» на встрече с членами сионистского общества «Кадима» в Цюрихе в марте 1937 года. Антисемит, утверждал тогда Манн, руководствуется простой формулой: «Я ничто, но зато я не еврей»³⁶. Человеку, который что-то собой представляет, у которого сохранилась хоть капля самоуважения, нет необходимости прибегать к такому сомнительному утешению.

В том же выступлении перед членами «Кадимы» Томас Манн заявил, что антисемитизм ведет к варварству, возврату к тем временам, когда немцы еще не стали культурной нацией Европы, а были доисторическими германскими племенами (с. 483).

Писатель уверен, что антисемитизм в Германии практически отсутствует. Даже в 1943 году, когда гитлеровский режим полным ходом уничтожал евреев Европы, Томас Манн утверждал:

«Никогда интеллигентный, образованный, европейски ориентированный человек в Германии не может быть антисемитом... Абсолютно неверно приписывать антисемитизм подавляющему большинству немецкого народа, что могло бы выдаваться за народную основу преступлений нацистов против евреев»³⁷.

В художественных произведениях Томаса Манна часто встречаются евреи, но практически не показаны антисемиты. Только в конце «Волшебной горы» на короткое время возникает комический персонаж антисемита Видемана, которого читатель вряд ли принимает всерьез. Антисемитизм при этом не осуждается, рассматривается как ребячество и занятие нездорового человека. Даже в позднем романе «Доктор Фаустус», вышедшем в свет в 1947 году и показывающем в художественной форме трагический путь Германии к катастрофе нацистского господства, ничего не говорится про преследование евреев. Германия показана без антисемитизма, а евреи — без холокоста.

Настороженное отношение писателя к евреям имеет, скорее, эстетическую основу, подкрепляется предрассудками и стереотипами, вынесенными из детства в про-

³⁶ Mann Thomas. Zum Problem des Antisemitismus. In: Mann Thomas. Gesammelte Werke in dreizehn Bänden. Band XIII. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1974, S. 481.

³⁷ Mann Thomas. The Fall of the European Jews. In: Mann Thomas. Gesammelte Werke in dreizehn Bänden. Band XIII. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1974, S. 496. Статья на английском языке, немецкий оригинал не сохранился.

винциальном Любеке. Как писал 12 июня 1981 года сын Волшебника Голо Манн литературному критику Марселю Райх-Раницкому:

«...он по рождению провинциал, и от этого никогда полностью не отошел. Моя мать имела обыкновение говорить: „Будденброки — это не господа!“ Не то что обитатели дома на улице Арси; просто хорошие буржуа. Хорошие буржуа в маленьком городе. Отсюда происходит и его антисемитизм, от которого он никогда полностью не избавился (его брат тоже нет). Как мог юный патриций маленького городка не быть антисемитом?»³⁸

На жизненном пути Томаса Манна не раз встречались евреи. Это были разные люди. Кого-то он ненавидел, как Теодора Лессинга или Альфреда Керра, кого-то ценил и уважал. О значении евреев в творческой жизни писателя Манн говорит в эссе «К еврейскому вопросу», написанном в 1921 году по следам эксклюзивного издания новеллы «Кровь Вельзунгов»:

«Евреи меня „открыли“, евреи меня издали и продвигали, евреи поставили мою невозможную театральную пьесу; еврей, бедный С. Люблинский, был первым, кто моим „Будденброкам“, встреченным вначале с кислой миной, предсказал в одной леволиберальной газетке: „эта книга будет расти со временем и будет читаться все новыми и новыми поколениями“»³⁹.

Когда Манн пишет: «евреи меня издали», то подразумевается не только Самуэль Фишер, но и его редактор Оскар Би, который, как вспоминал писатель в «Очерке моей жизни», «проявил интерес к моей работе и предложил мне прислать издательству Фишера все, что только у меня имелось» (IX, 100). Под «невозможной театральной пьесой» имеется в виду единственная пьеса Манна «Флоренция», поставленная в 1910 году Максом Рейнгардтом.

Несмотря на все многообразие человеческих типов среди еврейских знакомых Томаса Манна, в его художественных произведениях, как правило, еврейские образы откровенно отталкивающие. Если еврей — чиновник, то карьерист, если торговец, то хитрый мошенник, если художник, то оторванный от жизни упаднический эстет. Создается впечатление, что те евреи, которые «открыли, издали, продвигали» писателя, ему не интересны. Они не давали ему материала для социальной сатиры, не вписывались в устоявшуюся систему еврейских клише и стереотипов, в плену которой Томас Манн находился, работая над «Кровью Вельзунгов».

Все это говорит о том, что Томас Манн в то время еще не осознал всей остроты и глубины «еврейского вопроса», решить который он взялся сразу после женитьбы на Кате Прингсхайм. С этой точки зрения новелла «Кровь Вельзунгов», как и написанное в 1907 году эссе «Решение еврейского вопроса»⁴⁰, знаменуют лишь начало долгого пути понимания этой проблемы. Пути, по которому Томас Манн мучительно продвигался всю жизнь, возможно, так и не дойдя до цели.

³⁸ Mann Golo, Reich-Ranicki Marcel. Enthusiasten der Literatur. Ein Briefwechsel. Aufsätze und Portraits. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 2000, S. 76.

³⁹ Mann Thomas. Zur jüdischen Frage. In: Mann Thomas. Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Werke — Briefe — Tagebücher. Essays II, 1914—1926. Band 15.1. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 2002, S. 432.

⁴⁰ Mann Thomas. Die Lösung der Judenfrage. In: Mann Thomas. Essays. Band 1. Frühlingsturm. 1893—1918. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1993.

Константин ФРУМКИН

ПОСТМОДЕРНИСТСКИЕ ИГРЫ ВОКРУГ НАЦИЗМА И КОММУНИЗМА

(Размышления над фантастическими
романами 2013—2015 годов)

Невозможность серьезности

В России термин «постмодернизм» всегда будет ассоциироваться с культурой 1990-х годов. Именно тогда этот термин стал у нас популярным, именно тогда постмодерн распространился по российской словесности, приведя к появлению целой серии знаковых постмодернистских романов — таких, как «Чапаев и Пустота» Пелевина или «Бесконечный тупик» Галковского.

Однако этому термину можно предавать не только историческое, но и «типологическое» значение. В этом случае «постмодернистской» можно называть особую фазу развития любого художественного направления, которое само осознает свою исчерпанность, когда его творцы чувствуют пресыщенность и отсутствие возможности серьезного отношения к собственным занятиям — и поэтому ищут спасения в иронии, в комбинаторных играх с наработанными ранее материалами, в количественном увеличении используемых формальных приемов и упоминаемых фактов. Особенно заметно — можно даже сказать, болезненно заметно — наступление «постмодернистской» фазы становится в культурных проектах, включающих в себя решение идеологических задач. Например — в социальном романе. Или, как то происходит примерно после 2013 года в российской фантастике — в фантастическом романе, озабоченном историческими и политическими проблемами.

При наступлении постмодернистской фазы развития «идейный» роман продолжает сохранять все внешние приметы своего жанра, но и его автору, и его читателю все труднее сохранять серьезное отношение к содержательным высказываниям. И в качестве компенсации начинает разрастаться игровое начало, эстетизация, становятся все более изощренными приемы, с помощью которых это утратившее жало высказывание сервюруется и подается.

При этом совсем необязательно, что сам автор романа менее серьезно относится к своим политическим или социальным темам. «Серьезность отношения» — интегральная величина, порождаемая всей сопутствующей обстановкой, серьезность

Константин Григорьевич Фрумкин — российский журналист, философ, культуролог. Автор книг и статей философской и культурологической тематики, в том числе на темы философии сознания, теории фантастики, теории и истории драмы, а также социальной футурологии. Один из инициаторов создания и координатор Ассоциации футурологов.

высказыванию придает ее контекст, порою трудно «родить» серьезность изнутри одного только литературного произведения. Но некоторой косвенной «уликой» против писателей, чувствующей утрату своей связи с социальной реальностью, является усиление формальных и игровых моментов в их творчестве.

Вообще говоря, писатель занимается эстетикой, когда «ищет новую форму», «новый способ высказаться». Такого рода поиск нужен, если писатель не хочет повторяться, не хочет быть банальным, не хочет затеряться среди многочисленных предшественников, работавших в той же традиции. Однако хитрость в том, что такого рода опасения вряд ли так уж сильно будут беспокоить писателя, если он чувствует актуальность стоящих перед ним идейных задач.

При этом стоит заметить, что «драйвером» развития фантастики, посвященной реальным историческим событиям и прошлым эпохам русской истории, всегда была пусть косвенная, но легко просматриваемая связь с актуальной политической повесткой дня. Это относится даже к самым низкопробным писаниям про пришельцев из будущего, ставших советниками товарища Сталина. Поэтому невозможно отделаться от ощущения, что постмодернистская фаза в развитии русскоязычной историко-политической фантастики наступила после того, как — или, по крайней мере, синхронно с тем — после прекращения серии массовых протестов в России вообще рассыпались последние останки «политики», после того, как все, кто ею интересовались в России, почувствовали свое бессилие и отрыв от хода истории.

В свете этого кажется, что постмодернизм является симптомом и инструментом декаданса.

Сомнения в стиле «Нуар»

Начать наш разговор стоит с вышедшего еще в 2013 году романа Андрея Валентинова «Нуар». Валентинов, профессиональный историк, известен как автор многочисленных фантастических романов, посвященных различным эпизодам российской истории, в том числе и, наверное, наиболее известного — вышедшего в 2007 году «Капитана Филибера», классического образца литературы о «попаданцах», где выходец из нашего времени попадает в прошлое и меняет ход истории. Что любопытно: автор «Капитана Филибера» вполне осознавал, что создал всего лишь еще одно из ряда подобных произведений, которые сам Валентинов оценивал как поверхностные по мысли и шаблонные по сюжетным ходам.

Очень часто, если писатель чувствует свою обреченность на повторение стереотипов некоей традиции — например, традиции детективов, — он начинает иронически дистанцироваться от нее, создавать пародии или эстетствующие преобразования жанра. Ирония по отношению к предшественникам была и у Валентинова, в тексте «Капитана Филибера» можно найти немало саркастических строк, посвященных прежним романам о попаданцах — однако на этом этапе Валентинов иронизирует не над самим жанром, но исключительно над невежеством и поверхностностью некоторых авторов. Любовь к русской истории уберегает Валентинова от того, чтобы начать «уничтожение» романа, ориентированного на ее осмысление: иронизируя над предшественниками, автор «Капитана Филибера» всего лишь требует от них большей глубины. Презрение к предшественникам не побуждает Валентинова отказываться от жанра.

Но вот совсем иную ситуацию мы застаем через шесть лет в «Нуаре».

Прежде всего, сюжет «Нуара» свидетельствует о том, что в альтернативно-исторической фантастике все простые ходы, способные изменить ход истории, уже отработаны, и теперь писатели, претендующие на качественное продолжение темы, должны

выдумывать что-то изощренное: в «Нуаре» речь идет о сохранении нацистского рейха, но не ради него самого, а как вызова для СССР, чтобы последний держал себя в форме, не вырождался и не пришел в конце концов к застою и гибели.

В то же время в «Нуаре» обсуждается такая болезненная тема, как правомерность использования нацизма в качестве антикоммунистического противоядия и возмездия большевикам, взвешивается, стоит ли, образно говоря, для борьбы с большевизмом продавать душу дьяволу — герой романа, бывший белогвардеец, с большим трудом и с беспокойной совестью пытается найти меру преступлений, на которые можно пойти ради борьбы с большевиками. Все это могло бы быть предметом жаркой дискуссии, однако не представляло собой эстетической проблемы — если бы сам автор, как это было в случае с «Капитаном Филибером», считал свои исторические идеи достаточными для оправдания написания романа.

Но вот альтернативно-исторических романов про фашизм и коммунизм становится все больше, и — так, по крайней мере, можно предположить — Андрей Валентинов в случае с «Нуаром» не счел возможным написать еще один, тысяча первый роман все о том же. Требовалась эстетическая инновация, и начался — пока еще медленный и несмелый — процесс уничтожения содержания формой.

Теперь обсуждение морально-политических вопросов затрудняется эстетическими осложнениями повествования, в том числе и постмодернистского свойства. Экспрессионистские видения главного героя разбавляют основное действие и уводят его в сторону от исторической интенции. Взаимоотношения коммунизма и фашизма предстают главному герою в качестве сюрреалистического сновидения, в котором беседу ведет скелет в эсэсовской форме. Самое же главное — обстановка, да и все действие романа подается как осознанная вариация на тему известного фильма «Касабланка» — фильма, снятого во время Второй мировой войны и потому вполне искренне заостренного на сопротивлении нацизму, однако вопиюще недостоверного с точки зрения деталей. Эта неточность, которая была лишь простительной небрежностью в старом фильме, в романе Валентинова превращается в доказательство иллюзорности всего происходящего. Название романа апеллирует к жанру старого кино, в тексте встречаются вставки «дикторского текста», некоторые герои, а также сюжетные коллизии романа имеют отчетливые прототипы в «Касабланке», финал романа двоятся — имеется «прокатная» и «режиссерская» версии и т. д.

В литературе мейнстрима факт эстетического эксперимента не стоил бы и упоминания, но в фантастике это всегда некое «отклонение», знаменующее неудовлетворенность писателя своим нахождением в «фантастическом гетто». В случае же с Андреем Валентиновым, который, с одной стороны, является признанным мэтром жанра, а с другой — профессиональным историком, поднявшим уровень обсуждения историко-политических проблем настолько высоко, насколько это возможно в развлекательной литературе, потеря доверия к обычному способу письма заставляет подозревать утрату веры в ценность обсуждаемой исторической проблематики. Эта проблематика все еще составляет идейную сердцевину романа, однако почему-то этого недостаточно — и нехватку ценности содержания приходится компенсировать блеском оригинальной упаковки.

Пересадка нацизма

Парадокс заключается в том, что историческая эрудиция сама по себе не является гарантией серьезного отношения к истории как к среде существования человека, —

может быть и наоборот, эрудиция поставляет материал для игр и умозрительных комбинаций, которые так и подмывает называть «пасьянсами».

Подобные мысли вызывает, например, еще один яркий экземпляр российской альтернативно-исторической фантастики — вышедший в 2014 году роман Дмитрия Казакова «Черное знамя».

Поднятая в «Знамени» тема одно время стараниями таких радикалов, как Александр Дугин или Эдуард Лимонов, даже была остроактуальной. Дмитрий Казаков размышляет над вопросом, возможна ли фашистская альтернатива коммунизму в русской истории XX века, и могла ли в России вместо социалистической революции произойти «консервативная». Образ фашистской России Казаковым проработан настолько тщательно, насколько это возможно в фантастике, о чем косвенно свидетельствуют и помещенные в конце романа справочно-биографические материалы, а также послесловие Андрея Валентинова. Приметой же декаданса является чрезмерная формалистичность, можно сказать, симметричная структурированность задачи, решаемой Казаковым.

Автор «Черного знамени» не просто рассказывает про Россию, в которой произошёл консервативно-революционный переворот, — нет, он решил с достаточно высокой степенью точности перенести на историю России историю нацистской Германии. Соответственно, Россия проигрывает Первую мировую войну, подписывает унижительный мир — и далее проходит все эпизоды истории Германии вплоть до развязывания агрессии и начала войны против коалиции ведущих держав. Придание имеющемуся комплексу культурно-исторических материалов чуждой, но уже готовой структуры — это формальная задача, которая не связана с политическим мировоззрением, а имеет внутреннюю, игровую и комбинаторную логику. Ей и подчиняется повествование, и в итоге Дмитрию Казакову оказывается просто нечего сказать содержательного.

На первый взгляд «Черное знамя» — это политическое высказывание — ну, о чем бы? — ну, например, о том, что «тоталитаризм — это не хорошо». Именно этому, скажем, посвящено сопровождающее роман послесловие Валентинова. Но на самом деле всякая мысль на эту тему давно банальна, а суть удовольствия, которое здесь предполагается, в карнавальной игре по комбинированию исторически нагруженных знаков.

В «Знамени» несколько таких игр. Первая игра — вообразить, как бы выглядели реалии Третьего рейха, если бы их начали реализовывать на российской почве. Партия остается партией, фюрер называется вождем, вместо СС — Народная дружина, вместо гестапо — жандармы (но в черных мундирах), вместо «условных» древний арийцев — столь же условные Чингисовы монголы, вместо «Анненэрбе» — «Наследие», вместо группенфюреров — темники, вместо министерства пропаганды — министерство мировоззрения. Можно играть, ища аналогии персон гитлеровского режима: а кто у нас вместо Гитлера? А кто вместо Геббельса? А вместо Гимmlера?

Еще одна игра: расставлять в новых реалиях людей из реальной истории. Большинство персонажей романа носят фамилии исторических деятелей, причем при новом режиме карьеру — вперемежку — сделали и те, кто в нашей реальности ее делал при советском строе, и те, кто оказался в эмиграции. Роль идеологов «нацистской партии» играют эмигранты-евразийцы, СС возглавляет умерший в эмиграции Хан Хаджиев, а первым президентом «веймарской» республики в 1917 году почему-то избирают Витте, хотя в нашей реальности его и в живых не было.

И еще одна игра — идеологическая: представлять цитаты из трудов евразийцев как лозунги правящей партии.

И детективный (впрочем, не очень лихо закрученный) сюжет, и заканчивающееся самоубийством история «прозрения» главного героя оказываются лишь поводом для панорамного путешествия по карнавалу — карнавалу, где Тухачевский смеяет генерала Корнилова на посту военного министра Вечной империи.

История XX века столь ярка, она сформировала столь характерные личности, что из нее легко сделать карнавал, все начать менять местами, переодевать мундиры, использовать и приемы контраста и сходства.

Политическая актуальность создает иллюзию, что этому карнавалу свойственно нечто вроде идейности, хотя торжествует главная идея постмодернизма — все возможно, и все остается тем же.

«Черное знамя» не может дать новой оценки нацизму, поскольку нацизм, «выполненный» из новых фамилий и географических названий, передвинутый из Германии в России, остается все тем же самым, немецким по исходной версии нацизмом и все имеющиеся ему исторические оценки, которые Казаков и не пытается реформировать, остаются все теми же, давно известными и в равной степени применимыми к русскому фашизму как к немецкому нацизму. Казаков мог бы ответить на вопрос, в чем была бы специфика русского фашизма по сравнению с нацизмом, — но автор «Черного знамени», подчиняясь формальной задаче имитировать именно немецкую версию, делает в этом направлении удивительно мало.

Пасьянс — малокреативная информационная машина, он не может родить ничего нового, сверх того, что в него было вложено исходно — например, что «нацизм — это плохо».

Спасти Третий рейх

Такая же, как и в «Черном знамени», игра с историческими лицами, только уже наоборот, не русской, а немецкой — нацистской — истории, ведется в обширном, выходящем в 2013–2014 годах романе Андрея Мартыанова и Елены Хаецкой «Der Architekt». Его тема — альтернативная история Третьего рейха, в которой здоровым силам внутри нацистского режима — в том числе участникам операции «Валькирия» — уже в 1943 году удается уничтожить Гитлера и заменить нацистский режим более приличными деятелями, причем канцлером становится известный своими организационными способностями гитлеровский министр вооружений Альберт Шпеер.

Подбор исторических лиц, которые можно было бы использовать в новой версии событий, проработка их биографий, тасовка известных исторических деятелей в новых обстоятельствах — увлекательная задача, и к тексту «Der Architekt», как и к тексту «Черного знамени», прилагаются биографические справки. Однако за решением этой увлекательной задачи несколько пропадает смысл всего проекта.

Третий рейх вот уже многие годы вызывает пристальный и порою болезненный интерес. В России есть множество поклонников этого периода германской истории и есть множество тех, кто пусть без всякой любви, тем не менее активно интересуется им. Альтернативно-исторический роман, в котором Третий рейх был бы спасен, победил, эволюционировал или вступил бы в союз с СССР ради борьбы с проклятыми англосаксами (как в романе Романа Германова «Повесить Черчиля») — такой роман, конечно, отвечал бы запросу некоторой публики, может быть, бессознательному запросу. Таких романов уже написано множество, хотя талантливых вещей среди них вроде бы не было. Роман, в котором спасается не нацизм, а Германия от нацизма — причем роман, написанный в России и для русского читателя, — просто непонятно, на какой вопрос отвечает. Более того, такую задачу в воображении

решить можно предельно легко — просто не дав Гитлеру прийти к власти или свергнув его, скажем, в 1939 году.

Фактически в замысле «Der Architekt» виден конфликт между двумя ролями писателя — ролью исторического мыслителя и ролью угрожающего вкусам публики мифолога.

Только Третий рейх, его обстоятельства, реалии, символика, только его деятели, начиная с Гитлера, обеспечивают интерес к материалу и читателей, и, что особенно важно, самого писателя. Однако как исторический мыслитель Андрей Мартьянов видит бесперспективность гитлеровского режима и понимает необходимость его устранения. Авторы «Der Architekt» встали перед парадоксом — нахождение оптимального ответа убивало бы интерес к задаче. Поэтому «Der Architekt» должен был совершать нечто самопротиворечивое: преодолевать нацистский режим, но, насколько возможно, исключительно в обстановке и среди реалий нацистского режима, чтобы не уйти из сферы мифов, интересных для коллективного бессознательного. Поэтому и дата убийства Гитлера была выбрана предельно точно — 1943 год, когда обреченность рейха еще не была абсолютно явна, но когда все его потенции — в том числе курьезные и самоубийственные — проявились в максимальной степени.

Почему вообще нас должен интересовать Третий рейх? Как раз сами Мартьянов и Хаецкая в своем романе убедительно показывают, что ничего интересного с цивилизационной точки зрения, никакой новой возможности для человечества он не представлял, наоборот — он был варварским и неумелым растрачиванием индустриального и культурного потенциала Германии, созданного до нацизма. Но начать вносить в этот неудачный «исторический механизм» исправления — значит, собственно говоря, отменять именно то, почему мы Третьим рейхом интересуемся, — отменять нацизм с его мифологией, злодеяниями и авантюрами. Исторический проигрыш и способность привлекать к себе внимание у Третьего рейха неразделимы. Интерес к Третьему рейху придумал не Мартьянов, но идя навстречу общественному запросу на игры с историей Третьего рейха, авторы предприняли исследование, которое убедительно показало, что запрос был напрасным.

«Der Architekt» и «Черное знамя» служат классическими примерами ситуации, когда работа с выбранным культурным материалом приносит самодовлеющее удовольствие помимо всякой сверхзадачи — так что последняя принимается формально, а иногда и с серьезными внутренними противоречиями, что не мешает постмодернистской игре, но заставляет задуматься об общей ситуации, в которой создаются подобные тексты.

Императорский сюрреализм

Еще одна появившаяся в 2014 году разработка альтернативной истории — роман известного киносценариста Юрия Арабова «Столкновение с бабочкой». В отзывах на него часто встречается эпитет «сюрреалистический», а в издательской аннотации жанр «Бабочки» обозначен как «роман-сновидение, роман-парадокс». Эти оценки вполне обоснованны и в то же время неверны, — в намерение автора не входило создание поражающих воображение фантазмагорий ради них самих, но попытки исправления русской истории приводят именно к такому результату, так что все события «Столкновения» неправдоподобны, а все герои — карикатурны.

Особенно карикатурно изображается Ленин, при этом изображение Ленина в Женеве является — на что автор открыто намекает — пародией на аналогичную главу в «Красном колесе» Солженицына. Солженицын также изображает Ленина

недоброжелательно и сатирически, а у Арабова получается сатира на сатиру, сатира в квадрате, где Ленин жадно съедает одиннадцать пирожных с кремом, мучается животом и кричит, что его отравили.

Вообще многие эпизоды романа напоминают приписываемые Хармсу исторические анекдоты, несмотря на серьезность посылки — роман Арабова рассказывает о том, что бы было, если бы Николай II не отрекся в феврале 1917 года от престола, а остался бы при всех дальнейших перипетиях русской истории — и при Керенском, и при Ленине — как нечто вроде конституционного монарха. И были бы тогда невозможные вещи. Вот царь Николай случайно встречается с Лениным на железнодорожном полустанке. Вот летом 1917 года император приходит в Смольный и жалует Троцкому на украденные из кармана часы. Вот избежавшие расстрела в Ипатьевском доме царевны ходят на танцы в Главполипросвет, учатся танцевать фокстрот с матросами, курить и ругаться. Вот император характеризует Сталина как человека, который «мухи не обидит». Вот Ленин оправдывается перед Николаем II за расстрел в Ипатьевском доме — такая сцена могла бы произойти только на том свете, и потусторонность происходящего свидетельствует против отношения к сюжету «Столкновения» как к возможному сценарию — не фильма, но русской истории.

Император, в отличие от Ленина, изображен скорее благоговейно, но и это благоговение превращается в карикатуру. Император предстает святым простаком, «человеком дождя», своей слабостью и бездействием изменяющим ход истории. Впрочем, как и Дмитрий Казаков в «Черном знамени», Юрий Арабов ставит перед собой формальную задачу инвертирования готовой событийной структуры — он желает повторить все важнейшие события послереволюционной российской истории, но сдвинуть их характер, поскольку на них влияет присутствие не отрекшегося от престола царя. В результате штурм Зимнего был — но поскольку дворец принадлежит царю, Временного правительства в нем не было, и штурм не имел никакого значения. Учредительное собрание не разгоняют, и оно становится при большевистском Совнаркоме оппозиционным парламентом. В Доме Ипатьева расстреливают не императора, а, наоборот, Свердлова и Сталина. Гражданской войны нет. Ленин не умирает в 1924 году, а толстеет и берет взятки за концессионные соглашения. Троцкий скучает без войны и просится в Америку.

Как и авторы других вышедших одновременно с «Бабочкой» альтернативно-исторических романов, Арабов относится к истории крайне серьезно, в конце романа имеются хотя и не биографические справки, но перечень фамилий историков, на которые опирался автор, как и многие писатели, чья политическая ангажированность бьет через край чисто литературной формы, Арабов часто переходит к публицистике, в тексте романа регулярно встречаются вполне серьезные размышления не об альтернативной, а о реальной истории. Как и многие иные произведения исторической фантастики, «Столкновение с бабочкой» порождено вполне искренним и через боль выросшим осознанием недолжного в исторической реальности. Однако единственным инструментом реализации этого осознания становится абсурд, абсурд ироничный, скорее хармсовский, чем кафкианский, наслаждение парадоксом.

В отличие от других вышедших почти одновременно альтернативно-исторических романов, «Столкновение» отрицает свое содержание и свою историко-политическую интенцию не игровой формой, а внутренней иронией и сюрреалистической — если не цирковой — комичностью событий, между строк демонстрирующей невозможность самой себя. Автор фактически признается, что только в нелепом до абсурда сновидении можно изменить то, что недолжно, и тем самым отрицает собственную задачу. Развилки истории возможно не обсуждать,

а сопровождать аккомпанементом из абсурдистских анекдотов, хотя абсурд здесь и не закрывает скорбь автора — но показывает невозможность альтернативы.

Истории не существует

Именно на фоне таких фантастических романов, как «Нуар», «Черное знамя», «Столкновение с бабочкой» и «Der Architekt», то есть романов историко-политических, затрагивающих проблематику фашизма и коммунизма, следует рассматривать известный роман Марии Галиной «Автохтоны», ставший ярким литературным событием 2015 года и получивший достаточно обширную (и в основном положительную) критику. Сравнение это полезно потому, что эстетика «Автохтонов» носит ярко выраженный динамический характер, то есть невооруженным глазом видно, откуда и куда двинулся автор, роман буквально запечатлевает его в движении, в процессе эволюции художественного метода.

Исходная точка, от которой автор «Автохтонов» отталкивается, — это наша криптоисторическая фантастика, которую Галина одновременно и ложно имитирует, и разрушает, и преодолевает, не отказываясь тем не менее от некоторых реликтовых жанровых примет.

«Автохтоны» несут на себе многочисленные «родимые пятна» романа, затронутого исторической и политической проблематикой, в нем можно найти множество примет принадлежности к соответствующей литературной традиции. Однако роман расправляется с этой традицией с помощью классических методик постмодерна — с помощью иронии, с помощью отказа от концепции истины, с помощью нагромождения симуляционных культурно-исторических «материалов», которые неизменно оказываются — как и следует из духа постмодерна — лишь фальсификациями, скрывающими другие фальсификации, знаками отсылающими к знакам.

Основная мысль романа, высказанная одним из персонажей и фактически определяющая гносеологию, с позиции которой написаны «Автохтоны»: история есть то, что о ней говорят люди, а люди склонны искажать факты, фантазировать и противоречить друг другу. Типологическими персонажами «Автохтонов» являются экскурсоводы — те, что рассказывают легенды, и разобраться, что в этих легендах правда, а что выдумка, созданная в угоду туристам, совершенно невозможно. Тем не менее хотя прорваться через систему отсылающих друг к другу симулякров невозможно, но характер интереса героев, прорывающихся сквозь пелену миражей и создающих новые миражи, вполне определен: это история XX века, это сложная история Западной Украины между Польшей, СССР и Германией, это фашизм и коммунизм, это судьба художников и деятелей искусства в их взаимодействии с властями, это все та же булгаковская проблематика порожденной художником магии, которая бы ему позволила выйти из задаваемых властью пределов.

В сущности, Галину не интересует ничего, сверх того, что еще недавно вполне серьезно интересовало и публицистов, и историков, и политизированных писателей-фантастов. Правда, «Автохтоны», в отличие от «Черного знамени» или «Столкновения с бабочкой», нельзя отнести к «исторической метапрозе», поскольку Галина не упоминает в своем повествовании имена реальных исторических деятелей. Однако ценностная ориентация на историю все же остается, поэтому в «Автохтонах» создается искусная имитация исторических сведений и биографий исторических деятелей, которые затем становятся объектом постмодернистской иронии и скептицистских разоблачений. Тут возникает несколько слоев чисто литературных игр — например, все фамилии в «Автохтонах», как правило, «говорящие»

и отсылают к известным лицам — от русского философа Шпета до персонажа Кира Булычева доктора Верховцева. Этот сравнительно маловажный литературный прием позволяет еще точнее увидеть соотносимость «Автохтонов» с выходящими одновременно альтернативно-историческими романами: ведь в произведениях Марьянова, Арабова и Кузнецова герои тоже носят фамилии исторических лиц, но у них персонажи как бы соответствуют своим историческим прототипам, в то время как у Галиной герои — тоже исторические деятели, но не имеющие прототипов — носят чужие, принадлежащие другим историческим лицам фамилии. Это отношение к фамилиям таким образом и объединяет роман Галиной с традицией альтернативно-исторической фантастики и отделяет его от нее.

Конечно, в легендах, оживающих на страницах «Автохтонов», воплощается не только мнимая история, но и всякого рода фольклор, нечисть, слухи о контактах с инопланетянами и об алхимических рецептах — то есть культурным «базисом» «Автохтонов» являются городские легенды в самом широком значении, — однако у нас в России большую часть городских легенд неизменно составляют сюжеты с упоминанием власти, войны, КГБ и гестапо. Эти сюжеты Галина дезавуирует с помощью разветвленной системы игровых приемов — однако в этих приемах, как и в этих сюжетах, нет ничего нового, а новое заключается в том, почему эти сюжеты, которые уже два с половиной десятилетия «обсасываются» нашей культурой, вдруг встретились с методикой дезавуирования, тоже, казалось бы, давно вышедшей из моды.

Фазы утери серьезности

Для всего есть свои причины, для литературного постмодерна тоже находится новая работа в русской литературе — причем именно в окрестностях исторической проблематики. Отчасти это вызвано действительно «пресыщенностью» русской культуры историческими фабулами — ведь после перестройки наша культура была уже не столько литературно, сколько именно историкоцентрична, и сказать что-то принципиально новое тут становится трудно, потому и возвращение постмодернизма уже не в литературу, но именно в исторически ориентированную литературу становится приметой эпохи — иллюстрацией того могут служить романы Романа Шмаракова и Евгения Водолазкина, профессиональных гуманитариев, докторов филологических наук, использующих свою эрудицию не для реконструкции истории — кому это теперь нужно? — а для создания прихотливых, тонко стилизованных, но неизменно игровых вариаций на исторические темы.

Однако все же главной причиной для очередного извода постмодернизма является не пресыщенность, а обрыв той нити, которая соединяла интерес истории с политической повесткой дня, то есть, попросту говоря, сознание того тупика, в котором оказался любой социальный активизм, любая политическая практика и, соответственно, социальная и историческая мысль как интеллектуальная инфраструктура этих практик.

Впрочем, в литературе «тупик» — это не состояние, а процесс, сопряженный со специфическими духовными эволюциями.

Андрей Мартынов, Юрий Арабов и Дмитрий Кузнецов раскладывают пасьянсы из известных лиц немецкой и русской истории, создавая игру, которая во многом держится на воспоминаниях о времени, когда тема была актуальной. «Der Architekt» и «Черное знамя» — в значительной степени результат инерции нашего политизированного коллективного сознания, которое не может быстро отказаться от обсуждения любимых вопросов, но уже начинает понимать, что действует всего лишь

по инерции. «Столкновение с бабочкой» — скорее плод отчаяния того же коллективного сознания, понимающего, что сценарий спасения может выглядеть лишь сюрреалистически и неправдоподобно. Мария Галина подхватывает эту игру и создает пародийную имитацию политически значимых сюжетов, при этом тут же отказываясь от сочиненных историй, демонстрируя невозможность реконструкции их аутентичных версий и таким образом насмехаясь над самим интересом к истории. В финале «Автохтонов» главный герой принимает здоровое (по меркам романа) решение не пытаться разобраться, «что же там было на самом деле», и уехать из полного псевдотайн города.

Если Мартьянов, Кузнецов и Арабов создали энциклопедически проработанные альтернативы реальной политической истории, то Галина — энциклопедически проработанную гносеологию подобных альтернативных историй, демонстрируя механизм создания мифов, их разрушения и отказа от окончательных вердиктов по поводу их достоверности.

В общем и целом Мария Галина прежде всего демонстрирует следующую — после Валентинова, Мартьянова, Кузнецова — фазу прогрессирующего декаданса литературно-философской мысли, а именно новую фазу в процессе утраты серьезности по отношению к истории и политике — при сохранении реликтовой любви к ним как к формам фольклора. В романах Мартьянова и Кузнецова еще можно увидеть страстное, хотя и явно неудовлетворенное желание политического высказывания — Галина проблематизирует само это желание и иронизирует над ним.

Можно и еще сильнее уменьшить серьезность, можно и еще больше отдалиться игре в ущерб социальной ангажированности — на умозрительной линии, условно проводимой от «Черного знамени» к «Автохтонам», роль следующей точки может играть роман Сергея Носова «Фигурные скобки» — лауреат премии «Национальный бестселлер» за 2015 год. Этот роман знаменателен тем, что, не обладая никакими бросающимися в глаза признаками интереса к политической истории, тем не менее имеет множество параллелей с «Автохтонами».

Как и в «Автохтонах», в «Фигурных скобках» мы видим героя, приезжающего в другой город, и оказывающегося там в атмосфере тайн и загадок, которые он то ли пытается, то ли не пытается разгадать, и в конце концов, ничего не разгадав, он уезжает — финальный отъезд героя и в «Фигурных скобках», и в «Автохтонах» обманывает желающего ясности читателя, посылая ему абрамовское «Потому что потому».

Впрочем, если приглядеться, в романе Носова можно увидеть слабые, совсем уже остаточные следы интереса к политическому — в романе среди персонажей можно увидеть и некий аналог кандидата в президенты России целителя Грабового, обещающего воскрешать мертвых, и мага, способного совершать политические изменения в далеких странах, и — как и в «Автохтонах» — намеки на тайные общества, устраивающие сверхъестественные эксперименты над человеческой личностью. Впрочем, как и в «Автохтонах», серьезно к этому лучше не относиться — может быть, сведения об экспериментах лишь фальсифицированы, может быть, все маги лишь шарлатаны. Мария Галина в «Автохтонах» несерьезно относится к истории, но очень серьезно к задаче доказательства невозможности ее реконструировать. В «Фигурных скобках» и эта задача затрагивается лишь поверхностно, в конце концов, действие романа происходит на съезде фокусников и экстрасенсов, и слишком серьезное отношение к их трюкам — дурной тон, а навеваемый ими флер таинственности — уже даже не литературный, а сценический прием.

И «Автохтоны», и «Фигурные скобки» служат примерно одной и той же мета-идее — что при желании в мире можно увидеть много таинственного и чудесного, но при отсутствии желания невозможно доказать, что оно действительно есть —

и в этом случае чудеса оказываются развлекательным трюком. Разница между двумя романами в том, что «Фигурные скобки» не пытаются даже и имитировать серьезные историко-политические и историко-культурные нарративы, и, если не считать некоторых «реликтовых» намеков, имитируют сюжеты совсем уже «фольклорные», вроде переселения душ.

Нацизм без смысла

Удивительным образом гармонично с изданием таких романов, как «Der Architekt», «Черное знамя» и «Автохтоны», совпал выход первого сезона американского сериала «Человек в высоком замке» — тоже своеобразной «игры» на темы фашизма. Разумеется, сравнивать культурные ситуации в России и США нельзя, и тем не менее есть одно поверхностное совпадение: в США, как и в России, по инерции испытывают некоторый интерес к теме гитлеризма, в сущности, уже не имея ни актуальных причин для этого, ни новых содержательных подходов к проблеме.

Формально сериал является экранизацией романа Филиппа Дика, написанного в 1962 году, то есть в эпоху, когда осмысление феномена нацизма казалось куда более злободневным — ведь еще в 1973 году Фромм создает знаменитый трактат о психологии Гитлера. Сам Филипп Дик, немец по национальности, питал, как и многие тогда, неподдельный интерес к теме и в одном своем романе говорил, что важнейшим достижением мировой культуры является советский танк Т-34, поскольку он спас мир от нацизма, а в другом романе позволял в мире будущего немцам занять господствующие позиции в ООН, то есть все-таки как бы давал Германии править миром. Кроме того, Филипп Дик писал свой роман в обстановке 60-х годов, когда зарождался интерес к мистическому опыту, наркотикам, буддизму, измененным состояниям сознания, — и потому идея, что истинная реальность проигрывает нацистам прикрыта иллюзорной реальностью их победы, тоже была и модной, и в некотором — не политическом, но культурологическом смысле — актуальной.

Сейчас обе эти темы — и нацизма как политической опасности, и иллюзорности бытия — потеряли свою актуальность, к осмыслявшим их концепциям уже нечего добавить — по крайней мере, сценаристам сериалов. Авторы экранизации встали перед задачей влить новое вино в старые мехи, поэтому они далеко ушли от сюжета романа, тем более что сама исходная сюжетная посылка — поверженная Америка под властью Германии и Японии — после всех прошедших со времен выхода романа десятилетий, после многочисленных антиутопий, после того, как Америка в кино отдавалась под власть то диктаторам, то СССР, то инопланетянам, после победы нацизма в романе Роберта Харриса «Фатерланд» и снятом по его мотивам фильме — уже чем-то новым не является. В итоге авторы фильма вовлекают зрителя в длинную череду детективно-шпионских интриг с неясной конечной целью, и остается впечатление, что сценаристы сами не знают — по крайней мере, пока еще не решили, — куда же, к какой сюжетной сверхзадаче им двигать действие сериала. Любопытно совпадение одного сюжетного хода в «Der Architekt» и «Человеке в высоком замке» — в обоих произведениях важнейшим действующим лицом становится Гейдрих, в исторической реальности погибший в 1941 году, а в романе и в сериале выживший и плетущий заговоры против Гитлера.

Нацизм всегда был богатейшим — может быть, даже самым богатым из всех возможных — источником образов и сюжетов для кинематографа, и теперь — в случае с «Человеком в высоком замке» — сценаристы просто не знают, что еще нового можно из него выжать. Ну и конечно, наличие двух параллельных

реальностей — нашей исторической реальности, в которой нацизм проиграл, и альтернативной реальности, в которой живут герои сериала и где нацизм выиграл — ни в коем случае не является политическим или социально-философским высказыванием. О появляющихся в сериале киноплёнках, на которых запечатлена кинохроника из «нашей» реальности, где нацизм проиграл, можно сказать что угодно: что они носят метафизический или мистический характер, что они воплощают саму идею фантастики как строительства альтернативных миров, что они символизируют наличие в истории свободы и развилки, что они являются необъяснимой сверхценностью или просто поводом для движения сюжета — но безусловно то, что эти киноплёнки, как и разворачивающееся вокруг них детективное действо, не связаны с осмыслением той политической и исторической альтернативы, о которой они вроде бы повествуют. Вообще, в первом сезоне «Человека» смысл этих плёнок и причина их ценности так и не объясняются — и эта необъясненность представляется не случайной: за ней стоят нежелание и невозможность сказать что-то новое о самом нацизме.

В политической истории России 2011–2012 годы запомнились массовыми протестами. После их бесплодного завершения происходящее во внутренней политике страны многие стали характеризовать как «застой» и «реакцию», а затем Россия вступила в эпоху внешнеполитических конфликтов. На этом фоне ряд известных и талантливых писателей-фантастов — а также один не замеченный ранее своим интересом к жанру киносценарист — опять обратились к истории, стали искать в ней развилки, но при этом явно осознавали, что сам по себе интерес к истории не может быть оправданием творчества, его надо подкрепить решением чисто эстетических задач — и тем самым отчасти ослабить.

Простота письма в художественной литературе сама по себе еще не достоинство.

То же самое можно сказать и об интересе к истории: писатель не обязан заниматься ей всерьез, к тому же, имея в виду политическую актуальность, история может быть лишь материалом, поводом, как говорил Александр Дюма — вешалкой.

И все же искренний интерес к социальной, политической, исторической проблематике, скорее всего, удовлетворится простыми стилистическими решениями — просто чтобы не затемнять мысль.

Но в обстановке декаданса и простота метода, и целеустремленность мысли не являются важными ценностями.

К 125-летию со дня рождения

М. А. Булгакова

ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВОЛК

15 мая 2016 года исполняется 125 лет со дня рождения М. А. Булгакова. В этом году можно отметить и полвека со времени публикации романа «Мастер и Маргарита» (журнал «Москва», 1966, № 1; 1967, № 1).

Редакция журнала «Нева» предложила участникам виртуального круглого стола ответить на несколько вопросов.

1. Интересен ли Вам, важен ли для Вас писатель Михаил Булгаков? Есть ли произведения, которые Вы можете поставить на личную золотую полку?

2. Булгаков пережил сложную историю отношений с властью (в том числе высшей), цензурой, собратьями-писателями, театром. Можно ли увидеть в этих сюжетах уроки для современных авторов, или они — лишь факты нашей культурной истории?

3. Многие произведения Булгакова были опубликованы через десятилетия после их создания. Как сказался этот факт на восприятии его творчества и на истории русской литературы?

4. В рейтингах книгопродаж и в социологических опросах роман «Мастер и Маргарита» с большим отрывом опережает другие романы, написанные на русском языке в XX веке. В то же время его называют и самым переоцененным произведением русской литературы прошлого века. Какая позиция Вам ближе?

5. Какую роль сыграл «роман Мастера-евангелиста» в нашей культуре? «„Мастер и Маргарита“: за Христа или против?» (так называлась полемическая брошюра дьякона А. Кураева).

6. Как Вы оцениваете отечественные экранизации произведений М. А. Булгакова?

7. Есть ли/была ли булгаковская традиция в нашей литературе? Хотя бы в форме «Булгакова для бедных»?

Сергей Арно, писатель (Санкт-Петербург)

1. Мне Булгаков интересен и сейчас, роман «Мастер и Маргарита» стоит на моей книжной полке на видном месте.

2. Не думаю, что конфликт Булгакова с властью и коллегами может научить чему-то современных авторов. Современные отношения стали иными.

3. На истории русской литературы бесспорно — положительно. Издание романа после смерти автора сослужило хорошую службу роману и его дальнейшему продвижению. Но плохую для самих писателей как подтверждение рожденной в КГБ идеи о том, что их произведения обязательно найдут своих читателей после их смерти, а не при жизни.

4. Трудно спорить с тем, что он заслуженно самый продаваемый роман. Только к нему я бы прибавил еще два десятка незаслуженно плохо продаваемых романов, в том числе современных писателей.

5. В отличие от самого автора, роману во всем сопутствовала удача. Он появился во время запрета на религию. Тогда достать Библию было делом чрезвычайно непростым. Это был запретный плод, который привлекал многих. На какое-то время книга «Мастер и Маргарита» становится подменой Библии. Я собственными ушами слышал, как какой-то священник с экрана телевизора рекомендовал читать «Мастера и Маргариту», чтобы приобщиться к христианским ценностям. Хотя в любом учебнике инквизиции, например «Молоте ведьм», ясно говорится о неприемлемости многих деталей в романе, таких, как мазь, которой пользовалась Маргарита для полетов, производимой из тел некрещеных младенцев, и многого другого.

6. «Собачье сердце» и «Бег», по-моему, получились. Все остальные экранизации можно отнести к неудачам, как к большим, так и маленьким.

7. Мне не встречалось откровенного подражательства, хотя многие из фантастов обращаются к булгаковским мотивам.

Ирина Белобровцева, доктор филологических наук (Таллин)

1. Я бы поставила на такую полку многое написанное Михаилом Булгаковым: рассказы «Псалом» и «Красная корона», цикл рассказов «Записки юного врача» (не обязательно целиком) и примкнувший к ним «Морфий». Там стояли бы повесть «Собачье сердце», и «Записки на манжетах», и все романы («Белая гвардия», «Жизнь господина де Мольера», «Записки покойника» и «Мастер и Маргарита»), и пьесы: «Зойкина квартира», «Бег», «Адам и Ева», «Блаженство», «Иван Васильевич» (в панда), «Мольер», «Александр Пушкин».

2. Этот вопрос касается уже не творчества, а личности Михаила Булгакова. Несмотря на ясное профессиональное понимание того, что не стоит напрямую соотносить творчество и личность и делать глубокомысленные выводы, я отважусь сказать, что вопрос «делать жизнь с кого» в применении к Булгакову и «современным авторам» не стоит. Не хочу никого обижать, но Булгаков был уникален в своем творческом поведении, в своем литературном (и театральном) быту, даже в выборе друзей — в основном не среди литераторов, а из числа художников, актеров, композиторов и т. д. Многие современные писатели в сравнении с ним заслуживают известной характеристики из Книги пророка Даниила: «ты взвешен на весах и найден очень легким».

3. Судя по цитируемости (зачастую и неточному) «Мастера и Маргариты» (первая, изобиловавшая купюрами публикация состоялась через 26 лет после смерти автора) и «Собачьего сердца» (первая публикация на родине автора — через 47 лет), творчество Булгакова оказалось востребованным (добавим сюда инсценировки его прозы, постановки пьес, фильмы, снятые на основе его произведений). Как это сказалось на истории русской литературы? А как это должно было сказаться? Прискорбно, что вся его проза после 1927 года лежала втуне до 1962 года, когда усилиями Вениамина Каверина была издана биография Мольера. Сегодня русскую литературу без Булгакова не представить.

4. Было бы странно, если бы я, один из двух авторов (вместе с С. К. Кульяс) почти 500-страничного «Комментария к роману „Мастер и Маргарита“», сочла бы его переоцененным произведением. Написанное сегодня об этом романе, пожалуй, в тысячи раз превышает его объем. Как только его не называли, начиная от самого Булгакова, который не однажды определял его как фантастический роман. Мениппея, роман-притча, роман-парабола, роман-пассион, роман-миф, философский роман... Всего и не перечислишь. Но «Мастер и Маргарита» существует поверх любых определений. Я бы назвала его роман-свиток. Есть такие произведения,

которые рассчитаны «на предъявителя» (определение Т. В. Цивьян): то есть с чем бóльшим потенциалом ты к нему придешь (с какой мерой образованности, эмоциональности, готовности к восприятию, заинтересованности, когнитивных способностей и т. д. и т. п.), тем больше ты от романа и получишь. Поэтому есть, конечно, те, кто и в 40 лет на вопрос о любимом персонаже (тоже тот еще вопросик!) продолжают отвечать: «Кот Бегемот», а есть и вполне серьезные исследователи, которые отдают дань оригинальной картине мира, двойственной природе любого элемента текста, богатству и сложному переплетению использованных писателем культурно-исторических кодов. И тогда к чему снобизм: вот, смотрите, камлания на Патриарших... Ну, правильно: кому — роман, кому камлания.

5. Говорящие и пишущие о романе как «Евангелии от Дьявола», а потому не принимающие его вообще, не редкость. Им хочется видеть мир двухцветным, черно-белым. Наверное, поэтому они не заметили такой «частности», как подлинный конец романа, написанного мастером. Хочу напомнить, что роман мастера не заканчивается ни встречей Понтия Пилата с Левием Матвеем, ни сном прокуратора. Его подлинный конец отнесен Булгаковым в 32-ю (последнюю) главу «Мастера и Маргариты», где выясняется, что роман не завершен и мастеру предлагается окончить его одним словом, отпустить Пилата к тому, кого он так жаждет видеть, к Иешуа. «Свободен!» — кричит мастер. Перед нами формула христианского прощения, без которого роману мастера не быть, — нужно ли еще дольше рассуждать об этом?

6. По-моему, отношение Булгакова к театру, его «театральный роман», длившийся последние 15 лет его жизни, его «театральная кровь» сыграли свою роль: кинорежиссеры подбирали в свои фильмы блистательные актерские ансамбли. Я имею в виду «Бег», «Собачье сердце», «Иван Васильевич меняет профессию» — наверное, это и есть три фильма, собравшие, как представляется, самую большую аудиторию. Особняком стоит прекрасный телеспектакль Анатолия Эфроса «Всего несколько слов в защиту господина де Мольера», успех которого также зиждился на прекрасных актерах. Меня оставили равнодушной оба сериала по роману «Мастер и Маргарита», наверное, потому, что брать и просто переносить текст романа на экран — еще не значит сделать фильм. Да и текст не всегда присутствует в этих фильмах без ущерба для оригинала (вспомнить хотя бы подаренный Пилатом перстень, который выбрасывает/как бы случайно роняет на ступеньки лестницы Афраний, — деталь, заимствованная из телефильма Анджея Вайды «Пилат и другие», а Вайдой привлеченная, скорее всего, на основе нескольких литературоведческих статей, почему-то объявляющих Афрания тайным учеником Иешуа). Я думаю, что и сам Булгаков был бы против такого прямого, пресного переноса на экран своих текстов, ему чего-то да не хватало бы в таких фильмах. Возможно, воздуха? кинематографического пространства? воссоздания звуков времени? Если говорить об этом, то для меня наиболее интересной среди российских экранизаций произведений Михаила Булгакова стал фильм «Морфий» Алексея Балабанова.

7. О да, «для бедных» — сколько угодно, начиная от странных «продолжений», например, сразу двух, изданных в Твери, астрального романа, романа-комикса и даже якобы документальных записок НКВД СССР и ЦК ВКП(б) о ходе следствия по делу иностранных гипнотизеров, увидевших свет аж в 2012 году. Многие, очевидно, помнят и «Плаху» Чингиза Айтматова, вполне подходящую под эту же категорию, и зачем-то решивших попробовать себя в изображении Булгакова А. и Б. Стругацких с их романом «Хромая судьба». Влияние Булгакова ощутимо в «Затоваренной бочкотаре» Василия Аксенова, написанной вскоре после первой публикации «Мастера и Маргариты». Немало критиков связывали с этой традицией и «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса, роман, изданный в июне 1967 года.

**Надежда Дождикова,
кандидат филологических наук (Санкт-Петербург)**

1. Интересен не только тем, что в его творчестве о «вечном», но и тем, что о «временном». Его произведения заставляют разбираться в некоторых проблемах времени своего создания, проблемах, которые сейчас забыты или не кажутся важными. Это о «Мастере и Маргарите». Впрочем, иногда они вновь приобретают гжучую актуальность. Это о «Белой гвардии».

2. Факты нашей культурной истории свидетельствуют скорее о том, что чужие примеры ничему не учат. Отношения же современных авторов с высшей властью, как представляется, стали еще запутаннее.

3. Так получилось, что некоторые произведения Булгакова были впервые опубликованы в эпохи разрывов с прошлым, более или менее жесткой его переоценки. Это во многом определило их восприятие. Так, например, «Мастер и Маргарита», появившись в печати в годы десталинизации, был прочитан главным образом в предложенном времени ключе — как роман о трагической судьбе художника в тоталитарном государстве. Конечно, это одна из важных тем романа, органично связанная с русской литературной традицией. Но «Мастер и Маргарита» — не только роман о судьбе мастера (и Маргариты), это и роман о романе мастера. Представляется, что эта тема не менее важна, чем тема отношений художника и власти, тем более что роман мастера определил не только земную судьбу своего автора, но и его посмертную участь (покой, но не свет). Эта тема романа как-то отодвинута на задний план в современном восприятии.

4. Когда-то роману не повезло с тем, что он не был вовремя опубликован. В наше время ему не повезло с его чрезмерной популярностью. Так получилось, что именно «Мастер и Маргарита» откликнулся на ту неистребимую потребность в мистическом, которая существует у читателей даже в эпохи торжества научного материализма (может быть, особенно в такие эпохи). Роман довольно рано стал объектом мистико-конспирологических интерпретаций, вычитывания из него — или вчитывания — различных эзотерических смыслов. Мне кажется, что именно это породило те чувства усталости, раздражения и некоторого разочарования, которые сегодня у многих вызывает этот роман. В конце концов, часто так называемые «культовые» тексты вызывают со временем ощущение их переоцененности. Мне кажется, что роман все еще недочитан и в этой связи недооценен.

5. Вряд ли здесь можно ответить однозначно. С богословской точки зрения он не выдерживает критики, да и просто у практикующих христиан вызывает смущение или недоумение. Но ведь есть и те, кого «роман мастера» побудил заглянуть в Евангелие, заинтересоваться христианством и в конце концов прийти ко Христу. Или те, кто писал на стене московского музея Булгакова: «Иешуа, прости нас». Может быть, не стоит оценивать «роман мастера» с позиции «за или против Христа» (такая жесткость понятна в полемической работе), а попытаться увидеть его под углом зрения «проблемы Христа» (термин либерального богословия начала XX века), попыткой решения которой и был в свое время сам роман «Мастер и Маргарита».

6. Думаю, что самой удачной была экранизация «Собачьего сердца» режиссером В. Бортко. И, может быть, те эпизоды из его же сериала «Мастер и Маргарита», которые воссоздают быт и атмосферу эпохи.

7. К сожалению (или нет?), сам Булгаков, особенно его последний роман, став феноменом массовой литературы, становится «Булгаковым для бедных».

Владимир Елистратов, доктор культурологии (Москва)

1. Для меня Булгаков чрезвычайно важен и дорог. Но далеко не весь. Я готов до бесконечности перечитывать «Собачье сердце», «Театральный роман», некоторые (но не все) главы из «Мастера и Маргариты», «Роковые яйца», «Дни Турбиных» (но не «Белую гвардию»). Для меня Булгаков — это прежде всего язык, стиль. Ранний Булгаков — это во многом дань так называемой метельной прозе, эксперименту (ср.: Пильняк, Вс. Иванов и т. д.). А Булгаков зрелый — это феноменальная изысканность, выверенность, мера, «золотое сечение». Это как бы синтез Гоголя и Пушкина. Юмор, ирония у него архиаристократичны. Причем это не уайльдовское эстетство и не зошенковское псевдопросторечие. Это чистая органика. Аналогов нет. Разве что столь любимый им Мольер.

2. Булгаков был убежденный монархист. Не столько в политическом смысле, сколько в онтологическом. И монотеистом — в том же смысле. В принципе монотеизм и монархизм — это одно и то же. Мир держится на Личности. Мне кажется, что он ощущал и Бога, и царя (= генсека) Личностью. Миром правит Личность — в виде вождя ли, дьявола ли, ученого ли, делающего операцию на гипофизе, Мастера ли... Булгаков хотел порядка, то есть Космоса, а не Хаоса. А Космос личностен. Поэтому Мышлаевский перейдет на сторону красных, которые способны навести порядок. Поэтому именно Дьявол восстанавливает справедливость, а не Левий Матвей. Поэтому получается такой вот «роман» Булгакова со Сталиным. Отсюда же все его конфликты. И не стоит, кстати, столь уж драматизировать его жизнь. Он был достаточно успешен, перемененно, но успешен. Ходил же Сталин на «Дни Турбиных» много раз. Конечно, писателя надломила история с «Батумом». А если бы «Батум» был поставлен?.. Современные же авторы (не все, конечно) «заигрывают» с деньгами, а не с генсеками. Опять же — онтологически это схоже. Тогда было: как бы получить Сталинскую премию? Сейчас: как бы грамотно вписаться в «премиальные поля»? Тогда было страшно (как говорится, «сердце поет — очко играет»), сейчас — скучно. Но извлечь урок из жизни такой Личности, как Булгаков, всегда можно и нужно.

3. То, что многие его произведения были опубликованы после смерти — это было мучительно для Булгакова, но, думаю, полезно для литературы. Булгаков стал «бомбой замедленного действия». Или так: он стал выдержанным дорогим вином. Он буквально оглушил многих. Здесь была и обратная сторона медали: он «убил» многих начинающих писателей, примерно как Бродский или Хемингуэй. Сколько людей стали писать «под Булгакова» и этим убили свою индивидуальность? Я помню, как на филфаке даже уже в 80-е все писали прозу или «под старика Хэма», или под «в белом плаще с кровавым подбоем...».

4. Думаю, обе позиции верны. С моей точки зрения, ну, скажем, 30–40 % текста романа — это бесспорная вершина литературы XX века. Например, первая глава. Вся — от первой до последней буквы. Это завораживающий, магический текст. Меньше всего я бы отнес к такой же вершине очень многие «ершалаимские главы», многие главы, посвященные отношениям Мастера и Маргариты. Да, девицы млеют. Но они много от чего млеют. Кроме того: много ли было написано столь «провокативных» евангельских апокрифов в XX веке, да еще на таком высочайшем уровне? Андреевский «Иуда Искариот» явно не тянет. «Мастер...» не то что бы переоценен. Просто он стал «слишком культовым». Извините за вольное сравнение: это примерно как «Битлз». Очень хорошая группа (не хуже «Песняров»...), но «зачем же стулья ломать?..» Булгаков — литбренд. А бренд — это всегда «переоценка».

5. «За Христа или против» — это вопрос для ток-шоу. Или для ЕГЭ. Чисто тестовое мышление: найдите правильный ответ. А. Кураев на то и дьякон, чтобы писать такую брошюру. Он ставит диагноз тексту с точки зрения клерикальной. А Булгаков — не дьякон. Он светский писатель и дает свое понимание канонического текста. Я всегда думал, что булгаковская история Иешуа, в общем-то, не о реальном Иисусе. Булгаков не говорит: вот как это было на самом деле. Он берет евангельский сюжет (а почему нельзя его брать?!) и пишет о добре и зле, о фанатизме и истинной вере, о смелости и о трусости и т. д. и т. п. А то его можно принять за какого-то «Шарли Эбдо», который намеренно «оскорбляет чувства верующих». Бог един, но у каждого он свой, глубоко интимный, личностный. И у Булгакова своя вера. Он не «против Христа», он за своего «интимного» Христа.

6. Я смотрел только экранизацию Бортко. Что-то очень хорошо, что-то похуже. Но многие актеры — прекрасны, и в целом — фильм очень хороший, на мой взгляд. Хотя к экранизациям я отношусь сложно. Они убивают фантазию. Теперь у всех Воланд носит фамилию Басилашвили. Обидно. (Хотя Басилашвили в роли Воланда замечателен.) Но ничего уже не поделаешь. Кстати, в театре мне «Мастер...» категорически не нравится, ни на Таганке, ни в Ленкоме... Не говорю: плохо. Говорю: не нравится, не мое.

7. А можно продолжать «традиции Платонова»? Или Зощенко? Или того же Бродского? Я знаю одну тетю, которая сейчас увлеченно пишет роман о том, как дьявол прилетел в Париж. Это «продолжать традиции»? Можно мастерски подражать Булгакову стилистически. Это — «продолжение»? Есть, скажем, «Альтист Данилов». Так сказать, «фантастический реализм». Это, говорят, «продолжение». Не знаю. «Традиция» — сложная, многомерная субстанция. По-хорошему: продолжать традиции — это просто очень-очень стараться очень-очень хорошо писать. А уж потом критики и литературоведы (к твоему глубокому удивлению) авторитетно укажут, чью традицию ты, оказывается, «продолжал».

**Владимир Звизняцкий,
доктор филологических наук (Киев)**

1. Первый и последний романы Михаила Булгакова прочно установлены на моей «личной золотой полке», они не сдвигаемы и не убираемы. А все потому, что в моей ранней юности эти романы (ну еще и пьеса-спутник «Дни Турбиных») помогли мне ответить на единственный жизненно важный (для меня, по крайней мере) вопрос: как можно (и можно ли) остаться честным частным человеком?

2. Чем более авторитарные режимы будут устанавливаться в тех или иных странах мира, тем больше уроков и для современных, и для будущих свободных художников (а я верю, что такие и есть, и будут на всех континентах и при любых режимах) сможет предложить Булгаков. Например, уроков-книг: о том, как, в видении художника, складывались отношения с разными «королями-солнцами» именно у тех людей, которые «солнцем святым» называли нечто принципиально иное, а то и вовсе могли бы преспокойно обойтись светом керосиновой лампы, да еще и прикрытой зеленым абажуром, — а вот поди ж ты... С уроками, взятыми «прямо» из биографии, все не так однозначно (хотя бы потому, что «факты» мы видим сквозь двойное мутное стекло истории и историографии). Но даже в этом очевидны и достижения, и ошибки во взаимоотношениях художника с властью — а и те и другие поучительны.

3. Как известно, история русской литературы после 1917 года растеклась на два рукава, и если в 20-е годы публикуемое в эмиграции еще могло оказывать влияние на творимое в СССР и обратно, то дальше, вплоть до начала периода посмертной

публикации булгаковских текстов, такого влияния ни в ту, ни в другую сторону практически быть не могло. Если допустить на минуту, что «Мастер и Маргарита» был бы в 30-е годы напечатан в эмиграции, то влияния на здешнюю, советскую литературу он оказал бы не более «Дара» или «Истребления тиранов», то есть никакого. Прекрасен, но, к сожалению, далек от реализма образ «поэта из народа» Ивана Бездомного, которого истинный мастер литературы учит не писать (как задумывали создатели единственного в мире Литинститута), а наоборот — больше никогда в жизни **не** писать:

- Не пишите больше! — попросил пришедший умоляюще.
- Обещаю и клянусь! — торжественно произнес Иван.

И ему безусловно верит не только его учитель, но и читатель — даже хорошо знакомый с историей советской литературы. Такова уж сила булгаковского **нереализма**.

В общем же и целом «потеря» Булгакова для истории русской литературы облегчается тем, что он по самой своей природе — не зачинатель, а завершитель традиции. Где, например, у Булгакова «народ»? А это почти (!) бессмертный чеховский Фирс: Иона в «Ханском огне», Максим в «Днях Турбиных». «Народ» — он сторож, охранитель: чуждый высокой культуры (если культуру рассматривать как рабочую систему ценностей), он ее хранит как привычную, от мифического Золотого века завещанную и «непостижную уму» святыню, в чем бы она ни выражалась: в великолепном княжеском дворце или в мертвых останках лучшей, элитной городской гимназии. И это не о красных и не о петлюровцах, а о белых и пушистых юнкерах сторож Максим говорит: «Татары, прямо татары...» — и затем, по ремарке, «исчезает», на сей раз уже навсегда.

«Белая гвардия» от заголовка до последней точки свидетельствует о том, кто для Булгакова «свои». Но эти «свои» на собственном тяжелом опыте приходят не более и не менее чем к известному афоризму, произнесенному Сэмюэлем Джонсоном в лондонском Литературном клубе 7 апреля 1775 года: «Патриотизм есть последнее прибежище негодяев». А у честного частного человека с негодьями, у которых не сложилась своя частная жизнь, что может быть общего? «И вот я, кадровый офицер Алексей Турбин, вынесший войну с германцами, чему свидетелями капитаны Студзинский и Мышлаевский, я на свою совесть и ответственность принимаю все, все принимаю, предупреждаю и, любя вас, посылаю домой».

И уже неважно — ни для восприятия Булгакова, ни для нашего самоощущения в контексте как всемирной истории, так и истории мировой литературы — кому именно белые в конце концов проиграли. Вот век прошел, бронзовый красный командир Щорс на бульваре Шевченко в Киеве, привстав на стременах боевого коня, неумоимо машет в воздухе правой рукой невидимому войску: «Айда все на улицу Петлюры!» (она прямо от подножия Щорса начинается) — и почти (!) никого это не смущает. История сослагательного наклонения не знает, но и запретительных знаков не расставляет, так что никто не мешает нам представить чуть большую (хоть такую, как теперь) заинтересованность стран Антанты в Украинской Народной Республике («петлюровцах»), за которой в таком случае легко осталось бы последнее слово на Украине. И доктор Булгаков, никуда не уезжая из своего любимого Киева, сохранил бы не только обширную практику венеролога, но и возможность стать русскоязычным литератором в «мелкобуржуазной», «националистической» и, конечно, демократической Украине. Он, несомненно, и как писатель пользовался бы успехом у киевлян и жителей других городов — ну а в качестве «отрицательных примеров» Гражданской войны изображал бы не петлюровцев (сволочь

Лещенко в рассказе «Я убил»), а большевиков, равно ему чуждых и противных (Швондер и проч.).

Но если «равно» — зачем тогда вообще об этом писать? На это отвечу так: не всем нереалистам дана счастливая способность фантазировать жизнеподобные события в абстрактном порту Зурбаган. Не будучи Александром Грином, Михаил Булгаков не был, однако, и политическим писателем, как не был политическим писателем в его время, например, Лион Фейхтвангер. Однако прирожденный либерализм — в самом широком смысле этого слова — и Булгакова, подобно Фейхтвангеру (например, в «Успехе» — еще одной книге с моей «золотой полки»), заставляет упрямо искать тех, кто вопреки безумному давлению коллективизма сохраняет способность иметь и развивать собственные ценности.

3. А вот то, что ныне в рейтингах книгопродаж и в социологических опросах «Мастер и Маргарита» с большим отрывом опережает другие романы, написанные на русском языке в XX веке, — так в этом школьная программа виновата! У нас на Украине точно опережает, так как входит в обязательную программу и школ с русским, и школ с украинским языком обучения. Переоцениваем или же, наоборот, недооцениваем мы Булгакова, включая его в школьную программу, — покажет время.

4. Каюсь, не читал полемическую брошюру дьякона А. Кураева «„Мастер и Маргарита“: за Христа или против?» (хоть в скобках скажу, что недавно с удовольствием прочел другую работу этого автора о литературе: «„Гарри Поттер“ в церкви: между анафемой и улыбкой»). А нет у меня потребности читать на эту тему по той простой причине, что я ни за что не стану всерьез рассматривать Булгакова как даже возможного оппонента или же апологета Иисуса Христа. Писатель волен избрать себе любой предмет («Таков поэт: как Аквилон, что хочет, то и носит он...» и т. д.), а читатель — не читать или бросить читать, если не нравится. Между прочим, именно так и поступает большинство школьников, коим вменяется в обязанность этот роман читать. Забавно, что «христианская» общественность, поднявшая бучу по поводу популярности в детском и подростковом чтении «Гарри Поттера» (так что даже вышеупомянутый дьякон вынужден был вступить за нашу современницу Дж.-К. Роулинг), никогда всерьез не оспаривала правомерности включения в школьные программы, в качестве классики, «Мастера и Маргариты». Или мудрая общественность помнит старый советский принцип: «Хочешь убить книгу — включи ее в школьную программу?»

5. Моя любимая экранизация — «Дни Турбиных» В. Басова. Интеллигентность и, как ни странно, аполитичность этого советского телефильма (хоть если вдуматься — то и ничего странного...) выгодно отличает его от недавней чудовищной попытки поставить «Белую гвардию». Вот вроде бы и в Киеве люди снимали, а ничего о нас, киевлянах, не поняли. Ни доктора Турбина не поняли, ни доктора Яшвина (рассказ «Я убил»), которому после семи лет в Москве «мучительно» хочется «опять увидеть обрывы, занесенные снегом, Днепр... Нет красивее города на свете, чем Киев... Грозный город, грозные времена... и видал я страшные вещи, которых вы, москвичи, не видали». И вот приехали москвичи кино снимать — и так и не увидели ни красивого, ни страшного. В лучшем случае перепутали страшное с красивым, в худшем — не уразумели даже, о чем идет речь.

6. Булгаковская традиция — это киевская традиция, это Виктор Платонович Некрасов, который помог нам увидеть Дом Турбиных: как материальный (первым показал и доказал, какой именно из домов на Андреевском спуске — тот самый), так и душевный (место помог в наших душах расчистить для этого Дома). Дело же не в «тематике и проблематике», не в «мистике и фантастике» (хотя не подумайте ли в этой связи о киевлянах Марине и Сергее Дяченко?). Ну, можно ли представить,

например, «современного Бабея» (хоть «для бедных», хоть «для богатых») не одеситом? Кто может претендовать на роль «современного Бабея», кроме Михаила Михайловича Жванецкого? Так что и претендента на роль «современного Булгакова» следует ожидать из Киева. Ждем-с.

Елена Крюкова, писатель (Нижний Новгород)

1. Я прочитала, пожалуй, всего опубликованного у нас в России Булгакова. Как любой крупный, неординарный художник, он важен для меня. Даже если я в чем-то с ним спорю, не соглашаюсь. Во времена нашего детства-юности «Мастер и Маргарита», напечатанный в журнале «Москва», явился открытыми воротами туда, куда не только ходить — заглядывать было запрещено; поэтому это пространство манило, тянуло как магнитом, оно пришло как потрясение — и наших школьных красноречивых основ, и мира собственной души, в которой, оказывается, уживались (а подчас и яростно боролись) Бог и дьявол.

Скажут: но у Федора Достоевского эта борьба куда более явна! и трагична! и высоко, непревзойденно написана! Однако иные времена — иные стилистические нравы. Я представляю — теперь уже представляю, когда опубликованы не только черновики и варианты романа, но и рассказы обо всех перипетиях его замысла, создания и многократной переделки, — чего стоило Михаилу Афанасьевичу не просто написать — отстоять эту вещь: просто даже в борьбе с собственной душой. Сакраментальная фраза *«рукописи не горят»* — не просто красиво изобретенная формула. Вспомним, сколько раз Булгаков сжигал черновики романа.

Разве за это одно, за все эти борения и одоления, за тему общения человека, Бога и сатаны, на которую автор замахнулся, нельзя его уважать? Я понимаю важность этого поступка художника. Но я понимаю и меру ответственности и опасности — нравственной, философской, исторической, — по краю которой Булгаков ходил все годы своей жизни, когда писал роман, и ходит и сейчас — в мире ином, — наблюдая, как люди русской культуры на фоне этого текста скрещивают бесконечные копыта.

Вспоминаю, как мой дед, литературовед и пушкинист Михаил Павлович Еремин, вертя в руках журнал «Москва» с булгаковским «Мастером...», тяжело вздыхал и тяжело, медленно говорил: «Милашечка, ты понимаешь... все равно он — легковесен. А вот Лев Толстой — тяжел. Толстой — тяжело, много весит. Слово — много весит. А тут... ну порхает, все порхает, как мотылек...»

Сейчас думаю: у каждого автора — свой воздух, свое дыхание и свой вес слова. Кредо, душа, лейтмотив Булгакова — полет. Помните финальный полет Мастера, Маргариты, Воланда и свиты на стремительных потусторонних конях? Речь Булгакова льется, течет, но чаще всего — летит. Ее стихия — воздух. Потому и впечатление птичьей, крылатой «легкости». Хотя чтение, например, «Белой гвардии» — это ворочанье таких трагических гирь времени, бинтование его ран. Какая уж тут легкость.

А крылья ему ведь обрезали все время. А он был на виду. Птица крупная, сильная, орел с подрезанными крыльями. Хотел лететь! И «Мастера...» задумал, чтобы своим личным полетом — все обнять, охватить: историю и веру, религию и безверие, людские пороки и людскую высоту, свое время и вечность, Божью милость — и хитромудрость сатаны, что прячется за показным его, роскошным благородством.

На моей золотой полке давно стоят «Белая гвардия» и «Собачье сердце», «Записки юного врача» и, понятно, «Мастер...». В юности прочитала «Жизнь господина де Мольера». Это была одна из книг, что захлестнула меня не хуже волны. А «Белая гвардия» — в какой-то степени — я только о своем восприятии говорю — недостижимый шедевр. Может, лучшая булгаковская вещь.

2. Все и всегда есть урок для всех и всегда. Однако понять и усвоить исторический урок — не значит спастись от собственных ошибок и соблазнов и от карающего меча (точнее, топора) своего времени. Всякое время готовит для своих жителей свои плахи.

Видимо, Михаил Афанасьевич должен был сказать спасибо Сталину за то, что Сталин не отправил его в Чердынь, как Мандельштама, не расстрелял, как Николая Гумилева, не всунул ему голову в петлю, как Есенину, и не вложил в ладонь револьвер, как Маяковскому. Низко поклониться и сказать: спасибо, Иосиф Виссарионович, вы только запретили мне печататься и ставить мои пьесы, а потом все-таки хоть пьесы разрешили, правда, с разгромными рецензиями на премьеры и постановки, и на том спасибо. Вы оставили мне жизнь.

...Сталин оставил Булгакову жизнь, чтобы он мог написать «Мастера...» — книгу, которую сам мастер считал своим реквиемом и лебединой песней. Он это хорошо понимал, поэтому стремился сделать ее не мозаично-пестрой, а цельной, на одном дыхании, на одной важной музыке. Что для человека может быть важнее Бога? Свободы? Любви?

Сатана у Булгакова вроде бы всемогущ. Это послужило мишенью для нападок на роман глубоко религиозных и воцерковленных людей. Им бы еще и еще раз перечитать эпиграф к роману — из Гёте: «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Но Боже, ведь сколько же можно оправданий подставить под эту фразу — вплоть до оправдания Освенцима и Майданека! Тут не получится рассуждать так: вот зарезать человека — плохо, а если хирург режет человека ножом — он спасает. Нет у каждого своей правды! Она, к счастью, одна, и она — Божья. И ведь сатана, как бы он ни рвался и ни метался, он-то тоже — под Богом. «Все под Богом ходим», в том числе и мессир Воланд. Да, владетельный, да, всемогущий! Но ведь не он, а Господь придет на Страшный суд. Нельзя свету и тьме примириться. Но без осознания тьмы мы бы не осознали, не поняли свет. Мир дуален, и это величайший признак мира, признак бытия.

А поэт и власть, поэт и царь, художник и диктатор — какая вечная тема, вечная дилемма! Но, кстати, без нее, без этой подчас неравной схватки, часто и художника нет. Вот Иаков боролся с Богом. «Так Ангел Ветхого завета / Нашел соперника под стать...» А художник ведь часто борется отнюдь не с заместителем Бога на земле, не с сакральной властью — с кровавым тираном, с пошлым деспотом, с откровенным преступником. Одолеет, понятно, сильнейший. Но сильнейший на тот момент. Времена проходят и ставят все на свои места.

3. Произведение — оно и есть произведение. Оно — если настоящее — на все времена. Когда бы его ни отыскивали. Вот Иоганн Себастьян Бах. Он работал кантором церкви Св. Фомы в Лейпциге, исполнял в храме свою церковную музыку, импровизировал на органе. Много писал. Одна жена, вторая. Оброс огромным семейством. Умер. И почти через сто лет после смерти Баха Мендельсон нашел в архивах его «Страсти по Матфею». А потом и «Высокую мессу» си-минор. И все это исполнили музыканты, и мир открыл гения Себастьяна Баха. А портреты Григория Островского, которые нашли в Солигаличе? А бедная Марина Ивановна, которая — «моим стихам, как драгоценным винам...» — а эти «драгоценные вина» не только никому не были нужны в ее время — их гнали, их уничтожали, в них плевали?

Никто и никогда не сможет помешать истинному художнику добраться до людей: если не до своих современников — то до потомков. Что греха таить, те из нас, кто не знаменит, не известен, работают, втайне думая о благодарных потомках, утешаясь этим. Но. Время не всегда милостиво, часто и жестоко. Оно съедает, и уничтожает,

и стирает с лица земли; кто нам вернет огромную цветаевскую поэму о последней царской семье, что сгорела при бомбардировке Амстердама?

Но и даже не в «благодарных потомках» дело. Для художника всегда его дело — это только его дело, и никого другого. Как та же Марина Ивановна говорила: *«Для потомства? Нет. Для очистки совести. И еще от сознания силы: любви и, если хотите, — дара. Из любящих только я смогу. Поэтому и должна».*

Мне скажут: но ведь времена меняются, и меняется быт, и меняются скорости, и меняется восприятие! Кому сейчас, спросят, нужны картины голодного Киева 1918 года? Кому нужно читать о судьбе человека с мозгом собаки? Кому нужна повесть о безумном гениальном Мастере, задумавшем опять же никому не нужный роман о Понтии Пилате?

Все нужно. И есть, и будет. Повторю: если это написано талантливо, гениально.

Читая ту первую, журнальную публикацию «Мастера...», мы все прекрасно понимали: вот он, художник. Он — осмелился. Он — посмел. Сын священника — посмел написать о сатане! Впрочем, так оно ведь и должно было быть. Именно так. Ведь церковный художник, богомаз, фресковик, пишет борьбу архангела Михаила с сатаной, пишет Люцифера, пишет Страшный суд, да любую тему, где фигурирует сатана.

4. Думаю так: он читаем потому, что интересен. В слово «интересный» я вкладываю три смысла-слоя. Первый слой — интересная тема, вечная тема: Бог, дьявол, человек. Да еще дьявол не умозрительный, а живой; и Бог — живой; а человек — безумный, а пограничные состояния психики всегда интересны человеку «нормальному».

Второй слой интересности — то, как это написано. Как это сделано. А сделано это необычно. Хотя жанрово «Мастер...» — это экзотическое сочетание классического авантюрного романа, классической мистики и классической сатиры. Сатириком Булгаков был непревзойденным. А в Советской России тех времен ему было над чем посмеяться, и во весь голос, и с тихой, скрытой болью усмехнуться. Авантюра всегда у публики беспроигрышна, мистика — ну о чем тут речь, сатира — сатирики и талантливые комики собирают огромные залы. Это сочетание традиционных жанров, поданное в необычном ансамбле — безошибочный успех.

И пусть мне скажут, что автор пришел к этому интуитивно! Не поверю. Он был слишком умен для того, чтобы не продумывать такие вещи. Он знал цену слов, и цену их подачи; и цену их интерпретации. И не забудем: он был театральным человеком. «Мастер...» — это гениальный театр прежде всего. Театр трагический, лирический, гротесковый, какой угодно. С потрясающими и внешними, и внутренними контрастами.

Третий слой... А вот третий слой — это те вечные вопросы, над которыми человечество раздумывает уже века, если не тысячелетия. В чем Бог и божественное? Так ли злобно и преступно зло? Не есть ли оно тот самый «вселенский хирург», о котором у нас уже шла речь? Где ошибся Иешуа и ошибся ли? А Понтий Пилат — он несчастный, страдающий гемикранией прокуратор Иудеи, или палач Христа, или тот, кто должен был послать его на смерть — исторически должен, так же, как Иуда должен был Его исторически предать? И все детерминировано, все определено и предопределено? И все это называется коротким словом СУДЬБА?

«Мастер...» — такой вот трехслойный «пирог». Скажите, какой публике он будет не по нраву? Да любой. «Мастера...» читают и простые швей-мотористки, и школьные учителя, и врачи, и грузчики. Я знала одного васильсурского рыбака, он летом жил на пристани; «Мастер...» был у него настольной книгой, и он читал его ночами (чуть не сказала при свече) — при фонаре, при свете карманного фонарика. И он, простой деревенский рыбак, мог часами говорить о тексте романа, что-то в нем ценное выискивать, с чем-то — в нем — вслух спорить... Скажете, сумасшедший? А может, своей жизни Мастер?

5. Наша культура сначала была взорвана изнутри этим романом, потом читала его «под полкой», потом — под лупой, рассматривая его, как жука в коллекции, до словечка, до штришка, потом всячески пыталась оболгать и растоптать, потом по нему снимали фильмы, ставили его, как раньше говорили, «на театре», потом... А потом наступило сейчас. И вот сейчас, в наше время, когда возродилась если не идеология, то идея старой России, когда вернули на штандарты двуглавого орла, которого революционные солдаты сбивали прикладами наземь с дверей, крыш и фронтонов зданий, когда воскресают из пепла храмы и наново строятся монастыри — «Мастер...» опять становится такой тщательно спрятанной интеллектуальной «взрывчаткой»: как можно было написать Иисуса — ТАК?! как можно было написать Пилата — ТАК?! и, в конце концов, разве ТАК можно было изобразить — сатану?! Нам сейчас (а то и во все времена...) надо, чтобы Бога — с почтением, с любовью, высоко и недосыгаемо! чтобы сатану — отвратительно, гадко, в порошок растереть! чтобы Пилата — да, только как палача показать: «Я умываю руки», — и никак иначе! А тут что?! А тут — все неправильно!

...Вот не могут, часто никак не могут понять люди церковные, порою даже очень умные, тяжесть сана носящие, или воцерковленные и глубоко верующие: художество, художественное произведение, искусство — это не икона, не храмовая фреска, не богословский трактат. Искусство — это искусство. И Булгаков, да, прошел внутри своего искусства по такому лезвию ножа, по какому никто до него никогда не проходил и не пройдет, может, и в будущем.

Художество — вне религиозных рассуждений и конфессиональных постулатов. На то оно и искусство. Да, здесь есть опасность, в творчестве такого рода: чем ближе ты подходишь к сакральным материям — к божественным, к сатанинским — тем вероятнее они могут на тебе отыграться. Если от церкви отлучили Льва Толстого, чьи произведения внутри русской литературы — поистине Божья мощь и сила, о чем же говорить при произнесении имени Михаила Булгакова? Есть ряд священников, которые серьезно рассуждают о том, что душа Льва Толстого по смерти попала прямо в лапы бесов, и, думаю, есть такой же стройный ряд и иереев, и прихожан, что произносят Булгакову анафему.

Очень опасную вещь написал Булгаков — именно для церкви. Ибо церковь есть канон. Ибо поперек молитвы, канона, поперек Псалтыри, Писания, отцов Церкви пойти — пусть даже в секулярном пространстве, в искусстве — значит предать ее. А предать Церковь — значит предать Бога.

Поэтому за «Мастера...» еще будут бороться и его будут ниспровергать. Будут доказывать высоту его художества и обличать его «безнравственность» и «сатанинскость». Доколе жив Бог внутри цивилизации и культуры — до тех пор будет Булгаков то другом, то врагом.

А разве это не идет на пользу произведению? Его читают, знают, ищут, о нем спорят...

6. Я видела только один фильм — Владимира Бортко, десять серий. Сейчас хочу посмотреть фильм 1994 года — знаю, он долго лежал под спудом. Есть и еще экранизации, в том числе и польская; просто до всего руки не доходят. Но фильм Юрия Кары посмотрю несомненно. Сериал Бортко остался в памяти — сочетанием быта и бытия. Это, кстати, главное в стилистике романа. Вся вертикаль — от высоты Распятая до тогдашних московских низов. От роскоши угощения Воланда — до нищеты подворотни и ночлежки. Бал у сатаны — отдельная тема для разговора. Он опять по-театральному сногшибательно эффектен, и он провоцирует режиссеров на эффект «мрачной мистики» — так уж написан этот фрагмент.

Режиссерам с Булгаковым, думаю, легко. Им — с ним — повезло. И гениальное «Собачье сердце» с незабвенным Евгением Евстигнеевым, и «Роковые яйца» с их неподдельным (таким лакомым для кино!) ужасом, и «Белая гвардия» с ее трагическим очарованием гибнущей, уходящей России, и тем более «Мастер...», который весь есть не что иное, как огромный тайный сценарий, — так и просятся в кадр, так и запоминаются — яркой, ярчайшей раскадровкой, неповторимыми мизансценами. Ну что говорить — Мастер знал и любил театр. И всячески пользовался в прозе — притом свободно, артистично — его технологиями. Драматургия, жест, наглядный контраст, пластика — все это проза Булгакова.

7. Михаил Афанасьевич неповторим. Он не создал школы, как Рембрандт ван Рейн, Перуджино или Роден. Он работал один и ушел один. Он не создал традицию — ему, честно, было не до нее. «Альтист Данилов» Владимира Орлова? «Сто лет одиночества» Маркеса? «Медведки» Марии Галиной? Но это все ДРУГИЕ вещи. Не раз я слышала, как «Мастера...», да и другую прозу Булгакова, называют первой русской фантастикой. Но тогда и Гоголь — мистика и фантастика. И Одоевский — мистика и фантастика. «Булгаков для бедных» — это, наверное, вся дешевая мистика-фантастика, что полилась, как клюквенный сок, с прилавков в конце 1990-х — начале 2000-х. И, кажется, слава богу, уже пролилась эта крашенная под кровь водичка. Никого и никогда не повторить. Пусть Булгаков будет и останется один. Тот, кто задумает пройти его путем, сильно рискует: его обвинят в исторической репризе, в наглом сатанизме, в дешевой игре на публику.

Впрочем, именно в этом обвиняли и обвиняют и самого Мастера.

А он все так же говорит — с пожелтевших, несгоревших, воскрешенных страниц его рукописи:

«Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы. Черт их знает, как их зовут, но они первые почему-то появляются в Москве. И эти цветы очень отчетливо выделялись на черном ее весеннем пальто. Она несла желтые цветы! <...> Она поглядела на меня удивленно, а я вдруг, и совершенно неожиданно, понял, что я всю жизнь любил именно эту женщину! <...> Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож...»

Александр Мелихов, писатель (Санкт-Петербург)

1. Конечно. «Белая гвардия», «Бег», «Мастер и Маргарита», «Театральный роман» давно там утвердились.

2. Урок грустный: если литература нужна обществу, оно непременно одних прикармливает, других задвигает, и еще хорошо, если в места не самые отдаленные. Но в любом случае оно подвергает писателей политической утилизации. Если же литература политически не востребована, то писатель превращается в маргинальное существо. Нужно это понимать и быть готовым выдержать сто лет одиночества.

3. Булгаковской прозе и драматургии это пошло на пользу: писатель немислим без легенды, а здесь готовая мелодрама с хорошим концом: преследования, забвение, посмертная победа — все, что надо для хорошей сказки.

4. Тургенев, кажется, сказал, что если книга имеет успех у знатоков и у толпы, то по противоположным причинам. Разумеется, толпе нужно что-то банальное, и она его нашла. Разуверившийся в Боге мир упивается сказкой, в которой на помощь беспомощному Добру приходит обольстительное Зло: затравленного писателя освобождает из сумасшедшего дома и дарует ему вечный покой в тихом прелестном уголке с верной подругой не добрый ангел, а сам дьявол собственной персоной.

Его свита, изображенная с редкой выдумкой и яркостью, превратилась в героев отдельной субкультуры. Литературный мир Москвы написан в манере блистательного фельетона, но надо при этом заметить, что Булгаков, сводя счеты, не запятнал кровью руки любимых героев — уничтожен лишь умник, глумившийся над Христом.

Если взглянуть в массовое бытование романа, можно обнаружить, что молодежью он используется больше для прикола — есть и такой способ утилизации. Но имеется в романе и отличная основа для мелодрамы — сериал уже есть, теперь появился и мюзикл. Культ сценичности — вот отчего метафизические, то есть внеисторические, силы у Булгакова обретают сугубо конкретный средневековый реквизит, — плащи, шпаги, кони...

Жаль только, что в этом зрелище гром и блеск заслонили трагедию бесконечной усталости. Каждый писатель грезит о жизни после смерти, но какую жизнь после смерти Булгаков вымечтал для своего Мастера? Вечное наслаждение тишиной, приятные вечера с интересными людьми, которые не встревожат хозяина... Да разве мыслимо, чтобы что-то интересное не причиняло беспокойства? Жизнь без тревог — это жизнь и без радостей. Грезить о такой жизни не как о временном отдыхе, а как о нескончаемом блаженстве может лишь бесконечно уставший человек. Кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе бесконечный груз...

К счастью для них и к несчастью для искусства, среди почитателей Булгакова уставших очень немного.

5. Булгаков рисует Иешуа всего лишь наивным и проникательным проповедником, из которого ученики сотворили Божьего сына. Для истинно верующего это снижение метафизики до легенды, вероятно, кощунственно, но для многих советских читателей, предельно далеких от религии, такая трактовка была потрясением, не принизив, но приблизив христианство к их атеистическим душам.

6. Они педалируют зрелищную сторону и делают это недурно. А что поэзия при этом улетучивается — так на то оно и массовое искусство.

7. Мне кажется, романтики круга, скажем, Одоевского вполне годятся в предшественники Булгакова. И притом не для таких уж и бедных. Да и звезды наших 20-х — Олеша, Катаев, дай им волю, тоже развернулись бы во что-то фатасмагорическое.

Ольга Новикова, писатель (Москва)

1. Я люблю Булгакова. До сих пор помню запах журнала «Москва», в котором читала «Мастера и Маргариту». Этот роман я бы поставила на золотую полку, а на моей книжной полке стоит весь Булгаков.

2. У Булгакова были обычные отношения с миром (писательским, театральным, властным...) — такие же сложные, какие всегда складываются у большого таланта. Конечно, это поучительно.

3. Запрет помог произведениям Булгакова появиться в нужный момент, когда на них были направлены лучи читательского внимания. Может быть, у шедевра есть оптимальное время для его появления. В этом — своеобразная драматургия литературной истории.

4. Рейтинги — это категория рынка. Рынок подсказывает, но не диктует систему ценностей.

6. Чем больше экранизаций, тем полезнее для книги. Если вы чем-то недовольны, то придите домой из кинозала и откройте книгу — там все на месте, ничего не искажено.

7. «Булгаковым для бедных» назвал роман Владимира Орлова «Альтист Данилов» главный редактор «Литературной газеты» А. Чаковский. Я бы говорила о подражании

Булгакову, которое до сих пор просматривается в журнальном самотеке, а также и в изданных книгах.

Сергей Носов, писатель (Санкт-Петербург)

1. В свое время я специально записался в читальный зал студенческой библиотеки на Краснопутиловской — ради «Мастера и Маргариты». Мне давали замушеленный номер журнала «Москва» (один из двух с романом и никогда оба сразу) и просили занимать ближайший стол, находящийся в поле видимости библиотекаря. Позже я потратил почти треть зарплаты молодого инженера, чтобы приобрести в собственность на черном книжном рынке в Ульяновке, далеко в поле за газовой трубой, булгаковские «Романы» (1973 год издания и тираж, между прочим, 30 000). Так что полка, на которой стояла эта книга, была поистине золотой. Но все это — увлечения молодости. Переболев Булгаковым, я уже скоро стал дышать в его сторону достаточно ровно. А ровнее всего — в сторону «Мастера и Маргариты». Сейчас бы на условную «золотую полку» я поставил «Белую гвардию» и лучшие булгаковские пьесы — «Бег», «Дни Турбиных».

2. Да, из жизни Булгакова можно извлечь определенные уроки. Ну, скажем, весьма поучительны (дурацкое слово) его письма Сталину, личная ставка на «Батум» и много еще чего... Ответить более развернуто я сейчас не сумею, иначе придется закопаться в бесконечных пояснениях и оговорках. Слишком большая, тяжелая и вместе с тем деликатная тема.

3. С позиций высшей справедливости (когда бы она существовала) было бы, конечно, правильнее, если бы Булгаков дожил до глубокой старости и увидел уже в новых исторических условиях все свои произведения изданными. Несправедливость, опять же, высшего порядка не в том, что «Мастера и Маргариту» не издали, когда роман был написан, а в том, что Булгаков рано ушел из жизни. Роман как раз был издан как нельзя вовремя — тогда, когда и ждали от литературы чего-то такого: свежего, свободного, раскрепощенного. Это был исключительно своевременный роман, воспринятый как событие текущего времени. У меня большие сомнения, что будь он издан (по какому-нибудь фантастическому стечению обстоятельств) в 30-е годы, его бы прочитали, поняли и оценили. Он бы мог заслониться «Золотым теленком», мог бы остаться в ряду периферийных произведений вроде «Дороги никуда» Александра Грина, мог бы запросто быть воспринятым как творческая неудача амбициозного автора, читатели романа могли бы не захотеть в нем узнать себя и могли бы в самом деле услышать в нем «сумбур вместо музыки». Можно предположить, что его просто бы «замолчали», как выставку Филонова в Русском музее. Роман Булгакова не то чтобы опережал свое время, он с ним категорически не совпадал. И в этом смысле ему, как это ни парадоксально, исключительно «повезло»: он был воспринят как откровение, — но это случилось только тогда, когда и могло случиться.

4. Роман «Мастер и Маргарита» в известной степени переоценен — подобно любому другому объекту, из которого сделали фетиш. Но и недооценен по той же причине. В массовом сознании культ «Мастера и Маргариты» обернулся тем, что к роману стали относиться как, что ли, к попсе. Возможно, иногда полезно отвлекаться от культурных книг — чтобы возвратить свежесть их же восприятия.

5. Булгаков не вероучитель, он писатель. «Мастер и Маргарита» — не священный текст. Роман и не претендует на то, чтобы казаться священным текстом (как, скажем, «Книга Мормона»), это художественная литература. Ни больше ни меньше. Ясно, что романский проповедник, да еще представленный во вставной истории, это сугубо литературный герой, принципиально далекий от евангельского Спасителя.

Говорить об отношении к нему Булгакова можно в той же мере, как об отношении, допустим, Толстого к Пьеру Безухову. Роман, что бы в нем ни происходило, это всегда роман, это самодостаточная данность, в которой можно до бесконечности находить свои «за» и «против». Но вопросы веры тут ни при чем.

6. «Бег» Алова и Наумова, по давнему моему впечатлению, очень хороший фильм и уж во всяком случае — незабываемый. «Собачье сердце» Бортко... Можно было бы отметить мрачную кинодраму «Морфий», но все-таки там больше Балабанова, чем Булгакова (что, впрочем, не вредит фильму). Многие произведения Булгакова сами просятся на экран — тут очень важно найти свою интонацию, отвечающую мелодике булгаковской прозы. Но этого катастрофически мало для «Мастера и Маргариты». Мне кажется, этот роман фатально противопоказан экрану, да и сцене тоже, пожалуй. Роман слишком своеобразен, чтобы от режиссера, рабски подчиняющего себя исходному тексту, ждать чего-нибудь на экране этому тексту конгениального. Рабски зависеть от оригинала — это не по-булгаковски. Сам Булгаков с великими сюжетами обходился крайне смело (вспомним хотя бы сценарий «Похождения Чичикова, или Мертвые души», вспомним, опять же, библейскую линию в романе о Мастере). Рискну быть непонятым, но мне кажется, этот роман, при прочих необходимых условиях, могла бы уберечь на экране от тусклой иллюстративности режиссерская дерзость, конгениальная дерзости самого Булгакова — смелого интерпретатора иных текстов. Но публика любит, чтобы все было «как в книге». Такого она не простит.

7. Не совсем понятно, что такое булгаковская традиция. И возможна ли она вообще. После публикации «Мастера и Маргариты» началась мода на всякого рода инфернальности и мистику, но вряд ли это можно назвать традицией. Есть ощущение, что Булгаков как раз закрывает традицию — по крайней мере, одну из ветвей, условно говоря, гоголевской традиции. Любое следование Булгакову сегодня чревато эпигонством.

**Валерий Попов,
писатель (Санкт-Петербург)**

1. Конечно, интересен. Это было самое сильное впечатление жизни — появление в 60-х годах прежде запрещенной русской литературы: Олеша, Бабель, Платонов — и Булгаков. Поскольку на золотой полке тесно от гениальной прозы, я бы поставил из Булгакова «Собачье сердце» и «Мастера и Маргариту».

2. Я с упоением пишу происходящие вокруг нас события — например, совершенно удивительный Культурный форум, происшедший недавно в Петербурге. Булгаков бы обзавидовался!

3. Предыдущим поколениям, конечно, не повезло. Зато нам сказочно повезло! Это был гром среди ясного неба. А точнее — радуга!

4. Как типичный герой Булгакова, отношусь к феномену булгаковской славы с лютой завистью. Да — кроме качества прозы, есть еще фарт. А в романе, конечно, и фельетонность, и поверхностное переложение Библии, и излишне пафосный образ самого Мастера. Но — победителей не судят. «Мастер...» появился так вовремя, когда все страстно жаждали чего-то такого, и восторг был у всех! И, конечно, достоинств больше, и восторг заслужен!.. а нам остается лишь брюзжать о таких-сяких недостатках романа. И соображать: а ведь недостатки, пожалуй, читателю милей, чем занудное совершенство.

5. Конечно, сильнее у Булгакова дьявольская стихия. Дьявол и умнее, и обаятельней, и, я бы сказал, человечнее. Впрочем — это явление всеобщее: грешники (тот же Бендер), как-то родней.

6. Экранизация, сделанная режиссером Бортко, мне кажется очень удачной.

7. Так называли роман Орлова «Альтист Данилов», который тоже был широко любим. Я, например, больше всего люблю книги с «легкой чертовщиной» — впрочем, эта прелесть даже не от Булгакова у нас, а еще от Гоголя.

**Вячеслав Рыбаков, писатель,
доктор исторических наук (Санкт-Петербург)**

1. Интересен. Но не очень важен. Булгаков, конечно, сильный и талантливый писатель, один из считанных. И все же не оставляет ощущение некоторой его поверхностности. В молодости я зачитывался его пьесами, хохотал на «Зойкиной квартире» и «Багровом острове», на втором курсе даже перепечатывал с самиздатовского источника «Собачье сердце» и щедро делился с однокурсниками. Понятие золотой полки для меня умерло лет десять назад. Но если пытаться ранжировать задним числом, то ближе всех к такой полке находится из Булгакова, на мой взгляд, «Белая гвардия».

2. «А из зала мне кричат: „Давай подробности!“» А я этого не люблю. Ни подробностей не люблю, ни, в особенности, тех, кто до них охоч. Одни полагают, что под Воландом имеется в виду Сталин, другие — что американский посол, произведший на Булгакова ошеломляющее впечатление на каком-то приеме... Какие там уроки?

3. Конечно, их запоздалая публикация сыграла на подъем их авторитета. Они увидели свет уже в ту пору, когда из пострадавших интеллигентов сталинской эпохи вовсю начали кроить новые жития святых. Кто — не видя настоящих святых, кто — в пику настоящим святым. И в полной мере сыграли на этот новый миф сами, в свою очередь, став его существенным элементом.

4. С самого первого прочтения в журнале «Москва» и до последнего перечтения лет семь назад не понимал восторгов по поводу романа. Написано МАСТЕРОВИТО — без сомнения. Но мелко. То есть не вообще мелко — но мелко по отношению к масштабу восторгов. Мне не близка литература, которая пишется на психологической платформе «Сам себя не похвалишь — сидишь как оплеванный». Хотя, полагаю, для многих читателей и деятелей искусства именно эта позиция близка, как никакая иная. Отсюда и популярность. Теперь это уже просто бренд, один из тех, что пытаются натянуть на себя те, кто хочет, чтобы их поскорей заметили, а собственного к тому потенциала не имеет и знает это. Нечего сказать — скажи «Воланд». Никого не любишь — скажи: «Ах. Маргарита...» Двух слов связать не можешь — скажи: «Я — Мастер...»

5. В свое время мне казалось, что в условиях советского религиозного голода роман Булгакова оказался для нашей интеллигенции этаким эрзац-евангелием. А при том, что он довольно далек от евангельских принципов — то со всеми вытекающими последствиями. Но теперь я думаю, что это тоже переоценка роли данного произведения в нашей культуре.

6. Басилашвили в роли Воланда завораживает.

7. Не берусь судить. Не литературовед.

**Татьяна Рыжкова,
кандидат педагогических наук (Санкт-Петербург)**

1. Для меня Булгаков и важен, и интересен. Мне трудно выбрать произведения для золотой полки, потому что хотелось бы оставить и три романа — «Белую гвардию», «Театральный роман», «Мастера и Маргариту», «Жизнь господина де Мольера», — повести «Собачье сердце» и «Роковые яйца», но и без рассказов тоже не хочу оставаться.

А пьесы? Если выбирать, то оставлю «Дни Турбиных», «Зойкину квартиру», «Бег», «Кабалу святош».

2. Мне кажется, что, с одной стороны, урок можно извлекать из всего, в том числе и из художественного произведения, но, с другой стороны, писатель редко возлагает на себя миссию кого-то чему-то научить. А тема «художника и власти» актуальна, увы, всегда, поэтому художнику, который «пишет так, как слышит и дышит» (перефразирую Окуджаву), от креста не уйти. Но это не столько уроки булгаковских сюжетов, сколько истории человечества, в том числе и отечественной. Булгаков в этом смысле отражает время: что Людовик, что современный деспот. Урока, в общем-то, и нет. Какой урок можно извлечь из «Кабалы святош»? Власть все равно тебя распнет? Да. Но это не урок, это факт. Урок дается в ответе, что делать в определенной ситуации. Вот Чернышевский дает такой урок. Но из искусства урок извлекать нужно самому, если есть такое желание. Кто-то решит, что нужно быть поближе к власти — и будет у тебя *dolce vita*, а кто-то решит, что и браться за перо не стоит, а кто-то пойдет за своим даром, зная, что его ждет, то есть сознательно. Литература не учит, а открывает возможности и последствия твоего собственного выбора. И в этом смысле Булгаков сегодня весьма актуален.

3. Об истории литературы судить не могу. Но опыт работы со старшеклассниками говорит вот о чем. Даже без знания исторических реалий его произведения вызывают у школьников сильный отклик. Главные смыслы улавливаются очень точно. Конечно, нюансы, детали, специфика отношений между персонажами нуждаются в комментариях. Но отсутствие знаний не искажает общей картины — просто она предстает несколько смазанной, размытой. Интерес школьников к сюжету как раз и позволяет вводить их в историческую эпоху. И надо сказать, что образ эпохи становится более конкретным именно после комментариев, вызванных желанием понять литературное произведение. И в памяти этот образ времени остается надолго, в отличие от результатов уроков истории.

Старшеклассники могут увидеть в произведениях Булгакова вневременные коллизии, видимо, это и вызывает такой интерес к его творчеству.

4. Я неоднократно слышала о том, что этот роман Булгакова нужно отнести к китчу. Но если разобраться в том, что такое китч, легко обнаружить, что никакой переоценки нет. Китч — явление массовой культуры, но при этом обладающее художественной ценностью (скажем, высшая ступень беллетристики). «Мастер...», безусловно, роман для всех. Это не элитарный роман — и слава богу! Но чтение этого романа поднимает читателя до серьезных философских размышлений. На этот роман можно посмотреть и как на одно из первых произведений постмодернизма — роман из книг всех времен и народов (мне кажется, что к этой мысли подводит Б. Гаспаров, раскрывая лейтмотивную структуру «Мастера...»). В романе много смысловых уровней — и до какого донырнет читатель, зависит от его кругозора, эрудиции, культуры. «Мастер...» — серьезное произведение, доступное при этом практически всем. Много ли такой литературы? Поэтому я не могу сказать, что «Мастер...» — переоцененный роман.

5. Вообще, об этом все сказал А. Зеркалов в книге «Евангелие от Михаила Булгакова». Кураев читает роман как религиозное произведение, а роман таковым не является! Это способ выражения мировоззрения писателя, а не религиозная проповедь. Именно поэтому Булгаков меняет привычные христианину имена героев, биография Га Ноцри не биография Иисуса и т. п. У писателя есть свой взгляд на мир — он его высказывает. Кураев читает плоско и скучно, как наивный реалист. Об этом даже говорить не хочется — скучно. И разве можно переубедить тех, кто не хочет

слышать голос автора, а ищет только отдельные детали, противоречащие истории христианства. Толстого вот тоже от церкви отлучили (и до сих пор Толстой для церкви — еретик). Булгаков пишет роман не о Христе, он пишет роман о человеке, о художнике, о власти, о любви. И герой Булгакова, мастер, пишет не религиозный трактат, а художественное произведение, которое не может претендовать на истину. Но чудо даже не в совпадении исторических и романских фактов, а в постижении Мастером человеческой природы и метафизики времени. Роман Мастера о том, что сделал человек с человеком (Пилат с Иешуа, Иуда с Иешуа) и как каждый оплатил предательский счет. Что сделал человек для человека и т. д.

6. С экранизациями все сложно.

«Собачье сердце». Если не читать повесть, не размышлять над нею, то фильм будет однозначно восприниматься как очень сильный. Но режиссер Бортко — читатель не очень хороший. Даже если признать и принять это как факт, что экранизация не может воплотить все лейтмотивы художественной первоосновы, а потому неизбежно профанирует первоисточник (это, кстати, хорошо понимал сам Булгаков, создавая либретто для Большого театра; и это делает Бортко в фильме), то фильм для меня именно как фильм не является шедевром кинематографа. Фильм держится на гениальных артистах (как и многие фильмы Бортко) — их игра не нуждается в какой бы то ни было комплиментарности. Претензии — к режиссеру. Он изъясил из повести ее главную композиционную особенность — оппозиции. У Булгакова в тексте множество оппозиций, на их игре, противоборстве, перетекаемости основывается и смысл повести. В ней однозначных персонажей. Бортко оставил только социальный конфликт, героев сделал плоскими и однозначными. Исчез тонкий булгаковский юмор — он в деталях, нюансах. Введение дополнительных сцен, которых нет у Булгакова, ничем не оправдано. Получился фильм с острой социальной критикой швондеровщины и шариковщины. Не более. Успех фильму, повторю, принесли актеры.

Два отечественных фильма по роману «Мастер и Маргарита». Фильм Бортко — это плохой фильм. И дело даже не в искажении деталей, а в смысле, уплощенном до... И здесь не спасают и актеры. Роли Мастера и Маргариты — роли провальные. В анкете не могу аргументировать и разбирать подробно. Но опять же главное, в отсутствии талантливого режиссера, который создает целое. А фильм — отдельные работы. К. Лавров играет сильно, но этот Пилат такой не булгаковский! Надо бы как-то тогда эту трактовку поддержать. В общем, актеры играют, как могут, а режиссер ставит камеру и фиксирует то, что они делают.

Фильм Ю. Кары, снятый намного раньше, но дошедший до зрителя позднее, оценивать можно только из времени его создания. И он для меня намного сильнее фильма Бортко. У Кары не было таких технических возможностей, как у Бортко, возможно, поэтому он был вынужден решать художественные задачи. Этот фильм требует отдельного серьезного разговора, но, на мой взгляд, это на сегодня лучшая работа по Булгакову.

Фильм по «Роковым яйцам» (не помню названия и режиссера. Янковский в главной роли) тоже неровный, но в нем хотя бы есть попытка соединить два плана — реальный и мистический, соединить тонко, а не в лоб, как это делает, если делает Бортко.

Можно отметить фильм-спектакль В. Басова «Дни Турбиных» — это серьезная, интересная работа. «Белую гвардию», не так давно вышедшую на телеэкраны, целиком не посмотрела, потому оценивать не берусь.

Понравилась экранизация «Морфия» — она вызывает сильные чувства.

О фильме Гайдая по пьесе Булгакова говорить не буду. Фильм замечательный, хотя от пьесы Булгакова в нем мало что осталось.

7. Я не могу ответить на этот вопрос. Разговор о традициях не прост, ведь традиция и подражание — разные вещи. Подражания есть: на ум приходит «Альтист Данилов». Про традиции не знаю. Меня вообще смущает термин «традиция» применительно к литературе. Смысл фразы «Булгаков для бедных» не понимаю.

**Алексей Семкин,
кандидат искусствоведения (Санкт-Петербург)**

1. Разумеется. Только нужно определить размеры этой полки. Если выбирать только одно произведение — это, скорее всего, «Собачье сердце».

2. Здесь два момента. Во-первых, это все сюжеты вечные, поэтому и уроки извлекать из них будут еще долго, до тех пор, пока существуют писатель, власть, театр. Уроки вообще можно извлекать из чего угодно, было бы желание.

Во-вторых, и это важнее, сама по себе история именно Булгакова достаточно своеобразна и неповторима. Вот, например, про отношения с властью (высшей). О том, до какой степени интересовал писателя феномен абсолютной власти, насколько завораживало его это явление, написано немало, а если бы и не было написано, достаточно нам было бы одного Воланда. С другой стороны, личность Булгакова, его способ существования в эпохе и одновременно вне ее, его гордость и самодостаточность (к Михаилу Афанасьевичу, мне кажется, очень приложимы пушкинские строки: «Самостоянье человека — залог величия его») — все это привлекало внимание к нему, в том числе пристальное внимание высшей власти, персонифицированной в одном человеке. Внимание совсем особенное, не такое, какое вызывали другие граждане страны — пешки в колоссальной шахматной партии.

Обоюдный интерес, острый и болезненный, обусловил возможность особенных отношений «писатель-власть», характер этих отношений делают всю историю абсолютно индивидуальной, как бы вылепленной только под эту персональную судьбу.

3. На восприятии творчества Булгакова этот факт никак не сказался, да и не мог сказаться, поскольку и сам писатель не был известен до этих публикаций в том качестве, в каком воспринимается сегодня, не занимал соответствующего места на литературной карте. Он пришел в нашу жизнь вместе со своими главными книгами. Что касается второй части вопроса — мы имеем историю русской литературы в том варианте, в каком она естественным образом постепенно складывалась. Можно представить, вообразить бесконечное множество других вариантов, вероятно, если бы «Белая гвардия» была полностью опубликована в 1920-е, а «Мастер и Маргарита» — в 1930-е, это отразилось бы на всей литературе 1920–1930-х... Но размышлять об этом и пытаться реконструировать эту параллельную реальность не представляется продуктивным. Как сказался на русской литературе факт гибели Лермонтова в возрасте неполных 27 лет?

4. Будем различать несколько разных вещей. Сам роман — безусловно, одна из важнейших книг XX века, созданных в России или на русском языке. Он в одном ряду с «Тихим Доном», «Темными аллеями», «Даром», «Василием Теркиным», «Доктором Живаго» — и по глубине проблематики, и по художественным достоинствам. Но кроме романа как такового, есть миф о романе и есть мода на роман. Сложившийся в сознании фанатиков миф позиционирует роман в качестве вместилища абсолютной истины, некой сверхкниги, стоящей в одном ряду с Библией (или Торой, или Кораном), в которой содержатся ответы на все вопросы бытия. Мода на роман — феномен уже не психиатрический, а социологический, однако в чем-то явления эти очень схожи. Оба они опасны и оба очень раздражают. Именно в них

причина возникновения взгляда на роман Булгакова как на «самое переоцененное произведение русской литературы».

5. Объективно роман Булгакова — искушение и прелесть, поэтому читать его совсем юным людям, в школе — вряд ли правильно. С другой стороны, как это ни парадоксально, роль, которую сыграл роман в христианизации нашей интеллигенции, очень велика. Что же касается вопроса, поставленного о. Андреем, мне представляется, что роман Мастера (продиктованный Воландом) несомненно «против Христа», а роман Булгакова в целом, при всей искусительности, все же «за».

6. Не все можно в принципе экранизировать. «Собачье сердце», как оказалось, можно, и получилось очень хорошо. Что касается «Мастера и Маргариты» — я неплохо отношусь к работе Бортко, но только в ее «московской» части. Фильм Ю. Кары и «Роковые яйца» С. Ломкина — мне кажется, не очень удачны.

7. Была. Гоголь Николай Васильевич. В новое время многие пытались такую традицию создать («Альтист Данилов» Вл. Орлова, романы Дм. Липскерова и т. д.), но не слишком, на мой взгляд, удачно.

Роман Сенчин, писатель (Москва)

1. Михаил Булгаков один из тех авторов, что сопровождают меня по жизни лет с пятнадцати. Часто перечитываю почти все его вещи. «Мастер и Маргарита» — в числе двух (вместе с «Тихим Доном» Шолохова) сильнейших романов советского периода русской литературы. На личной золотой полке стоит пятитомник Булгакова 1989—1990 годов издания, довольно уже ветхий из-за частого перелистывания.

2. О Булгакове написаны десятки биографических книг, его недолгая жизнь изучена вроде бы по минутам. Но все равно в ней много неясного, неизвестного... Я лично не представляю жизнь людей, особенно той части интеллигенции, что не приняла революцию, в 1920—1930-е годы. Из биографии Булгакова, конечно, можно извлекать уроки, но... Но лучше не надо. Вообще каждая жизнь, каждая судьба уникальна.

3. Наверняка «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита» не могли быть опубликованы в ту эпоху, в какую были написаны. Был бы я большевиком, я бы считал эти великие произведения враждебными, а автора — врагом. Чудо, что наследие Михаила Булгакова уцелело. Может быть, для его сверстников, доживших до 1960—1980-х, публикация его наследия была открытием, потрясением, хотя, кажется, многие читали булгаковские произведения в самиздате. По крайней мере, существование «Мастера и Маргариты», «Театрального романа», «Мольера» не было тайной для интересующихся русской литературой. Но все же собранные воедино произведения Булгакова должны были произвести потрясающее впечатление. Впрочем, собраны они были как раз в конце 80-х.

4. Кто считает самым переоцененным?.. «Мастер и Маргарита» — одна из самых сильных и самых страшных книг русской литературы. Секрет романа в том, что он вызывает одновременно и чувство отчаяния, и прилив сил, желания жить, сопротивляться обстоятельствам. Недаром этот роман был и остается культовым, настольным для способных размышлять людей. В первую очередь — для молодежи.

5. В вопросах теологии, богословия я не силен, толкование дьякона Андрея Кураева не читал... Мне лично всегда становится очень жалко персонажей «романа Мастера». И Иешуа, и Понтия Пилата, и Левия Матвея, и даже Крысобоя, Иуду. Все они ощущают, что участвуют в великой драме, которая изменит не только их личную жизнь, но и историю цивилизации, но они не могут не исполнять свои роли, не могут не участвовать... То, что некоторые деятели называют «Мастера

и Маргариту» чуть ли не сатанинской книгой — чушь и шизофрения. Впрочем, гуманистической ее тоже не очень-то назовешь.

6. «Мастер и Маргарита», по моему мнению, одно из тех редких произведений, которые экранизировать, ставить на сцене невозможно. То есть — возможно, но это будут заведомые неудачи. Обе экранизации вроде бы старательные, с хорошей игрой талантливых актеров, но смотреть как-то неловко. Роман Булгакова можно только читать. Причем не в компании, не вслух, а наедине, при свете настольной лампы и задернутых шторами окна.

7. Ну, во-первых, Булгаков — продолжатель линии Гоголя. А во-вторых, его проза в русле прозы 20-х годов. У Булгакова много общего с Зощенко, Катаевым, Ильфом и Петровым, Олешей, Вагиновым, ранним Шолоховым, многими другими... Продолжил ли кто традицию Булгакова?... Та проза, в том числе и проза Булгакова, стала невозможна в конце 30-х. Из тех, кто в наше время писал близко к Булгакову, по-моему, можно назвать Владимира Орлова.

**Игорь Сухих,
доктор филологических наук (Санкт-Петербург)**

1. Вряд ли буду оригинален: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», «Дни Турбиных», «Бег». Кажется, это единственный в литературе XX века случай, когда проза и драматургия одного автора оказываются эстетически соизмеримы и попадают на эту полку. У современников Булгакова — Набокова, Платонова, автора метафоры «золотая полка» Юрия Олеши — этого не случилось. Их драматургия явно уступает повествовательным жанрам.

2. Конечно, урок. И не только для современных авторов, но для «простых» читателей и таких профессиональных читателей, как историки литературы. Меня удивляет уличающий, высокомерный взгляд на культурные сюжеты прошлого. *Ах, в «Мастере...» Булгаков симпатизирует высшей власти! — А симпатичный Воланд — это Сталин! — А уж «Батум»...* (Не говоря даже о биографически-конспирологических версиях.)

Не стоит выдавать историческое преимущество за собственную заслугу. Может, кто-то из нас сегодняшних в тех 20-х оказался бы почище Лавровича или Латунского! А выяснению отношений между братьями-писателями и челобитным нынешней власти могли бы позавидовать завистники и лизоблюды прежних лет.

«На широком поле словесности российской в СССР я был один-единственный литературный волк. Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашенный ли волк, стриженный ли волк, он все равно не похож на пуделя» (И. В. Сталину, 30 мая 1931 года). Кто сегодня в таком духе, причем не из подворотни ЖЖ, а в жанре открытого письма, общается с вождями?

Булгаков, кажется, нигде не отступил от норм простой человеческой нравственности и до конца выполнил писательский долг. «Дописать раньше, чем умереть».

3. На восприятии его творчества скорее положительно. На фоне литературы конца 60—70-х годов «Мастер и Маргарита» казался голосом из какого-то другого измерения. А «Собачье сердце» с его Шариковым и Швондером, «Не читайте советских газет», «Разруха не в клозетах, а в головах» воспринималось как перестроечная прокламация (что сильно упрощает смысл повести).

Но именно поэтому Булгаков (как и Платонов, Набоков, другие авторы возвращенной литературы) ставит перед историками литературы трудноразрешимую задачу: необходимость вписать его творчество в две далеко друг от друга отстоящие исторические эпохи. Произведение объясняется историческим и культурным

контекстом 20–30-х, а его восприятие, критика, влияние — уже феномен 60-х и даже 80-х годов. Отчасти и поэтому хорошей истории русской литературы XX века пока не существует.

4-5. Для историка литературы важен не выбор, а симптом. Смотрите, для одних роман Булгакова — антихристианский, дьявольский и еще Бог знает какой, другие вспоминают, что их он привел к Богу. Великий библиотекарь Х.-Л. Борхес считал одним из свойств классики «бесконечное множество интерпретаций». С этой точки зрения «Мастер...» — бесспорная, причем живая, классика. Ведутся ли подобные запальчивые споры о произведениях назначенных классиков, булгаковских современников, скажем, романах К. Федина или «Пирамиде» Л. Леонова? Пишут ли о них критики и антикритики? Вот то-то и оно...

6. Наиболее отвечающими гротескной природе булгаковской поэтики мне кажется «Бег» (режиссеры А. Алов и В. Наумов, 1970), свободная вариация на булгаковские темы. Но важно, что по первому, а иногда уже и третьему кругу уже экранизированы разные булгаковские произведения: все романы (включая телеверсию А. Эфроса о Мольере), «Роковые яйца» и «Собачье сердце», «Записки юного врача» («Морфий» А. Балабанова). Число кино- и телеверсий, согласно киноведческой библиографии, уже приближается к двадцати. Булгаков и таким образом присутствует в современной культуре. Повторные обращения к той же «Белой гвардии» могут оказаться и более удачными.

Евгений Яблоков, доктор филологических наук (Москва)

1. Изучением творчества Булгакова занимаюсь около сорока лет; написал о нем несколько книг и работаю над очередной. Думаю, это многое объясняет.

Что касается «полки» — такого предмета мебели для читающего человека недостаточно: нужен «золотой шкаф» (или даже несколько). Ибо хороших писателей много и на «полку» их книги не поместятся.

2. Я не человек искусства, но думаю, что для самостоятельного художника нет ни примеров, ни «уроков» жизнеповедения. Люди все разные, обстоятельства повторяются только приблизительно, да и копировать гениев невозможно. Бесспорно, что «сложные отношения с властью» возникают у многих и многим приходится принимать соответствующие решения. Но зачем тут «делать жизнь» (В. Маяковский) с какого-то образца и мыслить себя в парадигме чужой судьбы — мол, вот Булгаков бы на моем месте... Да и почему надо выбирать образцом именно Булгакова — а не Пушкина, например? или Бунина? или Аввакума? или Баркова? или (извините за черный юмор) того же Маяковского?

Но есть другой аспект проблемы. Главный «урок» состоит в том, как эти коллизии биографии писателя подаются в современной нашей так называемой культуре. Стараюсь следить за всем, что касается Булгакова, и могу сказать, что его «сложные отношения с властью» сегодня интерпретируются примерно следующим образом: 1. Был креатурой Сталина. 2. Жрал-пил-творил на деньги НКВД. 3. Жена являлась агентессой той же организации. 4. Роман «Мастер и Маргарита» изготовлен персонально для Сталина — чтобы восхвалить вождя и гарантировать неприкосновенность автору.

При этом не высказывают никаких доказательств или хотя бы основательных аргументов. В лучшем случае глубокомысленно замечают, что, мол, в ту пору ведь все «стучали»... Или приводят сверхважные сведения от невестки (жены сына) Е. С. Булгаковой, некогда сообщившей, что у свекрови всегда были дорогие духи и она любила хорошо одеваться; отсюда делается вывод: ну, значит, явно «стучала»...

Если кто-то думает, что я фантазирую, — увы. Лет пятнадцать назад было модно выставять Булгакова сатанистом; а теперь «новое время — новые песни»: один паскудный тренд сменился другим. Причем подобными вещами занимаются люди, производящие впечатление культурных; некоторые имеют реальные заслуги на булгаковедческой почве... Почему, зачем — вопрос сложный. Но в этом аспекте главный «урок» состоит в том, что хорошо бы вообще-то иметь совесть, шевелить мозгами и не нести что попало. Помните, как приказал булгаковский Хлудов: «Пирамидон принимать, если голова болит!»

3. Такая судьба была не у «многих», а у подавляющего большинства булгаковских произведений. Как мог сказаться на восприятии творчества Булгакова тот факт, что оно наконец открылось читателю? Попросту писатель «возник» как новая «культурная единица». Особенность в том, что при подобных ситуациях творческое наследие не формируется «линейно», как в нормальной истории литературы, когда автор пишет и публикует одно произведение за другим, а обрушивается лавинообразно: в 1960-х — начале 1970-х годов увидели свет (если не в СССР, так за рубежом) практически все основные булгаковские тексты. При этом самого писателя уже четверть века не было в живых.

Хочу напомнить что после Булгакова мы имели пример куда более масштабный: 30 лет назад пришла гигантская цунами так называемых «возвращенных» произведений — не только напечатанных ранее в тамиздате, но и вообще не публиковавшихся. Разговор о том, как все это повлияло и т. д., потребовал бы много времени и места. Если конкретно про Булгакова — думаю, его творчество до настоящего времени не отрефлектировано как следует, место этого автора в литературе не «определилось», и нашему коллективному сознанию (не говоря уж о бессознательном) не внятно, о чем он, собственно, писал. В основном Булгаков используется как повод для дешевых сенсаций.

А специально о современном литературоведении могу повторить то, что говорил уже неоднократно: в России (да и нигде) нет научных центров, изучающих творчество и биографию Булгакова; полностью отсутствует координация подобных исследований; не выходят основательные научные сборники, посвященные писателю; не проводятся серьезные научные мероприятия булгаковедческой тематики. В свое время обращался с письмами к директорам двух литературоведческих институтов РАН: ИМЛИ в Москве и ИРЛИ в Петербурге; предлагал создать научную Булгаковскую группу. Оба отказались. (Более развернутые суждения о месте писателя в нашей культуре можно прочитать вот тут: <http://eajablokov.ru/article7.html>)

4. Во-первых, данные рейтингов и опросов — это не «позиция», а некий факт (будем считать, что достоверный). Во-вторых, есть чисто логическое противоречие: степень популярности не подлежит оценке по каким-то «объективным» критериям и тем более не может быть искусственно скорректирована (запретите — получите обратный результат). Нельзя заставить ни любить, ни ненавидеть. Мода ли это или нечто другое, но если Булгакова читают — никто тут ничего не поделает, хоть расшибись. Что касается тезиса о «переоцененности» — это категория примитивного рыночного сознания. Те, кто на эту тему кричит (причем в буквальном смысле), обнаруживают лишь свою принадлежность к массовой культуре; для них история литературы — нечто вроде конкурса «Евровидение». К тому же явственна банальная зависть к Булгакову: слушаешь такого «орателя» — и как будто поэт Рюхин воплотился.

Впрочем, меня как литературоведа фактор популярности того или иного автора мало интересует: они для меня важны «сами по себе». Классика не зависит от нашего культурного уровня; это мы зависим от нее. Булгакову все равно, читают его

или нет. А вот мы — если хотим быть духовно адекватны своей великой литературе — должны по возможности понимать, чем своеобразен и ценен каждый из ее «участников». Но для этого надо прежде всего говорить серьезно и обоснованно, не подменяя аргументы трескучей саморекламой.

5. В период, когда роман «Мастер и Маргарита» был впервые опубликован, евангельский сюжет на фоне советской литературы выглядел более чем экзотично. Роман о Понтии Пилате (текст Мастера) для многих сыграл роль суррогатного Евангелия и, учитывая умение Булгакова рисовать любые события убедительно и «достоверно», произвел поистине завораживающее впечатление. Судя по всему, состояние замороженности доминирует по сю пору. Во всяком случае, наше общественное сознание никак не может воспринять и переварить очевидный вроде бы факт: текст Мастера концептуально противоречит каноническим Евангелиям — они фабульно «похожи», но повествуют о разном. Причем Булгаков честно предупреждает об этом в первой же главе «Мастера и Маргариты», где речь идет о поэме Ивана Бездомного: «Иисус у него получился, ну, совершенно живой, некогда существовавший Иисус, только, правда, снабженный всеми отрицательными чертами Иисус». Я не имею в виду, что Иешуа в романе о Понтии Пилате тоже «отрицательный» — просто он «другой», нравится это кому-нибудь или нет.

Тут бы надо начать говорить о том, как я представляю себе суть романа «Мастер и Маргарита»; но это невозможно. Тех, кому интересно, отсылаю хотя бы к лекции на канале «Культура»: http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20898/episode_id/155526/video_id/155526/.

Что касается формулы «за или против» — напомним известную дневниковую запись А. П. Чехова начала 1897 года: «Между „есть бог“ и „нет бога“ лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец». Здесь, как правило, обрывают цитирование; между тем вторая часть записи интересна не меньше — а применительно к нашей теме, пожалуй, даже больше: «Русский человек знает какую-либо одну из этих двух крайностей, середина же между ними не интересуется его; и потому обыкновенно он не знает ничего или очень мало».

О чем тут речь? Как нередко у Чехова — о лени. Одна из ее форм — плебейский нахрап, пропагандистское упрощение; формула «за или против?» проистекает именно отсюда. И отсюда же — характерный для последнего времени общий стиль «массовых» суждений о Булгакове: торжествующая пошлость.

А конкретно о булгаковедческих штудиях А. В. Кураева я высказывался десять лет назад (<http://eajablokov.ru/rec1.html>), и мнение не изменилось. Разве что в ту пору бывший научный атеист занимался клерикальной пропагандой, а сейчас, кажется, дрейфует в обратном направлении.

6. Наверное, не скажу ничего оригинального: по «духу» близки к булгаковским текстам фильмы В. Басова «Дни Турбиных» (1976) и В. Бортко «Собачье сердце» (1988). Хороши некоторые актерские работы в картине А. Алова и В. Наумова «Бег» (1970), но фильм, по сути, не о том, о чем пьеса. А в основном экранизации (причем не только отечественные) производят впечатление малокультурности и вызывают эмоции в амплитуде от оторопи до отвращения. Один из таких фильмов разбирал довольно подробно: <http://eajablokov.ru/video1.html>.

7. Слово «традиция» не очень понятно. Эпигоны — были: скажем, В. Орлов с «Альтистом Даниловым». Были прямые подражатели — знаю, например, два продолжения романа «Мастер и Маргарита». Но можно также говорить о булгаковских мотивах и влияниях у «настоящих» писателей — например, у А. и Б. Стругацких.

Материалы Круглого стола подготовили И. Н. СУХИХ и А. М. МЕЛИХОВ



Лев АННИНСКИЙ

ЭХО ИДЕОЛОГИИ

Нередко приходится слышать: мы жили в обществе, иерархия которого была скреплена идеологией, жили в обществе с недостатком общих идей. Что в новом времени должно заполнить очевидную пустоту такого недостатка? Новая идеология? Вера? Прагматизм общества потребления?

Да сколько людей живут этим прагматизмом! Чтоб ежедневно был обед, и было где поставить стол, и чем заплатить. Но как только ежедневное обдумывание этих вещей называет себя поиском Смысла, — оно становится фарсом. Смысл — это другой уровень, уровень не называемый в ежедневной прозе жизни, то есть в тексте каждодневности.

Вера? Да, она нас возносит на некий высший уровень. Но где гарантия, что эта Вера — не перепев другой Веры, возникшей в другой ситуации и уже отслужившей свое в той другой ситуации?

Новая идеология? Вот это уже поближе к тому, чего мы лишились и без чего живем уже полвека. И как это у нас получается? Можно ли жить без Смысла, не называя Смысла, но подчиняясь ему по инстинкту выживания?

А может, не потому та или иная идея становится идеологической догмой, что ее авторы оказались умнее других авторов, а тут обратная зависимость: из вороха предлагаемых идей одна оказывается по вкусу народу, и он, народ, избирает эту идею, соглашаясь возвести ее в догму?

Почему сто лет назад социализм победил в сознании великих народов Европы? Что, поклонники Бисмарка, а затем Гитлера в Германии сработали там лучше других умников? А российские марксисты-ленинцы, а затем поклонники Сталина сменили мировой коммунизм на социализм в отдельно взятой стране, потому что страна показалась лучшей в мире? Призрак, бродивший по Европе, породил два социализма... Не потому, что те и эти были умнее всех, а потому, что выбор народов обусловил этот выхлест теории в идеологию. И немцы, и россияне интуитивно почувствовали приближение смертельной войны, и потому социализм оказался ими избран — как наилучший строй военного времени.

А сейчас — какой строй брезжит в идеологическом вакууме?

История человечества входит в какую-то новую стадию. В какую — неясно, но все чувствуют, что — в новую. По изумительно неотвратимой логике смены эпох.

Лев Александрович Аннинский родился в 1934 году. Критик и публицист, автор многих книг и статей о литературе, театре, кино. Лауреат премии журнала «Нева» (2013).

И логикой-то это не объяснить, скорее — мистикой. Вдруг гунны подымаются с мест и прорезают Евразию с Востока на Запад — до Дуная. Или путь из варяг в греки становится похож на прорыв фронта...

Нынешняя ситуация — не следствие ли векового взаимонависания народов? Любая перемена погоды (холод летом, оттепель зимой) побуждает миллионы искать путей к переселению. Жители французских колоний рвались из Африки — прорвались жители Сирии, и вот миллионные потоки беженцев полосуют Европу.

Новая геополитическая ситуация?

Да, новая.

Ее острее всех чуют приверженцы ислама, ищущие идеологического оправдания своему инстинкту. Инстинкт сильнее оправданий. Полвека Турция сидела тихо, угнездившись в американо-европейской послевоенной системе и помня заветы Ататюрка. И вдруг — словно с ума сойдя — сбивает российский самолет и вообще лезет на рожон через границы. Что это?.. Базисное ощущение народа, веками жившего в магометанской вере, вздыбилось из-под правил приличного поведения времен «холодной войны», — потому что забрезжила новая эпоха, — ее острее всех почувствовали мусульмане.

А европейцы-американцы, носители западной цивилизации, не чувствуют?

Чувствуют и они (то есть и мы с ними). И наш премьер, выступая в Германии, предупреждает от раскола, губительного в случае новой войны... И это — наш нынешний принятый словарь...

А встреча православного патриарха и римского папы — впервые в истории заявивших, что мы братья, а не соперники, — не та же попытка сплотиться в ситуации нависающего всемирного противостояния?

Дефицит смыслов тревожен, но он — не следствие государственных недоработок, а следствие состояния народа, предчувствующего глобальные перемены и еще не знающего, чем они обернутся. Различия неизбежны. Спасительно для культур — единство самоощущений. На него уповаем.

Литература — неперемное условие Смысла, который окажется найден. А дальше? Идея, овладевшая массами, неукротима в материальном изъятии силы. Съезды, шествия, парады, салюты, фейерверки и прочий цирк. Но первая реализация Идеи — словесная. Недаром сказано: В начале было Слово. Новая идеология найдет новые мифы. И только так появится.

Может ли и должно ли государство поддерживать (провоцировать) процессы формирования новой идеологии? Независимо от действий или бездействий в конечном итоге государство получит то, что выберет народ. А ответственность автора зависит от его ума. Безответственность — от возможности валять дурака. Умники и дураки обречены гореть вместе в пламени Истории.

Деидеологизация, получившая распространение в середине XX века, имела целью оправдание буржуазного объективизма и «беспартийности» в науке. Многие считают современную «идеологию рынка» «выгодополучателем» этой социологической концепции.

Деидеологизация — форма возможного обновления идеологии. Рынок — очередной фокус зрения. Бизнес — вариант перетекания энергии. Решит все-таки соотношение сил народов на новом историческом поприще.

Роли писателя и государства в создании идеологии неизменны.

Писатель предлагает, народ выбирает, государство оформляет и опошляет.

Все должны трудиться. И чиновники, и священники... И уж непременно — писатели, ибо из непрерывного потока словес, ими производимых, будет выбрано то, что позволит народу встретить новую эпоху во всеоружии.

Я понял, что человечество нельзя улучшить. Надо примириться с тем, каково оно есть. В природе человека природная агрессивность сосуществует с природной же солидарностью... Враждебность и любовь рядом. Вот и выбираешь...

Мой выбор — традиционные ценности русского сознания при неперменном сохранении нашей мировой всеотзывчивости.

ТЕРРИТОРИЯ ПАМЯТИ

Наталия ТЕРЕХОВА

БЕЗ ЮЛИИ СЛОВАРЬ НЕПОЛНЫЙ!

Галине Ивановне Любиной, моему доброму ангелу

Удивительные встречи дарит нам наша профессия! Каждый гид Санкт-Петербурга может похвастаться, что показывал город звезде зарубежного кино или известному европейскому политику, рассказывал историю реставрации «Данаи» искусствоведам из Флоренции или британским документалистам. Но бывают и встречи иного рода, которые оставляют более глубокий след.

Случай, который подтолкнул меня на исследовательскую стезю, произошел теплым сентябрьским утром на фотостопе у Смольного собора. Ко мне подошла моя американская туристка и спросила, как можно зайти в Смольный институт и получить личное дело ее прабабки, его выпускницы. Когда я объяснила, что архив с делами воспитанниц располагается совсем в другом месте, к тому же ее свободное время попадает на выходные в ЦГИА, она попросила меня оказать ей эту услугу в мое свободное время и написать ей, если что-то найду. И добавила, что о прадедушке знает все, а о прабабушке — кроме того, что она училась в Смольном институте — ничего не известно. Существует какая-то семейная тайна, даже на упоминание имени прабабушки наложено табу. «А прадедушка был революционер, но он был не с Лениным, а с тем, с которым Ленин потом разошелся во взглядах». — «С Плехановым?» — «Возможно. Прадедушку звали Владимир Дебогорий-Мокриевич». Так началась эта история, в которой соединилось множество людей, проживавших на территории Российской империи, Центральной и Западной Европы и «Североамериканских Штатов», как выразались в обществе моей Героини.

Туристка, американская актриса и педагог по актерскому мастерству в Питсбурге Ингрид Сонниксен оставила маленькую записочку с именем Julie Gortinsky и приблизительными датами ее обучения в Смольном.

Наталия Юрьевна Терехова родилась в 1962 году в Астрахани. Училась на факультете ПГС в Астраханском техническом университете, затем в Ленинградском политехническом институте им. Калинина на ФТК. Окончила Ленинградский государственный институт культуры им. Крупской в 1988 году. В 1992–1993 годах училась в Ohio State University, Columbus, Ohio, USA. Работала техническим переводчиком на Тенгизском нефтегазовом месторождении с 1993-го по 1999 год. С 1999 года работает гидом-переводчиком в Санкт-Петербурге.

Конечно же, на помощь пришли Интернет и Публичка, так что в архив я пошла уже достаточно подготовленной. Увы, Юлия Степановна Гортынская, выпускница Смольного 1848 года, никак не могла быть матерью Натали Дебогорий (1887–1838) и женой В. К. Дебогория-Мокриевича (1848–1926)! Перечитав внимательно «Воспоминания» Дебогория, где упоминалось только, что его жена была дворянка, а сам он дворянин Черниговской губернии, обратилась к дворянским родословным Черниговской губернии, где и нашла упоминание о роде Гортынских. Стала искать исследователей и биографов Дебогория, нашла московских историков, которые работали в его личном архиве, хранящемся в ГАРФ, и... оказалось, что ни в одном документе не упоминается фамилия его жены, только ее имя — Юлия Александровна, но ни одной биографической детали! Это меня подстегнуло, я начала более интенсивные поиски, но постоянно ходила по кругу: я узнала о талантливой семье Степана Ивановича Гортынского, деда моей Героини, о дядях и тетях Юлии, о ее двоюродных братьях и сестрах и ничего о самой Юлии! Было от чего отчаяться! И только благодаря моим добрым помощникам из Москвы и Чернигова, Киева и Геленджика, Женевы, Берна, Парижа, которые по моей просьбе проверяли данные в местных архивах, удалось соединить все ниточки воедино и написать то, что вы читаете ниже...

Принято считать, что биобиблиографический словарь-справочник «Деятели революционного движения в России» издательства Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев является самым полным и точным перечнем российских революционеров от народников до социал-демократов. К сожалению, даже в те годы, когда он создавался — а это период 1929–1934 годов, — объективность и точность оставляли желать лучшего. В этой статье я постараюсь восполнить одну из лакун и вернуть имя женщины, всецело посвятившей себя борьбе за «счастье человечества», как и многие революционерки, пожертвовавшей личным счастьем, счастьем жены и матери.

Юлия Александровна Гортынская родилась в Чернигове, в семье отставного майора Александра Степановича Гортынского и Александры Петровны Владимировой 15 мая 1860 года. Александр Степанович, по косвенным свидетельствам, участвовал в Крымской войне, был ранен, по ранению вышел в отставку вскоре после женитьбы. По указу императора Александра II каждый месяц службы во время обороны Севастополя приравнивался к году службы, так что Гортынской мог рассчитывать на хорошую пенсию. Причиной могла быть и достаточно удачная женитьба, поскольку Александра Петровна унаследовала имение в Черниговской губернии, села Жеведь и Козероги, дачный участок на Черном море в Геленджике, что давало небольшой, но стабильный доход. В семье родилось еще двое детей — Александр и Зинаида. В Чернигове жили сестры и брат Александра Степановича со своими семьями, все были в хороших, дружеских отношениях. По примеру своих двоюродных сестер Марии и Ольги Гортынских, дочерей врача, Юлия поступила в Киевский институт благородных девиц, который окончила «с серебряной медалью большого размера» в 1877 году.

В «Воспоминаниях» ее мужа Владимира Дебогория-Мокриевича, опубликованных в конце 1890-х в Париже, упоминается, что его жена долго боролась с родителями за право уехать в Швейцарию «учиться медицине». Думаю, вряд ли серьезная борьба имела место, так как Александр Степанович тяжело болел последние годы. Наиболее вероятно, что старшая дочь, получив высшее женское — на тот момент — образование в Киевском институте благородных девиц, пришла на помощь матери по уходу за больным отцом. Сомнительно, чтобы умирающий от туберкулеза отставной майор отговаривал дочь, обещавшую выучиться на доктора и вылечить

отца. Осенью 1878 года в Киеве наконец-то открылись Киевские женские высшие курсы, и 18-летняя Юлия поступила на физико-математический факультет, где среди естественно-научных дисциплин преподавали курс санитарии и гигиены. Но радость учения была недолгой: через полгода после начала занятий Юлии пришлось срочно выехать в Чернигов: 14 марта 1879 года 56-летний Александр Степанович скончался. (Только спустя три года, в 1881 году, Роберт Кох откроет возбудителя туберкулеза, а первый противотуберкулезный препарат — стрептомицин — будет получен лишь в 1943 году.) Юлия возвращается в Киев и продолжает учиться до 1881 года. 1881 — переломный год в биографиях многих молодых людей того времени. Убийство Александра II, суд над первомайцами, их публичная казнь на Семеновском плацу в Петербурге, множество рисунков с места событий и цитаты речи Андрея Желябова, распространившихся по России, — все это сыграло роль пускового механизма для пересмотра взглядов и целей российской молодежи, в том числе и для Юлии.

По документам Охранного отделения, где в 1894 году на Юлию завели «дело», в 1881 году, не окончив последний, четвертый курс, она уехала в Швейцарию или Францию. Архивы университетов Цюриха, Берна, Гейдельберга и Женевы ответили отрицательно на вопрос, была ли у них русская студентка Юлия Гортынская в период 1881—1887 годов. Ни на медицинском, ни на естественно-научном факультетах такой студентки не значится. Архивным данным стоит доверять, поскольку эти же архивы подтвердили обучение двоюродной сестры Юлии — Ольги Васильевны Гортынской — в Гейдельберге, Берне и Женеве. В деле присутствует также объяснительная записка матери Юлии о том, что дочь училась в колледже Святого Людовика в Париже, но архив колледжа тоже ответил отрицательно. Скорее всего, обучение в Европе — красивая «легенда» профессиональной революционерки. В реальности — вероятное знакомство с Дебогорием-Мокриевичем в Женеве, в пестрой русской колонии эмигрантов и студентов, где земляки легко находили общий язык, а такая яркая личность, как Владимир Дебогорий-Мокриевич, только что бежавший из сибирской ссылки, в ореоле мученика за правое дело и близкого друга многих арестованных первомайцев, конечно же, не мог не обратить на себя внимание прогрессивно настроенной смелой молодой девушки.

Предыдущий гражданский брак Дебогория с его соратницей Марией Ковалевской (Воронцовой) распался с арестом обоих в Киеве в 1879 году. Имело ли место венчание Юлии и Владимира, где оно состоялось — неизвестно. Единственный достоверный факт был предоставлен мне их правнучкой, американской актрисой Ингрид Сонниксен: это было свидетельство о рождении «Натали Дебогорий-Мокриевич, законной дочери Владимира Дебогория-Мокриевича из Луки-Барской и Юлии Гортынской, которая родилась 15 апреля 1887 в кантоне Пленпале, Женева, Швейцария». Что происходило с Юлией и Владимиром в этот шестилетний период — с 1881-го по 1887 год — неизвестно. Оба они появляются на исторической сцене вновь в 1887 году в Женеве.

49-летний Владимир Карпович понимал, что философия народничества с уходом целого поколения потерялась в других философских течениях, но принять народовольческую модель он не мог, так как в принципе не принимал яacobинские, централистические теории. «В политическом отношении мы стояли за анархию, за последовательное проведение федеративного принципа до его крайних пределов, — свободного договора личностей при составлении общины», — пишет он в «Автобиографии». Желая выразить себя и быть услышанным, в 1887—1889 годах он принимает участие в издании газеты «Самоуправление» и журнала «Свободная

Россия». Группа авторов была солидна: совместно А. С. Белевским, О. Н. Флоровской-Фигнер, Н. К. Михайловским, В. Л. Бурцевым в газете сотрудничали П. Л. Лавров, С. М. Степняк-Кравчинский, И. И. Добровольский, М. П. Драгоманов. С Драгомановыми Дебогории дружили семьями. Из переписки Дебогория-Мокриевича с Михаилом Драгомановым понятно, что его жена Юлия Александровна принимала активное участие в работе редакции: принимала и читала рукописи, занималась корректорской правкой и редактурой, вела переписку с авторами.

Помимо этого, Юлия часто исполняла роль связной между российскими политэмигрантами и революционерами — подпольщиками, работающими в России. Описание Юлии, путешествующей с малолетней дочерью, использующей ребенка для создания образа благонадежной дамы, весьма типично для «новой женщины»: она следует моде, одета элегантно, но просто, и только короткая стрижка и пенсне дерзко выдают «ученую женщину», бывшую курсистку. Интересно, что даже девочка всегда была коротко пострижена, как и мать. Был ли это вызов российским полицейским, желание подразнить, обратив на себя внимание намеренно? До 1895 года Юлия довольно часто приезжала в Россию, и география ее передвижений обширна. Письма ее, сохранившиеся в ее деле, говорят о характере прямом и открытом. Она вежлива и корректна, но достаточно точно умеет обрисовать ситуацию и объяснить, в чем и почему не согласна с оппонентом. Умение тактично объяснить, отказать или попросить переделать высоко ценилось ее мужем. Но часто нужно было просто тайно перевести, передать, забрать и вывести из России письма и статьи. И Юлия с дочерью «путешествуют».

В 1890 году Дебогорий переезжает поближе к России — в Болгарию, где курсирует между Старой Загорой и Филиполисом, а Юлия с дочерью на пару недель заезжает в Петербург. Объявляет знакомым, что едет в Москву, а на самом деле возвращается в Болгарию для короткой встречи с Дебогорием, обменивается письмами и снова едет в Россию, а затем в Киев, Чернигов, Полтаву. Конечно же, такие частые поездки не могли не привлечь внимание полиции. В 1891 году главе заграничной агентуры ДП в Париже П. И. Рачковскому идет запрос — собрать данные на жену Дебогория-Мокриевича в Болгарии.

В 1892 году Дебогорий едет в США по паспорту болгарина Стойменова, где получает гражданство. Юлия с дочерью сопровождают его в этой поездке. С 1890-го Юлия тоже имеет заграничный паспорт на имя Юлии Стойменовой. Натали Дебогорий позднее переведет часть воспоминаний отца, а именно несколько глав о детских годах, назвав их «Когда я в детстве жил в России», переведет их немного неуклюже, как человек, плохо знакомый с реалиями русской жизни, не совсем точно понимающий значение местных словечек, оттенков многозначных слов, зависящих от контекста. Эту работу она объясняет тем, что отец, прожив несколько лет в США, так и не выучил английский. Для нас эта деталь важна: это значит, что Юлия также была его переводчиком все время пребывания в США и Великобритании. В 1894 году, не сойдясь с местными социалистами и русской эмиграцией, Дебогорий возвращается в Европу: сначала в Париж, где вместе с Егором Лазаревым, с которым познакомился еще в США, принимает участие в создании «Фонда вольной русской прессы» с центром в Лондоне, затем — опять по идейным расхождениям с лондонской эмиграцией — в Болгарию, и на сей раз навсегда. Юлия снова выполняет функции связной. Поскольку «болгарин Стойменов», женившийся на русской, успел получить американское гражданство, то и Юлия теперь — жена гражданина Соединенных Штатов.

Но к 1895 году собранных данных в ДП уже достаточно. Как только поступает свежий донос о сходке эмигрантов у Дебогориев, где обсуждалась организация доставки нелегальной литературы в Россию, изготовление фальшивых паспортов,

производство бомб, планы террористических актов и т. п., выходит полицейский циркуляр задержать Юлию при очередном пересечении границы Российской империи и обыскать на предмет тайных писем или запрещенных книг. Ее предупреждают, что она «раскрыта», но не ехать нельзя.

Весной 1895 года она приезжает с дочерью в Киев, где останавливается в доме своей младшей сестры, вышедшей замуж за врача Михаила Яценко-Хмелевского. Там ее наконец настигает полиция и требует предъявить документы. Забавно, что сохранилась объяснительная пограничников, почему Юлия не была задержана на границе: в циркуляре было написано «Юлия Стоименова», а женщина, которую они пропустили, имела паспорт на имя «Юлии Стойменовой». Спустя почти 120 лет сотрудники ЦРУ напишут такое же объяснение, почему они не вняли предупреждению российских спецслужб о террористической деятельности Джохара Царнаева, виновного во взрыве на Бостонском марафоне: приехав навестить родителей в Россию, он получил новый загранпаспорт, где по лингвистическим нововведениям нашего ОВИРа от 2010 года его фамилия была переведена с разницей в одну букву!

Когда недоразумение с разночтением фамилии было выяснено, Юлия и все ее родственники находились под негласным надзором полиции до окончания следствия. Главным и самым сложным было доказать, что на самом деле Юлия Гортынская — жена политического преступника Дебогория-Мокриевича и причастна ко всей его криминальной деятельности. Но поскольку все обвинительные факты представляли собой лишь агентурные отчеты, прокурор обратился с просьбой к черниговскому губернатору, предлагая изящный выход из положения. В своем докладе он предложил:

«Принимая же во внимание, что названное лицо называет себя женою иностранного подданного и живет по иностранному документу, Департамент, ввиду имеющихся указаний на политическую ее неблагонадежность и поручений, принимаемых ею в России, полагает необходимым выслать ее безвозвратно за границу, с запрещением вновь въезда в пределы Империи, согласно ст. 313, т. II, ч. I. Св. Зак. изд. 1892. На произведение сего предложения в исполнение Департамент имеет честь испрашивать разрешения Вашего Высокопревосходительства. Директор Сабуров».

Резолюция была предсказуема: «Исполнить. 18 авг. 1895 г.». Помимо этого, издается распоряжение начальника ДП о немедленном аресте Юлии, если она попытается въехать на территорию Российской империи под своей девичьей фамилией или фамилией фактического мужа Дебогория-Мокриевича. Все-таки один «странный» документ был изъят у Юлии при обыске — записка: «Крепко целую тебя, моя Тусечка милая. Пишу мало, потому что тороплюсь. Твой папа. Старая Загора». Записка, которая наводила на мысль и о Дебогории, который частенько жила в Старой Загоре, и о том, что Тусечка — это восьмилетняя дочка Юлии и Владимира — Наталия, Натуся, Туся...

Конечно же, это был не только провал всех задуманных комбинаций по пересылке агитационной литературы, тайных писем, денежных пособий, сбора материалов для издания и т. п., но и потеря личной свободы передвижения, общения с родными и близкими. Для «анархистки» — как характеризовал ее некто Сергеев, агент, регулярно строчивший доносы на действия и передвижения Владимира Дебогория и семейства Гортынских, — это было совершенно неприемлемо, и Юлия немедленно начинает борьбу за свое право быть «въездной» и «благонадежной». 20 февраля 1896 года через Американское консульство в Лондоне Юлия подает прошение на

имя Николая II, надеясь, что недавно потерявший отца император оценит желание дочери быть рядом с престарелой больной матерью. Аналогичное прошение Юлия подает на рассмотрение в Сенат, апеллируя к тому, что инкриминируемая ей статья — высылка сомнительного поведения иностранной гражданки — основана на ложном подозрении. 8 июля 1896 года мать Юлии, Александра Петровна Гортинская, подает прошение на имя Александры Федоровны, которое вряд ли дошло до императрицы, полностью поглощенной заботами о восьмимесячной дочери, первом ребенке императорской четы.

Было наивно полагать, что за границей нет осведомителей, и вести себя неосторожно, то есть свободно, как понимала это Юлия. И уже 21 августа 1896 года Департамент полиции получает донесение, что Юлия Стойменова прибыла из Лондона к мужу в Старую Загору. Что и требовалось доказать! Вдова майора А. П. Гортинская получает уведомление от губернатора Черниговской губернии, что ее ходатайство императрице отклонено. А в ответ на прошение Юлии императору и жалобу в Сенат был издан специальный Указ Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского от 20 августа 1896 года:

«Имея доказательства ее неблагонадежности и опираясь на ее иностранное гражданство бывший министр внутренних дел Дурново на основании ст. 313 принял решение „удалить ее как неблагонадежную иностранку безвозвратно за границу с воспрещением вновь приезда в Россию“.

Постановили: ссылаясь на ст. 313, согласно которой иностранцы по каким-либо причинам нежелательные в пределах России могут быть высланы за границу, решили, что жалоба Стойменовой рассмотрению в Сенате не подлежит и должна быть оставлена без рассмотрения».

Более высокой инстанции не существует. Борьба окончена. Конечно, нужно учитывать, что Юлия получила сей ответ не быстро. Но как только получила — поняла, что терять больше нечего. Очередной филерский доклад извещает, что 4 сентября 1897 года Юлия выехала с дочерью из Старой Загоры в Лондон.

Год был очень насыщенным, Юлия много писала, много спорила. Всего год прошел со времени Международного социалистического конгресса в Лондоне. Увы, попытка объединить разрозненные силы противников самодержавия с помощью общей цели не удалась: споры о методах борьбы были возведены в собственно цель, которая «оправдывает средства». Переписка Юлии с соратниками по партии представляет собой продолжение бесконечной полемики, начатой десятилетия назад. «Анархисты признавали необходимым полное разрушение государства как авторитарного учреждения, отрицали благотворное влияние власти, в чьих руках она бы ни была, и полагали, что действительное равенство может осуществиться только по свободному соглашению между людьми, а никоим образом не путем государственных декретов и реформ», — охарактеризует позднее Дебогорий ответ на вопрос «Что делать?». А Юлия, судя по сохранившимся редким письмам, полностью поддерживала мужа. Буквально через месяц после приезда в Лондон она обрушивается на бывшего соратника Дебогория и Драгоманова по издательскому делу в Женеве В. Бурцева, который в своей статье в новом органе «Народоволец» вновь призывает к террору: «...доказать гг. народовольцам необходимость террора — вещь хорошая». Но статья, по ее мнению, не учитывает сегодняшних реалий и не может вдохновить кого-либо на теракт: «Я думаю, нельзя отрицать скептицизм и отсутствие способности увлекаться, присущее теперешнему поколению, — это подтверждается не только личными впечатлениями, но и фактами. Неужели Ходынская катастрофа или история с Ветровой менее ужасна, чем сечение Боголюбова? А ведь и Бурцев не будет

отрицать, что последний факт был причиной выстрела Засулич, а не всякое суждение о терроре. Я уже не касаюсь нравственной стороны вопроса об этом». Еще через месяц — в ноябре 1897-го — сообщает мужу о продолжающихся разногласиях в пестрой эмигрантской среде: бывшие «чайковцы» нападают на Плеханова, а попытки нейтрализовать битву старых народовольцев и марксистов ведут лишь к ужесточению споров в печати. Так что, даже пребывая на окраине Европы, в болгарском городке Чирпан, Дебогорий был в курсе всех событий и получал через Юлию не только нелегальные издания и тайные письма, но и передавал свои статьи, рассказы, мемуарную прозу, и верная духом Юлия не только редактировала их, но умела убедить издателей напечатать их.

В архивах Гуверовского института есть довольно большая коллекция документов Парижского бюро ДП: донесения секретных агентов практически со всей Европы и США на известных революционеров с 1887-го по 1917 год. Очень любопытно, как меняются названия отчетов. Если в 90-е, во время активности нашей героини, преобладают названия с данными о пересылке нелегальной литературы, о тайных сходках и митингах эмигрантов, приказы об их высылке или аресте, то отчеты периода 1900—1917 годов — о пересылке взрывчатых веществ, покупке бомб и ручных гранат, фрахте кораблей для перевозки взрывоопасного груза и т. п. Последний год, когда имена Дебогория и Гортынской фигурируют в сводках, — 1897.

Есть, правда, одна ниточка: письма писателя Михаила Коцюбинского, мужа двоюродной сестры Юлии — Веры Дейши-Коцюбинской. В одном из писем 1900 года он просит знакомого отправить Юлии несколько экземпляров своей книги «В путях шайтана» на адрес лондонской гостиницы, сделав приписку, что она часто переезжает и ее там может и не быть. Другое письмо — жене Вере от мая 1905-го. Хотел связаться с эмигрантами по какому-то вопросу через Юлию, будучи проездом через Женеву, пошел ее навестить, но оказалось, что младший брат Юлии, Александр Гортынский, дал неверный адрес. Косвенные свидетельства, но все же свидетельства политической активности в эти годы.

Следующий раз, когда имя Юлии Гортынской появляется в донесениях ДП, относится к маю 1907-го. Как и многие, воспользовавшись амнистией политзаключенных и политэмигрантов, она возвращается в Россию. К этому времени пережито многое. Не только разочарование в философии народничества и неприятие марксизма, но и разрыв с мужем, отказ дочери от какого-либо общения с матерью привели Юлию домой, на родину. Если «известный государственный преступник и эмигрант» В. К. Дебогорий-Мокриевич к тому времени уже потерял всех родных в России и был счастлив перепиской с единственной дочерью, которая к 1907 году вышла замуж за легендарного американского журналиста Альберта Сонниксена, то Юлия Александровна испила всю горечь утраты ребенка, который отказался от родной матери. Это была оборотная сторона «верности революции». В 10 лет Наталию отдали в закрытую английскую школу, и этот поступок матери дочь восприняла как предательство и никогда не простила. (Удивительно, но самой Натали Дебогорий предстояло повторить печальную судьбу своей матери: в 1919 году состоялся ее скандальный развод с мужем, получившим права на воспитание их единственного сына Эрика. Как и ее мать, Натали топила тоску по ребенку в политической активности и оставила свой след в истории как первый переводчик на английский «Протокола сионских мудрецов», а также связями с ЦРУ, работая с Борисом Брасо-лем, Солом Юроком и др.)

Вернувшись в Россию, Юлия Александровна с головой окунулась в новую борьбу и вступила в новое братство — толстовцев. Думается, что первые ростки заронил Е. Е. Лазарев еще в Париже в 1894-м, рассказывая о своей встрече с Л. Н. Толстым

в Ясной Поляне, о своих беседах с великим писателем и его взглядах на христианство. Затем было участие в английских толстовских коммунах: в 1898 году посетивший издателя «Свободного слова» В. Г. Черткова друг и личный секретарь Л. Н. Толстого Х. Н. Абрикосов с удивлением обнаружил, что «вокруг Чертковых сгруппировалась небольшая русская колония». И среди перечисленных им многих своих знакомых есть и «жена народовольца Дебагория-Мокриевича с дочерью, которая все старалась спропагандировать меня и не давала мне буквально проходу, чтобы не остановить меня и не внушать мне свои идеи». Юлия вступает в Киевское вегетарианское общество, среди членов которого известный художник И. Е. Репин с супругой, участвует в жизни вегетарианской общины Киева, занимается вегетарианской столовой вместе с М. М. Пудавовым, но главное, конечно, это то дело, к которому она привыкла и любила, — редактирование статей киевского журнала «Вегетарианское обозрение», перевод с английского и подготовка материалов к печати. Почти постоянно Юлия Александровна избирается секретарем Вегетарианского общества, а с 1911 года — и его председателем. Пудавов знакомит Юлию с И. И. Горбуновым-Посадовым, одним из соучредителей «Посредника», и Юлия становится одним из сотрудников этого издательства. Она много переводит, в основном популяризаторские книги и брошюры по санитарии и гигиене, но также берется и за перевод учебников по химии и биологии. В РНБ мне удалось разыскать книжечку известного английского врача Т. Алинсона «Гигиеническая медицина» 1915 года, где среди выходных данных значится «Перевод Ю. Гортынской».

Следует сказать, что популяризацией вегетарианства Юлия Александровна занималась и лично, среди родных, друзей и знакомых. Думается, не без влияния Юлии уже упоминавшийся ранее писатель Михаил Коцюбинский в декабре 1911 года, в гостях у Максима Горького на Капри, державшего широкий стол для своих гостей, неожиданно пишет небольшой рассказ «Письмо», от первого лица описывая прозрение мясоеда, осознавшего весь ужас убийства животных. Описание приготовления пасхального обеда представляет собой натуралистическое изображение убийства поросенка, его потрошение, сливание крови и т. п., что невольно вызывает чувство омерзения ко всему творимому с невинным братом меньшим всего лишь для удовлетворения чувства голода. Рассказ был немедленно напечатан в черниговской газете «Рада», затем — отдельной брошюрой и, наконец, в седьмом номере следующего, 1912 года «Вегетарианского вестника». Как свидетельствуют его собственные письма родным, он на самом деле стал вегетарианцем в эти годы.

С мая 1913-го Юлия Александровна вместе с матерью проживает в Геленджике, где еще с 90-х годов XIX века существуют вегетарианские общины. Она много ездит по стране, помогая с организацией вегетарианских столовых, рассказывая об опыте киевлян, агитируя и пропагандируя издания «Вегетарианского вестника» и брошюры «Посредника». Но и толстовство у нас преследуется! 6 мая 1914 года местное жандармское управление получает ответ на вопрос, следует ли снять наблюдения с Гортынской ввиду ее пожилого возраста (15 мая 1914 года ей исполняется 54 года):

«Ввиду наличия в ДП сведений о прошлой серьезной революционной деятельности Ю. А. Гортынской осуществление дальнейшего наблюдения за нею является необходимым».

Первая мировая война и революционные события 1917 года прерывают активную работу шпиков, и неизвестно, как пережила Юлия следующие шесть лет — с 1914-го по 1920 год. Мы можем только предположить, что, как и все члены Киевского вегета-

рианского общества, собирала средства на организацию госпитальных палат, перечисляла деньги на личные счета инвалидов и т. п. В эти годы она много переводит, в «Вегетарианском вестнике» за 1914 год опубликовано два ее перевода (статьи по вегетарианству), в 1915-м — три, в 1916-м — два.

В 1920 году Юлия Александровна — сотрудница библиотеки Министерства труда Украины в Харькове. Голод, невыплаты зарплаты, да и сама ситуация Гражданской войны явно не представляет собой так желаемую свободу, равенство и братство. В это время в Киеве академик Вернадский, хороший знакомый и коллега ее двоюродной сестры Марии Васильевны Павловой-Гортынской, первой женщины профессора-палеонтолога Московского университета, занимается созданием Национальной библиотеки Украины в будущей столице — Киеве. Он заботится не только о создании уникальной книжной коллекции, но и подбирает высококвалифицированные кадры. А чтобы удержать их, он добивается замены зарплаты — тающих от инфляции дензнаков — продовольственными пайками. И Юлия, преодолев себя, обращается к нему за помощью: просит принять на работу во вновь создаваемую библиотеку. В дневниках Вернадского сохранилась коротенькая пометочка о том, что «приходила Гортынская — сестра М. В. Павловой». Есть также запись в протоколе № 57 заседания Временной комиссии по образованию Национальной библиотеки в Киеве от 2 мая 1919 года о рассмотрении просьбы Гортынской о принятии ее на работу в библиотеку: «п. 29. Оголошується прохання про посади Гортынської, Романенко-Араджіані та Цишовича. Постановлено: прилучити до інших прохань щодо розгляду». Но проверка списков сотрудников НБУ за 1919—1920 годы показала, что Юлии было отказано в приеме на службу. Вернадский ищет молодые кадры, а Юлии уже 60.

Последнее о Юлии Гортынской мы узнаем из письма ее невестки, жены брата Александра — Зинаиды Васильевны Гортынской, адресованное М. В. Павловой. Оно датировано мартом 1933 года: «Юлия живет в Геленджике. Она очень одинока, и жизнь ее нелегка... Она ведь очень хороший человек...»

Литература:

1. Історія Київського Інститута Благороднихъ Дѣвиць, 1838—1888 г. — КІЕВЪ: Типографія С. В. Кульженко, 1889.
2. ДАК. Ф. 244 (Киевские высшие женские курсы). Оп. 1, ч. 1, дело 167.
3. Морозова А. В. Чернігів і відомий, і невідомий // Сіверянський літопис. — 2012. — № 1—2. — С. 43—46.
4. Дебогорий-Мокриевич В. К. Автобиография // Энциклопедический словарь Гранат. — Т. 40. М., 1940.
5. ГАРФ. Ф. Р6225. Дебогорий-Мокриевич В. К. (Псевдоним «Петр Каблуков»), участник революционного движения 1870-х гг.
6. Hoover Institution Archives. Russia. «Departament politsii. Zagranichnaia agentura (Paris) Okhrana records 1883-1917» — <http://www.oac.cdlib.org>
7. ГАРФ. Ф. 102.00 (Особый отдел). Оп. 226. 6 ч. № 239.
8. РГАЛИ. Ф. 122. Оп. 1.
9. АРАН. Ф. 311. Оп. 3, ед. 61. «М. В. Павлова. Частная переписка».
10. Лазарев Е. Е. Моя жизнь. Воспоминания. — Прага, 1935.
11. Коцюбинская И. М. Михаил Коцюбинский. — М., 1969.
12. Вернадский В. И. Избранные работы в 2 т. — Киев, 2011.
13. Абрикосов Х. Н. Двенадцать лет около Толстого (Воспоминания) // Л. Н. Толстой: К 120-летию со дня рождения (1828—1948). М., 1948. Т. 2. С. 377—463.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Альберт ИЗМАЙЛОВ

«КАК ИНОГДА БЫВАЕТ ХОРОШО И СТРАННО ЖИТЬ!»

Издавна люди уважали
Одно старинное звено,
На их написано скрижали:
«Любовь и Жизнь — одно».
Н. Гумилев

Неприметный двухэтажный каменный дом желтого цвета стоит на Приморском шоссе в Зеленогорске. На нем нет никаких памятных табличек. Лишь номер 559/1. И немногие помнят и знают, что в июле 1914 года здесь располагалось кафе-отель «Идеал». В нем останавливался поэт Николай Степанович Гумилев. По лестнице в два марша он поднимался на второй этаж в свой гостиничный номер, точнее, комнату, которую он «снял за рубль».

За окном еще теплились тени белой ночи и окутывали все вокруг. Вечер покрывал бархатом ресницы сосен, еле видная луна одела его в серебро. Он был доволен, что покинул душный Петербург и очутился здесь.

Он вышел на улицу, спустился к морю. Волны облегали прибрежные камни и сохли на еще теплом песке. Можно было отдохнуть от городского рокота, от шумных поэтических бесед, там, на углу 8-й линии Васильевского острова. Там недавно он встречался с Михаилом Лозинским, Владимиром Шилейко. Говорили о литературных баталиях, строили планы на осень...

А здесь, на прибрежном берегу, чайка машет крыльями, балансируя под ветром, и вдруг внезапно падает в волны и поднимается с рыбешкой в клюве. Так и поэт, словно чайка, кружит в текучих волнах будней, ловя ускользящее слово...

Закат. Как змеи, волны гнутся,
Уже без гневных гребешков,
Но не бегут они коснуться
Непобедимых берегов...

Быть может, прежде волн уже родился рокот. Быть может, прежде встреч уж родился соблазн?

Альберт Федорович Измайлов родился в Ленинграде в 1937 году, житель блокадного Ленинграда, кандидат филологических наук.

Среди прибрежных сосен он вдруг услышал звонкий девичий смех, в блеклом свете различил фигуры двух молодых людей и девушки. Приблизившись, узнал поэта Михаила Долинова. Они обнялись. Вместо приветствия, как водится у поэтов, прочитали друг другу свои стихи. Долинов произнес:

...Или в сырой тени боскетов,
С любимой девушкой вдвоем,
Читаем признанных поэтов,
Глядясь в глубокий водоем...

Гумилев, взглянув на его спутницу, не в такт ему ответил:

Любовь их душ родилась возле моря,
В священных рощах девственных наяд,
Чьи песни вечно-радостно звучат,
С напевом струн, с игрою ветра споря...

В этих ответных строках прозвучал какой-то прозорливый намек. Казалось, между Гумилевым и Верой Алперс, так звали девушку, пробежала какая-то вспыхнувшая искра. Казалось, какая-то певучая сила подтолкнула их друг к другу. В прозрачном морском воздухе послышалась легкая нотка флейты, словно льнувшая к скрипичной мелодии Баха, словно журчащий ручей встретился с морской волной.

Михаил Долинов познакомил Гумилева со своими спутниками. Условились встретиться завтра здесь, на берегу, у теннисного корта.

Вернувшись в свою комнату, Гумилев принялся было за неоконченный рассказ о недавних встречах в прибалтийской Либаве. Но не писалось. Отложив рукопись, стал писать письмо Анне Ахматовой в Дарницу: «Милая Аничка, думал получить твое письмо на Царск<осельском> вок<зале>, но не получил. Что, ты забыла меня или тебя уже нет в Деранже? Мне страшно надоела Либавка, и вот я в Териоках. Здесь поблизости Чуковский, Евреинов, Кульбин, Лозинский, но у последнего не сегодня-завтра рождается ребенок. Есть театр, в театре Гибшман, Сладкопевцев, Л. Д. Блок и т. п. Директор театра Мгебров (офицер).

У Чуковского я просидел целый день: он читал мне кусок своей будущей статьи об акмеизме, очень мило и благожелательно. Но ведь это только кусок и, конечно, собака зарыта не в нем! Вчера беседовал с Маковским, долго и бурно. Мы то чуть не целовались, то чуть не дрались. Кажется, однако, что он будет стараться устроить беллетристический отдел и еще разные улучшения. Просил сроку до начала августа. Увидим! Я пишу новое письмо о русской поэзии — Кузмин, Бальмонт, Бородаевский, может быть, кто-нибудь еще. Потом статью об африканском искусстве. „Иру“ бросил. Жду, что запишу стихи. Меланхолия моя, кажется, проходит. Пиши мне, милая Аничка, по адресу Териоки (Финляндия), кофейня „Идеал“, мне. В этой кофейне за рубль в день я снял комнату, правда, не плохую. Значит, жду письма, а пока горячо целую тебя. Твой Коля. Целую ручки Инне Эразмовне»¹.

Утро озолотило солнечным светом стекла домов. Легкий свежий ветерок нес прохладу. Николай Степанович отправился к теннисному корту. Там Михаил Долинов уже играл второй гейм с доктором Шиловым. Вера Алперс сидела на скамье и «болела» за Михаила. Он выиграл первый гейм и вел в счете во втором. Николай Степанович поздоровался с Верой и присел рядом. Стал рассказывать о недавней экспедиции в Африку, об опасных охотах, темнокожих колдунах, крокодилах

¹ Н. Гумилев и А. Ахматова. Статьи. Письма. 1913–1917 // Новый мир. 1986. № 9. С. 221–222.

и львах. Неизвестно, чем он еще ее увлек, но они вдвоем вышли на берег и пошли вдоль моря. Вышли к дому, где он остановился, поднялись на второй этаж...

Позднее об этой встрече Вера Алперс писала в своем дневнике: «Он, конечно, влюблен в меня. И я это чувствовала, Откровенно говоря, я трусила. Я даже посмотрела на задвижки окон... Разговор был очень интересный. В общем, все это довольно гадко. Он мне совершенно не нравится. Конечно, приятно покорить людей хоть на время, только долго возиться с ними неинтересно. Вчера был страшно хороший день. После обеда мне так весело было играть в теннис с Долиновым. Мы, как дети, играли. А когда стемнело, я сидела с доктором у моря. Он очень интересный. Он, пожалуй, лучше всех. Наши все смеялись над моим поведением...»

Семья Владимира Михайловича Алперс (1863–1921) принадлежала к просвещенному дворянству. Библиотека, книги становились неотъемлемой частью жизни членов семьи как что-то живое, как спутники, как друзья. Пушкин, Тютчев, Фет, Полонский, Достоевский, Чехов, Александр Блок... Театр приходил к Алперсам, как «окно» в жизнь. Владимир Михайлович был музыкантом-любителем, выступал в печати с критическими статьями на музыкальные темы, писал музыкальные произведения. Его сочинения знали и слышали П. И. Чайковский и А. К. Глазунов.

Вера Владимировна Алперс (1892–1982) была пианисткой, окончила Санкт-Петербургскую консерваторию, преподавала в школе имени Н. А. Римского-Корсакова и Музыкальном училище при Ленинградской государственной консерватории. Долгие годы дружила с композитором С. С. Прокофьевым.

Борис Владимирович Алперс (1894–1974) был специалистом в области театрального искусства.

Сергей Владимирович Алперс (1896–1931) был пианистом, окончил Петроградскую музыкальную консерваторию. Его игру высоко оценивали лучшие музыканты 20-х годов XX столетия.

Всеволод Владимирович Алперс (1910–1956) был крупным специалистом в области экспериментальной ядерной физики.

Владимир Михайлович Алперс был железнодорожным инженером, работал на строительстве Финляндской железной дороги, и неудивительно, что его семья в 1912 году поселилась на лето в Териоках близ моря в двухэтажном доме, на горе Пето. Вокруг было много зелени, птиц, извилистых прибрежных берегов. Бесконечная морская даль открывалась взгляду, шумели волны, прибой. Однажды на дачу пришла подруга Веры Алперс по консерватории Белка Назарбекова. Пришла с просьбой от режиссера териокского театра Всеволода Эмильевича Мейерхольда, который ставил музыкальный спектакль «Арлекинады» и ему нужны были пианисты. Отец Веры Владимир Михайлович эту просьбу отклонил, ему не хотелось, чтобы его юные дочь и сын Сергей вращались в обществе артистов. На следующий день к Алперсам с аналогичной просьбой пришел директор териокского театра Александр Мгебров. Владимиру Михайловичу пришлось уступить. После этого Вера Алперс почти ежедневно бывала в театре на репетициях и спектаклях, Мейерхольд к ней относился чрезвычайно внимательно, что не всем артистам нравилось. Ей пришлось по душе постановка пьесы «Поклонение кресту» Педро Кальдерона, интересная, выразительная игра Александра Мгеброва, ее увлекли поэтика и театральность испанской барочной драматургии. В драме отразилось все, что так свойственно молодости: неукротимый темперамент, возвышение чувственности над моралью.

Обо всем этом Вера Алперс рассказала Николаю Гумилеву. После первой встречи Николай Гумилев и Вера Алперс стали видеться ежедневно, то на море, то на теннисном корте, то в театре. Сравнивали театр с «прекрасной сказкой», которую слы-

шали и видели в детстве, в большом и уютном доме: «те же голубенькие платья, милые улыбки, реверансы и розовые бантики». Обсуждали постановки териокского «Театра товарищества актеров, писателей, художников и музыкантов», говорили о том, что актера не нужно поучать, а нужно только любить, заставляя трепетать человеческие души и сердца. Вспоминали спектакль «Незнакомка» Блока, который тогда, в театральных кругах, вызвал много шума и разговоров как одна из оригинальнейших постановок. В литературном и театральном мире имена А. Блока, В. Мейерхольда, А. Стриндберга определяли состояние и развитие эпохи модерна.

О теле, о языке тела в то время говорили постановки прибрежных театров, созданных в Териоках, Куоккале. И одной из тем разговоров Николая Гумилева и Веры Алперс была недавняя постановка пьесы Стриндберга «Виновны — невиновны?». Театр в Териоках располагался в большом доме на берегу залива, бывшей даче американского посланника — вилле Лепони. В репертуар териокского театра была включена неизданная пьеса Стриндберга «Виновны — невиновны?», запрещенная в России.. На спектакль приехала дочь Стриндберга — Карин, приехала с мужем — Владимиром Мартыновичем Смирновым, который жил и работал в Стокгольме. На спектакль в Териоки они были приглашены поэтом Владимиром Пястом и прибыли из финского городка Ловисы, где проводили лето, где в свое время творил финский композитор Ян Сибелиус, где переплелись судьбы многих семей из России, Финляндии, Швеции.

О постановке пьесы Стриндберга «Виновны — невиновны?» в териокском театре Карина Смирнова вспоминала: «Мы приехали в Териоки дневным поездом под вечер, и нас сразу окружили любезные, но очень молчаливые и почтительные молодые артисты. Они, видимо, сомневались, выражать ли нам соболезнование по поводу недавней смерти Стриндберга или нет, и потому только бормотали что-то непонятное и пожимали нам руки. Дольше всех с нами оставался Александр Блок, остальные вскоре удалились на дачу, предварительно заверив нас, что Блок — это тот поэт, которым они восхищаются. Вскоре нас провели в зал, где была устроена импровизированная сцена. Там должны были сыграть акты из драмы «Виновны — невиновны?»... все было на русский лад (жена Блока была актрисой, она исполняла главную роль [Л. Д. Блок играла не главную роль, а жену Мориса — Жанну — А. И.]). Перед началом представления вступительное слово о Стриндберге произнес Владимир Пяст. Он стоял за столом, покрытым черной бархатной скатертью, свисавшей до самого пола, на столе горели две восковые свечи... Затем было прочитано стихотворение Блока о Стриндберге, и началось представление. Когда оно кончилось, нас подвели к черно-белому, поясному „кубистскому“ портрету Стриндберга с треугольным поясом, четырехугольными щеками и т. п. (художник делал его, как нам показалось, исходя из картины Рихарда Берга). Я сдерживала смех, а Владимир, не находя других слов, из вежливости повторял: „очень интересно, очень интересно!“, а мне было еще труднее сдерживать смех, тем более что нас снова окружили молчаливые артисты, глядевшие на нас в ожидании... нас угощали чаем из самовара. Одна из артисток показала нам места, где нам предстояло спать... Стеснялись и они и мы сами. На следующее утро, очень рано, мы кое-как умылись холодной водой из кувшинов и утерлись своими носовыми платками, — полотенца, висевшие на гвоздях, были несвежие.

Поезд из Петербурга в Гельсингфорс проходил Териоки около восьми утра... Попрощаться с нами никто не явился, ни чаю, ничего: во всем доме тишина. Все спали. И мы просто-напросто отправились на станцию, выпили там наш утренний кофе с булочкой. Пришел поезд, и мы в смущении поехали домой. Общество, в котором

мы оказались, в какой-то, причем немалой степени напоминало группу революционной молодежи из тургеневской „Нови“»².

Николай Гумилев не раз слышал историю о постановке пьесы Стриндберга в театре в несколько ином изложении и считал выбор пьесы и ее постановку смелым шагом молодых петербургских актеров в «театре слова и театре движений». Позднее он с большим интересом редактировал перевод произведений Стриндберга для издательства «Всемирная литература».

При встречах Николая Гумилева с Верой Алперс разговор шел не только на театральные темы. Как-то Гумилев рассказал эпизод о том, как к нему заглянула девушка поразительной, чисто северной красоты, с прядями золотых волос на бледном высоком белом лбу, с большими синими глазами и с необыкновенно тонкими и благородными чертами лица. Посреди комнаты стояло большое колесо-веретено, и ничего, кроме него да еще рыбацких сетей по стенам, в комнате больше не было. Сама же комната, сложенная из свежих, еще пахнущих лесом бревен, словно вся расплывалась в красновато-золотистом свете, струившемся со стороны моря. Они тогда, прислушиваясь к шуму морских волн, сочиняли сказки и стихи, навеянные морским дыханием, воплощали их красками на бумаге...

Вера Алперс слушала все это с осторожностью. Позднее она напишет: «Вчера он говорил, что я должна ему написать письмо. Я была искренне удивлена и, конечно, не подумала ни писать, ни говорить с ним об этом. У него идет вполне определенная игра и намеренность меня завлечь. Но это ему не удастся. Я вижу его программу. И эти книги... стихи...»

Однажды Николай Гумилев пришел к ней, и она играла ему на фортепьяно Гайдна. Семья Алперсов была одаренной, на редкость музыкальной. В их доме часто звучала музыка Римского-Корсакова, симфонии Глазунова, Скрябина. Звучали романсы Владимира Михайловича Алперса, отца Веры.

Николай Гумилев и Вера Алперс проводили время на берегу моря, среди сосен, избегая больших компаний. Позднее она отметит в своем дневнике: «Он говорил, что у меня сила в любви к миру, что у меня большая любовная сила. Какая-то дрожь... Он уступил мне первенство. Не случайно он сказал мне это. И это так... Это сказочно. Такие прогулки, такое время могут быть только с поэтом. Я думаю, как хочу, не по капризу, конечно, а так, как необходимо, он не настаивает. Он говорит, что он сам не может от меня уйти и потому просит меня распоряжаться временем. О! Я, конечно, не могу равнодушно этого слушать! А между тем я, кажется, и это приняла как должное».

Наступил день их последней встречи. Так же, как вчера, на морском берегу шумела публика, колыхался тростник, горланили чайки. Для поэта воздух был насыщен ямбами и рифмами. Но и они вряд ли могли раскрыть глубину сущности душ.

«Вчера Гумилев признался, т. е. объяснился мне в любви, — писала в дневнике Вера Алперс. — Все это ничего, очень приятно, но это было у него, он просил меня дать ему что-нибудь, я была совершенно в его власти... Что меня спасло? Я позволила ему целовать себя... Он думал, что он возьмет меня этим. Что он привяжет меня к себе, что мне это понравится. Он ошибается во мне. Как ошибся тогда с письмом. Вот я зато сразу его поняла. Поняла, что у него программа, поняла, что это гадко. Только почему я отказалась потом от этих предположений. Положим, это понятно. Ведь приятно слушать, когда тебя воспевают, когда говорят о духовной красоте. Поняла и то, что он в меня влюбился. Ему нужно мое тело. (Нет! Я понимала свое положение, что не дала ему пощечины!)... Я не разубедила его, я только говорила, что требовать любви нельзя. Я все-таки не верю ему. Он мне говорил, что он меня

² Смирнова К. Из воспоминаний // Театр. 1993. № 5. С. 58–59.

любит, что он меня чувствует. Холодный он человек все-таки. Хотя я чувствовала его страсть, только она скоро пройдет у него...»³

Это была последняя мирная неделя. Сразу же после возвращения из Териок Николай Гумилев пишет стихотворение «Новорожденному» («Вот голос, томительно звонок...») на рождение сына М. Л. Лозинского. Пишет статью об акмеизме, об африканском искусстве, письмо о русской поэзии, в котором отмечал: «Поэт всегда господин жизни, творящий из нее, как из драгоценного материала, свой образ и подобие. Если она оказывается страшной, мучительной и печальной, значит, такой он ее захотел».

Вера Алперс после отъезда Гумилева писала в своем дневнике: «Я сегодня вспомнила слова Гумилева: „Как иногда бывает хорошо и странно жить!..“ Я вспомнила слова Гумилева на днях, что нужно самому творить жизнь и что тогда она станет чудесной».

После встреч с Гумилевым у Веры Алперс изменились отношения к мужчинам. Это заметили многие, в том числе Мейерхольд, с которым она встретилась в Петрограде после возвращения из Териок, и Долинов, с которым она виделась в Летнем саду.

Надвигались серьезные события. Началась Первая мировая война 1914—1918 годов. Н. С. Гумилев поступил добровольцем в Гвардейский запасной кавалерийский полк, затем — в Лейб-гвардии уланский. За участие в боях в Прибалтике и Польше заслужил два Георгиевских креста, был произведен из рядовых в унтер-офицеры. Был ранен. Писал с фронта в Петербург: «Я знаю, смерть не здесь — не в поле боевом. Она, как вор, подстерегает меня негаданно, внезапно. Я ее вижу вдаль в скупом и тусклом рассвете, не красной точкою неконченной строки — не подвига восторженным аккордом...»⁴

Впереди оставалось несколько лет борьбы, творчества, любви, жизни. «Надменный, как юноша, лирик», как он сам себя называл, тосковал по Беатриче, искал идеальную женщину, идеальную Музу. Как русский европеец искал в своих африканских, итальянских стихах, в новой поэтической школе, в духовных стихах о войне.

Но когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать, что надо.

Последние годы жизни Николая Степановича Гумилева сложились трагически. В конце августа 1921 года он был арестован и расстрелян вместе с другими приговоренными по «делу Таганцева».

Члены семьи Алперс принадлежали к той части интеллигенции, в которой жило чувство ответственности и долга перед своим пародом. В суровой исторической битве, в перестраивающемся мире они не хотели и не могли быть только наблюдателями. Они стали участниками, одними из строителей новой социалистической культуры.

Вера Владимировна Алперс пережила ленинградскую блокаду 1941—1944 годов. Она ходила в Автово, в воинскую часть, где служил ее родственник, который сказал ей: «Держись Валентины Ивановны, она тебе поможет». Валентина Ивановна в те годы работала директором Дома пионеров и школьников Московского района, в котором Вера Алперс неоднократно выступала с концертами перед школьниками. Валентина Ивановна помогла ей оформить продуктовые карточки не иждивенца, а ин-

³ РО РНБ. Ф.1201. Д. 79. Л. 188—197.

⁴ Немирович-Данченко В. Рыцарь на час (из воспоминаний о Гумилеве) // Высотский О. Николай Гумилев глазами сына. Воспоминания современников о Н. С. Гумилеве. М., 2004. С. 577.

женерно-технического работника, что позволяло получать ежедневно повышенный паек. В 1943—1944 годах, находясь в осажденном городе, Вера Алперс написала музыку к спектаклю по сказке Гримм, к спектаклю «Справедливый Ахмед», поставленному в детской студии Дома культуры имени Капранова, марш к пьесе «Маленький Мук», музыку к басне Крылова «Квартет». Как и многие ленинградцы, преодолевшие вражескую блокаду, она была награждена медалью «За оборону Ленинграда».

Летом 1945 года она шла по городу и еще и еще раз восхищалась им: «Как он хорош, одни названия как музыка: Чернышев мост, Летний сад, Лебяжья канавка... а как замечателен Александровский парк. Наверно, равного ему нет ни в одной столице мира. Какая красота и какая непринужденность!» Любовь взрастила ее творческую силу, любовь к творчеству, мужчине, миру, родине.

Она, порой, играла те или иные музыкальные произведения и думала, что ее слушает в этот момент Николай Гумилев, или Сергей Прокофьев, или... и ей это было приятно.

В 1964 году она вновь приехала в Териоки (Зеленогорск), остановилась в доме отдыха «Ленинградец». Вновь вспоминала свою юность, поняла, что природа Териок лучше, сильнее и значительнее, чем в Комарове. «Проходя мимо калитки с надписью „Санаторий «Северная Ривьера»“, — писала она в дневнике, — вспоминала Гумилева. Мы встречались с ним всего две недели, но как он повлиял на всю мою дальнейшую жизнь, на отношение к жизни. Как-то приоткрыл дверь, показал мне какие-то новые горизонты и к чувствам, и к духовному развитию и внушил мне уверенность в свои силы, пробудил интерес к самостоятельным действиям. И это несмотря на то, что я вполне еще не доверилась ему...»

Известно изречение: сколько сердец, столько и видов любви. Николай Гумилев был влюбчив, почти в каждой новой компании он находил объект своей симпатии. Повседневная жизнь личности всегда природно-космична, социальна, исторична. Каждый шаг человека (посредством слова, текста, действия) в повседневном пространстве развивает или разрушает его единство. Культурно-антропологический подход к фактам истории литературы помогает понять, что они, факты истории литературы, складываются из динамики повседневной жизни, истории жизнедеятельности творческой личности. Может быть, поэтому современному читателю бывает трудно понять повседневность иной эпохи. Но во все эпохи понять поэта можно, разгадав его любовь, любовь к творчеству, женщине, миру, родине.

Настоящая любовь в жизни у Николая Гумилева была одна. О ней он написал:

Я знаю женщину: молчание,
Усталость горькая от слов,
Живет в таинственном мерцаньи
Ее расширенных зрачков.

Неслышный и неторопливый,
Так странно плавлен шаг ее.
Назвать нельзя ее красивой,
Но в ней все счастье мое.

Она светла в часы томлений
И держит молнии в руке,
И четки сны ее, как тени
На райском огненном песке.

Цена жизни. Сборник материалов Всероссийского литературного конкурса «70 лет Победы». М.: Союз писателей Москвы, 2015. — 528 с.

Стихи, повести и рассказы, письма, воспоминания и дневники, очерки и статьи как известных советских писателей и поэтов, так и тех, кто нечасто брался за перо, чтобы поделиться своими впечатлениями о своей Великой Отечественной. Имена знакомые, такие, как Ф. Абрамов и Р. Казакова, В. Астафьев и С. Наровчатов, В. Некрасов и В. Арро, и малоизвестные. Среди последних преобладают имена тех, кого С. Микаэлян, ушедший на фронт семнадцатилетним юношей, назвал незаметными тружениками войны: они честно служили, не все участвовали в великих битвах и знаменательных сражениях, не все совершали героические поступки и подвиги. А иногда и гибли в первом же бою. В своей повести «Не убит подо Ржевом» С. Микаэлян рассказывает «о солдате, только по случайности не убитым подо Ржевом — с судьбой похожей и непохожей, постыдной и похвальной, полной трагического и смешного, чудес и необъяснимых загадок». У каждого из авторов, непосредственно участвовавших в боях, была своя школа выживания. У «окопного» сержанта Ю. Николаева, что писал свои заметки о войне уже в Белоруссии, где занимался разминированием минных полей, немецких и партизанских, и вспоминал свой первый бой и первое ранение в октябре 1942 года. И у рядового красноармейца-солдата А. Казакова, участника Витебской операции, прошедшего Литву и Восточную Пруссию. У Н. Оцеп, студентки 1-го Московского медицинского института, направленной на фронт в октябре 1941 года и воевавшей на Северо-Западном фронте и на Орловско-Курском направлении, названном позже «Огненная дуга», и при форсировании Днепра. Они, эти авторы, были очень юными — 1921—1925 годов рождения. Иногда, только что покинувшие школьные парты, как Л. Лопатников, кто, не дожидаясь призыва, пошел на курсы радистов военного времени и после месяца и шести дней был направлен на фронт, или Л. Лазарев, в 18 лет ставший командиром разведроты. Их рассказы лишены пафоса, но четко передают условия, в которых они жили и воевали, и чувства, которые испытывали. Невыдуманные ситуации, невыдуманные переживания, будни героические и негероические. Среди авторов много и тех, кто встретил войну детьми. «22 июня 1941 года, когда объявили, что началась война, я обрадовалась, — пишет Римма Казакова, которой тогда было девять лет, — и первым делом подумала: „Как хорошо, что теперь не надо отдавать заячий костюм!“ После (школьного) спектакля я его куда-то спрятала, да так и не нашла. Мысль о том, что начнется учебный год, и костюм с меня спросят, отравляла мое существование». Осознание чего-то страшного пришло, когда ее веселый и смелый отец, провозжая семью из Ленинграда в эвакуацию, заплакал, уходя, опустил плечи и закрыл рукой глаза. Есть и те, кто детьми, как В. Арро, Г. Капышев, Е. Вагнер, оставались в блокадном городе, на чьих глазах уходили из жизни близкие. «Каждый, кто жил в городе в ту пору, был и жертвой — по мере посланных ему испытаний. И в то же время борцом — по силе своего физического и духовного сопротивления. В борьбе за выживание много неэстетичного, отталкивающего, вызывающего протест у человека, который живет в нормальных условиях. Героизм жертв, обреченных на гибель, придумали люди, которые заботились о том, что они устроили, не так безобразно и страшно выглядело. Для простых жителей „героизм“ — чуждое слово. Они просто прилагали нечеловеческие усилия, чтобы одолеть смертельные, противопоказанные жизни условия,

в которые их поставили, оттянуть приговор, который им был вынесен, но не произнесен. Одолевали, оттягивали... С большим или меньшим успехом. А когда не могли — умирали», — пишет В. Арро. Особые страницы — воспоминания о детстве в еврейских гетто на оккупированных территориях в Минске и Винницкой области Украины (М. Верников, Я. Басин, М. Койфман). Увидеть войну глазами отца, офицера-сапера, за плечами которого остались десятки разминированных полей, каждое из них как преодоленная смерть, попытался Е. Бень; о своем отце, враче-герое Валериане Ошкадерове, погибшем в декабре вместе с гарнизоном на эстонском острове Осмусааре, рассказывает Н. Королева. По страницам сборника можно изучать географию войны и ее историю. Историю боев и историю отдельных людей. Таких, как генерал М. Лукин, командовавший нашими частями под Смоленском и Ельней, тогда долгое и упорное сопротивление окруженных, лишенных подвоза провианта и снарядов частей Красной армии помешало немцам войти в Москву. Военная биография генерала Лукина оборвалась осенью 1941 года пленом. Или таких, как генерал М. Снегов, чьи войска уже в июне 1941 года у города Перемышля (ныне польский Пшемысль) заставили споткнуться армию вермахта, не знавшую до того поражений. Сборник составлен из материалов разных жанров, опубликованных в последние пятнадцать лет в отечественной журнально-газетной периодике. Много в нем и горького, как, например, в письмах В. Астафьева, обвиняющего советскую военную верхушку в том, что народ был брошен в огонь войны, как солома. Или в очерке 90-х годов, где В. Кондратьев упрекает в безнравственности молодых прагматиков, занявшихся кощунственной переоценкой подлинных ценностей, пытающихся предать забвению праздник Победы. И как ответ всем инсинуациям относительно Великой Отечественной звучат строки поэта Г. Гоппе (1926—1999): «Ах, суд потомков! // Он, понятно, прав. Две высоты. // До каждой далеко: // Что до потомков, что и до комдива. // А меж высот — высотка за рекой. // Возьмем ее — // и судьи будут живы». «Да, верой жили. // Да еще какой! // Ее убить пытались — не убили. // Она травой взрывалась на могиле, // Но возвращалась в поредевший строй. // ... Да, верой жили. // И не нам с тобой, // Носившим беспросветные погоны, // Теперь причины зная поименно, // Мудрее быть, чем были в жизни той. // Мы все равно виновны. // Но виной // Не гнули нас солдатские котомки. // За вашу зоркость, // мудрые потомки, // Мы заплатили полной ценой». И пророческими, если вспомнить набирающую силу акцию «Бессмертный полк» являются слова Ф. Абрамова: «И как знать, может быть, память о погибших — главная духовная опора людей».

Александр Твардовский. Письма с войны: 1941—1945 / Подготовка текста, предисловие, примеч., указ. имен В. А. и О. А. Твардовских. М.: Книжный Клуб 36,6, 2015. — 432 с.; ил.

21 июня 1941 года Александру Твардовскому исполнился 31 год, а на следующий день началась Великая Отечественная война. Уже 23 июня он получил назначение на Юго-Западный фронт, 25-го отбыл к месту назначения, в Киев, а 26-го послал жене с дороги первое письмо... А 6 июля 1941 года писал жене из Киева: «Не унывай, раздумывая о нашем отходе. Он будет, может быть, даже большим, чем ты представляешь, но это — путь к победе. Родине нашей случалось и без Москвы оставаться на время, а не то что». До самой сдачи Киева редакция газеты «Красной Армии», где служил Твардовский, не получала распоряжения о выезде из города. Газета печаталась до самого последнего момента. В беспорядочном бегстве из Киева ре-

дакция потеряла многих сотрудников. «Какая страшная, угнетающая душу вещь — отступление», — писал поэт жене и одним из первых в литературе в поэме «Василий Теркин» воссоздал картину поражений, потерь, окружений и отступления 1941-го. А потом, в 1941—1942 годах был Воронеж, работа в газете «Красной Армии» и выезды на фронт, с апреля 1942-го по июнь 1943-го Твардовский находился в Москве: работал над поэмой о Теркине, выступал на радио, сотрудничал с газетами и издательствами. В июне 1943-го был направлен в редакцию «Красноармейской газеты» под Смоленск, входил вместе с Советской армией в освобожденные Смоленск, Вязьму, Минск, а затем и города и населенные пункты Литвы и Восточной Пруссии. Его семья — жена Мария Илларионовна и две дочери, старшая Валентина, 1931 года рождения, и младшая Ольга, родившаяся 28 января 1941 года, — с августа 1941-го по июнь 1943-го находились в эвакуации в Чистополе, в Татарстане. Переписка прерывалась только в те периоды, когда Твардовский совершал редкие, кратковременные поездки в Чистополь и пока семья некоторое время вместе находилась в Москве. Мария Илларионовна сберегла все 139 писем мужа, набросанных иной раз на клочках бумаги карандашом и даже на карточках для библиотечной картотеки. Письма доходили плохо, особенно от жены, в 1942 году Твардовский не получал писем от нее полгода. Узнавал о семье от людей, которых судьба забрасывала на фронт, где он находился. Сам он постоянно искал okazji, чтобы переслать письма, посылки, деньги. Каждое письмо дышит заботой и любовью: «денег не щади», «поддерживай детей до последней возможности», «не жалей на молоко, дрова, витамины», «все, что может быть сохранено — из еды — более или менее длительный срок, я тщательно сохраняю для вас, мои дорогие дети». «Не мастер по доставанию», он пересылал свой военный паек, шоколад, лекарства: 4 таблетки пирамидона, 2—3 таблетки стрептоцида, поясняя, как их использовать, тетради и карандаши для детей. Обостренное чувство ответственности за семью, в том числе за тех, кто оставался в Смоленске, рефреном проходит через все письма. Устанавливать контакты с семьей в Чистополе, передавать туда посылки и деньги помогали друзья: Долматовский, Исаковский, Щипачев, Кожевников, Василий Гроссман, с которым у Твардовского были особые, доверительные отношения. Делясь с женой проблемами взаимоотношений в коллективе «Красной Армии», в том числе с ее редактором, А. Твардовский дает выразительные штрихи к «портрету» военного литературного сообщества, не все его оценки лицеприятны: «Печально только одно, что даже в такую пору величайшей борьбы в чем-то мы остаемся теми же людьми, с людскими интрижками, гадостями и своекорыстием». Газетные склоки догнали его и в Москве («Подлая характеристика от редактора — и поэта нет»), текст объяснительной записки А. Твардовского начальнику отдела печати ПУРККА, где по каждому пункту опровергается эта характеристика, дан в приложении. «Не подумай, что я сам ударился в интриги и «борьбу», но то, что со мной сделала эта братия — очень погано и выходит за пределы личных неувязок», — писал он жене. Он делился с женой своими тревогами, сомнениями и надеждами, отчитывался о своем быте, рассказывал о настроениях солдат на фронте, их возрастающей готовности сражаться, об их накопившей злости и множившемся умении. И главное — подробно рассказывал ей о своих стихах и замыслах. «Думаю о трех вещах больше всего — о войне, о своей работе и о тебе с детьми. И все это не порознь, а вместе. Т. е. это и составляет мое каждодневное духовное существование». Мария Илларионовна, Маша была его первым его читателем и критиком. Он верил ее вкусу, ее чутью безгранично. Он уговаривал и ее писать, зная, что ее первые опыты были удачны: «Ты и сама вместе с бездной новых огорчений и мук, какие доставляет работа, узнаешь и эту святую сладость писанья,

размышления, работы — всего того, что возвышает душу и делает ее неуязвимой со стороны мелкой жизни». Пересылал ей свои стихи и очерки, советовался, обсуждал с ней в письмах стихотворения, которые не пошли в печать, строки, вырезанные цензурой, давал поручения — подготовить книгу избранных стихов для издательства «Советский писатель». Вернувшись из эвакуации в Москву, она взяла на себя все хлопоты по связям с издательствами, редакциями газет. Главным своим делом А. Твардовский считал работу над поэмой «Василий Теркин»: «я смотрю на нее как на мой подвиг в этой войне, раз уж другим образом мне не доводится действовать» (08.07.1942). Он начал ее в 1941-м, а окончательный вариант был завершён в 1945-м. В письмах — вся история создания поэмы «Василий Теркин», от созревания замысла до восприятия ее читателями и трудностей продвижения книги, вдруг вопреки ее честной, бездирективной популярности ставшей полуразрешенной. Письма Твардовского содержат подробности, которых нет ни в одном исследовании о поэме. В настоящем издании все письма поэта к жене 1941—1945 годов впервые представлены целиком и полностью.

Никодим Туманов. Ладога. Пять нитей жизни. СПб.: Европейский Дом, 2015. — 224 с.; ил.

Об этой уникальной операции — передаче электроэнергии с Волховской ГЭС через Ладожское озеро в блокадный Ленинград — громко заговорили недавно, в связи с энергетической блокадой Крыма. В годы Великой Отечественной войны операция была тщательно засекречена: работавшие на прокладке кабеля давали подписку о неразглашении; на протяжении всего времени его работы немцы ничего о кабеле не знали, что подтверждали допросы пленных. Долгое время в тайне сохранялось и имя автора проекта, Никодима Сергеевича Туманова, хотя свой орден и медали получил уже в 1943 году. Решение «О прокладке кабеля через Ладожское озеро» Военный совет Ленинградского фронта принял 7 августа 1941 года, заместителем по кабельным делам начальника работ по Ладоге был назначен капитан-инженер Н. Туманов. Предстояла работа, аналогов которой не существовало в мире: требовалось протянуть пять нитей кабеля от Волховской ГЭС по лесам и болотам на 104 километра и почти на 23 километра — по дну Ладоги. Происходящее на фронте диктовало необходимость выполнить задание в наикратчайшие сроки. Н. Туманов разработал методику прокладки кабеля за три дня, многое потом совершенствовалось в процессе самой прокладки кабеля. Он ощущал колоссальную ответственность, но... «Если ты скажешь „Я не знаю“ — и уйдешь в кусты, и другой уйдет, то кто же станет защищать страну?» — так пишет он в своей книге. В основе книги лежит дневник Н. Туманова, где он тщательно, даже не по дням, а по часам и минутам, фиксировал все этапы подготовки и осуществления проекта. Представлены графики работ, отчеты, метеосводки, акты, схемы, чертежи. Много фотографий, ксерокопий документов. В ходе работ были задействованы ленинградские заводы-изготовители — многого, в том числе подводных соединительных муфт, в блокадный Ленинград доставить было невозможно. В работах участвовали бригады ЛКС, водолазы, моряки, добровольцы. Н. Туманов многих называет поименно, тем более, как считал он, про работников Ленинградской кабельной сети Ленэнерго, которые прокладывали силовую кабель через Ладожское озеро, почти неизвестно. А рассказать о том, как все происходило, необходимо, так как в книгах и статьях, так или иначе посвященных ладожской передаче, со-

бытия воссозданы не совсем точно. Прокладка первой нити началась в ночь на 3 сентября, а уже 23 сентября 1942 года город получил свет: ток пошел на заводы, в школы, в квартиры ленинградцев, в декабре 1942 года снабжение Ленинграда электроэнергией увеличилось в четыре раза. Живя и работая в непосредственной близости от Дороги жизни, он наблюдал, как менялся характер грузов, шедших из блокадного Ленинграда на Большую землю: если до октября 1942 года из Ленинграда вывозили оборудование, машины, подвижной состав железных дорог, то начиная с октября резко возросли перевозки вооружения и боеприпасов, изготовленных в Ленинграде. Много времени спустя кабельщики узнали, что большая часть электроэнергии, переданной в осажденный город, пошла на производство вооружения и боеприпасов, в которых нуждался Ленфронт. С прокладкой кабеля уложились в рекордно короткое время — за сорок восемь дней, и это под постоянными бомбежками и обстрелами. Но предстояла еще долгая эксплуатация, частые ремонты, устранение аварий. Операция длилась до полного снятия блокады. Только 13 апреля 1944 года поступил приказ о начале демонтажа ладожских силовых кабелей — фронт был отодвинут от Ленинграда. Выемка кабеля закончилась 13 августа 1944 года. Несмотря на хроникальный характер материала, книга отнюдь не является сухим отчетом с техническими подробностями: Н. Туманов в своем дневнике фиксировал все экстремальные ситуации, в которые попадали он сам и его подчиненные. Авиационные налеты, пикирующие на суда фашистские самолеты, удары артиллерии, беспокойная Ладога: шторма, туманы, метели. Иногда порывы ветра сносили людей на 20 метров от объекта. Особой угрозой был тающий, тонкий лед, по которому не мог пройти ни один транспорт, а люди шли и тащили на себе груз, чтобы ликвидировать очередную аварию. Безнадежным и опасным делом была работа в плавучих льдах, но выполняли и ее. Чаше работали по ночам, для сохранения секретности. Не раз люди гибли, не раз получали ранения, не раз трагические сцены прерывают детальное описание работ, как и те истории, где людям удалось избежать гибели. «19 сентября 1942. Начало работ 0.05. ...7 часов 55 минут. Обрезка кабеля на барабане, пайка кнопок и выдача конца кабеля на берег вручную. Мастер Воробьев бросается в воду, за ним — 23 солдата во главе с политруком роты связи. Вода холодная, а чтобы положить кабель на плечо, надо нырнуть с головой, достать кабель и только тогда его можно тянуть. ...8 часов 15 минут. Возвращение людей, нырявших в воду, на баржу. Начальник строительства разрешает выдать им по стакану водки. Ребята сидят в трюме голые, отжимают мокрую одежду, выливают воду из сапог, а старшина обходит всех с большим чайником, отмеряя каждому его порцию. Буксирный пароход „Каракозов“ берет баржу на буксир и направляет в бухту Морье. Солдаты в трюме пляшут под гармошку, чтобы согреться. Настроение у всех приподнятое, все улыбаются: задание выполнено!» С особым теплом Н. Туманов пишет об обустройстве быта для мобилизованных на работы, что на восточном, что на западном берегах Ладоги: сколько любви, нежности и уважения вкладывали в подготовку вагончиков, землянок те, кто этим занимался. Почти тридцать лет работал Н. Туманов над рукописью своей книги, потом шестнадцать лет безнадежно боролся за то, чтобы ее напечатать. Каждая схема, спецификация, таблица для автора являлись не просто техническими подробностями, но частью судьбы — за ней стояли люди, живые и ушедшие, поэтому редакторы, а среди них и дочь Н. Туманова, Татьяна Косоурова, представили документы и в этой книге. Никодим Сергеевич Туманов хотел поведать о своей Ладоге с точностью инженера, с точностью историка, с точностью ленинградца, — и он сделал это, как когда-то сумел проложить для осажденного города настоящие «нити жизни».

Сергей Данилов. Тысяча дней. Воспоминания / Российский институт истории искусств; подгот. текста, введение, указатели Л. С. Даниловой. СПб.: ООО Издательский дом «Петрополис», 2015. — 172 с.; ил.

19 августа 1941 года эшелон из 86 вагонов увез в Молотов (нынешняя Пермь) три с половиной тысячи работников Кировского театра и членов их семей, бутафорию, костюмы, ноты, театральное оборудование. Среди тех, кто уезжал из еще не блокированного Ленинграда в этом одном из последних эшелонов, был и Сергей Сергеевич Данилов (1901–1959), историк театра, театральный критик, педагог. В Молотове он был назначен заведующим литературной частью театра. В эвакуации театр пробыл 2 года 9 месяцев и провел там три сезона, тысячу дней, о которых и рассказывает в своих воспоминаниях С. Данилов. Война поставила в экстремальные условия всех: и жителей Перми, и новых насельников. Точно и выразительно автор воссоздает атмосферу эвакуационного быта: проблемы с жильем, с дровами, с питанием — часто единственной едой на день был сушеный картофель либо горох. О горестях эвакуационного быта свидетельствуют лаконичные выдержки из дневника жены С. Данилова, помещенные в книгу. Непросто проходило обустройство и огромного театрального коллектива в городе, переполненном эвакуированными людьми, и самого помещения Пермского оперного театра, полностью переданного Кировскому театру. Трудности сближали коллектив, где не все сотрудники даже знали друг друга по фамилиям. Артистический состав из-за нехватки рабочих рук сам, снося ряды кресел, расширял «оркестровую яму»; видный солист оперы не считал ниже своего достоинства возить на ручной тележке мешки и ящики с пайком. Но еще больше сплотила творцов последующая многообразная военно-шефская работа: каждый вечер в воинские части и госпитали отправлялись бригады актеров: певцы, танцовщики, инструментальные квартеты; артистические бригады выезжали на фронт, на уральские оборонные заводы, к шахтерам Кизеловского угольного бассейна. Выезжал с бригадами и сам Данилов. Основное внимание он уделяет интенсивной творческой жизни, развивавшейся вопреки всем тягостям быта. Уже через две недели после прибытия театр открыл новый сезон: первыми спектаклями, сыгранными ленинградцами 13 и 14 сентября, стали опера «Иван Сусанин» и балет «Лебединое озеро». С. Данилов рассказывает об организации работ в театре, спектаклях успешных, как балет А. Хачатуряна «Гаяне», и неуспешных, как опера со слишком мрачным колоритом «Емельян Пугачев» Ковалева, о спектаклях патриотического и революционного характера, таких, как «Иван Сусанин», «В бурю», «Лауренсия», «Пламя Парижа». Но так как их «созвучность» дням войны казалась недостаточной, то готовили и спектакли с особым репертуаром, тематические вечера, связанные с героикой прошлого и дня текущего. С. Данилов и сам участвовал в подготовке ряда спектаклей, постарался привлечь к созданию либретто на актуальные военные темы ленинградских и московских писателей, оказавшихся в эвакуации, но большинство таких начинаний закончились первоначальными набросками. Функции завлита Кировского театра были многообразны и весьма отличны от прежнего опыта работы С. Данилова в драматических театрах до войны, где обязанности сводились к тому, чтобы отсеивать драматургический «самотек». Так, он выпускал многотиражку «За советское искусство», было издано двадцать номеров: первый 13 сентября 1941 года, последний — 9 июня 1944 года, в день отъезда последней группы работников театра в Ленинград. В газете печатались материалы официальные, творческие, хроника театральная жизни. На страницах газеты оказались объединены разбросанные по всей стране ленинградские театры, получив газету из Молотова, театры — Пушкинский, Малый

оперный, имени Горького — откликались своими корреспонденциями. С. Данилов щедро приводит цитаты из газеты, понимая, что это уже библиографическая редкость. Не все можно было публиковать, театр совершал выезды и на секретные объекты. Но в очерках немало ярких эпизодов, например, рассказ о том, как долгую декабрьскую ночь бойцы приспособляли под театр полуразрушенный каменный амбар и как на темно-зеленом фоне плащ-палаток Герман в пудреном парике и лакированных ботфортах протягивал руки к Лизе, сидевшей... за походным штабным столом. Или о том, как в одном из цехов, где было много эвакуированных украинцев, после исполнения украинских песен звучало «Хай живе рідна Україна!». С. Данилов был одним из организаторов конференции «Настоящее и прошлое Урала в художественной литературе», прошедшей в Свердловске; приуроченная к ней однодневная газета «Литературный Урал», включавшая беллетристику, очерки, научные разыскания также стала сегодня библиографической редкостью. Все годы эвакуации С. Данилов вел занятия по истории русской драматической литературы и театра в пединституте и студии при областном драматическом театре. И работал над книгой «История русского драматического театра», капитальный труд объемом более 600 страниц удалось издать в 1944 году в Молотове — о перипетиях и треволнениях, связанных с ее публикацией, с юмором рассказывает автор. В книге нет развернутых портретов людей, с которыми общался С. Данилов, а это и главный дирижер театра А. Пазовский, и его директор Е. Радин, и писатели М. Слонимский, В. Каверин, П. Бажов, поэт Василий Каменский, Л. Брик. Но штрихи к портретам есть. «Воспоминания», воссоздающие многообразную художественную и повседневную жизнь театра в эвакуации в городе Молотове (Пермь), содержат уникальные сведения и наблюдения профессионального ученого, знающего цену документальным свидетельствам.

Дмитрий Володихин. Патриарх Гермоген. М.: Молодая гвардия, 2015. — 304 с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1509).

Патриарх Гермоген (1530?—17 (27) февраля 1612) — одна из ключевых фигур нашей истории. В эпоху Великой Смуты начала XVII века, когда Московская держава едва не исчезла с карты мира, именно его воля помогла удержать российскую государственность от окончательного краха. Первая точная дата в его судьбе — 1579 год. В 1589 году он был хиротонисан в Москве во епископа на кафедре митрополита Казанского и Астраханского, стал третьим по «старшинству чести» в Русской церкви, вошел в большую политику. С воцарением Лжедмитрия I был введен в боярскую думу, но выступил против самозванца, возражая против избрания патриархом Игнатия и требуя православного крещения Марины Мнишек. Был сослан в Казань, но смерть самозванца повернула колесо его судьбы, и в июле 1606 года собор русских иерархов избрал Гермогена Патриархом Московским и всея Руси. Он являлся преданным сторонником царя Василия IV Шуйского, поддерживал его в подавлении восстания южных городов, отчаянно противился его свержению. Не принимал «Семибоярщину», пытался организовать выборы нового царя из русского рода (первым предложил кандидатуру Михаила Федоровича Романова). Соглашался признать царем Владислава, сына польского короля Сигизмунда III, лишь при условии его православного крещения и вывода польских войск из России. После отказа поляков от выполнения этих условий с декабря 1610 года стал рассылать грамоты по городам с призывом к всенародному восстанию против интервентов. Оккупанты посадили Гермогена под домашний арест, а затем насильно свели с патриаршего престола и заключили под стражу в под-

вале московского Чудова монастыря. Осажденные в Кремле поляки не раз требовали от Гермогена, чтобы он приказал русским ополченцам отойти от города, угрожая ему при этом смертной казнью. Патриарх отвечал решительным отказом. После девяти месяцев заточения он скончался от голода и жажды. В его биографии остается много «белых пятен»: не известны точно год рождения, крестильное имя, происхождение — то ли из донских казаков, то ли из вятских посадников. Дмитрий Володихин подробно исследует и все «белые пятна», и все «темные места» в биографии патриарха, пытаясь добраться сквозь тьму веков до истины. Самый важный и самый сложный вопрос, по его мнению, связан с тайной грамот патриарха, адресованных вождям земского освободительного движения, вокруг которых вот уже второй век вокруг ведутся жесточайшие споры. Мог ли патриарх Гермоген писать грамоты в заключении? Как передал их адресатам? Кому именно? Как воспринимала действия Гермогена русская провинция, то есть именно те люди, к которым могли быть направлены поучения Гермогена? И как смотрела на слова и поступки главы Русской церкви польско-литовская братия, во множестве сидевшая за стенами Кремля, бродившая по нашим землям, грабившая наши города? Обращаясь к документам той эпохи, анализируя воззрения дореволюционных и советских историков, Д. Володихин по мере возможности реконструирует события, связанные с грамотами Гермогена, и выражает уверенность, что земцы получили благословение патриарха и именно он — духовный наставник Первого земского ополчения. В научной литературе существуют разные трактовки поступков и личности Гермогена, голоса его современников в источниках независимых и пристрастных противоречат друг другу. Понять предсмертный подвиг Гермогена можно, считает исследователь, только зная его жизненный путь, и подробно рассматривает становление характера будущего патриарха, когда тот, будучи митрополитом Казанским, действовал на землях, не до конца «замыренных», и показал себя мужественным человеком, просвещенным пастырем и церковным администратором, обладающим твердой волей. Строил храмы, читал проповеди, знакомил новокрещеных, татарских и черемисских, со Священным Писанием. Он способствовал канонизации новых святых, связанных с казанской землей. А когда ситуация требовала, проявлял жестокость, борясь за чистоту веры. Отсюда и четкость его позиции в вопросах перекрещивания Марины Мнишек и Владислава. Суровые времена и жесткие решения. Д. Володихин внятно и поэтапно воссоздает события Смуты: смена властителей, бунты, мятежи, восстания (ох, не рабы были наши предки), губительно опасные политические интриги, предательство элит, призвавших поляков в Москву. Трактовки, версии, факты, столкновение мнений. И яркие характеристики значимых персонажей нашей истории, таких, как Василий Шуйский, чья личность подверглась темной мифологизации, или неоднозначный в своих поступках митрополит Филарет, отец будущего первого царя из династии Романовых. И снова парадоксы и загадки. Почему патриарх Гермоген чтит Василия Шуйского, всегда и неизменно проявляя к нему абсолютную лояльность, к тому же призывая и паству? Были ли соперниками патриарх Гермоген и «тушинский патриарх», митрополит Филарет? Патриарх Гермоген, «твердый адамант» и «новый исповедник», «непоколебимый столп» православной веры, как называли его авторы исторических сочинений XVII столетия, в советское время, по понятным причинам, просто исчез со страниц исторических монографий. Сегодня личность Гермогена, удержавшего царство от распада территориального и нравственного, неизменно стоявшего на защите законной власти и порядка, православия и государства, снова востребована. «Никакая толпа в Москве никогда не собиралась сама собой, без подстрекательства „сильных мира сего“, — утверждает

историк Д. Володихин. — Такого никогда не случилось со времен Ивана Грозного по наши дни. „Скоп“ всегда и неизменно является частью заговора. Так что у „народа“ в каждом случае имелись поводыри. Они приводили якобы стихийно собравшуюся толпу в Кремль, выдергивали патриарха из его палат, а потом призывали его осудить царя, дать духовную санкцию бунту. И что же? Как мог Гермоген проявить свою „силу“?» А просто, представ перед разгневанной толпой, не благословлял, и толпа расходилась. Не благословил, не одобрил свержения Шуйского, не прикрыл приветливым словом мерзость измены «семибоярщины», не потворствовал иноземцам. За сохранение Московского государства он отдал жизнь. Он был канонизирован как священномученик в 1913 году, а спустя еще столетие на территории Александровского сада вблизи Кремля был открыт памятник патриарху Гермогену. У истории есть чему учиться.

Игорь Дуэль, Лола Звонарёва. О друзьях-товарищах: Писательская карта России и мира в литературной гостиной Булгаковского дома. М.: Нонпарель, 2015. — 244 с.; ил.

Вот уже почти десять лет как в литературной гостиной московского культурного центра «Булгаковский дом» собирается группа литераторов, чтобы послушать и обсудить поэзию и прозу приглашенных гостей. Сообщество поклонников слова имеет и еще одно название — «Гостиная Лолы Звонарёвой», по имени постоянной ведущей вечеров, писательницы и ученого, приоритетом для которой является налаживание международных связей в русскоязычной среде. Ее сподвижник, писатель Игорь Дуэль в предисловии к книге приводит слова великого француза Сент-Экзюпери: «Высшая роскошь бытия — человеческое общение». И поясняет, что, конечно, речь идет не о бытовой информации, а о словах, что идут от сердца к сердцу, о мыслях, найденных ценой страданий, тоски, мук, тяжелейшей духовной работы. «Если не передавать друг другу такие открытия, то история людского рода может превратиться в скучный перечень операций, подобно бухгалтерскому реестру. Все это особенно важно для людей пишущих, сам труд которых требует удаления от окружающего мира на долгие часы, дни, месяцы. Долгие уединения требуют и обратного — общения с коллегами, братьями по слову и духу». Плодом таких общений и является книга, в которую включены 44 очерка. Они рознятся по объему: от полутора страниц, как очерк Лолы Звонарёвой о монографии болгарского литературоведа Ивайло Петрова, посвященной Анне Ахматовой и заполняющей явную лакуну в болгарском литературоведении; до полутора десятков страниц, как ее же очерк о творчестве Александра Кердана, которое отличают тематическая широта и разнообразие стихотворных размеров. Есть статьи и об авторах этой книги. М. Румер-Зараев обращается к роману И. Дуэля, «Тельняшка математика», исполненному в духе добротной реалистической традиции. А Л. Аннинский, размышляя о книге Лолы Звонарёвой, героем которой является собиратель и хранитель наследия русского Серебряного века Рене Герра, дает развернутый портрет поколения, к которому принадлежит сама Звонарёва, также занимающаяся «сбором» русских писателей, эмигрантов уже третьей и четвертой волны. Но, конечно, основное содержание сборника — эссе И. Дуэля и Л. Звонарёвой, где они дают свою писательскую карту России и мира, на которой представлены современные писатели и поэты, живущие в России, российские эмигранты, зарубежные. И эта карта впечатляет. На ней есть место и для авторов известных, и для малознакомых нам, но ярких писателей и поэтов. Таких, как венгр Бела Риго и знающая цену тишине аварская поэтесса Сабигат Магомедова, как эстонская

писательница Рэет Куду и неисправимый романтик алма-атинский писатель Ефим Зуслин, азербайджанский поэт Годжи Халид и белорусская поэтесса Наталья Батракова. Но главное, эта «писательская карта» демонстрирует неделимость культуры во времени и пространстве, культура предстает как единая кровеносная система, связавшая века и, как минимум, все уголки Европы. Так, И. Дуэль, анализируя прозу Игоря Гамаюнова, посвященную жизни сельского мира и сложившейся российской реальности, адресует и к заячьей тематике в русской литературе (А. Пушкин, Н. Рубцов). Размышляя о стихах Ольги Харламовой, он пристально вслушивается в диалог поэтессы с духовно близкими ей предшественниками — Е. Растопчиной, Н. Павловым, С. Надсоном, Г. Ивановым — и отмечает, что она сумела выделить близкое ей самостоятельное направление в истории русской поэзии и проследить его движение в течение почти двух веков. Широта взгляда присуща и Л. Звонарёвой, что и неудивительно: профессионально подкованный литературовед и филолог, она обладает и высшей искусствоведческой квалификацией. Она видит, как Инна Ряховская в своих стихах, в слове сумела запечатлеть неувидимый «почерк» московского или парижского дня, что когда-то сделали в своих картинах художники-импрессионисты К. Коровин и Клод Моне. Ей радостно от того, как легко и естественно чувствует себя в мире культуры донской поэт Игорь Елисеев. «Наверное, поэтому героями его стихотворений нередко становятся картины, иконы и фрески знаменитых художников — Рублёва и Модильяни, Микеланджело и Левитана, Леонарда да Винчи и Дали, Тулуз-Лотрека и Гойи. Поэт словно возвращает в нашу поэтическую реальность старинный жанр экфразиса — поэтического переложения сюжета картины». На маленьком пространстве очерка («Штрихи к портрету Риммы Казаковой») встречаются Ахматова, Цветаева, Пастернак, Н. Гумилев и А. Швейцер. Ей понятны поэтические рефлексии Бориса Бартфельда, муза которого естественно чувствует себя в культурных пространствах Пруссии, Польши, Литвы, России. В историческом, философском романе болгарского писателя Николая Табакова «Византия» отметит близкое писателю, единое культурное пространство: болгарское, соседнее для него русское, соседнее европейское. Лоле Звонарёвой нравится искать и устанавливать культурные связи и связки. Сравнить душеполезную стихотерапию Дмитрия Бирмана с творчеством Симеона Полоцкого, который три с половиной столетия назад верил, что СЛОВОМ можно изменить мир: сделать его добрее, честнее, уютнее, гармоничнее. Проследить, как уроженка Украины Мария Розенблит в своей прозе идет путем писателей-деревенщиков, что еще в 60-е годы XX века начали художественно осваивать трагический феномен старости как драматического душевного и физического состояния (В. Распутин, В. Белов, В. Крупин, В. Солоухин). Именно такого добросовестного анализа конкретных текстов, устанавливающего корневые связи их авторов с предшественниками и современниками, работающими со словом, и не хватает в наше время. Дефицит профессионального литературного анализа испытывают и авторы, и читатели. Отмечая достойное, значимое и значительное в современной литературе, уникальность каждого из героев своих эссе, И. Дуэль и Л. Звонарёва дают читателю возможность выбора, который его явно не разочарует. В заключение книги помещена беседа с Евгением Юрьевичем Сидоровым, одним из самых заметных отечественных критиков, в которой он размышляет о современном литературном процессе.

Публикация подготовлена
Еленой ЗИНОВЬЕВОЙ

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

РУССКАЯ ПАЛЕСТИНА. ЯФФА: ГОРОД СВ. АПОСТОЛА ПЕТРА И ПРАВЕДНОЙ ТАВИФЫ

Часть 2

«Русская Яффа» в 1920–1940-е годы

После 1917 года связи Русской Духовной Миссии с Московской патриархией были утрачены, и РДМ перешла в ведение РПЦ за границей (так называемый карловацкий раскол). В течение 17 лет РДМ возглавлял архимандрит Антоний (Синькевич). «Жизнь миссии поглощает все мои силы и все время всецело, — писал он в феврале 1939 года. — У нас много скорбей с войной в Палестине, сколько из-за трудностей материальных и нашего беззащитного положения без России. Однако при всех трудах и огорчениях, Господь держит нашу Миссию, благословляет ее существование, посылает нам насущный кусок хлеба и не лишает утешений духовных, главными из которых являются наши обители, сохраняющие монашеское благочиние»¹.

Плата за аренду принадлежащих миссии домов составляла примерно 3/4 дохода. Из всех 36 участков миссии только восемь были сравнительно большие — «имения». Остальные имели значение «чисто религиозное, — как писал отец Антоний, — дохода они приносить не могут, а следить за ними необходимо. <...> Несмотря на большую материальную ценность наших имуществ, мы не пускаем их в оборот ввиду того, что почти все они без исключения куплены как места, связанные с религиозными воспоминаниями»².

Из-за отсутствия людей молодых и таких, кто мог бы работать «по какому-либо ремеслу и вообще нести послушание»³, не было возможности в полной мере восстановить и использовать эти «имения», приносящие миссии доходы до войны: **сады**

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

¹ Архив РДМ. Ф. «Митрополит Анастасий (Грибановский)».

² Архив РДМ. Письмо архим. Антония от 28 февраля 1939 г. в Белград генерал-майору Н. В. Нагаеву (впоследствии архиепископ Ричмондский Никодим (сконч. 17 окт. 1976 г.).

³ Архив РДМ. Письмо архим. Антония от 1/14 октября 1936 г. в Париж генерал-майору М. В. Ярославцеву (впоследствии архимандрит Митрофан — настоятель церкви в Рабате (Марокко) (сконч. 28 янв. 1954 г.).

в Яффе. Тивериаде, Магдале, Хевроне, Иерихоне. Это огромное хозяйство требовало разных «прикладных способностей» по ремонту домов и оград, обработке садов и огородов и прочего.

В 1921 году смотрителем Яффского сада был назначен архимандрит Авраамий. (с 1930-х годов настоятель храма Ильи Пророка на горе Кармил в Хайфе. В 1948 году перешел под омофор Московского патриархата; в начале 1950-х годов уехал на Афон). Работы по восстановлению **садов в Яффе** и Иерихоне предпринимались в конце 1920-х годов⁴.

С обителью Святого апостола Петра и прав. Тавифы удивительным образом была связана судьба священника Михаила Польского (1891—1960). В 1930 году он бежал из Соловецкого лагеря (через Сибирь и Персию), в октябре 1930 года прибыл в Палестину, был принят в общение РПЦЗ. В Архиве РДМ есть опросный лист и удостоверение: «Настоящим удостоверяю, что, по испытании, согласно поручению Вашего преосвященства, совести священника беженца Михаила Польского мною не обнаружено никаких препятствий к принятию его в церковное общение и к дозволению ему священнослужения. 13/26 ноября 1930 года архимандрит Иероним. Иерусалимская Русская духовная Миссия». Резолюцией архиепископа Анастасия о. Михаил был допущен к священнослужению в храмах и подворьях миссии. В 1930—1934 годах о. Михаил — сверхштатный священник при русской церкви Святого апостола Петра и прав. Тавифы в Яффе... Из письма архимандрита Киприана (Керна) председателю Православного палестинского Общества князю А. А. Ширинскому-Шихматову (написано вскоре после 11/24 мая 1929 или 1930 года): «В Яффе ныне живет постоянный священнослужитель, который совершает литургию и другие службы в храме Святого апостола Петра во все праздники и нередко в будничные дни»⁵.

Книга о. Михаила Польского «Положение Церкви в Советской России. Очерк бежавшего из России священника» вышла в Иерусалиме в 1931 году. В 1938 году в Белграде вышла его книга «О духовном состоянии русского народа под властью большевиков». С 1 июня 1934-го по 30 января 1938 года о. Михаил был настоятелем русской общины в Бейруте, где организовал «противобезбожные курсы» в форме лекций и «практических уроков полемики». С 30 января 1938 года до 1 июня 1948 года — настоятель Успенской церкви в Лондоне. Переехав после войны в США, протопресвитер Михаил Польской составил первый труд о новомучениках — «Новые мученики Российские» (Т. 1, 2. Джорданвилль, 1949, 1957), который лег в основу дальнейших изысканий в этом направлении и за рубежом, и в России. Акт прославления новомучеников и исповедников российских, во главе с царской семьей, состоявшийся 1 ноября 1981 года, стал возможным во многом благодаря настойчивым трудам ставшего к тому времени архиепископом Антония (Синькевича). Им же была составлена и служба новомученикам⁶.

С Яффским подворьем РДМ была также связана судьба игумении Евгении (Митрофановой) (сконч. 22 мая 1959 года). Елизавета Константиновна Митрофанова во время гражданской войны возглавляла «Белый Крест» — организацию помощи участникам Добровольческого движения. После кончины мужа (профессора Варшавского университета П. И. Митрофанова (29 декабря 1920 года) она приняла в Константинополе монашество. В 1926 году в местечке Гарган-Ливри под Парижем основала обитель-приют «Нечаянная радость» и школу-интернат. Впоследствии обитель

⁴ Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 77.

⁵ Там же. С. 69.

⁶ Там же. С. 77.

переместилась в Сен-Жермер-де-Фли (около Бовэ). 15 апреля 1930 года стала игуменьей. После закрытия приюта переехала в Палестину, в декабре 1934 года при русском храме в **Яффе** основала женскую общину и школу-приют для православных девочек-сирот; в 1937 году в ней было 16 детей.

В декабре 1934 года настоятелем храма Святого апостола Петра и прав. Тавифы в Яффе был назначен о. Аристоклий (Громико/Громыко) (1887–1967).

Аристоклий (Громико/Громыко) окончил церковно-приходскую школу в селе Околице Могилевской губернии. В 1914 году был пострижен в монашество. С 1919 года в составе РДМ, в 1925 году рукоположен в иеродиакона, в декабре 1929-го — августе 1931 года — настоятель русской церкви в Каире, в октябре 1931 года иеромонах. Заведующий Тивериадским приютом, с декабря 1934 года — настоятель храма в Яффе. В марте—апреле 1938 года назначен временно настоятелем русской общины в Александрию. После возвращения в Иерусалим (не позднее января 1940 года) — ризничий. Впоследствии духовник в Елеонском монастыре⁷.

Но по состоянию здоровья о. Аристоклий был освобожден от должности настоятеля в Яффском подворье, и его сменил игумен Серафим (Мятецкий) (1873–1949).

Игумен Серафим (Мятецкий) в составе Русской духовной миссии с 1931 года. Он родился в с. Сотники Киевской губернии в семье Елевферия и Анны (урожд. Лебедович) Мятелицких. В 1900–1914 годах — насельник Никольско-Уссурийского монастыря в Приморье. В 1914 году выехал в Китай, где находился до 1929 года, «пока большевики не вынудили уехать». 20 декабря 1929 года прибыл во Францию, служил на приходе при русской церкви в Ментоне, в юрисдикции архиепископа Серафима (Лукьянова). Осенью 1930 года обратился в РДМ с прошением принять его в состав братии. С 1935 года — духовник Вифанской Воскресенской общины, находившейся в Гефсимании, а затем — настоятель храма Святого апостола Петра и прав. Тавифы в Русском саду в Яффе. В декабре 1939 года назначен настоятелем русской церкви в Александрии, где пробыл около трех лет⁸.

Еще одно «перемещенное лицо» подвизалось при русском храме в Яффе. Это священноархимандрит Серафим (Седов) (1895–1984).

Николай Яковлевич Седов, участник Первой мировой и Гражданской войн, в 1921 году эмигрировал из России. 8 февраля 1929 года, после получения церковного развода, был пострижен в монашество епископом Сергием (Королевым) в Праге, 10 февраля им же рукоположен в иеродиакона. Прибыл в Иерусалим из Типографского братства Иова Почаевского в Ладомировой (Словакия). В составе РДМ с осени 1931 года. 24 июля 1938 года посвящен в иеромонаха за литургией у Гроба Господня; назначен настоятелем храма Святого апостола Петра и прав. Тавифы в Русском саду в Яффе. В декабре 1943 года назначен в Каир для временного исполнения обязанностей настоятеля русской церкви. Покинул Каир в октябре—ноябре 1944 года. В январе 1951 года назначен настоятелем храма в Тегеран и возведен в сан игумена; в феврале 1952 года — в сан архимандрита. В 1961 году покинул Тегеран и вернулся в РДМ⁹.

«Русская Яффа» в 1950–1980-е годы

После образования государства Израиль Яффское подворье перешло в юрисдикцию Московской патриархии и стало ее «головной болью». Из письма заместителя РДМ (МП) архимандрита Леонида (Лобачева) протопресвитеру Н. Ф. Колчицкому

⁷ Там же. С. 91, примеч. 85.

⁸ Там же. С. 75.

⁹ Там же. С. 101.

от 27 декабря 1948 года: «Яффский сад находится в нашем фактическом пользовании. Но как был он заброшен, таким остается и до сих пор. Более того: уже при нас от зимних дождей упала одна стена, при нас украли черепицу с крыши, при нас воруют фрукты из сада. Но мы бессильны что-либо сделать: нет людей. В Патриархии пора серьезно заняться вопросом об освоении живыми людьми тех земель и монастырей, которые Миссия будет здесь принимать»¹⁰.

Яффское подворье испытывало нехватку священнослужителей. В феврале 1949 года начальником РДМ (МП) архимандритом Леонидом временно командирован в Яффу к церкви Святого апостола Петра и прав. Тавифы игумен Исаия (Ба/обинин) (1883–1963).

Игумен Исаия (в миру Иоанн Антонович Ба/обинин), член Русской духовной миссии с 1931 года. Он родился в деревне Новинки Солецкой волости Новолодожского уезда Петербургской губернии. Окончил три класса начальной школы и четыре класса начального Министерского училища. 6 января 1902 года был принят послушником в Макарьевскую пустынь Новгородской губернии. 3 ноября 1913 года пострижен в монашество игуменом монастыря Кириллом. 16 февраля 1920 года рукоположен в иеродиакона епископом Тихвинским Алексием (Симанским), викарием Новгородской епархии. Проходил послушания пекаря, просфорника, пономаря, работал в канцелярии, библиотекарем, канонархом, уставщиком. В ноябре 1925 года о. Исаия поступил в Псково-Печерский монастырь (тогда Эстония). 9 октября 1931 года был принят в РДМ и назначен заведующим Иерихонским садом. 30 августа 1950 года указом начальника миссии, епископа Изборского Владимира, за «грубое поведение, за непослушание Начальнику и Епископу, а равно и за неподчинение Святейшему Патриарху Алексию на его приказание в телеграмме» запрещено «на неопределенное время священнослужение и ношение креста впредь до его исправления. За непослушание данного указа и неисполнение его с него будет снят сан и монашество»¹¹. Других кадров у РДМ в те годы не было...

В 1950-х годах РДМ пополнилась «перспективными кадрами». Одним из ее членов стал будущий митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов) (1929–1978). Из «Журнала РДМ»: «6 мая 1956 года. Пасха Христова. Богослужение в Иерусалиме в соборе совершали архимандрит Пимен; в Яффе — иеромонах **Никодим**, на Кармиле — иеромонах Алексей, в Горнем — игумен Исайя»¹². Правда, в храме Святого апостола Петра и прав. Тавифы в тот год было малоллюдно. Для сравнения: даже в Свято-Троицком соборе в Иерусалиме в начале полунощницы присутствовало свыше 100 человек, в конце литургии — около 35...¹³

Удаленность Яффского подворья от центра города иногда приводила к трагическим случаям. Так, 6 февраля 1974 года в восемь часов вечера в РД миссию позвонила монахиня Магдалина из Яффы; она сообщила, что в Яффский сад проникли хулиганы, которые начали ломать дверь в храм, бить стекла в храме и трапезной, бросать камнями в выбежавших матушек. Монахине Сергии пробили камнем голову, после чего ее отправили в госпиталь¹⁴.

Казалось бы, это единичный случай, и в дальнейшем ничего подобного не могло произойти. Молитвенной теплотой проникнуты строки инокини Наталии, насельницы Горненской обители (1983–1989): «1987 года Понедельник, Крещение Господне. По милости Божией освящали воду на всех трех участках. В Яффе служили Бо-

¹⁰ Там же. С. 134.

¹¹ Там же. С. 72 (составлено по материалам Архива РДМ).

¹² Там же. С. 142.

¹³ Там же. С. 142.

¹⁴ Там же. С. 166.

жественную литургию и потом пели „Глас Господень на водах“. Это самое чудесное время года: Палестина вся зеленеет, цветут деревья и сама пустыня покрыта зеленью. Благоухание праздника распространяется на всю природу. Кажется все омывается в покаяние и знамение новой жизни во Христе и в вере. Действительно, благодать подобна струям; прохладительным для души. Яффа. Древняя Иоппия...»¹⁵

Но вот 7 ноября того же 1987 года вновь трагическое сообщение: «Днем на участке в Яффо неизвестные взломали двери гробницы праведной Тавифы, сожгли икону „Воскрешение праведной Тавифы“, жгли бумагу и разбросали свечи»¹⁶. По поводу этого печального события уместно будет привести небольшое стихотворение, принадлежащее перу поэта русского зарубежья Ивана Новгород-Северского под названием «Тавифа»:

Петр сказал: Тавифа, встань. И она открыла глаза.
Деяния апостолов, гл. 9

Мне русский батюшка в открытке повествует:
«Здесь, в Яффе, мы увидели с горы
Ту хижину, где Петр ютился до поры
И воскресил Тавифу... Сердце-то ликует!
Но где она? Уместна ли печаль?
Венец терновый не награда ль?
Мне не ее, а нас, живущих, жаль,
Живем, прости Господь, как падаль.
Долиною Саронской к синей выси
И мы за нею в думах поднялись...
Она-то Господа нашла!»¹⁷

На рубеже тысячелетий: возрождение обители

...Шли годы. Яффское подворье постепенно обустроивалось. В 1995 году при начальнике миссии архимандрите Феодосии Васневе (впоследствии — епископ Тамбовский) на подворье начались активные восстановительные работы. Был отреставрирован настоятельский дом, вымощена камнем ведущая к храму дорожка.

Из документов: «12 января 1995 года. Матушка игуменья, отец Серафим, монахиня Георгия, монахиня Савва с монахиней Рахилью ездили в Яффо к отцу Пимену — поздравлять с Рождеством Христовым и новосельем. Отремонтировали дом для священника, Миссия купила всю новую мебель, и отец Пимен переселился в новый дом»¹⁸. В феврале 1996 года полностью завершена внешняя реставрация монастырского храма и его колокольни.

18 июня 1997 года подворье Праведной Тавифы посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II, который совершал паломничество по Святой Земле и возглавил торжества по случаю юбилея 150-летия Русской духовной миссии в Иерусалиме. Предстоятель Русской православной церкви поклонился месту погребения

¹⁵ Наталия, инокиня. Русский Иерусалим. Письма русской инокини со Святой Земли (1983–1989 гг.). СПб., 1996. С. 141.

¹⁶ Там же. С. 182.

¹⁷ Новгород-Северский Иван. Благовещение. Париж, б/г. С. 22.

¹⁸ Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 189.

праведной Тавифы и совершил молебен в «путь шествующим» перед возвращением на Родину.

К юбилею 2000-летия Рождества Христова реставрационные работы в храме и паломническом доме были полностью завершены. Но и по сей день на монастырском участке ведется работа по облагораживанию территории.

Рассказывает настоятель (ключарь) подворья Святой праведной Тавифы Русской духовной миссии в Яффе **протоиерей Игорь Пчелинцев:**

Омолодившийся храм, окруженный кедрами и кипарисами, возвысился над ними своей колокольной, а вокруг раскинулись сады с фруктовыми деревьями, где гуляют кошки, голуби и павлины. На деревьях пестрыми стаями щебечут попугаи, а покой охраняет пес Барон, устроившись в будке под апельсиновым деревом. Подворье превратилось в маленький цветущий рай, где слышна музыка света, цвета и веры. Свое пристанище находят здесь не только люди, но и братья наши меньшие. В наших садах обитает около 20 павлинов, год назад прилетела курица, которая с удовольствием к ним присоединилась. А совсем недавно прилетел и петух, так что теперь они чинно прогуливаются вдвоем в садах старинной гробницы. Есть там и две маленькие собачки, подобранные прямо в церковь и живущие здесь уже третий год. Есть при храме и действующая библиотека с художественной и духовной литературой, оставшейся еще от русской интеллигенции и пожертвованная церкви.

После посещения храма можно прогуляться в садах и спуститься в гробницу Святой Тавифы, где есть мозаика еще с византийских времен. В общем, сложно перечислить все ценности, которые можно найти здесь, ведь для каждого они свои и обретаются они сердцем. Один увидит великолепный храм, украшенный росписями древних мастеров; другой затаит дыхание от восхитительной природы и буйной зелени, которая обвивает все вокруг; третий, закрыв глаза, ощутит необыкновенную тишину и спокойствие, услышит музыку ветра и вдруг случайно разберет чей-то шепот, доносящийся сверху и вливающийся в бесконечную музыку вселенной. Сложно описать все великолепие подворья праведной Тавифы — это нужно почувствовать, это нужно увидеть своими глазами, в это нужно окунуться всем сердцем.

...В воскресенье 11 мая 2014 года в храме Святого апостола Петра на подворье Святой праведной Тавифы в Яффе торжественно отмечался день памяти этой воскрешенной первоверховным апостолом праведницы, гробница которой находится на территории подворья. Богослужение возглавил архиепископ Иоппийский Дамаскин, местный архиерей Иерусалимской Церкви, с которым приехала группа православных арабов. Ему сослужил тогдашний временно исполнявший обязанности начальника Русской духовной миссии игумен Феофан, настоятель подворья протоиерей Игорь, клирики миссии и паломничаствующие священнослужители. В храме молились настоятельница Горненского женского монастыря игуменья Георгия с некоторыми сестрами обители, многочисленные прихожане и гости. После окончания литургии архиепископ Дамаскин и игумен Феофан обменялись праздничными поздравительными речами, и состоялся крестный ход к гробнице Святой праведной Тавифы.

Выдержки из интервью с протоиереем Игорем Пчелинцевым

Чем именно вы занимаетесь сейчас? Что входит в ваши должностные обязанности, с кем вы встречаетесь, какие программы вы реализуете?

В настоящее время я — настоятель (ключарь по-церковному) подворья в честь Святой праведной Тавифы Русской духовной миссии. Подворье находится в южном районе Тель-Авива, неподалеку от древнего города Яффо (Яффа,

Иоппия), который с 1950 года включен в состав Тель-Авива. В мои обязанности входит совершение богослужений в храме нашего подворья, духовное окормление прихожан, которые живут не только в Тель-Авиве, но и в других городах и районах Израиля, как правило, южнее Тель-Авива. До самого Красного моря на юг больше нет ни одного ни православного, ни другого христианского храма. Многие прихожане приезжают на службу за много километров — даже до 400 верст. В больницах Тель-Авива проходят лечение многие наши соотечественники, по их просьбам я посещаю их, совершаем в больницах Таинства Соборования и Причащения, среди медперсонала всегда нахожу понимание, особенно в одной из самых больших больниц Израиля — Шиба, где миссия шефствует над детским онкологическим отделением. Практически все детки там из России и Украины. Больница находится не очень далеко от нашего храма, многие родители и детки, кто имеет физическую возможность, приезжают к нам на службу.

Помимо службы и треб в храме и на выезде, у нас действует воскресная школа с отделениями для взрослых и для детей. С учениками и слушателями школ мы часто совершаем поездки по святым местам. Так сказать, изучаем Евангелие прямо на местности, где происходили библейские и евангельские события. Кроме того, традиционно миссия имеет тесные контакты с посольством РФ в Израиле, а также посольствами стран СНГ. Когда-то, в 50-е и 60-е годы XX века, на территории нашего подворья размещалось консульство СССР. Один раз в неделю я провожу в посольской школе факультатив по основам православия для двух групп — старших и младших школьников.

Один из самых важных моментов служения на подворье — встреча и прием паломников из России и стран СНГ (как правило, это паломники из Украины и Белоруссии, но в этом году даже была первая группа православных паломников из Узбекистана, часто приезжают православные паломники из стран Европы, Америки, Австралии). Наш храм не очень далеко расположен от главного израильского аэропорта Бен-Гурион, поэтому паломники приезжают к нам либо сразу по прибытии на Святую Землю, либо перед отлетом на родину. Периодически к нам приезжают группы студентов и слушателей курсов из Иерусалимского университета, изучающие христианство, и мы говорим об истории православия, православном богослужении, об апостоле Петре, покровителе древней Яффы.

Какие у вас планы, какие цели в дальнейшем?

Целей и планов особых нет — с помощью Божией трудиться на подворье святой Тавифы, заниматься благоустройством участка, раньше он назывался «Русский сад в Яффе», благоукрашением храма и по мере сил помогать нашим прихожанам, паломникам и соотечественникам, которые приезжают на лечение. Иногда кажется, что на все это моих личных сил совсем не хватит...

Греческие монастыри

Обитель Архангела Михаила

В самом центре Старого города, на вершине холма высится францисканский собор Святого апостола Петра. Расположившийся рядом монастырь Святого Людовика носит имя французского короля-крестоносца Людовика IX Святого, останавливавшегося в Яффе в 1247 году. Чуть ниже по склону лежит греческая православная обитель во имя Михаила Архангела.

Церковь Архангела Михаила представляет собой скромное строение, напоминающее своим видом раннехристианскую базилику. Вдоль стен расположены стасидии, специальные деревянные кресла с откидным сиденьем, высокой спинкой

и подлокотниками. В стасидии можно стоять, опираясь на подлокотники, полусидеть и сидеть, что значительно облегчает верующим (чаще всего монахам) многочасовые службы. Прихожане обычно пользуются скамьями в срединной части помещения. Внутреннее «устройство» монастыря напоминает катакомбы. Лестничные переходы с этажа на этаж, арки, темные коридоры, длинные галереи, маленькие окошки или полное их отсутствие.

Яффский монастырь Архангела Михаила относится к Иерусалимской православной Церкви и с 1998 года возглавляется архиепископом Иоппийским Дамаскиным (Гаганьярас), который проживает в монастыре с 1980 года. Собственно, он и возродил монастырь после пожара 1994 года. Ныне это нежилое пространство для паломников, так как на территории монастыря живет всего три монаха, включая самого архиепископа. При монастыре находится также русская и румынская общины, имеющие право с санкции архиерея-настоятеля монастыря совершать таинства крещения, венчания и отпевания в отношении лиц, имеющих израильское гражданство. Проезд транспортом до монастыря невозможен, только пешая прогулка. Ориентир — старый порт Яффо, идти параллельно набережной на север в сторону колокольни францисканской церкви Святого Петра.

Обитель Святого великомученика Георгия

Другой греческий монастырь, Георгиевский, находится при въезде в город, на улице Пастера. В нем обычно размещались прибывавшие парохомом из Одессы русские православные паломники перед тем, как отправиться далее в Иерусалим¹⁹.

В 1820 году гостеприимством греческих монахов воспользовалась небольшая группа русских богомольцев; вот что пишет об этом один из них — Д. В. Дашков: «Весь оный край, от Сура (древнего Тира) до Газы, очень опасен для судов в бурное время года. К счастью, наш *каравокир* (хозяин судна) родом из Скиафо, уже несколько раз привозил поклонников в Яффу и, твердо зная сии места, взялся провести корабль на рейд даже ночью. Он сдержал слово и на рассвете бросил якорь верстах в двух от города. Мы съехали с ним на берег в небольшой лодке, пробираясь между огромными камнями, о кои разбивались волны с ревом, и пошли отдыхать в греческий метох (подворье), где были гостеприимно встречены проигуменом»²⁰.

Православная Яффа в записках Василия Григоровича Барского (1726 год)

<...> Таже, взявши своя рубища, препловох, мзду давши, с прочими люди к граду и пойдох в метох или в странноприимницу иерусалимскую, идеже прочии бяху поклонники, предваривши нас, от купцов богатых и благородных, такожде и от священных особ немало, идеже вси ожидаху времени, донележе приидут от Иерусалима возницы с верблюды и повезут их тамо. Метох оный есть прежде 3 лети (года) новосозданный многим коштом патрарха Иерусалимского Хрисанфа, угождения ради христиан, путешествующих тамо, иже приложи много тщание о нем и пенязей (денег). Сие же лепо и премудро устроен и расположен, яко от всякого ходящего тамо похваляем бывает и благодарение

¹⁹ Лисовой Николай. Святая Земля: история и наследие. М.; СПб., 2015. С. 370.

²⁰ Дашков Д. В. Русские поклонники в Иерусалиме. Отрывок из путешествия по Греции и Палестине в 1820 году // Святые места вблизи и издали. Путевые заметки русских писателей 1-й половины XIX века. М., 1995. С. 18.

творится потшавшемуся о нем. Келий и домов много имат к сложению вещей и предпочиванию странных, чинно, якоже в некоем монастыре, устроенных. Тамо предпочивахом кийждо на своем определенном месте, по три и по четыре в кельях.

Бысть же тогда день субботний, и преклоняющуся солнцу на запад, идохом ко единой церкви на вечерню, идеже на единой стороне пояху по-гречески, на второй же по-арапски. Се же путников ради, прибывших от Греции (якоже слышах, сотворися); сами же тамошнии всегда по-арапски чтут, понеже именуются арапи белые, белой ради породы своей, и не знают иного языка, кроме арапского. Имут же свои все книги, к церкви и веры требованию, яже суть не печатанни, но рукописанни; письмена же их якоже и турецкие. Чин в отправе церковной весь держат греческий, токмо кафизму первую тогда чтоша три детища, един по другому, по «Славе», на конец. Веру христианскую православную содержат крепко и поют на тоны греческие.

Ходят в долгих одеждах и главы не завивают наподобие турков, якоже и в иных странах турецких. Жены такожде долгу носят одежду, лица свои закрывающе, главы же покрывают хустами зело долгими, яко воскрилия их даже до земли висят. Церковь, о ней же пред помянух, несть церковь совершенная, в еже бы могла в ней петися литургия божественная, но аки часовня, идеже несть ни царских врат, ни алтаря; поется тамо токмо вечерня, утренняя и часы. <...>

Возвратихся паки в вышеписанную гостиницу с прочими поклонники. Нощи же нашедшей, созва начальных, или игумен метоха того в особную келию всех путников, богатших и начальных, и представив им трапезу честну и учреждаше их довольно. Аз же, убожества ради своего, не зван бех, но останах с слугами и стоя вне дверей, созирах бывшее. По окончании же трапезы, по обычаю тамошнему бываемому, взят игумен странноприимницы един блюд празден, и даяху вси, по силе своей, по неколико златиц, прочие же сребники, и вписоваша вси имена своя, поминания ради в сорокоустах. Таже, благодарение Богу сотворше, разъидошася на свои места. Аз же последи зван бех с слугами и послушники иерусалимскими вечеряти и насытисхся от избытков и укрупов довольно.

Заутра же, в неделю (воскресенье), бехом на утрени в той же вышеписанной часовни. Наставшу же дню, пойдехом вси с протосингелами иерусалимскими к другой церкви, вне града на распутии стоящей, и слушахом тамо святой литургии, яже в пол, и арапским, и греческим языком, пояшеся, чтяху же ся двое Евангелия и два Апостоли, да разумеют арапи и греки. Но внемли, благой читателю, истину ти реку, яко негде же худшой, убогшой и беднейшой не случися видети церкви, яко та. Не глаголю бо о том, яко не имат никакогого украшения внутрь: ни образов, ни светильников, ничтоже, но се болезненно, яко ни покрова, ни врат, ни окон. Что же имат? Точию три стены каменных, и то не целы, четвертая же стена, яже от входу, развалися даже до земли, верх же завалися такожде, токмо над алтарем мало присененно тростию; внутрь же, идеже стояше иногда иконостас, стоит прегражденная каменная стена ветха такожде, якоже и церковь.

Словом рещи, аки един пуст вертеп, идеже егда приходят литургию святую творити, все сосуды и одежды священнические, такожде книги и свечи, приносят с собою, последи же паки относят. Вспросих же аз, почто тамо христиане оной не обновлят или иной не сотворят? Ответствуют, яко басурмане, иже тамо обладают, отнюдь не соизволяют на то, аще тысящными молениями, златом же, сребром и многими дарами пестунствуемы быша. Та и прочая аз тамо слышаши и видяши, соболезновах сердцем неволе их и похвалях в уме моем твердость веры их, яко аще и в таковой нужде обретаются, обаче непременно, яко и прочие христиане, даже доселе, на всяк день молятся Господеви. Ходихом же на всяк день на правило к церкви, но всегда арапское слышахом чтение, и пребывахом в вышеписанной гостинице, жидающе время путешествия нашему к Гробу Господню²¹.

²¹ Странствования Василия Григоровича Барского по святым местам Востока с 1723 по 1747 гг. СПб., 1885. Т. 1. С. 277–279.

Из дневника архимандрита Порфирия (Успенского): «17 декабря (1843 года), пятница. В 11 часов мы в Яффе. Помещение в Иерусалимском монастыре. В Яффе есть единственная церковь православная: она находится в Иерусалимском монастыре, где помещаются все поклонники. Она — во имя Святого Георгия с приделом во имя Святого Николая в алтаре. Бедна, (возобновлена в 1839 года, 20 декабря) темна, ветха, стены стянуты железными полосами. Монастырем заведует игумен и при нем 3 послушника — один молдаван(ин), другой болгарин, третий грек, как переводчики.

Греческий монастырь здешний, по сказанию игумена, построен Феодосием Великим. С русских не берут денег за комнаты; с прочих — по 25 пиастров за комнату. Церковь монастыря ветха; можно перестроить ее и дать ей направление на восток»²².

В начале 1840-х годов члены Русской духовной миссии во главе с ее начальником — архимандритом Порфирием (Успенским), выехали из Бейрута в Сидон и далее — в Тир, чтобы затем проследовать в Яффу.

Из дневника архимандрита Порфирия: «14 февраля. Суббота. Сегодня очень поздно приехали мы в Яффу и здесь, усталые, полуголодные, остановились в греческом монастыре, устроенном для приема поклонников»²³.

Православная Яффа в записках Виктора Каминского (1850 год)

Во время звона к вечерне вошел я в иерусалимское подворье (метох), возвышающееся, с роскошными террасами, над самым морем, и поместился в одной из келий верхнего этажа. Потом пошел я к вечерне в греческую церковь, здесь же на подворье. Служили с большим благоговением. На клиросе пело несколько мальчиков, чрезвычайно звучными голосами. Прихожане молились со страхом Божиим. Мужчины стояли по одну, а женщины по другую сторону. Церковь эта, по-видимому, очень древняя. Лики святых писаны большей частью на золотом поле. Вдоль стен поделаны формы, вроде кресел, в которых стояли пожилые люди; а иногда они садились. По окончании вечерни, все прикладывались к местным иконам.

Спокойный возвратился я в свою келью и провел половину ночи в отдохновении; но при первом призыве в храм Божий, на праздник Святого Саввы, поспешил туда, и выслушал все священнослужение, в котором обедня следовала немедленно за заутреней. Здесь я в первый раз вслушался в титул патриарха. По окончании богослужения поют: «Кириллу блаженному и святому отцу нашему, господину и патриарху Святого Града Иерусалима и всея Палестины, Сирии, Аравии, обонпол Иордана, Каны Галилейския и Святого Сиона, — многая лета!»

После обедни отец архимандрит, начальник здешнего православного духовенства, пригласил всех русских странников к себе на кофе; поздравлял нас с счастливым избежанием морских опасностей, пожелал также благополучно довершить свой путь. У него сначала подавали варенье и воду для запиванья; потом по маленькой рюмочке сладкой водки, извлекаемой, если не ошибаюсь, из виноградных выжимок действием *лембика*; наконец, небольшую чашечку черного, довольно густого кофе, вставленную, вместо блюдца, в другую такую же чашечку.

<...> В яффской греческой церкви для арабов бывает и служение на арабском языке. Прихожане эти стоят в церкви в чалмах, и снимают их только при важнейших действиях священнослужения. Священники их также служат в чалмах.

²² Порфирий (Успенский), епископ. Книга бытия моего. Т. 1. СПб., 1894. С. 346—347.

²³ Еп. Порфирий. Ч. III. С. 211. Цит. по: Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 1, 2012. С. 24.

В праздник угодника Божия Николая я пошел в ту же церковь к заутрени, а потом выслушал здесь и обедню, которую совершал отец архимандрит на греческом языке. За литургией церковь и все предстоявшие молились за здравие Всероссийского государя императора²⁴.

В 1855 году паломничество в Святую Землю предпринял афонский инок Парфений. Вот что записал он в своем дневнике по прибытии в Яффу: «Тут Российский консул всех принимает и распоряжает нашими, Восточной Церкви христианами, и препровождает в греческий монастырь, который тут же, недалеко от пристани, находится; и давали комнаты — сколько где можно поместиться. И здесь мы проживали три дня, и ходили в церковь. Здесь служба совершается более на арабском языке. И здесь мы благодарение воздавали Всевышнему Господу Богу, что сподобил вступить на святую обетованную землю, где сам Спаситель, во плоти, ходил Своими пречистыми ногами; и позабыли все страхи и ужасы, которые претерпели мы на море: только еще не получили мы совершенной радости, что еще не имеем в очах своих возлюбленного и многовожделенного града Иерусалима»²⁵.

Отечественный палестиновед Д. Д. Смышляев пишет (1865 год): «Приезжающие морем в Яффу останавливаются в монастырях греческом или францисканском. Есть в Яффе также особые приюты для русских и протестантов. Наконец, существует сносная гостиница, „Englisch Hotel“, которую держит еврей Блатнер»²⁶. Как следует из этих строк, в Яффе к этому времени уже был приют для русских богомольцев. В записках Н. В. Берга находим описание этого странноприимного заведения: «...и вот вы в так называемом *русском доме*, каких теперь довольно много в Палестине, со времени посещения Иерусалима Великим князем Константином Николаевичем. Это обыкновенный арабский дом тех мест, в котором вы найдете сносную комнату, постель с пологом от мошек, сильно докучающим там приезжим летом, и прислугу, могущую изготовить обед, поставить самовар, заняться, пожалуй, потом и вашим следованием далее»²⁷.

Однако в «хождениях» русских паломников чаще встречается упоминание о греческом монастыре Святого Георгия. Именно здесь в начале 1850-х годов останавливался игумен Антоний (Бочков), готовясь к отъезду в Иерусалим. Вот его описание греческой обители: «Огромное здание, похожее на Стрельнинский дворец, только без большой симметрии, принимает путников. С его террас видно только море, на которое смотришь с удовольствием, когда его избавишься, и пристань, всегда шумящая волнами и народом.

Когда соберутся человек сорок, то их отправляют из Яффы под присмотром одного или двух кавасов, и верблюды, лошаки, ослы, арабские лошади предлагают свои хребты новым крестоносцам. Здесь последняя возня с чемоданами. В Яффе оставляют паспорта, взятые в Константинополе, и вместо них выдает консульство турецкие ярлычки для проживания в Иерусалиме; небольшие суммы денег также оставляются здесь поклонниками в обеспечение обратного пути. Когда все эти формы выполнены и подана милостыня монастырю, содержащему гостиницу, то отправляются потихоньку в Иерусалим»²⁸.

²⁴ Каминский Виктор. Воспоминания поклонника Святой Земли. СПб., 1856. С. 39–43.

²⁵ Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле постриженника святые горы Афонския инока Парфения. М., 1999. С. 6.

²⁶ Смышляев Д. Д. Синай и Палестина. Из путевых заметок 1865 года. М., 2008. С. 54.

²⁷ Берг Н. В. Мои странствия по белу свету. Иерусалим // Путешествия в Святую Землю. Записки русских паломников и путешественников XII–XX вв. М., 1994. С. 179.

²⁸ Антоний (Бочков), игумен. Русские поклонники в Иерусалиме // ЧОИДР, октябрь–декабрь 1874, кн. 4, ч. II. С. 8.

У русских паломников был выбор: останавливаться на ночлег либо в «русском доме», либо в греческом монастыре Святого Георгия. Отечественный палестиновед В. Н. Хитрово со своими спутниками в 1871 году предпочел «русский вариант»: «Дошли до странноприимного дома, который батюшка царь для русских поклонников устроил; вошли это мы в калитку, а навстречу смотритель; увидел это Корнея да и говорит: „Старый знакомый! Опять к нам в гости? Милости просим.“ Матушку с племянницей отвел в женское отделение, а нас с Корнеем в мужское. Все комнаты отдельные, а в комнатах по несколько поклонников вместе располагаются, насто всех собралось в то время человек с 30, ну, просторно было, так что мы вчетвером в одной комнате помещались. Рассказывают, когда много поклонников наберется, то не только в комнатах, но и на дворе под чистым небом помещаются, да и то места не бывает и часть останавливается в греческом монастыре»²⁹.

Расположившись на ночлег в «русском доме», наши богомольцы пошли на греческое подворье в церковь во имя Св. великомученика Георгия. «Церковь новая, не более как лет 20 тому назад выстроенная на месте старой, — пишет В. Н. Хитрово. — Иконы все древние, на золотом поле нарисованы, а на иконостасе, над царскими воротами, большой крест, это, как я заметил, соблюдается во всех греческих церквах»³⁰.

Гостеприимством греческой обители воспользовался и архимандрит Мефодий, прибывший в Яффу с группой паломников в 1892 году. «17-го марта, утром, наш пароход остановился ввиду года Яффы; мы стали собираться на берег. Яффа, или древняя Иоппия, стоит на возвышенном берегу Средиземного моря, — пишет о. Мефодий. — На самом берегу у пристани находится греческий монастырь во имя Святого великомученика Георгия; в этом монастыре мы и остановились. <...> Мы приглашены были о. настоятелем в фондерики (архондарики), где было предложено нам восточное угощение: вода с вареньем, ликер и кофе, а за сим предложили записать своих родных: о здравии и упокоении»³¹.

Русский паломник Петр, укрывшийся под псевдонимом «А-истов», дважды бывал в Яффе с группой богомольцев, — на пути в Иерусалим и по возвращении из Святого града. Вот его первые впечатления о монастыре Святого Георгия: «Мы пошли по узкому переулку к дому греческого подворья, т. е. Георгиевского монастыря. Подворье это находится как раз против стен таможни. Взойдя по избытым каменным ступеням подворья, мы очутились в бессводном длинном коридоре, в конце которого встретили монаха, приветствовавшего нас русской речью. Монах этот провел нас в левый от входа по лестнице номер, с большим сводчатым потолком и окнами на таможенное здание.

Номер наш оказался, хотя просторным, но далеко не светлым помещением, благодаря неудобно устроенным маленьким окнам и тому, что комната была вся заставлена диванами, а в одном углу была сложена груда подушек и других разных вещей, спасенных с разбитого парохода „Чихачев“. Расположившись в комнате и обмывшись с дороги, мы сели пить чай, а затем отправились осматривать город. <...> С берега мы возвратились к греческому монастырю, и отправились обедать в греческую столовую, находящуюся рядом. Затем пили чай у себя, в комнате монастыря. После чая пошли в келью к старшему греческому священнику, с которым вели некоторое время беседу. Здесь мы пили кофе, который был подан нам в маленьких чашечках. Побывав у священника, мы простились с ним, поблагодарив за радушный прием в их монастыре»³².

²⁹ Хитрово В. Н. К животворящему Гробу Господню. М., 2003. С. 80.

³⁰ Там же. С. 81.

³¹ Мефодий, архим. Дневник палестинского паломника. СПб., 1893. С. 9—10.

³² А-истов Петр. Путешествие в Палестину. СПб., 1894. С. 56—58.

По возвращении из Иерусалима Петр А-истов и его спутники направились в уже обжитый ими греческий монастырь. «По приезде в широкую улицу города Яффы мы разбудили спавших на земле у лавок арабов-носильщиков и наняли двоих из них нести наш багаж в греческий монастырь, который находится на берегу моря; дорога до него шла скверная по узким улицам, — пишет Петр А-истов. — Мы в нем заняли комнату, где и легли спать. Комната попалась плохая, из мебели было только стол да пять циновок; два окна ее без стекол выходят на море. На ночь эти окна заставляются едва держащимися на завесах ставнями. Мы так сильно устали с дороги, что вскоре заснули»³³.

На следующий день, после прогулки вдоль берега моря, паломники вернулись в греческий монастырь и уже готовились отойти ко сну. Но их покой был нарушен; как вспоминал Петр А-истов, «только стали ложиться, как послышались выстрелы, которые было сначала нас перепугали, но когда мы оделись и вышли на монастырскую галерею, то увидели иллюминацию на вновь построенной католической церкви. Около церкви на горе пускали ракеты, жгли фейерверки и бенгальские огни. Верх церкви был превосходно разукрашен разноцветными фонарями. Полюбовавшись с галереи на иллюминацию и тихую даль моря, мы возвратились в комнаты»³⁴.

Последний день перед отъездом в Россию был богат впечатлениями: «В пять часов утра мы отправились в греческую церковь, которая находится тут же при монастыре; здесь мы пробыли до Херувимской, а потом пошли в католическую церковь на ее освящение, — продолжает свой рассказ паломник Петр. — До вечера мы гуляли по городу, а вечером были на галерее в Георгиевском греческом монастыре, откуда смотрели на иллюминацию католической церкви и на фейерверк, устроенный на воде около турецкой таможни. Празднество продолжалось до 11 часов вечера, после чего мы ушли к себе в номер. Вечер был теплый. Не хотелось уходить, не хотелось расстаться с этим видом на темную даль моря, которое как бы говорило: пора расходиться, время на покой...»³⁵

В своих записках о Святой Земле целый ряд русских паломников уделял внимание греческой обители. Вот что писал о яффских странноприимных домах епископ Сухумский Арсений (середина 1890-х): «В Яффе существуют монастыри: греческий православный и католический, которых главное назначение — странноприимство паломников. Православный монастырь во имя Святого великомученика Георгия находится на берегу у пристани, на которую высаживаются обыкновенно поклонники. Монастырь этот очень древний и обширный, но вернее назвать его странноприимным приютом, потому что монашествующей братии, как бывало здесь в прежние времена и как доселе у нас, тут не имеется; кроме иеромонаха, который называется игуменом, здесь только диакон и служители»³⁶.

Однако не каждый из русских богомольцев останавливался на ночлег в Яффе; многие стремились побыстрее добраться до Иерусалима, о чем пишет владыка Арсений: «Когда стоит хорошая теплая погода, то не все наши русские поклонники идут в греческий монастырь, тут же находящийся, а располагаются прямо на улице против агентства Русского Общества пароходства и торговли; спустя немного времени они отправляются под присмотром каваса нашего Палестинского общества,

³³ Там же. С. 148.

³⁴ Там же. С. 150.

³⁵ Там же. С. 151.

³⁶ Арсений, епископ Сухумский. Святой град Иерусалим и другие святые места Палестины. СПб., 1896. С. 38.

который всегда приезжает из Иерусалима в тот день, когда ожидается пароход с поклонниками, на станцию железной дороги и едут во Святой град под его охраной»³⁷.

Но как и прежде, у русских паломников, располагавшихся на ночлег в Яффе, был выбор, о чем они могли узнать еще на пути к Святой Земле, читая приобретенный в Одессе «Путеводитель по святым местам града Иерусалима» (Одесса, 1908): «В Яффе находятся консульства, агентства и подворья разных христианских народов Европы. На берегу греческий монастырь во имя Святого великомученика Георгия, дающий весьма удобное пристанище для путников и богомольцев. Тут же есть и русское подворье, куда и следует обращаться русским паломникам, где они и найдут как приют, так и совет относительно дальнейшего путешествия»³⁸.

Группа паломников, возглавлявшаяся протоиереем Василием Михайловским, побывала в Святой Земле во второй половине 1890-х годов. В Яффе богомольцы разделились на две части, о чем пишет протоиерей Василий: «Одни из моих спутников остановились в греческом Георгиевском монастыре, занимающем завидное местоположение, но пользующемся незавидной славой по удобствам для богомольцев. С его террасы открывается превосходный вид на море; здания, особенно монастырский храм, устроены очень прочно и довольно благолепно, но о своих кормильцах, русских паломниках, братья обители прилагают весьма малое попечение»³⁹.

«Мне с некоторыми другими богомольцами было приготовлено помещение в русском приюте, большую часть года занимаемым многочисленной семьей нашего драгомана в Иерусалиме Шейх-Ашири, — продолжает о. Василий свой рассказ. — В этот приют направился и я, с трудом пробираясь вслед за носильщиками по набережной, невообразимо узкой, мусорной; заваленной и товарами, и камнями для строящейся тут новой таможни. Еще хуже пошло дело, когда мы, прошедши набережную, двинулись по улице. Что это была за улица! Никогда в жизни не представлял я себе подобной: представьте себе начинающуюся от набережной узкую, в сажень ширины, каменную лестницу в несколько ступеней. Потом по такой же лестнице, обставленной домами, тянущимися искривленной линией, ведут вас разными извилинами все выше и выше, более чем по двумстам ступеням разной ширины, — это и будет Яффская улица. Эту улицу по ширине и извилинам очень хорошо может напомнить нам вход на колокольню Исаакиевского собора. Только лестницы Исаакиевского собора прочны, правильны, ступени ровные, отличные, а в Яффе ступени трудны для ходьбы, ломаны, неправильны»⁴⁰.

Но наконец все испытания позади, и о. Василий перешагнул порог приюта, который «в верхнем этаже имеет только четыре номера; из них на несколько летних месяцев один занимается Иерусалимским драгоманом, к стеснению богомольцев. Нам была отведена комната очень хорошая, светлая, с чистыми кроватями и постельным бельем и с кисейным пологом. Здесь все к услугам богомольцев: и самовар, и кушанье, какое угодно вам заказать из подходящей провизии и недорогое»⁴¹. (По этому поводу о. Василий здесь же замечает: «Несмотря на эти удобства, было бы очень приятно русскому сердцу, если бы Императорское Православное Палестинское Общество на набережной в Яффе, вблизи пристани, устроило свой приют для богомольцев»⁴².)

³⁷ Там же. С. 40—41.

³⁸ Путеводитель по святым местам града Иерусалима. Одесса, 1908. С. 38.

³⁹ Василий Михайловский, прот. По Святой Земле. Путевые заметки. СПб., 1898. С. 37.

⁴⁰ Там же. С. 36.

⁴¹ Там же. С. 37.

⁴² Там же. С. 37, примеч.

С террасы русского приюта открывался вид на взморье и на расположенное по берегу греческое кладбище. Его созерцали русские паломники с этой террасы: «Утром мы увидели яффских православных женщин, одетых в белые покрывала и ходивших по кладбищу вслед за священником, — повествует о. Василий. — Заинтересовавшись этим зрелищем, мы пошли посмотреть кладбище и церковь. Кладбище обсажено вместо изгороди кактусами, вышиной в полторы сажени, которых ствол по толщине равняется восьми-десяти вершкам в окружности. Церковь небольшая, но содержится прилично, хотя иконостас и стены требовали бы обновления и освежения красками»⁴³.

В начале XX века греческое влияние в Яффе усилилось.

Для сравнения. В 1843 году архимандрит Порфирий (Успенский) сообщал о том, что в Яффе «есть училище для православных мальчиков в отдельном доме, принадлежащем здешнему монастырю. До **40 мальчиков** обучаются арабской и греческой грамоте. Здешний монастырь издерживается на подарки туркам»⁴⁴.

По свидетельству иеромонаха Серафима, побывавшего здесь в 1908 году, «в Яффе открыта Святогробским Братством практическая школа, в которой изучают иностранные европейские языки: греческий, арабский, турецкий, французский и английский; курс учения школы 5 лет. Учеников в школе **до 200 человек**. Школа находится под попечением и управлением Иерусалимского Синода»⁴⁵.

Прибыв в Яффу, иеромонах Серафим нашел пристанище в греческой обители. «На берегу виднеется греческий православный монастырь во имя Святого великомученика и победоносца Георгия, в котором большая часть богомольцев останавливается ввиду того, что он у самой пристани, — пишет он. — Монастырь сей выстроен Иерусалимской Патриархией для удобного пристанища богомольцев, прибывающих в Яффу. Смежно католики выстроили свой монастырь и большую колокольню. У православных колокольни нет, а потому хорошо придумал настоятель монастыря архимандрит Диомид приступить к постройке колокольни. Помогите ему Господи, а то прискорбно всякой православной душе видеть у католиков чудную колокольню, а у себя отсутствие ее. Надеюсь, что православные помогут»⁴⁶.

Яффа инославная

Русские паломники, прибывающие в Яффу, стремились в первую очередь посетить Иерусалим, куда они и устремлялись, порой даже не останавливаясь на ночлег. А те, кто находил пристанище в греческой обители Святого Георгия, лишь кратко упоминали о тамошнем храме. Тем не менее сохранились отдельные свидетельства о знакомстве наших богомольцев и с инославными церквями Яффы. В. Г. Барский (1726 года): «Есть же (в Яффе) монастырец мал римский, идеже един инок брадатый, мню капуцин, живет, духовной ради потребности к своему люду; церкви же римской несть, не соизволяют бо устроити неверные»⁴⁷.

В начале 1840-х годов члены Русской духовной миссии посетили в Яффе «монастыри арabo-униатский, армянский и латинский». Из дневника архимандрита Порфирия (Успенского): «Первый устроен в доме, который подарил монахам

⁴³ Там же. С. 37.

⁴⁴ Порфирий (Успенский), епископ. Книга бытия моего. Т. 1. СПб., 1894. С. 347–348.

⁴⁵ Серафим, иеромонах. Путевые впечатления. СПб., 1910. С. 33.

⁴⁶ Там же. С. 33.

⁴⁷ Странствования Василия Григоровича Барского по святым местам Востока с 1723 по 1747 гг. СПб., 1885. Т. 1. С. 281.

богатый униат в 1831 году. Церковь тут освящена в память Благовещения архангела Пресвятой Деве Марии, мала, но чиста. В ней два придела; местные иконы за стеклами золотисты; в верхнем ярусе иконостаса образа лучше этих икон. А все они написаны в Иерусалиме православным диаконом из арабов Михалаки. В церкви есть деревянная конфессарня для исповедания кающихся. Монахов в этой обители три. Униатских семейств в Яффе 60, а душ латинов 335. Армянский монастырь у подошвы цитадели с отличной церковью во имя святителя Николая Чудотворца так же, как и униатский, не велик. Монахов в нем три. Латинский монастырь обновлен в 1837 году. Церковь в нем содержится весьма чисто, а в ней хороши мраморные иконы Рождества и Воскресения Христова, особенно вторая. Монахов францисканцев 8; их кельи опрятны; есть у них трапеза и даже библиотека с книгами, больше испанскими. Все эти обители суть не что иное, как гостиницы для богомольцев»⁴⁸.

Католический храм Святого апостола Петра

Оказавшись на центральной площади Яффо, нельзя не заметить роскошного здания церкви Святого Петра, принадлежащей ордену католиков-францисканцев. Построена она в 1888 году, однако история этого храма началась намного раньше.

Во время пятого крестового похода (1228—1229) император Фридрих построил в Яффе крепость, а в 1251 году здесь жил французский король Людовик IX Святой, возглавлявший шестой крестовый поход (1248—1254). Он привез францисканских монахов в Яффу, и его статуя теперь стоит внутри мужского монастыря обители. Людовик преподнес францисканцам щедрый подарок – монастырь, в строительстве которого он и сам принимал участие. В 1264 году Яффу захватили мамлюки султана Бейбарса. Его воины уничтожали все, что было связано с христианством. Естественно, не уцелел и францисканский храм.

Начиная с 1650 года монахи содержали в Яффе странноприимный дом, чтобы принимать паломников, прибывавших через порт, а в 1654 году здесь заново была построена церковь, — над средневековой крепостью, возведенной Фридрихом II и восстановленной Людовиком IX. Шпиль церкви Святого апостола Петра в Яффе на протяжении веков был маяком для уставших от морского перехода паломников, показывая им, что Святая Земля рядом. В конце XVIII века церковь была дважды разрушена и дважды отстроена заново. В этой обители останавливался Наполеон Бонапарт в 1799 году во время похода в Египет. Нынешняя церковь была построена испанцами между 1888 и 1894 годами и последний раз отремонтировалась в 1903 году.

Восстановление храма началось с угловой башни средневекового монастыря, которая, несмотря на неоднократные разрушения Яффы, чудом сохранилась. В левой части строения сейчас расположена церковь, в правой — монастырь. Сохранившаяся со времен крестоносцев капелла имеет круглую форму. Стены и высокий потолок сложены из обтесанных камней. Узкие окна-бойницы и особая атмосфера, царящая тут, переносят нас в эпоху крестовых походов. Тогда, как и сейчас, это место использовалось для молитв. Время здесь словно остановилось.

Внутреннее убранство храма отличается роскошью, которая особенно бросается в глаза после аскетизма капеллы. В центре собора, перед алтарем, расположена огромная картина кисти каталонского художника Доминика Таларн-и-Рибо. На ней — апостол Петр, перед которым предстал ангел, зовущий отведать дары.

⁴⁸ Порфирий, еп. Ч. III. С. 212. Цит. по: Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 1. 2012. С. 24.

Вызывает интерес и копия иконы Ченстоховской Божией Матери. Икона чудом уцелела после нападения гуситов в XV веке. О том времени напоминают лишь следы от ударов сабель, что остались на чудотворном образе. Интерьер церкви напоминает соборы Европы с высоким сводчатым потолком, витражами и мраморными стенами.

В самой церкви есть красивые витражные окна, размещенные почти под сводом. Витражи были изготовлены в Мюнхене известным художником Францем Ксавьером Зеттлером (F. X. Zettler). Четыре панели в передней части церкви изображают эпизоды из жизни Святого апостола Петра, включая чудесный улов рыбы, вручение ключей от рая, Преображения Христа на горе Фавор и умовение ног на Тайной Вечери. За исключением изображения прав. Тавифы, Святого Франциска Ассизского и Непорочного Зачатия, другие витражи в церкви изображают испанских святых, что неудивительно, поскольку нынешнее здание было построено на средства Испании. Каждое окно – это произведение искусства,

Также следует отметить кафедру, которая вырезана в форме плодоносящего дерева. Знаменитой является и колокольня храма. Ее огромные колокола были привезены более ста лет назад из Европы. Венчают башню часы, расположенные со всех четырех сторон. Мессы проводятся на английском, итальянском, испанском, польском и немецком языках. Церковь популярна среди польских рабочих, которые приезжают сюда, чтобы молиться по субботам, — в Израиле это выходной день.

Интересное упоминание о католическом храме Святого апостола Петра содержится в записках Петра А-истова (начало 1890-х годов). 12 мая, в воскресный день, вместе с несколькими спутниками он направился к церкви ап. Петра, где проходил чин ее освящения. «Около церкви стояла такая масса народу, что едва возможно было протиснуться к дверям, — пишет Петр А-истов. — В самый храм нас не пропустили, так как мы не имели билетов, поэтому пришлось довольствоваться тем, что смотрели, стоя на табурете. Богослужения мы почти совершенно не видели, но звуки оркестра явственно долетали до нас»⁴⁹.

Прогулявшись по яффским улочкам и посетив местный базар, наши богомольцы «прошли в католическую церковь ап. Петра, которую утром нам не удалось осмотреть, — продолжает Петр. — Теперь народу почти совсем не было и доступ в церковь был свободен. Внутри церковь отделана замечательно изящно и мы с удовольствием осматривали прекрасно написанные картины и алтари»⁵⁰.

Краткое упоминание о католических благотворительных учреждениях Яффы можно найти в записках протоиерея Василия Михайловского. «По выходе с кладбища, на пути в город, мы заметили в самой ограде несколько лачужек, кое-как прикрытых со всех сторон от жгучих лучей солнца. Оказывается, что здесь имеют постоянное жительство бедняки православного прихода в Яффе, так как у православных там нет бедным более удобного помещения — ни богадельни, ни детского приюта. Не то мы видим у иноверцев яффских: почти рядом, только через дорогу, на пути в город, устроены англичанами и французами прекрасные и обширные благотворительные учреждения. Чистота, благоговение в храме, обеспеченность содержания призреваемых, прекрасное обращение заведующих в этих учреждениях не оставляют желать ничего лучшего.

Кстати сказать, почти рядом с русским приютом находится школа, так называемая школа четырех братьев-французов, которые и отдают ей все свое время, не жалея труда на обучение и просвещение детей всякого происхождения. Детские голоса учащихся доносились из этой школы в наш русский приют; потому что мы и узнали про существование этой школы с тремя классами. Мы ее посетили

⁴⁹ А-истов Петр. Путешествие в Палестину. СПб., 1894. С. 150.

⁵⁰ Там же. С. 151.

и удивились прекрасному чистописанию и даже не по летам искусному рисованию детей. Отраднo видеть в учителях-братьях всецелую преданность долгу, ими на себя добровольно принятому»⁵¹.

Армянский монастырь Святого Николая («Сурб Никогайос»)

Обитель Святого Николая, известная с первого тысячелетия, — средневековый армянский монастырь в старой Яффе, на берегу Средиземного моря. расположенный на месте часовни, основанной в честь святителя Николая в 406 году. С давних времен здесь была гостиница, которая принимала армянских паломников, посещавших Святую Землю. В нем находили приют беженцы из Западной Армении, спасшиеся после массовой резни в Турции (1915–1920). Монастырь представляет собой большой многоэтажный комплекс, в котором размещаются армянская церковь и жилые помещения.

Самым известным событием, нашедшим впоследствии отражение в знаменитых картинах, было размещение на территории обители госпиталя для наполеоновских солдат. После захвата Наполеоном Яффы в 1799 году среди французских войск вспыхнула эпидемия чумы. Больных размещали в здании монастыря. Слухи о чуме быстро распространялись среди солдат, и Наполеон решил пойти в отделение больных бубонной чумой, чтобы успокоить армию и утешить страдающих. Говорят, что он даже прикоснулся к одному больному со словами: «Смотри, ничего страшного», а выйдя из отделения, сказал тем, кто посчитал его поступок опрометчивым: «Это был мой долг. Я — главнокомандующий». Это событие увековечил художник Жан Антуан Гро, написавший в картину «Наполеон посещает больных чумой в Яффе» (1804, Париж, Лувр). А на обратном пути здесь же Наполеон приказал отравить несчастных при своем отступлении в сторону Египта, чтобы избежать трудностей с их транспортировкой.

В знак своей признательности за заботу о больных и раненых будущий император подарил армянским монахам свою палатку, из которой сделали мантию для священнослужителей, хранящуюся в монастыре Святого Иакова в Иерусалиме (раз в год ее надевает армянский патриарх). Наполеон был весьма расположен к армянам: в обширной литературе, посвященной его походам, постоянно упоминается Рустам Раза — его верный телохранитель на протяжении всей жизни, начиная с Египетской кампании. Монастырь в 2008 году был полностью отремонтирован и частично перестроен. Обитель имеет важное значение среди увеличивающейся за счет новых иммигрантов армянской общины. Сегодня многочисленные помещения монастыря «Сурб Никогайос» сдаются в аренду под жилые квартиры, галереи и даже театр (знаменитый театр слепоглухонемых «На-Лагаат» расположен под яффским маяком в складских строениях, принадлежащих монастырю), что позволяет собрать средства, необходимые для содержания религиозной общины. Источником доходов является и организация концертов классической музыки, пользующихся популярностью ввиду возможности беспрепятственно посетить церковь и увидеть ее достопримечательности.

Среди последних не только прекрасные иконы, но и вмурованная в стену каменная доска с армянскими письменами, датированная 1630 годом, а также уникальные изделия армянских мастеров: керамика, резьба по дереву или знаменитые каменные плиты с резным изображением креста — «*хачкары*» (арм. *хач* — крест, *кар* — камень) — поразительные образцы художественной культуры, дошедшие до нас из эпохи

⁵¹ Василий Михайловский, прот. По Святой Земле. Путевые заметки. СПб., 1898. С. 37.

зрелого средневековья. Монастырь находится под юрисдикцией армянского Иерусалимского патриархата⁵².

Яффский базар

Русские паломники, знакомившиеся с Яффой, неизменно посещали местный базар. Сегодня здесь уже нельзя увидеть «смешения рас и народов», и поэтому этнографические зарисовки, принадлежащие перу наших предшественников, представляют особый интерес.

О «смешении рас и народов» в Яффе конца XIX века повествует епископ Сухумский Арсений: «Жителей здесь считается до десяти тысяч, из которых православных арабов до тысячи и католиков до трехсот, немного армян и маронитов, а прочие турки и евреи. Большая часть христианского населения занимается торговлей, которая со времени прорытия Суэцкого канала получила значительные размеры. Вывозят отсюда по преимуществу следующие произведения страны: пшеницу, ячмень, сесам (кунжут), хлопок, шерсть, масло, мыло, а более всего — апельсины и лимоны. Предметами же ввоза служат: рис, кофе, сахар, железо, дерево и разного рода мануфактурные изделия»⁵³.

Несколько лет спустя другой русский пилигрим также отметил «мультикультурный» характер местного торжища: «Яффский базар, куда мы попали, пройдя по набережной, представляет из себя очень пеструю живую картину. В лавчонках с различными товарами встретишь и турка, сидящего поджавши ноги, и грека, и перса, и араба. Здесь встретишь и еврея с отпущенными пейсами, стоящего со своей каской, разменным магазином монет всех стран света»⁵⁴.

Вот как описывает яффское торжище Н. В. Берг.

Шумный яффский базар, точно клокочущий котел: чалмы, фески, чадры, лошади, ослы, собаки, верблюды, овцы, горы апельсинов и разговор, похожий на ругательства. Если бы вы захотели остановиться и заняться изучением этого любопытного пункта, вы бы не без удивления заметили в ту же минуту отсутствие всякой полиции, или, может быть, и рассмотрели бы, спустя некоторое время, какое-то подобие полицейанта (одного на весь базар), в синем казакине и при сабле, сидящего где-нибудь в кофейне, на низеньком-пренизеньком табурете, скорчась невероятно и болтая всякий вздор с купцом-хозяином и разными грязными обывателями в чалмах и халатах. Не дивитесь: безмятежный, патриархальный сон еще царствует над этими странами ушедшими в своих нравах и порядках очень недалеко от той эпохи, когда тут провозились кедры Ливанских гор, купленные Соломоном для Иерусалимского храма, Мало что изменилось с тех пор. География учит нас, что здесь правит султан, то есть правление деспотическое, но это неправда, по крайней мере, совсем не то, что думают о деспотическом правлении в Европе.

Когда вы всмотритесь в дело, то увидите, что здесь нет ровно никакого правления; Бог знает что такое. Все управляется скорее само собой, подобно базару, на котором во действительно приостановились, потому что *мухру* нужно что-то приладить к своему седлу: он ищет веревочки, долго не находит, и наконец отнимает у кого-то силой, при страшных криках и хохоте окружающих, получив, впрочем, в заключение, небольшой тычок, за которым он, разумеется, не гонится. Полиция

⁵² Адрес: 3, Ha-Ratsif ha-Aliya ha-Shniya St., Tel-Aviv-Yaffo (Тель-Авив, ул. Рациф ха-Алия ха-Шния, 3).

⁵³ Арсений, епископ Сухумский. Святой град Иерусалим и другие святые места Палестины. СПб., 1896. С. 36—37.

⁵⁴ А-истов Петр. Путешествие в Палестину. СПб., 1894. С. 57.

сидит и разговаривает во все это время с обывателями о политике, о чем случится, ничего не видя. (Политика – любимый восточный разговор). Никто полиции не требует. Она вообще не нужна глубокому Востоку, как не нужны еще многотомные законы, статьи и параграфы, без которых не умеет жить ни одно европейское государство, ни один наш городок; как не нужны турецкие *каиме*, ассигнации, никак в этих местах не могшие привиться, несмотря на все хлопоты турецких властей. Оно точно, говорят: деспотизм; точно, все можно сделать – но за то ступай куда хочешь всякую минуту. Ни застав, ни паспортов. Базар, город, вся Палестина что твой кабинет, разгуливай себе из угла в угол, сколько душе угодно.

Но мы долго засмотрелись на «блаженство» восточного жителя. А нам нужно двинуться еще и потому, что на нас, как на посторонний элемент, беспокоящий местные взоры, обратила внимание толпа базарных мальчишек, и один уже пустил в нашу сторону коркой апельсина. Воевать с этим народом, при «добрых», патриархальных обычаях допотопного городка, я вам не советую. «Халлинаруах!» скажем по-арабски: «Марш в поход!»⁵⁵

Еще одна зарисовка яффского базара принадлежит уже упомянутому епископу Сухумскому Арсению (середина 1890-х годов) «Город представляется в торговых местах очень оживленным, а главный базар их заслуживает особенного внимания со стороны тех, которые являются сюда в первый раз и интересуются страной и ее обитателями, — пишет владыка. — Сколько нового и интересного представляют скученные группы продавцов и покупателей в своих национальных костюмах с разными товарами, буквально сжатых на небольшой площади и узкой улице. Вот статные арабы с их смуглыми лицами, от лучей солнечных сделавшимися бронзового цвета, толпятся между продавцами плодов, зелени, хлеба или мяса, которые раскладывают товар свой просто на земле и закликают покупателей криком во все горло. Здесь феллахи, то же, что наши крестьяне земледельцы, торгуют себе нужное; там продавец конфет окружен мальчишками, привыкшими лакомиться сладким, а там арабские женщины с покрывалом на голове, спускающимся по сторонам, так что глаза их остаются видны. Все толпятся, все кричат, а тут целый ряд верблюдов, соединенных один с другим веревкой и нагруженных тяжестями, пробирается, грозя раздавить неосторожного, не успевшего посторониться. Или вот еще верховые наездники на ослах, тут же пробираясь, умножают суматоху, а местные жандармы, которых вернее всего назвать отставными цыганами, потому что они больше похожи на них, чем на блюстителей порядка, прогуливаются в этой толпе, ожидая получить бакшиш (подачку)»⁵⁶.

Петербургский протоиерей Василий Михайловский (1888 год) уделил яффскому базару всего несколько строчек, но для жителя города на Неве они особенно интересны: «Базар этот находится на небольшой площади, вроде площади у Обуховского моста в Петербурге, — пишет о. Василий. — На нем продаются преимущественно разные фрукты, зелень и провизия в жалких лавчонках, каких ныне у нас в столице уже нет, но прежде были на Сенной или какие устроятся в наших селах в сельские храмовые праздники»⁵⁷.

...Навсегда исчезла неповторимая атмосфера яффского базара, описанная будущим лауреатом Нобелевской премии И. А. Буниным. А вот что предстало здесь перед его взором в 1907 году: «По гладким каменным уступам, в тени звонких

⁵⁵ Берг Н. В. Мои странствия по белу свету. Иерусалим // Путешествия в Святую Землю. Записки русских паломников и путешественников XII—XX вв. М., 1994. С. 179—180.

⁵⁶ Арсений, епископ Сухумский. Святой град Иерусалим и другие святые места Палестины. СПб., 1896. С. 37.

⁵⁷ Василий Михайловский, прот. По Святой Земле. Путевые заметки. СПб. 1898, С. 40.

переулочков поднимаемся к базару. О Стамбуле напоминает в первую минуту запах гниющих апельсинов и укропа, смешанный с чадом восточной кухни. Но нет, даже в самых глухих закоулках Стамбула нет плит, столь выбитых и отшлифованных копытами и туфлями, и такой толпы — таких грубых одежд, такого жесткого загара и таких гортанных криков! Вот базар с мокрым фонтаном, с водоносами под бурдюками и кувшинами, с верблюдами и собаками, с грудями фруктов и зелени, с кофейнями и лавчонками открытых полутемных рядах... Да, тут все старее, восточнее. И небо над базаром ярче, и зной не тот. А какие дряхлые хананеи с красными кроличьими глазами меняют в сумраке рядов бешлыки на лепты и пиастры! <...>

Эти темные лавчонки, где тысячу лет торгуют все одним и тем же — хлебом, жареной рыбой, уздечками, серебряными кольцами, связками чеснока, шафраном, бобами; эти черные, курчаво-седые старики-семиты с обнаженными бурыми грудями, в своих пегих хламидах и бедуинских платках; эти измаилитянки в черно-синих рубахах, идущие гордой и легкой походкой с огромными кувшинами на плечах; эти нищие, хромые, слепые и увечные на каждом шагу — вот она, подлинная Палестина древних варваров, земных дней Христа!..»⁵⁸

Путь из Яффы в Иерусалим

В 1892 году в Палестине была построена железная дорога, соединившая Яффу с Иерусалимом. А до этого времени паломники направлялись в Святой град либо пешком, либо на «гужевом транспорте»: осликах, мулах, лошадях и верблюдах. Одно из самых обстоятельных описаний «хождения» из Яффы в Иерусалим принадлежит киевскому паломнику В. Г. Барскому (см. приложение 1).

Вот как описывает это русский паломник Д. В. Дашков (1820 год) «Достав, за умеренную цену, нужных нам лошадей и верблюдов, мы отправились из Яффы 22 августа, перед вечером, в сопровождении мусселимского чиновника и монастырских драгоманов и ехали прекрасной Саронской долиной до Рамлы (древн. Аримафии): там пробыли несколько часов, ожидая восхождения месяца. От сего города равнина возвышается не приметно до подошвы гор Иудейских, бесплодных и населенных малолюдными племенами хищных аравлян. Вступив в ущелия, мы увидели другую природу: места дикие, где почти нет следов человеческой деятельности, где поросшие кустарником развалины показываются изредка на холмах, как гробы времен минувших. Дорога каменистая и трудная, то извивается по крутизнам, то спускается в глубокие овраги, на дно пересохших потоков»⁵⁹.

Сходное описание пути при выезде из Яффы находим в записках архимандрита Порфирия (Успенского): «9 декабря 1843 года. Выезд из Яффы в 2 часа пополудни. День теплый. Дорога от Яффы до Рамлы пролегает по ровному полю и идет к горам Иудеи. Эти горы не высоки; верхи их не возвышаются один пред другим, а как будто подравнены. С дороги видно было много деревень на поле, на склонах гор и на вершинах. Направление гор казалось прямолинейным от севера к югу. Вся напольная сторона возделана; здесь обработаны нивы, там пасутся стада, там зеленеют различные сады»⁶⁰.

⁵⁸ Бунин И. А. Иудея // Путешествия в Святую Землю. Записки русских паломников и путешественников XII — XX вв. М., 1994. С. 220.

⁵⁹ Дашков Д. В. Русские поклонники в Иерусалиме. Отрывок из путешествия по Греции и Палестине в 1820 году // Святые места вблизи и издали. Путевые заметки русских писателей 1-й половины XIX века. М., 1995. С. 19.

⁶⁰ Порфирий (Успенский), еп. Книга бытия моего. Т. 1. СПб., 1894. С. 348.

В конце 1850 года по этому пути проследовал отечественный пешеходец Виктор Каминский. Вот отрывок из его дневниковых записей: «Наступило 7 декабря. День этот прошел в отправлении на верблюдах наших вещей в Иерусалим, также в прописке паспортов, в приискании лошадей. В это время стеклось в Яффу довольно странников: русских одиннадцать человек, но греков и славян до ста. Однако же лошадей достало для всех, и постоянная цена за лошадь от Яффы до Иерусалима — рубль пятнадцать копеек серебром — не изменилась. Молодые греки и болгары были вооружены штуцерами, пистолетами, шашками, кинжалами, хотя в то время дорога предстоявшая нам, не предвещала никакой опасности. Только к вечеру все было готово, и отъезд отложили до следующего дня.

Утром, 8-го декабря все собрались в церковь, помолились в простоте сердца, и после обедни начали готовиться к отъезду. Подворье пришло в движение; все суетились, спешили; больную странницу уложили в кресло, переплели его веревкой, соединили с другим креслом, в которое посадили ее сестру, расположили кресла по обеим сторонам лошади и прикрепили к подпруге; для детей кресла заменяли корзинами. При подобных путниках всегда был впереди *кераджи* (извозчик). „До свидания, добрая, гостеприимная Яффа!“ — сказал я, садясь на лошадь.

Караван наш тронулся ровно в полдень. Вооруженные наши рыцари составили авангард, и красовались на бодрых арабских конях. „Все, думаю, идет, как нельзя лучше; Небо видимо покровительствует нам“. День был восхитительный, теплый и ясный. Дорога наша шла сначала между апельсиновыми и лимонными садами; за ними раскинулись очень приятные, хотя и печальные, равнины; далее — зеленеющие долины и пахотные поля. Все это было некогда достоянием колена Данова. Арабы-земледельцы спокойно обрабатывали свои участки, то быками, то верблюдами, запряженными в плуг; иные сеяли пшеницу; в долинах весело паслись стада овец; близ дороги порхали хохлатые жаворонки; а над влажными местами летали и уныло кричали чайки...»⁶¹

Афонский инок Парфений, не отягощенный излишними средствами, выбрал самый дешевый вид передвижения — ослика. «Октября 28 числа (1855 года), утром, пришел консул и объявил, чтобы русские были готовы в дорогу, — пишет о. Парфений. — Спустя немного времени, приходят арабы и берут сумки у всех, которые сами не могут нести. И мою взял араб, а я пошел вслед за ним, и вышли на улицу; тут стояло множество верблюдов, коней, ослов и магарчиков (по-русски — лошаков); и брали всяк себе по силе, — кто верблюда, кто коня, а другой осла, а иной магара. Я взял для себя осла и поехал, помышляя о вшествии Господа Иисуса Христа во святы град Иерусалим на жребяти осла. Выехав из Яффы, древней Иоппии, ехали зелеными садами и огородами, где овые плоды собирали, овые садили, овые плоды цвели, а другие поспевали, ехали верст семь; осталось в правой руке, в стороне, селение Лида, отечество св. великомученика Георгия»⁶².

Ученый паломник Д. Д. Смышляев, в 1865 году воспользовавшийся местной тягловой силой, уточняет: «В Яффе нанимают лошадей или мулов до Иерусалима. Цены разные, смотря по сезону и приливу путешественников»⁶³.

Впрочем, по найденному пути из Яффы в Иерусалим перемещались не только паломники. В 1866 году начальник Русской духовной миссии архимандрит Антонин (Капустин) в письме своему предшественнику архимандриту Леониду (Кавелину) сообщал о прибытии в Святой град необычного «путешественника».

⁶¹ Каминский Виктор. Воспоминания поклонника Святой Земли. СПб., 1856. С. 46—47.

⁶² Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле постриженника святые горы Афонския инока Парфения. М., 1999. С. 6—7.

⁶³ Смышляев Д. Д. Синай и Палестина. Из путевых заметок 1865 года. М., 2008. С. 54.

Были у нас и некоторые экстренности. В ноябре месяце (1866 г.) мы задумали перевезти из Яффы 3 колокола. Для этого я прежде всего обратился к Патриарху⁶⁴ за позволением взять который-нибудь колокол для своей церкви. «Заимообразно». Блаженнейший, не надеясь когда бы то ни было овладеть большими колоколами, сказал мне, что я могу взять их себе оба, но с тем, чтобы возратить ему то же количество веса, но меньшего размера колоколами: так как все люди смертны, то и обещания их не вечны... Сообразив это, я поблагодарил Его Блаженство и приступил к делу. Михаил Ф., с помощью разных мастеров, устроил особого рода колесницу. Мы сделали воззвание к поклонникам и отправили целый полк их в Яффу. Сначала перевезли средний колокол (40 пудов). Преодолели всяческие трудности, но сделали свое дело с полным успехом. Убедившись в возможности доставки и большого колокола, я решился украсить им святогробскую колокольню и для сего выпросил у Патриарха вместо него меньший колокол (16 пудов) на прежних условиях, который и был доставлен на верблюде. 12 декабря был торжественный въезд наш в Иерусалим с большим (60 пудов) колоколом. Тащили его наполовину поклонники и наполовину поклонницы... Это была славная минутка! К Рождеству он уже гудел на старой колокольне, на утеху православным, на диво туркам и на скрежет зубовный пропагандам. Тем временем и мы на своих постройках не дремали. Памятный Вам тщедушный колокольчик мы сдали в Патриархию; а вместо него взяли себе другой, больший, с прекрасным меланхолическим голоском. Затем подняли 16-пудовый и учинили изрядный повседневный звон. В праздники же у нас теперь полный, заправский, звон, хоть и напоминает собою более русское село, чем столицу (Соломонову)⁶⁵.

Весьма реалистичную картину отъезда из Яффы в Иерусалим описывает Н. В. Берг: «Дело известное: являются лошади или ослы, для вас и для ваших вещей, которые укладываются в особые перекидные мешки, из грубой шерстяной материи, называемые *хуржами*. На третьем коне, или осле, сидится проводник, *мухр*, а не то (если вы лицо протезируемое местными властями) *кавас* консульства. Вы садитесь большей частью на скверное арабское седло и начинаете нырять по улицам Яффы между желтыми домами известной турецкой архитектуры. Всякого рода сор, собаки, роющиеся в этом сору; чумазая баба, под покрывалом, в шароварах и красных туфлях, шлепающих так, что этим звуком оглашается весь тихий переулок; араб в роде того, каких вы видели на пристани, не то на палубе парохода, — в голубой или коричневой куртке, в синих шальварах, на осле, или так, пешком: вот что будет мелькать по временам пред вами, покамест вы поедете улицами сказанного, допотопного городка»⁶⁶.

Об опасностях, подстерегавших паломников на пути в Иерусалим, предупреждал своих читателей игумен Антоний (Бочков) (начало 1850-х годов). Первый отрезок дороги — от Яффы до Рамлы: «Каждый шаг вашей лошади приближает к желанной цели. В разных местах открываются горы, покрытые туманами; вся природа здесь уныло приветствует путника. Три часа продолжается это шествие, изредка прерываемое каким либо случаем: развьючится седло, отстанет кто-нибудь, от неумения править упрямым ослом и еще более опасной арабской лошадей, которая, при неосторожной натяжке удил, сбрасывает неловкого всадника. Это

⁶⁴ То есть к Иерусалимскому патриарху Кириллу II.

⁶⁵ Цит. по: Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 1. 2012. С. 155.

⁶⁶ Берг Н.В. Мои странствия по белу свету. Иерусалим // Путешествия в Святую Землю. Записки русских паломников и путешественников XII-XX вв. М., 1994. С. 179.

нередко случается с нашими простыми ездоками, которые обращались с крепко замунштученным арабским конем, как с деревенской лошадейю»⁶⁷.

Прибыв в Рамлу и переночевав в греческом монастыре Святого Георгия, паломники готовились продолжить путь в Иерусалим. «Еще до восхождения солнца выводят коней в узкие переулки Рамалы, и тут опять хлопоты, — продолжает о. Антоний. — Кто не может отыскать по приметам своего седла, кто позабыл в Яффе свою корзину с апельсинами. Кавасы приводят все в порядок: они начинают и замыкают шествие, вооруженные с головы до ног. Теперь только приходит в голову, что приближаемся к горам, к столице Абугоша, арабского шейха, который некогда славился разбоями. И в последние годы бывали нападения от арабов, но не частые, и то по донесениям иерусалимских их лазутчиков о шествии богатого архимандрита, или какого либо армянина с кошельками. На поезд человек с пятьдесят и без предварительных сведений арабы почти не нападают»⁶⁸.

К концу 1889-х годов грабежи паломников почти прекратились, и это давало возможность продолжать путь к Иерусалиму также и в ночное время. Небольшая группа русских богомольцев во главе с протоиереем Василием Михайловским проследовала этим маршрутом в июне 1888 года. Отец Василий подробно описывает те «неудобства», с которыми пришлось мириться отечественным пилигримам.

Шестьдесят верст до Иерусалима ехали мы 12 часов на тройке, в четырехместном фургоне, крытом холстом, с холщевыми по бокам занавесами. Это путешествие просто было мучение — и от духоты и от скверной езды, и от темноты ночной, не позволявшей осмотреть новые места, и от тесноты помещения в фургоне, и от продолжительных остановок для отдыха лошадям, но не людям. Мы останавливались у так называемых кофейных домов, где лошадей кормили впроголодь и поили, а путники угощались кофе, или своей запасной провизией. Но что всего тягостнее на этих станциях, кроме станции Колоние, — это то, что на них негде было ни присесть, ни прилечь. У нас на Руси при отдыхе и остановке можно выйти из возка, летом прогуляться по зеленой траве, присесть под зеленым деревом и напиток свежей воды или умыться у ближайшего источника.

Здесь же нет ничего подобного. Подвозят вас к кофейне, похожей скорее на кузницу. Ворота открыты настежь. Здесь вы находите всего одну большую комнату, где вместе и живут хозяева, и останавливаются проезжие: и паломники, и турки, и арабы, и солдаты военного караула, разъезжающие верхом по своему пятиверстному участку, на которые разделен весь путь от Яффы до Иерусалима. Хотелось бы полежать хоть часок где-нибудь, или присесть с удобством, а места нет: всюду пыль известковая, камень голый; ни травы, ни лесу, никакой тени. Правда, для удобства предлагают путнику циновку из кофейни, но на этой циновки и днюют и ночуют сами хозяева и другие гости, и поэтому от нее как раз получишь *спутницу* в дорогу до самого Иерусалима и на всю иерусалимскую жизнь, так что долго будешь помнить эту циновку⁶⁹.

Вот одно из упоминаний о «конной тяге», предшествовавшей путешествию по «чугунке». Пишет Петр А-истов: «В 1 час 15 минут пополудни тронулись мы из Яффы. Нам пришлось ехать рынком, площадь которого была запружена народом и завалена массой овощей и фруктов, лежавших грудками. Когда мы миновали рынок и выехали на простор, кони, подгоняемые кнутом возницы, дружно тронулись в путь и мы покатали по иерусалимскому шоссе, или, как его здесь больше зовут, по Яффской дороге.

⁶⁷ Антоний (Бочков), игумен. Русские поклонники в Иерусалиме // ЧОИДР, октябрь—декабрь 1874, кн. 4., ч. II. С. 8.

⁶⁸ Там же. С. 9.

⁶⁹ Василий Михайловский, прот. По Святой Земле. Путевые заметки. СПб., 1898. С. 40—41.

Звения колокольчиками, бежали наши кони вперед, задавая дорожную пыль, которая густым облаком расстилалась позади нас и попадала в наш дилижанс, хотя у нас были опущены занавеси со стороны, откуда дул ветер. Ехали мы по дороге среди изгороди зеленых заборов с большими толстыми колючими листьями. За заборами тянулись великолепные яффские сады, которые представляли собой живописную картину. Несмотря на массу пыли, расстилавшуюся вокруг нас, мы все-таки не могли не восхищаться окружающей нас природой...»⁷⁰.

...В 1892 году «железный конь» пришел на смену арабской лошадке. Это отмечено в паломнических записках Петра А-истова: «11 мая, суббота. После чая пошли гулять по Яффе и незаметно дошли до полотна железной дороги, которая строилась между Яффой и Иерусалимом; хотя дорога была еще не кончена, но резкий свисток локомотива давал знать, что движение уже происходит»⁷¹.

С этого времени у паломников был выбор: сесть на поезд, влекомый «шайтан-арбой», либо оседлать бессловесное парнокопытное. Вот что сообщалось об этом в паломническом путеводителе: «По прямому пути Иерусалим находится от Яффы на расстоянии 60 верст. С 1892 года от Яффы проведена железная дорога к Иерусалиму, но многие благочестивые паломники, привыкшие свое путешествие по святым местам совершать пешком, предпочитают и теперь из Яффы идти пешком в Святой город. Пешком путь между Яффой и Иерусалимом обыкновенно совершается в течение двух дней, и путь этот весьма утомителен, вследствие того, что большей частью пролегает по песчаной, пустынной, местами каменистой, выжженной солнцем местности. Локомотив же доставляет путника по железной дороге через три часа. Совершать путешествие можно еще и верхом, а также и в экипаже, смотря по желанию и средствам путника. Дорога для пешеходов и железная дорога первоначально от Яффы идут параллельно до станции Рамле и известна под именем Иерусалимской дороги. Она проходит через Яффские сады к югу, а затем простирается по воспетой пророком Исаием и царем Соломоном (в Песне песней) Саронской равнине, которая тянется к востоку вплоть до Иерусалимских гор»⁷².

С этого времени большинство паломников предпочитали добираться из Яффы до Иерусалима по «чугунке» на чрезвычайно медленно движущемся поезде, который, несмотря на незначительность расстояния — всего 82 версты, находился в пути шесть часов, делая в час не более 15 верст⁷³. В те годы среди богомольцев большой популярностью пользовалась книга Фомы Кемпийского «О подражании Христу», и часть из них следовала этому руководству в буквальном смысле слова: либо они передвигались на ослятах, либо это были *пешеходцы*. «Добраться до Иерусалима можно разными способами, — писал один из них. — Можно ехать по железной дороге, как и делают ныне большей частью богомольцы; можно ехать верхом на лошади; можно ехать верхом на осле; можно ехать в немецком фургоне. Но лучше всего идти пешком, взяв в руку палочку, да закинув за плечи котомку с самым необходимым добром»⁷⁴.

А вот совет бывалого паломника — епископа Сухумского Арсения, проделавшего этот путь в начале 1890-х годов: «Прежнюю дорогу, хорошо устроенное шоссе, между Яффой и Иерусалимом, в настоящее время заменила железная дорога, которая доставляет в Святой град паломников очень скоро, сравнительно с прежним.

⁷⁰ А-истов Петр. Путешествие в Палестину. СПб., 1894. С. 58—59.

⁷¹ Там же. С. 148.

⁷² Путеводитель по святым местам града Иерусалима. Одесса, 1908. С. 41.

⁷³ Платонов П. В. Быт и нужды русских православных поклонников на Святой Земле в XIX—XXI веках.

Публикация на сайте «Россия в красках» <http://ricolor.org/russia/ippo/1/lekzia21/>

⁷⁴ Сергей Меч. Поездка в Палестину (Географический очерк). СПб., 1895. С. 15.

Вместо утомительного пути под лучами солнца и среди пыли в продолжение более суток, теперь в три с половиной часа совершается этот переезд без утомления и неудобств. Но зато теперь остаются в стороне от дороги некоторые замечательные места, которые имеют интерес для паломников и туристов; поэтому представляется самым лучшим делать так, чтобы в один раз совершить переезд по железной дороге, а другой по шоссе; тогда можно будет ближе ознакомиться с местностью между святым градом и Яффой, хотя это удовольствие будет стоить, конечно, некоторых лишних расходов против железной дороги»⁷⁵.

«Из Яффы в Иерусалим поезд железной дороги отправляется обыкновенно в два часа пополудни; сначала дорога идет среди садов яффских, между которыми виднеется с правой стороны поезда и наша церковь с колокольной, — продолжает владыка Арсений. — Потом идет дорога по возделанным полям и пастбищам; это та плодородная долина Саронская, упоминаемая в Священном Писании, на которой паслись стада царя Давида»⁷⁶.

Как уже было сказано выше, в 1866 году в Иерусалим были доставлены три колокола для Русской духовной миссии. А в 1896 году этим же путем проследовали еще четыре «железных пассажира».

Из «Отчета уполномоченного Императорского Православного Палестинского Общества М. И. Осипова за 1896/97гг.»:

Одно из крупных ценных пожертвований, присланных в полное распоряжение Общества, составляют пять колоколов разной величины, всего весом 74 пуд, 29 ф., присланные из года Уральска и сооруженные, как гласит сделанная на них надпись, «стараниями члена-сотрудника Общества Антипа Петровича Наручкина». Первый колокол в 38 пуд. 37 ф. — «в память царя-миротворца императора Александра III, в Бозе почившего 20 октября 1894 года»; второй — в 28 пуд. 37 ф. — «в память коронавания государя императора Николая II»; третий в 5 пуд. 8 ф. — «за здравие Е. И. В. Великого князя Сергея Александровича и Палестинского Общества»; четвертый — в 36 ф. и пятый — в 31 фунт надписей не имели. Первые четыре колокола, согласно распоряжению Совета Общества, отправлены в Яффу на имя Н. Г. Михайлова, для передачи по назначению, а пятый находится в Одессе в ожидании назначения. Стоимость этого пожертвования определяется, считая по 18 руб. за пуд, приблизительно в 1,200 руб. Так как языки к двум большим колоколам не были присланы А. П. Наручкиным, то, предварительно отправки колоколов в Иерусалим, пришлось заказать языки в Одессе за счет Общества; плата железной дороге за доставку колоколов от Уральска до Одессы, в сумме 122 руб. 49 коп., тоже легла на Общество, так как А. П. Наручкин за провоз не уплатил⁷⁷.

Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) совершил поездку в Палестину вместе с В. Н. Муромцевой-Буниной в апреле—мае 1907 года. Приехав морем в Яффу, Бунины Саронской долиной прибыли в Иерусалим, побывали в Хевроне, Вифлееме, Иерихоне, у Мертвого моря, в Генисарете, Тивериаде, Табхе, а из Хайфы отправились в Египет. Очерки, посвященные этому путешествию, которые писатель называл путевыми поэмами, позднее вошли в его прозаический цикл «Тень птицы». По словам Муромцевой-Буниной, посетить Святую Землю было «заветное желание» писателя. И поездка оставила заметный след в бунинской поэзии и прозе. Без

⁷⁵ Арсений, епископ Сухумский. Святой град Иерусалим и другие святые места Палестины. СПб., 1896. С. 41.

⁷⁶ Там же. С. 41.

⁷⁷ Отчет уполномоченного Императорского Православного Палестинского Общества М. И. Осипова за 1896/97 гг. // Сообщения Православного Палестинского Общества, февраль 1897. СПб. С. 193.

преувеличения можно сказать, что эти произведения И. А. Бунина принадлежат к лучшим страницам русской литературы, посвященной Святой Земле.

Вот отрывок, посвященный поездке из Яффы в Иерусалим: «Покидаем Яффу, направляясь по Саронской долине к Иерусалиму. Пустынный путь! Нарциссы долины, из-за легендарного плодородия которой было пролито столько крови, теперь начинают выпаживать. Иудея опять понемногу заселяется своими прежними хозяевами, страстно мечтающими о возврате дней Давида. Но цветов еще много, слишком много. Всюду мак, мак и мак: щедро усеял он эти пашни и нивы своими огненными лепестками.

Очаровательный ветер весеннего дня и приморской степи солнечное тепло, сладкий аромат цветущих оливок, хлебов горячей земли веет в окна коротенького поезда, раз в сутки пробегающего по долине и горам к Иерусалиму. Он идет по волнистым полям, среди ржавых пашней и зеленых посевов, то и дело встречает вереницы верблюдов, стада черных коз и серых овец, кучками толпящихся то там, то здесь под охраной полудиких пастухов и собак, похожих на шакалов.

А за Лиддой и Рамлэ, — каменными кубами арабских городков, ярко белеющих под ярко-синим небом среди финиковых пальм и кипарисов, — почва становится еще суше, еще кремнистее и волнистей, а хлеба еще слабее и жиже. Начинается подъем, — до самого Иерусалима. Уже виден впереди серый камень, синь впадин и ущелий. Поезд медленно выбивает такт короткими вздохами, свистки его делаются гулки и звонки, путь извилистей; мы глядим на небо уже из какой-то голой, каменистой котловины. И вот котловины начинают сменяться котловинами, ущелья ущельями... Иногда они оживляются сожженной зноем зеленью деревьев, растущих на их кремнистых ложах, или пелазгическими останками хананейских укреплений на куполообразных вершинах; иногда овцами, рассыпанными по сухим обрывам, среди голышей в лишаях и колючках; или рядами каменных оградок, — следами террас, на которых спокон веку разводили здесь сады и виноградники... Только где же те „бездны“, которыми будто бы поражают Иудейские горы? Где высоты, что будто бы „еще дышат величием Иеговы и ужасами смерти“?

Солнце скрылось, в горах тень. Мы уже в самой сердцевине их. Все поднимаясь и поднимаясь, проползаем кремнистые долины, извивающейся гусеницей огибает поезд серо-желтые каменные ковриги, густо усыпанные круглыми голышами... Это именно здесь, в одной из этих котловин, „взял посох свой в руку свою Давид и выбрал пять гладких камней из ручья и поразил Голиафа...“ Перед вечером поезд выползает, наконец, на темя гор — и вдали, среди нагих перевалов и впадин, изрезанных белыми лентами дорог, показываются черепичные кровли нового Иерусалима, окружившего с запада зубчатую сарацинскую стену старого, лежащего на скрытом от нас скате к востоку»⁷⁸.

Бунин И. А. Караван

Звон на верблюдах, ровный, полусонный,
Звон бубенцов подобен роднику:
Течет, течет струею отдаленной,
Баюкая дорожную тоску.

Давно затих базар неугомонный.
Луна меж пальм сияет по песку.

⁷⁸ Бунин И. А. Иудея // Путешествия в Святую Землю. Записки русских паломников и путешественников XII—XX вв. М., 1994. С. 220—221.

Под этот звон, глухой и однотонный,
Вожак прилег на жесткую луку.

Вот потянуло ветром, и свежее
Вздыхнула ночь... Как сладко спать в седле,
Прильнув лицом к верблюжьей теплой шее!

Луна зашла. Поет петух в Рамлэ.
И млечной синью горы Иудеи
Свой зыбкий кряж означили во мгле⁷⁹.

В 1910 году паломническую поездку по Палестине совершила большая группа учащихся «средних учебных заведений» из Саратова. Прибыв в Яффу, юные богомольцы во главе с наставниками проследовали на железнодорожную станцию, где под парами стоял поезд, отправлявшийся в Иерусалим. Один из наставников, уже упоминавшийся Николай Русанов, описывает эту поездку по «чугунке»: «Вокзал скорее походил на сарай, окрашенный в коричневый цвет и был миниатюрен; но в нем было довольно большое оживление. Среди публики можно было видеть лиц разных наречий, одежд и наций. Особенно выделялись местные жители, похожие на бедуинов, в своих длинных костюмах с широкими рукавами и плащах, красиво драпирующих все тело.

<...> Кроме людей, похожих на бедуинов, на вокзале были греки, арабы и представители других народов. Вокзал и окружающее его место наполняла не только разнообразная публика, но и торговцы фруктовыми водами, фруктами и зеленью, которые расположились везде. Множество арбузов было наложено в разных местах и продавались недорого. Прекрасный, крупный и вкусный виноград предлагали за 2 коп. фунт.

Недолго нам пришлось быть в вокзале; скоро в особый вагон нагрузили наш багаж, а затем и нам дали два небольших вагона, в которых мы довольно удобно расположились. Какое-то воодушевленное и радостное настроение царило в наших вагонах. В 1 час 45 минут дня наш поезд тронулся из Яффы. Сначала мы едем среди бесчисленных виноградников, лимонных, апельсиновых, гранатовых и пальмовых рощ. Далее картина постепенно меняется: встречаются ряды каких-то очень высоких деревьев, всюду видно бесчисленное множество беловатых маслин в виде отдельных деревьев и в виде целых групп их; тянутся в бесконечное пространство громаднейшие, разнообразной формы, кактусы.

Вот что-то вроде наших, убранных после жатвы, полей; там и сям по ровному полю медленно и важно расхаживают аисты, пасутся стада черных овец. Временами перед глазами проходят бахчи, усыпанные арбузами, иногда очень крупными; около них целые плантации „сучи“, — растения, из которого готовится местное постное масло, и кукурузы; нередко мелькают розовые цветы маличника. Немало встречается довольно красивых садов; среди них разбросаны отдельные дома и что-то напоминающее наши палатки, а иногда в садах утопают маленькие деревеньки, видны земляные крыши деревенских домов; на всем лежит отпечаток крайней бедности. Убогие жители деревни на ослах и волах молотят хлеб»⁸⁰.

Несмотря на относительный комфорт езды по железной дороге (в сравнении с грунтовой), и здесь паломников порой подстерегали опасности.

⁷⁹ Бунин И. А. Избранные стихи. Париж, 1929. С. 63.

⁸⁰ Русанов Николай. Ближний Восток. Саратов, 1911. С. 137–139.

Из записок иеромонаха Маркиана (Попова) (1911 год): «4 февраля. Пятница. Снег, бывший на этих днях, все еще не везде стаял; много он наделал убытку: поезд из Яффы долго не мог идти по случаю заноса; у многих арабов козы от голода подошли, так как корму они не имеют обыкновение запасать, а круглый год довольствуются подножным, — и вот, выпавший снег оставил без корму их скот; жилища у некоторых арабов обвалились; к одному ночью пришла голодная гиена и чуть-чуть его не съела, едва спасся. Зима небывалая в этом крае уже много лет»⁸¹.

В свое время митрополит Московский Филарет (Дроздов) протестовал против строительства железной дороги Петербург—Москва. Прошли десятилетия, и отношение к техническому прогрессу претерпело изменения в лучшую сторону. Это видно, например, из краткого замечания иеромонаха Серафима, относящегося к 1908 году: «От Яффы до Иерусалима железная дорога протяжением около 80 верст, а также есть и проездная дорога, для желающих пойти пешком до Иерусалима. По ней расстояние около 60 верст. Я поехал по железной дороге, выехал из Яффы в 12 часов дня, а прибыл в Иерусалим в Великий понедельник, 7-го апреля, в 5 часов вечера»⁸².

Едва ли не последнее довоенное описание паломнического путешествия по Святой Земле принадлежит С. И. Быстрову, сопровождавшему в этой поездке нескольких старообрядческих епископов. Вопреки бытовавшему в те времена мнению о консерватизме старообрядцев, они предпочли сесть в Яффе на поезд, влекомый «огнедышащим драконом», а не плестись 60 верст до Иерусалима на осликах. Слово С. И. Быстрову.

Подробно рассматривать Яффу было не время: нужно было спешить к поезду, который отходит в Иерусалим поутру каждого дня. Паломники толпами шли уже по улицам, мы, проезжая мимо них, видели их торжественное шествие, именно торжественное, потому что многие из них шли с пением священных гимнов. В то время, когда мы сидели уже в вагонах и готовились к отъезду, к окну нашего вагона подошел драгоман русского консула в Яффе и, осведомившись, что тут ли находятся старообрядческие епископы, отрекомендовался владыкам. Вскоре подошел и сам консул и уже почти на ходу подал преосвященным свои карточки, заявив, что сейчас же pošлет телеграмму иерусалимскому консулу об их прибытии. Свисток кондуктора, — и поезд, громяхая колесами и вздрагивая, тихо тронулся вперед. Замелькали каменные постройки каких-то стен, огороды, лимонные и апельсиновые плантации, где местами красиво желтели между зеленью листья лимоны и апельсины; дальше потянулись засеянные поля плодородной Саронской равнины, покрытые яркой зеленью хлебов и пышной травы, пестревшей разнообразными цветами; исполинские «кактусы», посаженные по сторонам нив, ревниво охраняли труд человека от вторжения животных, служа живой, непроницаемой изгородью»⁸³.

Одно из самых обстоятельных «хождений» из Яффы в Иерусалим принадлежит киевскому паломнику В. Г. Барскому (**приложение 1**).

Сентября 27 числа, 1726 года Собрался тогда нас народа всех поклонников иерусалимских, от греков, арменов и евреев, близ тысящи душ, и пребываху вси в особних гостинницах, ожидающе время, донележе будет повелено пойти к Иерусалиму от градоначалника, по обычаю тамошнему. Обычай убо

⁸¹ Маркиан (Попов), иером. Путешествие в Палестину, на Афон и по России в 1911 году // Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 1. 2012. С. 47.

⁸² Серафим, иером. Путевые впечатления. СПб., 1910. С. 33.

⁸³ Быстров С. И. По Востоку (Путешествие старообрядческих епископов). М., 1916. С. 69—70.

есть таков: егда соберутся поклонников много, их же именуют тамо хадзии (арабск. – хадж), тогда начальник града Иопии, именуемый паша, пишет послание к Иерусалиму, да пришлют ему людей с верблюдами толико, елико могут вся вещи путников взяти и отнести в Иерусалим, и паки, да пришлют верблюдов, месков (мулов), ослов и коней толикое число, елико может всех ходзиев, то есть путников, на себе превезти. Посла же тогда паша весть к Иерусалиму, и присланни быша арапи мнози с верблюдами, ослами и проч. и взявше вся вещи путников, повезоша тамо преди за мзду (предоплату).

Септеврия 27 числа. Таже, ноци надшедшей, приспеша от Иерусалима другие арапи с вящим и множеством различных животных, отнесения ради всех путников в Иерусалим. Взят же паша Иопийский от всякой души дань от пенязей и даде всем знаменья, на хартиях написанная, в еже би волно изойти от града. Дадоша же миряне вси по седм толярей и пол, иноки же по три и пол; равную же и аз с иноками дадох дань, наставлением протосингелей иерусалимских, пройдох бо вместо инока удобно, понеже тол в долгом моем путешествии обрасл был долгими власи главными и малою брадою, к тому же черние всегда носях одежды и покров главний, подобий иноческому, его же неверные (мусульмане) не разсмотрят. Богу же промышляющу о моем убогом странствовании под видом сицеваго образа полезно ми бысть. А иже по мирску одеян, аще би и худейшие и последние рубища на себе носил, должен есть дати равную с прочими дань, не зрит бо неверный на нищету, ниже имат милосердие, но токмо исчисляет глави.

Милосердие бо есть добродетель, а иже не имат веры, той ниже добродетели. Но ведомо буди всякому, хотящему знати, яко мзда она, юже именуют тамо *кефари*, того ради вземлетя неотменно от паши градоначальствующаго, понеже он посылает людей своих вкупе с поклонниками провождения ради даже до Иерусалима. Аще бо бы не было сице, то бы отнюдь невозможно было тамо проходить никому же, разбойников ради множества, тамо обретающихся, иже, егда человека некоего похитят в свои руке на поле, аще не убьют, то биюще камением, еле жива оставят при пути, обнаживши его даже до последнего рубища. Сего ради, расудивше, да не погибает много, взимают мало и безбедне проводимы бывають страннопришельцы. И тако, егда собра паша тогда от всех хадзиев, си есть поклонников, мзду свою, даде всякому на малой хартии печать свою, с подписом, даде же и арапов конных и пеших с оружием и дрекольми, да шествуют с нами в Иерусалим и *агу* началствующаго представи над ними. Тогда предуготовившися вси на путь, инни вседоша на верблюди, и инни же на кони, друзии же на мески и прочие на осли, и кийждо по мзде и воли своей. Аз же, частию убожества деля, щадя пенязь на нужнейшее, частию же Бога ради, на посещении святых мест потрудитися хотящи, пешеходити изволих.

Двигнухомся убо от Иопеи септеврия 28 числа, в среду, пред обедом, за два часа или раньше, идеже исходяще из града, дахом вси печати своя, яже имехом от паши, и по две пари стражником, в вратах стоящим. Таже изидохом вон, идеже инние арапи скитающиеся по полях в худых и раздранных одеждах, взимающе коней за брозди и не пушающе далее шествовати, искаху от всякаго нечто от пинязей, глаголяще арапским языком: „албакшиш“, то есть даждь дар, и раздаяху сребренники на многих местех; аше же кто не хотяше дати, то бияху жезлием, вослед гоняще осла или коня; искаху же и от мене, но не даях им ничтоже, и попихаху мя, посмевающесе. Егда же отъидохом от града недалече в поле, ожидахом на едином месте путников прочих, донележе собращася вси в един полк, и приидоша провождающий нас арапы с начальним своим, от них же пешеходцы идоша преди, коннии сзади, посреде же чинно грядяху все хаджии. И тогда, призвавше Всемогушаго Бога и Творца своего вси на помощь, начахом шествовати, сии на конех и сии на верблюдах, аки на колесницах, ми же, в имя Господа Бога нашего совокупившися, неции убозии грядохом пеши. Бысть же нас тогда всех полк велик,

яко до полторы тысячи душ и зряшеся народ, аки некое войско, грядущее на брань. Имехом путь широк, ровным и долгим полем, идеже несть ни древа, ни трав лепих, но всюду песок бел и земля проседшаяся от горячести солнечной и весей мало. Тогда преидохом чрез едину весь, зело ветху и малу, яко едва живушь кто обретается; таже мимоидохом ошуюю вторую весь, именуемую Лида, идеже бяше отчество святаго великомученика Георгия. Последи полудни доспехом к граду Рамлы⁸⁴.

Старая Яффа сегодня

Старая Яффа, с ее мощеными булыжником дорожками и аллеями, петляющими по массивным каменным крепостям, окружающим город, была восстановлена и реконструирована в 1963 году. Теперь здесь находятся поселок художников, картинная галерея, лавки ремесленников, магазины для туристов, рестораны, где готовят блюда из продуктов моря, и ночные клубы. Портом старой Яффы, предназначенным к сносу, еще продолжают пользоваться местные рыбаки, каждое утро доставляющие сюда свой улов. Их добыча в конце концов оказывается в котлах многочисленных городских ресторанов, три из которых расположены непосредственно в Старом порту.

Что касается остального, то кажется, время здесь остановилось. В примитивных печах продолжает выпекаться бесконечное множество сортов хлебцев — хал с восточными специями, а на древних улицах, как в былые времена, слышен гул голосов лавочников, продавцов сладостей и слоняющихся зевак. Старая Яффа начинается с построенной в 1906 году Часовой башни на улице Ефет. Окна из цветного стекла выходят на местный полицейский участок, и в каждом из них можно прочесть отдельную главу истории города. Напротив башни за арочными воротами расположен большой внутренний двор, когда-то Армянский постоялый двор, служивший «центральной станцией» для путешественников и караванов, проходивших через местные поселения со всей страны. За полицейским участком большие двери ведут в мечеть Махмудии (настоящий вход в мечеть находится сзади), построенную в 1912 году и названную в честь турецкого губернатора города.

Если от улицы Ефет повернуть направо, по направлению к реконструированной части города, то путь лежит мимо Яффского музея древностей, где собраны добытые за 20 лет раскопок археологические экспонаты. В здании, построенном в XVIII веке, когда-то размещались штаб-квартира турецкого губернатора и местная тюрьма. Позднее оно стало хорошо известным на Ближнем Востоке как мыльная фабрика, принадлежавшая православному греческому семейству Дамиани. Рядом находится францисканский собор Святого Петра. Расположенный во дворе собора монастырь Святого Людовика назван в честь французского короля, прибывшего сюда во главе крестоносцев и останавливавшегося здесь в 1251 году. Позднее монастырь служил гостиницей для паломников и был известен в XVII веке как «Дом европейцев». Наполеон тоже отдыхал здесь после завоевания Яффы.

Немного дальше по направлению к морю находится минарет мечети Джамаэль-Бахер, расположенной по соседству с первым еврейским домом в Яффе. Построенный в 1820 году, этот дом также был гостиницей для жителей Иерусалима, приезжавших на побережье Яффы, чтобы поплавать в море. Армянский монастырь и церковь расположены на месте большой армянской гостиницы XVII века. Турецкий особняк, расположенный за музеем, был когда-то домом, где размещались турецкие бани, а позднее был превращен в ночной клуб и ресторан под названием «Эль-Хамам».

⁸⁴ Странствования Василия Григоровича Барского по святым местам Востока с 1723 по 1747 гг. СПб., 1885. Т. 1. С. 283—286.

На вершине холма, за парком Листах, начинается Тропа гороскопа. Мимо картинных галерей, мастерских художников, магазинчиков и лабиринтов маленьких живописных аллей тропа приводит к маяку у западных ворот в стене. В центре реконструированной части города находится площадь Кикар Кедумин, архитектура которой представляет всю многогранную историю города, воссозданную с помощью археологических раскопок. Кроме того, это одно из популярных мест для вечерних прогулок. У входа в старый город расположено кафе «Аладин». Отсюда открывается самый лучший вид на Яффский залив и на очертания Тель-Авива на фоне горизонта.

Яффа⁸⁵

I.

Загрохотал — и прынул звучно
 Массивный якорь в лоно вод.
 И с боку на бок так докучно
 Валится грузный пароход.
 Пред нами Яффа! Палестина!
 И сердцу хочется обнять
 Святую землю с чувством сына,
 Еще не видевшего мать.
 И взор ласкает и целует
 Желанный край святейших мест,
 И радость детская волнует,
 И без числа кладется крест.
 Вся Яффа, в виде полукруга,
 На желтой горке улеглась,
 И словно лезут друг на друга
 Дома и башни встретить нас,
 Уж к нам арабы целой кучей
 Ползут и скачут впопыхах;
 Их говор, резкий и трескучий,
 Шумит, глушит, наводит страх.
 Глядь! ваши вещи в шуме речи
 Летят чрез борт и через трап,
 И вас самих схватив на плечи,
 Поспешно в лодку мчит араб.
 Бушует водная пучина,
 Мы на вещах как на холме, —
 У всех лишь слово «Палестина»
 На языке и на уме.
 Пред нами волны пенят, хлещут
 На ряд утесов вековых,
 И высоко летят и блещут
 Фонтаны брызгов снеговых;
 А здесь за нами мчатся волны
 Сплошной зыбучею стеной, —

⁸⁵ По Святой Земле. Из палестинских впечатлений 1873–1874 гг. СПб., 1879. С. 3–9 (без указ. автора).

Вот-вот зальют и наши челны,
И наши души до одной.
Но нет! арабы и на щепке
Погибнуть не дали бы нам:
Как будто проволоки крепки,
Их жилы вьются по рукам.
С бурливым морем ловко споря,
Они гребут, они летят
И по верхушкам волн без горя
Чрез камни к берегу скользят.
Нет ходу: мель — и вас на плечи
Араб хватает, наземь хлоп!
А в двух шагах, для вашей встречи,
Верблюжий рев, ослиный топ,
Шум, давка, гул; арабский скрежет
Вам поминутно ухо режет,
И, огрызаяся, хаджи
Дают арабам бакшиши.

II.

Пред нами улица не шире
Избушки русской небольшой,
И нам в древнейший город в мире
Идти по лестнице крутой,
Наш груз араб с лихой сноровкой
Вмиг охватил живым узлом
И, вскинув на спину веревкой
И зацепив ее над лбом,
Поплелся в гору бойким шагом;
А мы, свободные, за ним,
По камням сглаженным, зигзагом,
Едва лишь тянемся, скользим.
Дорога вьется выше, круче,
И вот над улицею свод,
На своде домик; дети кучей
Глядят на наш несмелый ход;
Но здесь не окна, просто норы,
Лишь загорожены кой-как;
И улиц нет, а коридоры,
В которых вечный полумрак.
Дома как стены, вместо крыши —
Слегка покатый потолок,
В стене проход, в аршин, не выше,
Ведет на дворик-уголок;
Немая тишь; дома и люди,
Все сжато, сдавленно глядит;
Везде давнишней грязи груды
И всюду затхлостью разит.

И в белом, словно привиденья,
 Окутаны с главы до пят,
 Арабки между запустенья
 Неслышной поступью скользят.
 Лишь за воротами, за башней
 И в бурный вихрь, и в тяжкий жар
 Разноголосицей всегдашней
 Шумит пестреющий базар.
 В шатрах из прорванной холстины
 Арабы, кофе, наргиле;
 Гранаты, фиги, апельсины
 Лежат холмами на земле;
 Чалмы, цилиндры, камилавки,
 Мальчишки вечно налегке,
 Бритье бород средь шумной давки;
 Обед под солнцем на песке;
 Струя библейского фонтана
 Журчит на мрамор — водоем,
 И стих узорчатый Корана
 Пестреет золотом на нем.
 В живой, невиданной картине
 Все резко просится в глаза,
 Не скоро вспомнишь о святыне,
 Смотри на эти чудеса.

III.

Весь утомлен, в вниманьи слабом
 К восточным лицам и местам,
 Иду я вечером с арабом
 И захожу в арабский храм.
 Один я, мимо пробегая,
 О нем наверно бы сказал,
 Что это — погреб, кладовая
 Или промышленный подвал.
 Внутри еще бедней и странней
 Святыня видится глазам:
 Нагие стены, пол из камней,
 Две, три циновки по местам;
 Святые лики глянут грустно.
 «Ужели это человек?» —
 Невольно спросишь. Так искусно
 Их начертил художник-грек.
 Убогий пастырь, в ветхой ризе,
 Сам и священник, и певец;
 Живые птички на карнизе
 На свой щебечут образец;
 Алтарь без света, мал и тесен,
 И утварь бедная, в пыли;

На старых стенах копоть, плесень
Давно слоями залегли...
Но вера дышит здесь любовью,
Но тихи в храме все концы,
И лишь святому славословью
Здесь вторят дети и отцы.
И сладко вспомнить о явлении,
Что мне представилося там:
Арабка-мать внесла в волненьи
Больное дитяtko во храм
И без помехи, без глагола
В алтарь, сквозь царские врата,
Вошла, склонилась у престола,
Как бы у самых ног Христа,
Ему поведала всю муку,
Единым сердцем говоря,
В слезах воздвигла молча руку
К лампадке медной алтаря,
Вложила перст в елей душистый,
Крест на младенце провела
И, пламенея верой чистой,
Уже спокойная, ушла...
И сердце от ее примера
Невольно дрогнуло в груди,
И вспомнилось мне слово: «вера
Твоя спасла тебя — иди!»

7 мая 1873 г., Яффа

От Яффы до Иерусалима

Какой прием явила мне
Старушка Яффа! На пространной
Светло-песчаной стороне —
Лес апельсин благоуханный,
Ряды лимонов золотых,
Струи источников заветных,
Шатры смоковниц вековых,
Строй олеандров разноцветных,
Толстейший кактус близ садов,
Вдоль протянувшийся забором,
Все — в блеске красок и плодов —
Мне появилось собором...
И как роскошна и ясна
Была библейская картина!
Еще не кончилась она, —
И вот Саронская равнина:
Простор широкий предо мной,
Лесов и сел не видят взоры,

Лишь на окраине стеной
Встают синеющие горы.
Но первый шаг мой здесь пока
Напоминает край родимый:
И степь, волнистая слегка,
И холмик с рощицей любимой,
И тонкоствольный телеграф,
Стрелой летящий над равниной;
И жаль, что я не фотограф
Пред этой родственной картиной.
Но небо, пальмы на песках,
И воздух, дышущий истомой,
И горы в радужных цветах —
Глядят картиной незнакомой.
День вечереет, а жара,
Как будто в печи вавилонской,
Томит от самого утра
В полях красавицы Саронской.
На отдых ослики спешат;
Темнеют пальмы, сикоморы;
В лиловом свете тонут горы,
И быстро сумерки летят.
Короткий отдых на ночлеге,
И тихой ночью снова в путь:
Ни сам не думаешь о неге,
Ни сон не хочет глаз сомкнуть.
До них ли ныне! За другими
Осла торопишь в свой черед,
Ползешь тропинками кривыми
И жадно смотришь все вперед.
Одно явление мелькает:
Когда-то здесь ходил Христос!

8 мая 1873 г., Иерусалим

Евгений ЛУКИН

ДОЛОЙ КГБ, ИЛИ ЭФФЕКТ ОЧУЖДЕНИЯ

Году российского кино посвящается

Поздней весной 1993 года я познакомился с режиссером Валерием Сарухановым. Это был человек энциклопедический, способный цитировать многих ученых мужей. К тридцати годам он умудрился окончить три института и получить пять профессий: режиссера, дизайнера, сценариста, композитора и певца. В ту пору, когда мы с ним познакомились, он увлекался теорией эпического театра, разработанной немецким драматургом Бертольдом Брехтом.

— В нашем фильме, — пояснял Саруханов, — главным театральным приемом должен стать не метод вживания в образ, который проповедовал Станиславский, а эффект очуждения, придуманный Брехтом. Как учил этот великий драматург, необходимо лишить событие всего, что само собой разумеется, и вызвать по поводу этого события любопытство и удивление. Наш сериал должен всех поразить!

Телевизионный сериал «Глухарь» и был причиной нашего знакомства. Главным героем сериала был бандит Сергей Мадуев, который обрел тогда неслыханную популярность. Пресса смаковала его неординарные поступки при разбойных нападениях: в одном случае он вызвал «скорую помощь» жертве, в другом — застрелил на глазах публики хамоватого швейцара, а в третьем — нахально присвоил себе воровской общак. Особый восторг творческой братии вызвала попытка этого чеченского Робина Гуда бежать из ленинградской тюрьмы «Кресты». Умный, коварный бандит сумел обаять молодую прокуроршу, которая принесла ему в тюрьму пистолет и помогла организовать дерзкий побег со стрельбой. «Это настоящая любовь!» — восторгались труженики пера и строчили статьи, восхваляя благородно-разбойника и романтизируя преступность — «истинного борца с тоталитаризмом».

Однако в потоке дифирамбов куда-то исчезали такие злодеяния Мадуева, как чудовищный расстрел молодой семьи, сжигание заживо годовалого младенца, прочие безжалостные убийства. Однобокое освещение событий побудило меня и моего друга, питерского журналиста Александра Афанасьева, взяться за перо. Целое лето мы колдовали над сценарием будущего телевизионного фильма. Таинство вершилось на моей даче в Сестрорецке. Я привозил туда копии материалов уголовного дела на Сергея Мадуева. Мы делали литературную обработку протоколов

Евгений Валентинович Лукин — поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Родился в 1956 году. Окончил исторический факультет педагогического института имени А. И. Герцена. Работал учителем и журналистом. Проходил военную службу. Участник боевых действий на Кавказе. Член Союза писателей России. Автор двух десятков книг. Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии журнала «Нева» (2010) за повесть «Танки на Москву», посвященную первой чеченской войне.

допросов, отсматривали видеопленки следственного процесса, производили расшифровку наиболее интересных эпизодов. Из этих отрывков и конструировали сценарий фильма в жанре нон-фикшн, не позволяя себе никаких фантазий. Но режиссер Валерий Саруханов, познакомившись с нашим трудом, радостно выдохнул:

— Это же Брехт! Это же эффект очуждения!

Мы с Афанасьевым переглянулись: какой к черту Брехт? Мы кропали обычный детектив на документальной основе. Никакой выдумки, никакого эффекта, извините, очуждения не допускали. Будущий сериал, как нам виделось, должен был в полной мере отражать суровую реальность российского бытия.

— Нет, нет! — замахал руками Саруханов. — Это право художника — видеть по-своему. Я вот вижу здесь Брехта. Завтра же приступаем к съемкам.

— Как завтра? — удивились мы. — У нас ведь нет ни копейки. Откуда возьмутся деньги на оплату актеров и технического персонала, на аренду техники и съемочных помещений?

— С актерами я договорюсь, — успокоил режиссер. — Сейчас время голодное — они готовы работать почти задаром. Технику возьмем на питерском телевидении. Ну а снимать будем на натуре. Есть в нашей команде один человек, который обеспечит нам бесплатную натуру.

Он выразительно посмотрел на меня.

— Валерий Арменович, вы кого имеете в виду? — поинтересовался я.

— Тебя, дорогой, тебя, — вздохнул Саруханов. — Ты зря, что ли, таскаешь служебное удостоверение во внутреннем кармане? Махнешь своей волшебной книжечкой, и все двери перед нами распахнутся, как в сказке.

* * *

Первый эпизод снимали в рюмочной, расположенной на углу улицы Пестеля и Литейного проспекта. Эта любимая забегаловка силовиков носила неформальное название «Полковник». Все здесь было дешево и сердито: барная стойка, отделанная жженым деревом, высокие круглые столики, укрепленные на одной железной ножке, мутные граненые стаканы, наполненные паленой водкой с сивушным дымком. В общем, натура — что надо.

Сбор съемочной группы был назначен на десять часов утра — время открытия рюмочной. Первым на место встречи явился Саруханов, который старался всегда быть точным и обязательным. Затем подтянулись актеры из Большого драматического театра: оказалось, из-за сплошного безденежья работать «почти задаром» согласилась чуть ли не вся прославленная труппа. Последним подошел оператор Андрей Гусак, сияя таким длинным, поистине гусиным носом, что когда он представился, то многие подумали: «Товарищ шутит! У него наверняка другая фамилия».

— Ну что, собрались? — Саруханов окинул нас орлиным взором. — Все приходят в чувство и готовятся к напряженной работе. А ты, — он ткнул пальцем в меня, — иди договаривайся с увеселительным заведением.

В рюмочной стоял густой запах вчерашнего перегара. Ярко крашенная буфетчица скучала за барной стойкой, поджидая первых посетителей. Мое появление было встречено с деланным равнодушием. Я поздоровался, козырнул служебным удостоверением и кое-как пояснил насторожившейся даме, что наша съемочная группа просит разрешения расположиться за одним из столиков и снять небольшую сценку на видеокамеру. Выслушав мою сбивчивую речь, буфетчица грозно рявкнула:

— Водку пить будете?

— Так точно, будем! — по-офицерски отрапортовал я.

— Тогда делайте что хотите.

Я вернулся к коллегам и сообщил: рюмочная согласна при условии, что мы купим и употребим определенное количество алкогольного продукта. Заметив, как повеселели глаза актеров, призванных сыграть роль бывалых сыщиков, Саруханов погрозил им пальцем и со вздохом достал бумажник:

— Передай буфетчице, что она внакладе не останется. Начинаем съемки!

Первый дубль чуть не вышел комом. Покупая водку, режиссер попросил налить в стаканы по пятьдесят грамм. Я заметил, что настоящие следователи такими маленькими дозами не балуются — если и пьют, то пьют всерьез.

— Сколько же им налить? — растерялся Саруханов.

— Возьмите хотя бы по сто грамм, — посоветовал я.

— У нас бойцы меньше двухсот не берут, — встряла в наш разговор буфетчица.

— Они же у меня не доживут до третьего дубля, — заволновался режиссер.

— Доживем, доживем, — отозвался дружный актерский хор.

Действительно, к третьему дублю актеры, следуя проверенному методу Станиславского, окончательно вжились в роль бывалых сыщиков — полупьяных завсегда-таев «Полковника». Беспорядочно размахивая руками, они что-то бессвязно бормотали, пытаясь держаться заданного диалога. Получалось натурально, но не очень понятно. Когда стаканы опустели, наши герои потребовали продолжения банкета. Но режиссер продемонстрировал им опустевший кошелек:

— На четвертый дубль денег не хватит! Всем спасибо.

Я вышел на воздух. После затхлой прокуренной рюмочной Литейный проспект радовал свежим невским ветерком. Прощаясь, Саруханов поблагодарил меня за отличную натуру и предупредил:

— Не забудь — завтра снимаем на Витебском вокзале.

* * *

Витебский — самый красивый вокзал Петербурга. Отсюда уходили поезда на Царское Село, бывшую резиденцию русских императоров, и потому он отличался богатой отделкой: витражными окнами, лепными панно, мраморными перилами. В моем представлении, здесь было хорошо снимать русскую классику, но никак не современный криминальный сериал. Однако наш режиссер руководствовался иными соображениями: на Витебском вокзале был небольшой пассажиропоток, а значит — никаких хлопот с организацией съемок.

Действительно, в ранние часы зал ожидания на втором этаже был полупуст. Несколько неопрятных мужичков в грязных ватниках мирно посапывали на скамейках. Рядом расположились деревенские бабули, перегородив проход большими котомками. Бабули грызли семечки и перекидывались редкими словечками.

Андрей Гусак поставил съемочную аппаратуру в углу — так, чтобы объектив видеокамеры мог захватить всю панораму зала. Надлежало снять второй эпизод нашего сериала, который воспроизводил реальный случай, когда Сергей Мадурев был задержан на железнодорожном вокзале и пристегнут наручниками к милиционеру. Неожиданно бандит вытащил из кармана гранату и, угрожая взрывом, потребовал отпустить его... Эпизод был коротким, но экспрессивным. Последняя мизансцена выглядела так: главный герой (в фильме его играл заслуженный артист Владимир Еремин), подобно плакатному политруку, гордо стоял со вскинутой вверх гранатой, на которую тарасил глаза присевший от страха милиционер.

Пока готовились к съемкам, народу в зале ожидания прибавилось. Парочка длинноногих девиц, взявшись за ручки, прохаживалась туда-сюда. Какой-то интеллигентный

очкарик устроился на свободной скамейке и развернул газету. Появилась пышнотелая дама с маленькой собачкой на руках. Ее появление привело режиссера в полный восторг:

— Это же Чехов! — воскликнул он. — Скорее снимаем!

Андрей Гусак прильнул к видеоискателю. Сначала он зафиксировал благостную картинку — и мужичков, и бабуль, и длинноногих девиц, и даму с собачкой. Потом камера передвинулась на вход, откуда вырисовалась фигура главного героя с пристегнутым к нему милиционером. Герой встал посреди зала перед камерой и, выхватив муляж гранаты, что есть силы завопил:

— Всем лежать! Взорву к чертовой матери!

В зале ожидания случился неопиcуемый переполох. Мужички, дотоле мирно храпевшие, вскочили, как ваньки-встаньки. Деревенские бабули в испуге сиганули со скамеек и забились под котомки. Длинноногие девицы взвились под потолок, а пышнотелая дама грохнулась наземь, выронив из рук маленькую собачку. И лишь интеллигентный очкарик продолжал читать газету как ни в чем не бывало — очевидно, был туговат на ухо.

— Снимай, снимай зал! — подзадоривал оператора Саруханов. — Какой Брехт! Какой эффект!

Я стоял ни жив ни мертв. С ужасом ожидал, очухается ли пышнотелая дама или навсегда останется лежать без движения. Маленькая собачка крутилась возле хозяйки и звонко тьякала. На тьяканье прибежал настоящий сержант милиции, который застал жуткую картину: бандит с гранатой стоит посреди зала, перед ним приседает в реверансе какой-то милиционер, почтенная публика валяется на полу, а в углу стоит съёмочная группа и азартно снимает происходящее на видеокамеру.

— Что здесь происходит? — прорычал сержант.

— Съе-е-емки! — раздалось бляенье режиссера.

— Почему я не знаю? — брови сержанта нахмурились. — Кто здесь главный?

— Он! — не моргнув глазом, Саруханов указал в мою сторону.

— Пройдемте, товарищ! — сержант схватил меня за рукав и бесцеремонно поволок к начальнику вокзала.

Начальник вокзала долго изучал мое служебное удостоверение, бросая пристальный взгляд то на меня, то на мою фотографию.

— Что же вы, Евгений Валентинович, создали на объекте угрозу общественному порядку, устроили демонстрацию террористического акта? А главное — почему съемки ни с кем не согласовали? Они ведь теперь денег стоят! — завершая длинную тираду, он ехидно улыбнулся, видимо, намекая на кругленькую сумму, которую надо бы заплатить.

Я не знал, что ответить. Было бы глупо промычать: «Дяденька, простите, мы больше не будем». Еще глупее начать качать права: «Да вы знаете, кто я? Да я сейчас позвоню, и от вас мокрого места не останется!» Казалось, выхода никакого не было. И тут меня осенило: это ведь Брехт спровоцировал нас на такие действия! Вот пусть великий немецкий драматург и ответит за все, что здесь натворила наша съёмочная группа. Я стал снисходительно разяснять непросвещенному товарищу:

— Понимаете, у нас такой художественный прием. Называется эффект очуждения. Мы снимаем какое-нибудь рядовое событие, которое обязательно должно вызвать у публики неподдельное удивление. Если мы согласуем, то никакого удивления не получится.

Начальник вокзала широко открыл рот — то ли от моей наглости, то ли и впрямь от удивления. Потом протянул мне служебное удостоверение и мрачно произнес:

- Идите и больше никого не удивляйте!
- Особенно милицию, — добавил сержант и выпроводил меня за дверь.

Саруханов стоял на выходе с Витебского вокзала. Потирая от удовольствия руки, он сообщил, что вокзальная сценка получилась с первого дубля, и повторять ее не придется — на сегодня работа закончена, все разошлись по своим делам. На прощание режиссер шутливо пригрозил мне указательным пальцем:

— Не забудь — завтра снимаем у Большого дома. Надеюсь, ты согласовал наши съемки с этим серьезным учреждением?

* * *

Рапорт о проведении съемочных работ около Большого дома я подал заранее. На нем стояла разрешительная резолюция Виктора Черкесова, начальника питерского управления федеральной службы контрразведки — так тогда называлась наследница КГБ, сиречь Комитета государственной безопасности. Правда, в бумаге ни слова не говорилось о том, что в соответствии со сценарием фильма перед пресловутым зданием на Литейном проспекте должна состояться многолюдная демократическая демонстрация. Такую акцию действительно проводили правозащитники летом 1991 года, требуя освободить из-под стражи «узников совести». Бандит Сергей Мадуев, сидя в камере следственного изолятора, слышал эти выкрики и ждал, что вот-вот темницы рухнут и свобода его примет радостно у выхода на Шпалерную улицу. Не случилось.

Весь вечер после инцидента на Витебском вокзале я провел в печальных раздумьях. Меня одолевали нехорошие предчувствия. «Авось пронесет, — втайне надеялся я. — Может, дождь хлынет, может, гроза грянет, и дурацкие съемки не состоятся».

Утро, как назло, выдалось чистым и ясным. На углу Литейного проспекта и улицы Шпалерной уже красовался Саруханов. Вокруг него щебетала стайка девиц. Как всякий восточный человек, Валерий Арменович был дамским угодником.

— Женя, познакомься, это мои прекрасные студентки из Института кино и телевидения, — режиссер на глазах превращался в галантного преподавателя. — Я пригласил их поучаствовать в массовке, а заодно посмотреть, как делается настоящее кино.

— Они нам вряд ли подойдут, — пробурчал я, глядя на наряженных девушек. — Такие красотки на демонстрации не ходят. Такие красотки ходят на вечерние балы.

— Ничего, ничего, — Саруханов похлопал меня по плечу, — мы разбавим красавиц случайными прохожими. Думаю, желающих поучаствовать в демонстрации против КГБ будет невпроворот. Андрюшка, поди сюда.

Долговязый администратор Андрюшка бросился выполнять данное поручение — собирать массовку. Он нарезал круги около Большого дома, подбегая то к одному прохожему, то к другому. Прохожие на минуту останавливались, выслушивали Андрюшку и, покрутив пальцем у виска, продолжали путь. Незадачливый администратор возвратился ни с чем.

— Никто не хочет участвовать в такой демонстрации.

— Странное дело, — удивился Саруханов. — Еще вчера от демонстрантов отбоя не было, а сегодня — шаром кати. Да ты, Андрюшка, просто работать не умеешь. Пойдем-ка, Женя, покажем с тобой мастер-класс.

Мы отправились охотиться на прохожих. Сначала нам попался звездочет, то бишь сотрудник Института прикладной астрономии, расположенного неподалеку. Его горбатый нос вместо очков украшали огромные лупы. На голове, наподобие вороньего гнезда, громоздилась потасканная собачья шапка. Чувствовалось, что

товарищ постоянно пребывает где-то в зодиакальной вечности — вне зависимости от времени года. Выслушав нас с раскрытым ртом и не сказав ни слова, звездочет торжественно прошествовал дальше по своему звездному пути.

Вторым попался какой-то одержимый студент Мухинского училища, который, не останавливаясь, кометой пронесся мимо нас с тубусом в руках. А вот третьей жертвой нашей охоты оказалась пожилая дама со следами былой красоты на породистом лице. Она свысока смотрела на нас, пока мы любезно предлагали ей сняться в синема — поучаствовать в свобододлюбивых экзерцициях. Наконец, сообразив, что от нее хотят, она внезапно возопила на весь Литейный проспект:

— Страну развалили, а теперь последний оплот государства развалить хотите? Мерзавцы! Да я сейчас милицию вызову!

Обескураженные, мы вернулись к съемочной группе. Саруханов беспомощно взглянул на меня и, приложив ладони к груди, взмолился:

— Женя, выручай — быть может, твои подчиненные согласятся полчаса постоять здесь с плакатами?

Я недоверчиво покосился на свернутые в рулон плакаты, догадываясь, что на них написано что-то нехорошее. Но делать было нечего. Пришлось отправиться в пресс-службу Большого дома, которую я тогда возглавлял. Мои сотрудники охотно откликнулись на просьбу режиссера. А когда увидели красавиц, вообще расцвели. Встав рядом с прекрасными созданиями, они развернули плакаты, на которых крупными буквами было начертано: «Свободу узникам совести!», «КГБ — верный помощник КПСС», «КГБ, ответь за 1937 год!». И тут я окончательно понял, что дни моей службы сочтены — никто никогда не простит мне такого глумления над конторой.

Между тем Саруханов, бодро оценив мизансцену, приказал оператору:

— Начали!

По команде режиссера небольшая толпа на углу Шпалерной улицы и Литейного проспекта зашевелилась, забурилась. Послышались шутки, легкий смех. Одна из девиц тоненько пропищала: «Долой КГБ!» Ее комариный писк едва долетел до ушей режиссера. «Громче!» — заорал Саруханов, топнув ногой. Нестройный студенческий хор повторил лозунг. Но режиссер снова топнул ногой — снова потребовал усилить звук. Неожиданно слабые девичьи голоса поддержали мощные басы моих сотрудников:

— Долой КГБ! Долой КГБ!

Молодые чекисты так истошно орал, что зазвенели стекла в окнах Большого дома. Окна приоткрылись — оттуда высунулись сморщенные личики его давних обитателей. Они с любопытством разглядывали шумную демонстрацию. И вдруг эти личики перекосило так, как будто старым служакам показали что-то невероятное, несбыточное, сказочное. Такое не укладывалось в их казенных головах: среди белого дня на улице стояли сотрудники Большого дома и требовали прикрыть лавочку. Убедившись, что это — не сон, служаки с треском закрывали рамы и исчезали во мраке здания.

«Сейчас начнется! — тоскливо подумал я. — Побежали докладывать начальству!» Действительно, спустя пять минут из-за угла показался дежурный прапорщик. Он подбежал ко мне и выпалил:

— Товарищ капитан! Вас срочно вызывает к себе начальник управления!

Виктор Черкесов был молодым генералом, который уже приобрел генеральский шик, но еще не стяжал генеральской величавости. В своем просторном кабинете он занимал только центральное место, в отличие от заслуженных генералов, которые обычно заполняли собой все окружающее пространство. Впрочем, этот недостаток Виктор Васильевич возмещал громозвучным голосом.

— Мне доложили, что твои подчиненные стоят под окнами и орут: «Долой КГБ!» — прогромыхал он. — Объясни, что это значит? Объясни, кто им разрешил орать такой бред и вообще — участвовать в демонстрации.

Я молча стоял перед начальником, сжимая под мышкой тонкую папку, куда предусмотрительно положил рапорт о проведении съемочных работ.

— Я повторяю свой вопрос, — в голосе генерала послышались угрожающие нотки, — кто им разрешил выкрикивать антигосударственные лозунги?

— Вы разрешили, — я набрался смелости и прервал молчание.

— ?

— Разве не помните, Виктор Васильевич? Вот мой рапорт, который вы подписали.

Я положил на стол бумагу, в правом углу которой чернела размашистая резолюция «Разрешая!». Черкесов убедился в подлинности своей подписи и поднял на меня глаза: огненной яростью в них полыхал эффект огуждения. Из приоткрытой фрамуги донеслись веселые возгласы моих сотрудников. Здесь, в кабинете начальника Большого дома, они казались еще задорнее, еще наглее, чем это было на улице.

— Кончай свой Голливуд! — процедил Черкесов. — Немедленно кончай!

«Только бы успели отснять второй дубль», — лихорадочно думал я, приближаясь к съемочной группе. По довольному виду режиссера я понял, что все уже закончилось и выполнять указание начальника мне не понадобится. Саруханов крепко пожимал руки молодым чекистам.

— Какие у тебя великолепные ребята! — сказал он, подойдя ко мне. — Так искренне вопили, как будто всю душу вложили в этот вопль: «Долой КГБ!»

— Зарплата маленькая, — пояснил я, — вот и надрывались, как могли.

* * *

После успешных съемок на натуре каждый из нас занялся своим делом. Саруханов уединился на питерском телевидении, где приступил к монтажу телевизионного сериала. Мы с Александром Афанасьевым занялись доработкой сценария, перемежая готовый текст отрывками из злободневных газетных статей. Это делалось для того, чтобы, во-первых, создать у читателей ощущение исторического времени, а во-вторых, чтобы увеличить объем рукописи для печатного издания. Мы оказались побойчее Саруханова: роман «Глухарь» увидел свет раньше одноименного телевизионного сериала. На обложке стояли фамилии трех авторов — двух сценаристов и одного режиссера.

Книга только появилась на прилавках магазинов, как на следующий день в мой кабинет нагрянул начальник отдела собственной безопасности. В руках он держал наш драгоценный фолиант, еще пахнувший типографской краской. «Видимо, хочет получить автограф», — обрадовался я и приготовил авторучку.

— Ну, как кино? — вежливо поинтересовался он.

— Заканчиваем монтаж, — похвастался я. — В фильме снялись лучшие артисты: Владимир Еремин, Елена Попова, Лариса Луппиан, Эрнст Романов, Вадим Лобанов, Сергей Лосев. В общем, весь актерский цвет Петербурга. Это — фурор!

— Да нет, — начальник отдела потряс передо мной книгой. — Вот фурор так фурор!

— Здорово написано, правда? — я бросил заискивающий взгляд.

— Конечно, здорово, — ухмыльнулся он. — И нам облегчает задачу. По написанному куда легче допрашивать, чем по сказанному.

— А что случилось? — насторожился я.

— На тебя поступило заявление от руководителя оперативного отдела. Он считает, что ты в своей книге разгласил государственную тайну. Начальник управления

Черкесов поручил мне провести служебное расследование и по его результатам решить, возбуждать уголовное дело против тебя или нет. Между прочим, тебе грозит три года заключения.

— Чего же я такого натворил?

— Ты разболтал секретный лексикон сотрудников службы наружного наблюдения.

— Ей-богу, я не знаю никакого лексикона.

— Не надо оправдываться. Лучше ознакомься с фактами. Например, на странице двести восемь ты пишешь, что такси движется «по бороде», то есть по проспекту Карла Маркса. Это и есть расшифровка секретного лексикона.

— Ничего себе секрет! — возмутился я. — Кто же в Питере не знает, что этот проспект так называется в честь роскошной бороды основоположника марксизма?

— Вот обо всем этом ты напишешь в объяснительной записке, — начальник отдела направился к выходу. — Трудись, писатель!

Я был потрясен. Придя в себя, созвонился с друзьями. В полдень мы собрались в монтажной студии питерского телевидения. Я вкратце передал утренний разговор.

— Что же делать? — опешил Саруханов. — Фильм почти готов — осталось только приделать титры. Не дай Господи, его запретят!

— Валера, не волнуйся, — Афанасьев прищурил хитрый глаз. — Ты сделаешь самое простое: не укажешь в титрах имя Лукина как сценариста. Надеюсь, этого будет вполне достаточно, чтобы обезопасить сериал. Ты, Женя, не возражаешь?

— Не возражаю, — вздохнул я. — Понятное дело: искусство требует жертв.

— Эх, дорогие товарищи! — прослезился режиссер. — Знали бы вы, какой гениальный фильм у нас получился. Это даже не фильм — это сплошной Брехт, сплошной эффект очуждения! Зрители будут потрясены.

Contents

Prose and Poetry

- Alexander Karpenko.** Poems • 3
Alexey Grekov. Moonless (Unlived Life of Mikhail Bulgakov). Farce-phantasmagoria in four visions with prologue and epilogue • 6
Sergey Nosov. Poems • 40
Alexey Kozyrev. Friend @ ru. Film story-parody • 44
Arsen Titov. About Mitya. Little story • 82
Vladimir Pshenichnikov. All Cut off. Story • 95
Elena Novikova. Stories • 107

Publicistic Writings

- Karen Stepanyan.** Fragments from the Diary (2014–2015) • 115
Yevgeny Berkovich. Thomas Mann's Novella «Velzungov Blood» and the Problems of Literary Anti-Semitism • 122
Konstantin Frumkin. Postmodern Games around Nazism and Communism (Reflections on the Fiction Novels 2013–2015) • 146

Roundtable

To the 125th Anniversary of Mikhail Bulgakov. **One and Only Literary Wolf.** *Participants:* Sergey Arno. Irina Belobrovtsseva. Nadezhda Dozhdikova. Vladimir Yelistratov. Vladimir Zvinyatskovsky. Elena Kryukova. Alexander Melikhov. Olga Novikova. Sergey Nosov. Valery Popov. Vyacheslav Rybakov. Tatiana Ryzhkova. Alexey Semkin. Roman Senchin. Igor Sukhih. Evgeny Yablokov. *Roundtable Materials were Prepared by I. N. Sukhih and A. M. Melikhov* • 158

Petersburg Bookman

Times and Images. *Lev Anninsky.* Echo of Ideology. **Area of Memory.** *Natalia Terekhova.* Without Julia Dictionary is Incomplete! **Touches to the Portrait.** *Albert Izmailov.* «As Sometimes Happens, and Good and Strange Enough to Live» **The Singer's House.** *Elena Zinovyeva's publication* • 183

Pilgrim

Archimandrite Augustine (Nikitin). Russian Palestine. Jaffa: A City of St. Apostle Peter and Righteous Tabitha. Part 2 • 211

Film Text

Yevgeny Lukin. Down with the KGB, or Alienation Effect • 247

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал „Нева“»
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9
Телефон: (812) 314-50-52
E-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva>
Ресурс в сети Интернет: www.nevajournal.ru

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276.

Свежие номера журнала, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

в Санкт-Петербурге — в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23); **льготную подписку** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23).

За рубежом подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-21-17, 238-46-34).

Оптовая и мелкооптовая продажа: Санкт-Петербург: ООО «Журнал „Нева“», e-mail: officeneva@mail.ru

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства www.nevajournal.ru

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева“»

Подписано в печать 15.04.2016. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 ¹/₁₆. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 2500 экз. Заказ № 1376
Издательство «Журнал „Нева“»

Отпечатано по технологии СтР
в Первой Академической типографии «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия В.О., 12/28